

Г. Прашкевич,  
В. Борисов

СТАНИСЛАВ ЛЕМ



ЖЗЛ

# СТАНИСЛАВ ЛЕМ



Геннадий  
Прашкевич,  
Владимир  
Борисов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation



В беседе с Томашем Фиалковским польский писатель и мыслитель Станислав Лем (1921-2006) вспоминал: «Когда мой сын изучал физику в Принстоне, я поддерживал с ним весьма интенсивную переписку. И он жаловался матери в письме, что отец, вместо того чтобы писать о своей внутренней жизни или расспрашивать о его настроениях, пишет о галактиках, о чёрных дырах, об искривлении пространства. Моя жена ему ответила: “Внутренней жизнью твоего отца являются именно чёрные дыры и галактики”».

Судьбу Лема нельзя назвать совсем уж безоблачной (война, оккупация, временная эмиграция, болезни), и всё-таки основу его биографии составляют не приключения тела, а приключения мысли.

Органичное сочетание цельности и многогранности творчества — вот что больше всего поражает в этом писателе. Реалистическая трилогия о трагических событиях Второй мировой войны, автобиографическая книга о детстве, строгая научная фантастика, завиральные истории о похождениях космического звездoproходца Ийона Тихого, сказки роботов, рецензии на несуществующие книги, научные трактаты, литературоведческая монография, десятки тысяч писем, тысячи коротких эссе на самые различные темы...

- 
- [Геннадий Прашкевич](#)
    - 
    - [Глава первая.](#)
      - 
      - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

○ [Глава вторая.](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)

○ [Глава третья.](#)

- 
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

○ [Глава четвёртая.](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

○ [Глава пятая.](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)

○ [Глава шестая.](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)

○ [Глава седьмая.](#)

- 
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

○ [Глава восьмая.](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)

- [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА СТАНИСЛАВА ЛЕМА](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)



- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)

- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)

- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [comments](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)

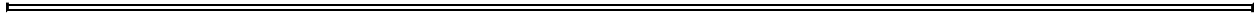
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)

- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)

- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)



- [203](#)



**Геннадий Прашкевич  
Владимир Борисов  
СТАНИСЛАВ ЛЕМ**

**Жизнь®  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ**

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



**ВЫПУСК**

**1719**

**(1519)**

## **Глава первая.**

# **ВЫСОКИЙ ЗАМОК**

### **СОЗЕРЦАНИЕ**

*Деревья складками коры  
Мне говорят об ураганах,  
И я их сообщений странных  
Не в силах слышать средь нежданных  
Невзгод, в скитаньях постоянных,  
Один, без друга и сестры.  
Сквозь душу рвётся непогода,  
Сквозь изгороди и дома,  
И вновь без возраста природа.  
И дни, и вещи обихода,  
И даль пространств — как стих псалма.  
Как мелки с жизнью наши споры,  
Как крупно то, что против нас.  
Когда б мы поддались напору  
Стихии, ищущей простора,  
Мы выросли бы во сто раз.  
Всё, что мы побеждаем, — малость,  
Нас унижает наш успех.  
Необычайность, небывалость  
Зовёт борцов совсем не тех.  
Так Ангел Ветхого Завета  
Нашёл соперника под стать.  
Как арфу, он сжимал атлета,  
Которого любая жила  
Струною Ангела служила,  
Чтоб схваткой жизнь на нём сыграть.  
Кого тот Ангел победил,  
Тот правым, не гордясь собою,  
Выходит из такого боя  
В сознание и расцвете сил.  
Не станет он искать побед.  
Он ждёт, чтоб высшее начало*

*Его всё чаще побеждало,  
Чтобы расти ему в ответ<sup>[\[1\]](#)</sup>.*

*Райнер Мария Рильке*

12 сентября 1921 года в польском городе Львове (ныне — Украина) в семье врача-ларинголога Самуэля Лема (1879–1954) и Сабины Лем (урождённой Волльнер) (1892–1979) родился будущий писатель Станислав Лем.

Жизнь Самуэля Лема (как, впрочем, многих в те годы) складывалась непросто.

Выходец из дворянской семьи, он в 1899 году окончил гимназию, а затем поступил в Львовский университет, где «...изучал медицину лет десять. Занимали его тогда и другие дела: он писал и публиковал стихи и прозу. Помню из детства ящик, заполненный вырезками из газет с его произведениями, — я тогда этим совсем не интересовался. На пятый или шестой год учёбы дед сказал ему: — Раз уж ты начал учёбу, нужно её закончить, а потом можешь делать то, что захочешь. Отец послушался...»<sup>[1]</sup>

В 1909 году Самуэль Лем получил в университете степень доктора медицинских наук. «На книжной полке лежала длинная жестяная труба с широким концом, из неё торчал рулон плотной желтоватой бумаги, от которой шёл плетёный чёрно-жёлтый шнур, заканчивающийся плоской коробочкой, содержащей в себе как бы маленький светло-красный пряник с выпуклым изображением и надписями. Это был докторский диплом отца на пергаменте, возвышенно начинающийся отпечатанными огромными буквами словами: “SUMMIS AUSPICIIS IMPERATORIS AC REGIS FRANCISCOSEPHI...”<sup>[2]</sup>, пряник же, который я остороженько раза два пытался надкусить, но больше не пробовал, так как он был невкусный, представлял собой большую восковую печать Львовского университета...» Лем-младший, похоже, считал, что это был диплом об окончании высшего учебного заведения, на самом деле это был диплом доктора наук. Самуэль Лем очень быстро приобрёл известность в городе как врач, был избран секретарём Польского отоларингологического общества (там же, во Львове), активно интересовался новостями медицины и науки.

Когда началась Первая мировая война, Самуэль был призван в австро-венгерскую армию и попал в русский плен (о чём мечтал в своё время храбрый солдат Швейк). Русский язык Лемстарший знал, это позволило ему даже в плену (в Туркестане) заниматься своим прямым делом — лечением больных. В конце концов он бежал. «Я, наверное, и не родился бы, — писал

позже Лем-младший, — если бы не один еврейский парикмахер в маленьком городке на Украине, который оказался рядом, когда моего отца красные вели на расстрел. Парикмахер знал отца по Львову, а здесь брил местного коменданта, и тот выслушал его просьбу об освобождении отца»<sup>[2]</sup>. Впрочем, по воспоминаниям некоего Израиля Петрова, на одном из приёмов в Германии Станислав Лем рассказывал, что узнал его отца даже не сам парикмахер, а его племянник, который у дядюшки подрабатывал. Дядюшка за то, что пан Самуэль подобрал ему отличные очки, велел с той поры обслуживать его бесплатно. Но пан Самуэль давал щедрые чаевые. Вот эти чаевые его и спасли, потому что племянник, ко всему прочему, оказался ещё и адъютантом командира заградительного отряда...

Сабина Волльнер, мать Станислава Лема, была родом из Пшемысля.

Она не имела никакой специальности и занималась в основном домашним хозяйством — штопала носки, стирала, убирала, готовила. С сыном всегда была ласкова, но Станислав, Сташек, как его называли в детстве, больше всё-таки льнул к отцу, поскольку интересы его уже в раннем детстве были достаточно широкими. Близких друзей у Сташека не было, по крайней мере в книге «Высокий замок» Лем ни словом о таковых не обмолвился.

«Высокий замок» — необычная книга.

Она полна самых невероятных деталей.

Этих деталей там множество. Их обилие поражает.

Подробные описания и чудесные перечисления часто самых, казалось бы, обыкновенных вещей со временем станут характерной частью писательского стиля Станислава Лема, хотя сам он признавался, что «упорядочивать воспоминания детства — занятие довольно рискованное, особенно для человека с такой скверной памятью, как у меня». А ведь ещё надо было придерживаться в себе профессионализм фантаста. Не случайно Борис Стругацкий, когда его спросили, что он думает о таких чрезвычайно детальных воспоминаниях, как те, что приведены в книге «Высокий замок», не без иронии заметил: «Да он (Лем. — Г. П., В. Б.) наверняка всё выдумал!»

Может, и выдумал.

Но мы не можем не верить Лему.

Это его книга, это его детство, это его воспоминания.

В конце концов, именно «Высокий замок» позволяет нам заглянуть в теперь уже далёкие двадцатые и тридцатые годы прошлого века.

Лет в пять Сташек начал с увлечением конструировать всяческие электрические моторы, даже электролизом воды самостоятельно занимался. По схемам, найденным в толстой немецкой книге (из библиотеки отца), он пытался строить электрофорную машину Вимсхурста, индуктор Румкорфа, трансформатор Николя Теслы. Чуть ли не каждый день он неугомонно заносил в толстые чёрные тетради, а также в тетрадки поменьше, обклеенные мраморной бумагой, соображения о таких фантастических устройствах, как, например, приборчик для разрезания зёрен варёной кукурузы, или самолёт, построенный в форме огромного параболоида, или электромагнитная пушка, ну, само собой, вечный двигатель.

«Я проектировал боевые машины, — рассказывал писатель в романе «Высокий замок». — Одноместный танк — что-то вроде стального плоского гроба на гусеницах, с автоматическим пулемётом и мотоциклетным мотором, танк-снаряд, танк, перемещающийся по принципу винта, а не благодаря поступательному движению гусениц, самолёты, взлетающие вертикально — благодаря изменению расположения двигателей, и множество иных, больших и маленьких машин и приборов. Рисовал я тщательно и умело, разумеется, с различными фантастическими табличками, в которых фигурировали придуманные цифровые данные и другие важные технические подробности»<sup>[3]</sup>.

(Кстати, недавно в Интернете появилась информация, что в 1944 году 23-летний Станислав Лем предлагал руководству Советского Союза свою помощь в работе над прототипом нового танка; там даже приводится копия письма из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.)

Для детских *официальных* приёмов (никогда, понятно, не случавшихся) предприимчивый юный Сташек изготавливал собственные алкогольные напитки. «Я прятал за томами энциклопедии Брокгауза и Майера, — признавался он позже, — грязно-белый ящичек со скляночками, заполненными остатками вин и коктейлей собственной рецептуры. Я пользовался буфетом матери; основой коктейлей была тминная настойка, которую отец иногда употреблял перед обедом»<sup>[4]</sup>.

Ну, и, конечно, в такой книге, как «Высокий замок», нельзя было обойти разные любовные увлечения. Жертвой самого первого из них пала

Миля — прачка семьи Лемов; разумеется, в свои пять лет Сташек собирался на ней жениться. Потом он так же необыкновенно влюбился в учительницу начальной школы; к сожалению, признавался писатель, время напрочь стёрло замечательные (какими ещё они могли быть?) черты этой его любви. И вообще «...понемногу моей специальностью становилась несчастная любовь. Я до умопомрачения влюбился в девочку, которая была старше меня года на четыре, то есть почти в девушку, если учесть, что мне в то время было около десяти лет. Любопытно, что бурность такого рода платонических увлечений отнюдь не мешала мне в “любовишках” более — как бы это сказать? — вульгарных. Однажды, когда мне было, вероятно, лет восемь, отец, войдя на кухню, застал меня за тривиальным занятием: я щипал служанку. Смутившись, я пробормотал что-то вроде: “ах, да” и вышел...»<sup>[5]</sup>.

Только в гимназии страсти юного Сташека несколько поутихли, скорее всего, из-за тогдашнего раздельного обучения девочек и мальчиков.

А писать он научился в четыре года. И первое письмо, отправленное им отцу из города Сколы, куда он поехал с мамой, оказалось достаточно информативным. В нём сообщалось о том, что он, юный Сташек, нечаянно «искупался» в деревенском клозете с дыркой в доске. Правда, он не написал отцу, что туда же, в дырку, выбросил ключи доктора, у которого они останавливались.



Человек растёт.

Мир требует внимания.

«Я, конечно, был Зверобоем, Маугли, капитаном Немо; в мою память запали обрывки самых неожиданных текстов. Покупая после войны книжку Уминьского<sup>[3]</sup> “Путешествие без денег”, я старательно её перелистал, чтобы найти одну из прелестнейших её фраз: “Пуля, с характерным грохотом пронзив пространство...” — речь шла об охоте на крокодила или носорога, но, увы, мне попало новое переработанное издание, и изумительная пуля с её характерным грохотом, к великому моему разочарованию, исчезла из книжки. А “Замкнутое ущелье”?<sup>[4]</sup> Чего только я не пережил, читая её! Что же говорить о “Духе джунглей”?<sup>[5]</sup> Такие книги нельзя было читать, лежа под окном и ловко балансируя стулом или забравшись с ногами на стул и облокотившись о крышку стола. Нет, нужна была твёрдая уверенность, что рядом находится кто-нибудь из взрослых, но всё равно бывало страшно. Диккенса я читать не хотел — он был словно беспросветная дождливая осень, а в Дюма я просто-напросто заблудился, затерялся — началось невинно с “Трёх мушкетёров”, а спустя некоторое время оказалось, что для того, чтобы прочесть все его книги, не хватит жизни...»<sup>[6]</sup>

В статье «Книги детства» Станислав Лем специально подчёркивал тот факт, что не было у него в том нежном возрасте никакого специального «плана» чтения, то есть никто не указывал, что ему следует читать, а что пока надо бы отложить в сторону. У юного Сташека был свободный доступ к отцовским книгам, хотя, конечно, всё начиналось с простеньких стишков Янины Поразиньской (1888–1971): «Одна ворона без хвоста», «Мы забрались на крышу», наконец, «О комаре, который упал с дуба и в кустах переломал кости». В этих неприхотливых рифмованных строках, как ни странно, заключался целый мир, поразительно знакомый, но увиденный всё-таки не своими (в четыре года это чрезвычайно поражает) глазами. К тому же именно в четыре года можно так остро сочувствовать даже несчастному комару — в годы зрелости подобных чувств мы уже не испытываем.

«Из раннего периода я помню такие голубые и красные книжечки. Красные были, видимо, для младших детей, а голубые — для старших. Эти книжечки выходили в виде отдельных тетрадок, которые, когда их

собиралось некоторое количество, можно было переплести, а обложку предоставлял издатель. Это может показаться смешным, но я помню лишь одну сцену из такой книжечки. Думаю, что мне было тогда семь лет. Я помню, что мальчик плыл в бочке и отталкивался от дна палкой, а бочка всё накренилась и накренилась, и тогда это представлялось мне жутко страшным...»

И далее: «Вспоминая о первых книгах, я вижу, что в них было множество разных ужасов. Например, “Лесной дьявол”. Понятия не имею, кто это написал<sup>[6]</sup>. Позднее узнал я, что психологи категорически против того, чтобы эту книгу читали дети, опасаясь влияния содержащихся там страхов на детскую психику. Там ножом вырезали какие-то знаки на груди трупа. Помню, как я переживал такую сцену: кого-то схватили и связали, усадили на коня, на шею надели петлю, а верёвку привязали к толстому суку. Это было очень тягостно. Вспоминаю также другую книжку с невинным названием “Солнышко”. Тоже очень страшная, потому что в конце там происходил жуткий пожар на чердаке. Получается, что первые мои книги были ужасающим чтением...»<sup>[7]</sup>

Ещё юный Сташек любил разглядывать анатомические атласы из библиотеки отца. Отсюда очередное необычное развлечение: из разноцветного пластилина он лепил куклу, а затем вскрывал ей живот, чтобы изучать вложенные туда такие же пластилиновые внутренние органы.

Впрочем, интересы будущего писателя распространялись и на космос.

Чрезвычайно понравился ему роман Жюль Верна (1828–1905) «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут» (У Лема — «Путешествие на Луну»). Единственное, что портило настроение мальчику: досада на автора, не решившегося описать высадку на Луне. Впрочем, в июле 1969 года Станислав Лем увидел такую высадку своими собственными глазами — на экране телевизора.

В «лунной» трилогии Ежи Жулавского (1874–1915) юному Лему не понравилась третья часть — «Старая Земля», зато от первых двух частей он пришёл в восторг и не случайно позже в своей работе «Фантастика и футурология» закончил разговор о Жулавском весьма эмоциональным восклицанием: «Фотонную ракету тому, кто найдёт текст, столь же интеллектуально изысканный и конструктивно связанный, во всей научной фантастике!»

Затем был роман Верна — «Двадцать тысяч лье под водой».

Роман этот, по словам Лема, походил на какой-то справочник по

ихтиологии, но ранняя страсть будущего писателя к систематике преодолела все трудности. Гораздо проще было читать «Таинственный остров», но ещё легче «пошли» приключенческие романы Карла Мая (1842–1912).

«Много слёз я пролил, оплакивая смерть Виннету.

Потом в силу обстоятельств я читал про Олд Шаттерхенда.

Всё там происходит на высокой моральной высоте. Всё было такое красивое, благородное и прекрасное. Виннету со своим ружьём с серебряными гвоздиками. Олд Шаттерхенд со своим штуцером Генри. Всё такое благородное и в определённом смысле — для праведных душ довольно поучительное. Теперь всё иначе, если и пишут в такой условности, то более кроваво и жестоко. Сегодня Олд Шаттерхенд наверняка записался бы в Христианско-Национальное Объединение<sup>[7]</sup>, потому что он прилежно придерживался всех христианских ценностей. Мог, конечно, пустить в ход кулаки, но старался по возможности не убивать. В этих книгах сначала одни коварно нападали и связывали, потом кто-нибудь приходил с ножом или с зубами (иногда с ножом в зубах) и разрезал путы. Затем связывали тех, которые нападали. Привязывали их к позорному столбу или к скале. Бросали в них ножами или немного поджаривали. Очень интересно, что эти ужасно скучные книги (в моём нынешнем восприятии) вызывают интерес у новых поколений читателей. У меня есть достоверная биография Карла Мая, из которой следует, что он никуда не ездил и почти ничего не видел. Обложившись справочниками, словарями и картами, он писал свои приключенческие романы о путешествиях, не покидая четырёх стен. Иногда, впрочем, он и не мог их покидать, — и благодаря этому у него было много свободного времени, ибо где ещё лучше пишется, чем в тюрьме? Не в качестве сравнения, а как факт: Адам Михник<sup>[8]</sup> тоже сидел и немножко писал в таких местах. Но, конечно, Адам Михник — это не Карл Май. Я предпочёл бы быть подальше от инсинуаций подобного рода. Карл Май создал свой собственный мир, который почти не имеет связей с миром реальным. Может быть, это и является частью тайны неослабевающего успеха его книг...»<sup>[8]</sup>

Романы Александра Дюма-отца (1802–1870), комедии Александра Фредро (1829–1891), стихи и поэмы Юлиуша Словацкого (1809–1849), Адама Мицкевича (1798–1855) -Сташек поглощал всё, даже романы ныне совершенно забытой Марии Буйно-Арцтовой (1877–1952). Ему нравились рассказы Джека Лондона (1876–1916), обе «Книги джунглей» Редьярда Киплинга (1865–1936), романы Конан Доила (1859–1930) и Герберта

Уэллса (1866–1946). «У меня была старшая кузина Марыся, которую позже убили немцы, — вспоминал Лем. — Мы звали её Мися. Она была старше меня на два года, но сама считала, что старше на все двадцать. Когда мне было одиннадцать лет, Мися сказала, что я ещё не могу читать “Трилогию” (Генрика Сенкевича. — Г. П., В. Б.), потому что в ней очень много латинских слов, которые я не смогу понять. Поэтому я с большим страхом взялся за чтение “Трилогии”. Оказалось, пошло хорошо, и с тех пор я читал трилогию всегда с огромным удовольствием».

«Немного позже я открыл Стефана Грабиньского, — вспоминал Станислав Лем. — У меня даже был знакомый, который дружил с его дочерьми. От этого знакомого я узнал, что в доме Грабиньского книги отца из-за некоторой своеобразной фалличности и других элементов, небезопасных для молодых девушек, были замкнуты в шкафу на ключ, чтобы дочери, упаси боже, не подверглись какому-нибудь искушению. Много позже, когда мне представился случай поспособствовать “экспортированию” польской литературы за границу, я горячо рекомендовал моему немецкому издателю этого писателя. И не произошло никакого разочарования. Наоборот, случилась даже необычная история. Прекрасный переводчик доктор Штеммлер этот младопольский, иногда слишком буйный язык немного причесал, и оказалось, что это пошло Грабиньскому на пользу. Это действительно был романист высшего класса».

Трудно не процитировать ещё одно воспоминание Лема.

«Очень редко случается, чтобы перевод оказался лучше оригинала. Я знаю лишь один такой случай. “Kubuś Puchatek”<sup>[9]</sup> Ирены Тувим — это гениальная книжка. А вот ту пани, которая сделала из *Puchatka* какуюто “Фредзю Фи Фи”, я бы тупым ножом забил за то, что она сделала с этой книгой. А тех, которые её за это хвалили... Не буду говорить, что следовало бы с ними сделать... Этот полный необычайного очарования текст был попросту кастрирован... А вот Ирена Тувим сделала то, что бывает очень редко. Она совершила гениальную трансформацию на польский язык. Придумала это прелестное имя *Puchatek*. У этой книги есть удивительное свойство: она совершенно не устаревает. Она выдерживает труднейшее из всех испытаний — испытание временем. Есть книги, которые растут вместе с нами, которые мы “переносим” в свою взрослость и потом открываем их заново...”<sup>[9]</sup>

Конечно, были и «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (1832–1898), хотя Лем всегда считал, что «Приключения Алисы»

написаны совсем не для детей. Был ещё огромный том в коленкоровом переплёте — «Чудеса природы» профессора Выробка, купленный перед войной за 80 злотых (цена хорошего костюма). В этой книге можно было найти сведения о чём угодно. С присущим ему юмором Лем как-то заметил: «Хорошо быть ребёнком... богатых родителей».

Благодаря ещё одной статье Лема («Моя польская библиотека») мы имеем отчётливое представление о кабинете его отца, где у стола примостилось большое кожаное кресло, а у изразцовой печи — диван. В этом кабинете юный Сташек держал и свои собственные книги — уже упоминавшихся Словацкого и Фредро (с золочёными корешками в светло-сером коленкоре), Мицкевича, а с ними толстый том Циприана Камиля Норвида (1821–1883), энциклопедию «Мир и жизнь» в пяти томах, ещё одну энциклопедию — Тшаски, Эверта и Михальского, разные словари и, конечно, книги Эдгара По (1809–1849), Герберта Уэллса, «Охотники за микробами» Поля де Крюи (1890–1971), «Вселенную» Джеймса Джинса (1877–1946). Всего этих книг было около двухсот. Всю жизнь Лем помнил чудесное золотое тиснение на энциклопедии «Мир и жизнь» и серо-зелёный коленкор энциклопедии с красными вставками на корешке.

Тогда же Станислав Лем познакомился с научной фантастикой.

«Это была история экспедиции к “белому пятну” в сердце Африки.

Участники экспедиции, преодолев горы и джунгли, натолкнулись на неизвестное племя дикарей, которые знали некое страшное слово, произносимое исключительно *in extremis*, ибо каждый, кто его слышал, тотчас превращался в кучку студня примерно метровой высоты. Эти кучки были в книжке описаны очень подробно, впрочем, как и способ, благодаря которому дикари сами не превращались в желе. Способ был гениально прост: выкрикивая трансмутирующее слово, дикари плотно затыкали себе уши. Я сразу запомнил ужасное слово, но не сразу осмелился его произнести, памятуя о судьбе одного учёного-маловера, который, легкомысленно подсмеиваясь над сообщением последнего уцелевшего участника экспедиции, произнёс это слово, конечно, с трагическими — желеобразными — последствиями. Слово это было — “эмэлен”. Спешу пояснить, что в то время я не верил в сказки, хотя читал их охотно. Однако историю с “эмэленом” я не считал сказкой — скорее, это был рассказ в духе Эдгара По (я не утверждаю, что он представлял собой какую-либо ценность, я просто говорю о моих тогдашних — тринадцатилетнего мальчишки — ощущениях)...»<sup>[10]</sup>

Ничего удивительного, что при таком интересе ко всему необычному Лем увлёкся ещё одним поистине необычным занятием — он начал создавать разнообразные самодельные удостоверения.

«Заслонившись приподнятой в левой руке обложкой раскрытой тетради и делая при этом вид, будто записываю слова профессора<sup>[10]</sup>, я изготовлял их на уроках, изготовлял в массовом количестве, не торопясь, исключительно для себя, никому не показывая ни краешка. Период ученичества я опускаю; разговор, стало быть, пойдёт о мастерстве, достигнутом во втором и третьем классах. Прежде всего, я вырезал из гладкой бумаги тетрадок небольшие листки, складывал их вдвое в виде книжки и сшивал особым образом и специальным материалом...

Что это были за удостоверения?

Да самые разные: дающие, например, определённые, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал на этих удостоверениях звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках — различные виды чековых книжек и векселей,

равносыльных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни...»<sup>{11}</sup>

В некотором роде такое необычное увлечение являлось мысленным продолжением творения неких вымышленных книжных миров, ибо созданные юным Лемом самодельные документы отображали сложную общественную жизнь целых государств. Там можно было увидеть удостоверения личности для императоров и их сановников, для канцлеров и министров, к тому же удостоверения эти снабжались многими приложениями и дополнениями. «Сегодня, — писал Станислав Лем в «Высоком замке», — в печальной фазе сознательного творчества, я, вероятно, сразу бы довёл и суть, и саму тему до абсурда, придумывая разрешения на движение галактик, а геологическим эпохам выдавая свидетельства зрелости».

И, конечно, кино.

Ну как было не запомнить фильм о Кинг-Конге?!

Мохнатая обезьяна ростом с четырёхэтажный дом влюблялась в даму и, вытащив её через окно небоскрёба, рассматривала, держа на ладони...

А ещё были фильмы о Мумии, о Чёрной комнате, о Вурдалаке.

В «Мумии» знаменитый актёр Борис Карлофф, игравший главную роль, клал руку на плечо юному египтологу — и ужасна была именно эта появляющаяся из могилы пятерня. Борис Карлофф (1887–1969), по мнению писателя, вообще был непревзойдённым исполнителем ролей истлевших покойников — «Франкенштейн» (1931), «Невеста Франкенштейна» (1935), «Сын Франкенштейна» (1939). «У меня была ужасная привычка подталкивать отца локтем в бок во время наиболее сильных сцен в кино, а на некоторых фильмах отцу доставалось особенно. Сдержаться я никак не мог — это было сильнее меня...»



В 1931 году Станислав Лем окончил начальную школу имени С. Жулкевского<sup>[11]</sup>.

Он жил в своём мире — в мире весьма неординарного ребёнка, придумывающего свои собственные игры. Кстати, случайно, уже после войны, Станислав Лем узнал от одного пожилого человека, служившего в 1930-е годы в школьном ведомстве, что как раз в 1936-м или, может, в 1937 году его коэффициент умственных способностей достиг едва ли не ста восьмидесяти. «Оказывается, я был тогда чуть ли не самым способным ребёнком во всей южной Польше, о чём никакого понятия не имел, поскольку о результатах тестирования не сообщалось»<sup>[12]</sup>. Но мальчику и в голову не приходило, что реальный мир, в котором он живёт, — стремительно и катастрофически меняется. Европа стояла на пороге огромных потрясений, практически все страны готовились к войне.

Военный психоз охватил и Польшу.

В «Высоком замке» Станислав Лем писал о том, что раз в неделю все гимназисты меняли привычную форму на нечто вроде зелёной полотняной рубахи, надеваемой прямо через голову, как гимнастёрка, а кто мог, прикручивал на грудь харцерские значки и прочие стрелковые отличия. Сам Лем, кстати, заработал на занятиях по военной подготовке золотой значок.

Впрочем, это мало что меняло.

«За три года военной подготовки нам, например, ни разу не говорили о том, что существует что-либо похожее на танки. Как будто их вообще не было. Да, нас учили всевозможным газам и названиям частей оружия, и уставам, и караульной службе, и местной тактике, и множеству иных вещей; в общем, за год набиралось что-то около ста часов, и триста — в последних классах. Но всё это выглядело так, словно нас готовили на случай войны — ну, вроде Франко-прусской 1870 года. Мы не были частицей армии — ведь мы не входили в её состав, — нет, мы были лишь намёком на такую частицу. На сколько же тысяч надо было помножить это вошедшее в систему анахроничное, никому ни на что не нужное школярство, чтобы стал ясен масштаб всех этих изнурительных подготовок. Поражение заслонило всё, но я и сейчас не могу спокойно, без тоскливого изумления думать об этом пропавшем труде»<sup>[13]</sup>.

В начале лета 1939 года Станислав Лем сдал экзамены на аттестат зрелости во 2-й Государственной гимназии им. Кароля Шайнохи<sup>[12]</sup> и начал готовиться к поступлению в политехнический институт.

Но мир уже кардинально изменился.

Именно в 1939 году противоречия между партиями, государствами, военными и политическими блоками достигли критического уровня. В конце января испанские республиканцы, собственно, уже проигравшие гражданскую войну, оставили Барселону. В феврале Англия и Франция признали националистическое правительство генерала Франсиско Франко. Кстати, в том же году на конференции по теоретической физике, проведённой в Вашингтоне, датский физик Нильс Бор объявил об открытии деления урана, но на его сообщение никто, конечно, кроме специалистов, внимания не обратил. Читателям газет тогда даже в чёрных снах не могли присниться страшные атомные грибы, через несколько лет выросшие над Хиросимой и Нагасаки.

10 марта 1939 года чехословацкое правительство Рудольфа Берана распустило автономное правительство Словакии и ввело там военное положение. Но через три дня сейм Словакии провозгласил своё независимое государство, и, воспользовавшись этим, Гитлер тут же ввёл войска в Чехословакию. Никакого сопротивления оккупантам чешская армия не оказала. Только в небольшом городе Мистек рота солдат под командованием капитана Павлика вступила в бой с наступающими частями, но это был первый и, кажется, единственный случай организованного сопротивления мощному германскому вторжению. В Пражском Граде Гитлер незамедлительно подписал указ, объявивший Богемию и Моравию германским протекторатом.

В это же время венгерская армия начала оккупацию Закарпатья, а генерал Франсиско Франко подписал секретное соглашение о присоединении Испании к оси Берлин — Рим. Италия оккупировала Албанию, Венгрия демонстративно вышла из Лиги Наций. В мае 1939 года на далёкой монгольской реке Халхин-Гол начались жестокие бои между Японией и СССР, а 23 августа в Москве был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа).

Наконец, 1 сентября 1939 года (эта дата считается официальным

началом Второй мировой войны) в 4 часа 45 минут, согласно плану «Вайс», германские войска без всякого объявления войны начали наступление по всей германо-польской границе, в том числе с территории Моравии и Словакии. Линкор «Шлезвиг-Гольштейн» залпами своих башенных орудий начал Вторую мировую войну. Он открыл беглый огонь по польским складам военно-морской базы Вестерплатте в свободном городе Данциге на Балтике. Высаженные на берег десантники легко взяли здание «Польской почты», и уже во второй половине дня (это тоже можно считать историческим событием) более двухсот первых пленных поляков были отправлены в только что созданный концентрационный лагерь Штуттоф.

Хроника событий 1 сентября известна буквально по часам.

В 4.40 (по местному времени) 1-й дивизион пикирующих бомбардировщиков имени Макса Иммельмана (76-го полка люфтваффе) под командованием капитана Вальтера Зигеля начал бомбардировку польского города Велюня.

Через полчаса бомбы упали на Хойниц, Старогард и Быдгощ.

Около 7.00 возле города Олькуша польский лётчик Владислав Гнысь подбил первый немецкий самолёт. В это же время германские бомбардировщики были отогнаны польскими истребителями от Варшавы. Зато разрушительным бомбёжкам подверглись Гдыня и Хель, и мощные бомбы обрушились на Верхнюю Силезию, на Ченстохову и Краков. Операция «Вайс» (польские историки предпочитают называть её «Сентябрьской кампанией») оказалась недолгой. Главная задача, поставленная перед германскими войсками, скоро была выполнена: «польский коридор» — выход к Балтийскому морю — был проложен.

Великобритания, Франция, Индия, Австралия и Новая Зеландия — союзники Польши — незамедлительно объявили войну Германии.

А 17 сентября (в соответствии с секретными протоколами, подписанными Молотовым и Риббентропом) на территорию Польши вошли советские войска.

И хотя Япония и США пока что заявляли о своём нейтралитете в этой, на их взгляд, *европейской* войне, она мгновенно перебралась на весь мир.

19 сентября разведывательный батальон советской 24-й танковой дивизии вошёл во Львов и к пяти часам утра занял всю восточную часть города. Была установлена связь с польскими частями, начались переговоры о сдаче, но в 8.30 подошедшие с запада германские стрелки из 137-й горной дивизии начали свою собственную атаку на город. Правда, столкновения длились недолго, уже на другой день немецкие части были отведены от города.

22 сентября в 11.00 было подписано соглашение — «о передаче города Львова войскам Советского Союза».

«Так случилось, — вспоминал позже Станислав Лем, — что экзамены в институт я сдал в начале лета, а в конце его началась война.

Для меня это был страшный момент, я постоянно в мыслях к нему возвращаюсь.

Сверху, по Сикстуской улице (во Львове. — Г. П., В. Б.) из Цитадели двигалась лёгкая польская конная артиллерия, а из боковых улиц вдруг на лошадях выехали русские (не знаю почему, но все с монгольскими лицами). У каждого из них в одной руке был наган, а в другой — граната. Они приказали нашим солдатам снять портупеи, всё оружие бросить на землю, орудия с лошадьми оставить и уходить.

Мы стояли поражённые и плакали.

Мы видели, как пала Польша!»<sup>[14]</sup>

Впрочем, первые впечатления от новой установившейся в городе власти были у Станислава Лема скорее благожелательные. Поначалу советские военные, как, кстати, позднее и немцы, вели себя вполне пристойно, можно даже сказать, цивилизованно. Это потом, когда в городе появились сотрудники советского НКВД, начались многочисленные аресты. Механизм этих арестов, по наблюдениям Лема, был примерно одинаков и у НКВД, и у гестапо. «Только те, кто приходил за первыми отрядами военных, — писал Лем, — брали людей за жопу»<sup>[15]</sup>.

В квартире Лемов поселился сотрудник НКВД по фамилии Смирнов.

Сабина попыталась выставить его за дверь, но Самуэль этого не позволил.

К счастью, Смирнов оказался человеком скорее добродушным, не злым, склонным к занятиям, скажем так, весьма нехарактерным для его службы. В 1941 году, когда советские части спешно покидали Львов, в комнате «постояльца» остались общие тетради, исписанные... стихами. Сотрудник НКВД — поэтическая натура? Ну а почему бы и нет? Лема это не удивило. Стихи не мешали Смирнову выполнять свои обязанности. Когда вечерами он надевал свой казённый мундир, всем сразу становилось ясно, что в городе готовится очередная «чистка». Станислав тут же бежал к знакомым, у которых в паспортах не было львовской отметки. Впрочем, по собственным словам писателя, всем этим людям он помогал скорее назло русским, чем из каких-то особенных патриотических побуждений.

Экзамены в политехнический Станислав сдал, но в институт его не приняли.

По законам советской власти он автоматически зачислялся в социально неблагонадёжные элементы — «сын буржуя». «Что-то с этим нужно было делать, — вспоминал писатель, — поэтому в том же 1939 году я стал студентом Львовского медицинского института; попал туда окольным путём, благодаря тому, что отец использовал свои старые знакомства. Он когда-то был ассистентом профессора Юраша, одного из создателей польской отоларингологии, вот с его помощью и с помощью профессора Парнаса, очень известного биохимика, я и был включён в список сдающих экзамены по медицине. Я пошёл в медицинский институт неохотно, просто понимал, что, если не начну учёбу, будет хуже»<sup>{16}</sup>.

Очень трудно рассказывать о Станиславе Леме, не обращаясь к его многочисленным статьям и интервью, в которых позже он вспоминал свою юность. Это время — военное, страшное и смешное одновременно — постоянно преподносило будущему писателю неприятные сюрпризы, о которых он раньше и думать не мог.

Однажды, например, после экзаменационной сессии студентов медицинского института вызвали на улицу Мицкевича в какой-то богатый особняк. Там сохранилась великолепная мебель, стояли белые диваны в стиле ампира. «Нас закрыли в прекрасном большом зале, где мы сидели, совершенно не зная, в чём дело. Нас вызывали по одному, и те, кто уходил, к нам уже не возвращались. Когда пришла моя очередь, оказалось, что мне дают шанс вступить в комсомол. Я сказал, что это издавна является моей мечтой, но я ещё не готов и должен для этого подучиться. На это они начали мне объяснять, что меня подучат в организации, но я упёрся, что должен сам для этого созреть».

И далее: «Это была моя первая встреча с ситуацией, когда я должен был прибегнуть к обману. На мой взгляд, сыграл я искусно, хотя не планировал этого, даже не думал об этом. Просто, услышав слово “комсомол”, немедленно сказал, что очень хочу, но вступить не могу, потому что не созрел духовно. Меня выпустили через другую дверь, и это не имело никаких последствий. То есть можно было поступить и так»<sup>{17}</sup>.

А вот как Лем описывал манифестацию во Львове по случаю 1 Мая 1940 года:

«Студенты маршировали по улице Легионов, которая тогда называлась как-то иначе, и не только боковые улицы были перекрыты военными, но и вход на эти улицы с другой стороны был заблокирован. Все окна были закрыты, а город вымер, как после атомной атаки. Все попрятались, как крысы, совершенно никого не было видно. Именно тогда я понял, что это за система (советская. — Г. П., В. Б.) и как она действует. Например, в кинотеатре “Марысенька” я увидел советскую хронику, в которой показывали московскую шоколадную фабрику “Красный Октябрь” и её работников, упаковывающих шоколадные конфеты. Почему-то я сразу понял, что при этой системе никогда уже никаких шоколадок не увижу...

Ещё я помню тысячи анекдотов о красноармейцах, некоторые из этих анекдотов наверняка были правдивыми. Например, входят двое русских в магазин и, показывая на нафталин, лежащий на полках, спрашивают: “А что это за белые шарики лежат там?” Им давали шарики в руки, они клали их в рот и глотали. И даже не кривились! Или о жёнах командиров, которые в ночных рубашках ходили в театр. Была также хорошая история об одном чудаке, который мыл голову в унитазе, а когда вода переставала течь, в ярости гонялся за хозяйкой. Нас эти рассказы, конечно, страшно развлекали, потому что мы были, в конце концов, беззащитными, малыми существами в лапах тупой яростной гориллы...

Однако при немцах мы такие истории уже не рассказывали.

Но эти русские, они действительно были *grand guignol*<sup>[13]</sup>. Можно было прийти к красноармейцу и спросить: “А ископаемая шерсть у вас есть?” А он всегда с каменным лицом уверенно отвечал: “Конечно, есть”. К немецкому солдату никто бы с таким вопросом не пошёл. Русские, конечно, были опасны, но с большой примесью гротеска и абсурда. Это были совершенно разные ментальности — немецкая и советская. Когда русские подошли к Познани и начался обстрел города, солдаты в поле в котелках подогревали свиную тушёнку. Американский корреспондент спрашивал, как они могут в такой момент заниматься готовкой пищи, да ещё на открытом пространстве, ведь в любую минуту может начаться обстрел. А они отвечали на это: “Niczego, nas много”.

Гораздо больше страха было, когда русские пришли во Львов во второй раз, то есть когда они нас опять “освободили” (27 июля 1944 года. — Г. П., В. Б.). Вот тогда мы действительно боялись. А при “первых” Советах был только один тягостный момент, да и то вызванный, скорее, моими собственными увлечениями и моим бездумьем. Я собирал различные модели из металла и, между прочим, сконструировал маленький танк и небольшую пушечку. А потом сделал снимки этих моделей. И хотя

отец запретил мне это, я всё-таки отнёс плёнку для проявки фотографу. Когда я пришёл за отпечатками, хозяин заведения сказал мне: “Там на этаже вас кто-то ждёт”. Это, конечно, был энкаведист. Я немедленно объяснил ему, что это такое, и — ничего не случилось. Но для меня это стало уроком благоразумия, больше я подобной беспечности не допускал»<sup>[118](#)</sup>.



Война войной, но надо было зарабатывать на жизнь.

Страх преследовал людей. Страх жил в городе постоянно.

Сын писателя Томаш Лем позже (понятно, со слов отца) писал: «Наиболее драматическим из ранних военных испытаний отца был вынос разлагающихся тел расстрелянных отступающими русскими, а руководили процедурой этого выноса немцы. Отец был убеждён, что по завершении работы он тоже будет расстрелян. Но как-то остался жив. Правда, одежда после этой “работы” страшно воняла, и её пришлось сжечь. Отцу тогда было неполных девятнадцать лет, он был впечатлительным юношей, и это было для него тяжёлым переживанием, — и наверняка не единственным, потому что во время немецкой оккупации он довольно долго скрывался под фальшивым именем. Учитывая всё это, легко понять нежелание отца говорить о прошлом...»<sup>[19]</sup>

«Всё лето сорок первого года, — вспоминал сам Лем, — семья решала, что со мной делать: немцы закрыли все учебные заведения, а я совершенно не хотел заниматься канцелярской работой. И тогда через какого-то знакомого мне удалось устроиться на физическую работу в немецкой фирме *Rohstoffeffassung*, которая занималась поисками сырья. Единственным основанием для приёма на такую работу были так называемые “зелёные” любительские водительские права, которые я получил незадолго до начала войны. Я был даже не автомехаником, а помощником механика. Я зарабатывал всего 900 оккупационных злотых и не раз пытался переквалифицироваться, потому что работа с двигателями наводила на меня скуку. К тому же при немцах каждый старался выправить себе более высокую профессиональную квалификацию, чем та, которой он действительно обладал, так что на работу я был принят сразу как *Autoelektriker und Automechaniker*. По этой же причине я начал учиться сварочному делу и чему-то, в конце концов, даже научился, хотя сварщиком остался скверным. Время от времени, и это было самым интересным в тогдашнем моём существовании, фирма организовывала поездки на машинах на большие поля битв где-нибудь под Грудкем Ягеллонским и Равой Русской, и там я автогенной горелкой резал корпуса подбитых танков. Подозреваю, что весь этот железный лом прямиком отправлялся на заводы Круппа, однако у меня не было ощущения, что я делаю что-то дурное. Организовывали нам также поездки на “Beutepark der Luftwaffe” на

территории Восточной Ярмарки — там находилось огромное количество военного оборудования, брошенного отступающими советскими войсками. Я помню, что там стояли даже совершенно неповреждённые автомобили...»

И далее: «Как-то мне поручили разбирать большой санитарный транспорт, под которым в снегу (дело было зимой) я нашёл мешочки с порохом и немного патронов. Я решил передать всё это какой-нибудь подпольной организации. Сейчас уже не могу реконструировать весь ход событий и не помню никаких деталей, но во время оккупации часто так случалось, что я принимал участие в чём-то таком, о чём ничего нельзя было говорить. Знаю, что в каких-то публикациях писали, будто я участвовал в движении сопротивления. Но, правду сказать, весь мой вклад заключался в том, что, познакомившись с какими-то людьми, которые работали для какой-то подпольной организации (даже не знаю, для какой), я некоторое время доставлял им то найденные взрывчатые вещества, то снятые с разрушенных русских танков плоские радиоустройства, то штыки. Но это были случайные контакты. Меня сразу предупредили, чтобы я ни о чём не расспрашивал и не старался узнать больше, чем нужно. Вот я должен доставлять материалы, которые идут на войну с немцами, и это всё. Так что не могу рассказать о польском подполье ничего конкретного. Было только приятное чувство, что хоть таким образом содействую патриотическому движению. Кстати, во Львове тогда сложилась довольно непростая ситуация: ведь многие рассчитывали на то, что немцы поддержат планы возникновения Самостийной Украины...»<sup>{20}</sup>

На чердаке гаража Станислав Лем некоторое время укрывал еврея.

Этого парня звали Тиктин, он был на год младше Лема и учился в совсем другой гимназии, но они были как-то знакомы. Тиктин подбежал к Лему на улице, когда еврейские полицейские, носившие такие же шапки, как и польская полиция, только украшенные звездой Давида, сопровождали евреев на работу. Это было утром. Сбежавшего парня Лем быстро провёл в гараж. Тиктин был в гражданской одежде, но в офицерских сапогах и с непокрытой головой. С двумя друзьями он собирался уехать из страны, но они попали в засаду, потому что с венгерскими солдатами, обещавшими им помощь, пришёл некий вооружённый еврей, работавший на гестапо. Началась стрельба, вот Тиктин и сбежал от преследователей.

Какое-то время Лем находился в растерянности.

Он понимал, что прятать парня в таком месте — чистый идиотизм.

К счастью, Тиктин через некоторое время сам ушёл. Лем вовремя сообразил, что если парня поймут, то, конечно, начнут допрашивать и

тогда он может не выдержать и расскажет, у кого скрывался. В этот же день Станислав перебрался к одной знакомой старушке, у которой и жил до тех пор, пока ему не сделали документы на имя Яна Донабидовича...

Кажется невероятным, но именно в те месяцы Лем написал первую свою фантастическую повесть — «Человек с Марса». Он начал писать её всё в том же гараже. Руки разъедены смазкой и песочным мылом, но приходилось терпеть. Для того чтобы заниматься ночными ремонтами, у Лема, как и у других механиков, был ночной пропуск, но ходить по ночному городу было и страшно, и опасно — украинская полиция запросто могла расстрелять поляка прямо на улице.

Прочитанное и увиденное... Немцы, русские, поляки, украинцы...

И тут же (в рукописи) далёкий Нью-Йорк... И некий вьедливый безработный журналист... И учёные, изучающие пришельца с Марса, корабль которого потерпел аварию... Поймут ли друг друга земляне и марсиане, если не могут понять друг друга не то что жители одной планеты, а даже самые близкие соседи — поляки, украинцы, немцы, русские?

Над белым замком хлопьев хоровод.  
В пустынных залах — леденящий холод.  
Повсюду — смерть.  
И край стены отколот.  
И снег лежит от окон до ворот.  
Повсюду — снег.  
На крыше — серый лёд.  
То смерть моя вдоль белых стен крадётся  
В продрогший сад. Она ещё вернётся  
И стрелки на часах переведёт<sup>[14]</sup>.

Интонации Райнера Марии Рильке (1875–1926) всегда были близки Лему.

У него хранились два небольших сборника этого поэта, родившегося в Праге, но имевшего австрийское подданство. Лем даже пытался переводить понравившиеся ему стихи, но немецкий язык его был в то время ещё недостаточно хорош, хотя именно Рильке с его аллюзиями, его интонациями, несомненно, повлиял на ранние литературные опыты Лема, особенно на «Магелланово облако» — роман действительно красивый

стилистически, что впоследствии Лема раздражало.

В 1944 году во Львов снова вошли советские войска. По интервью Лема можно ясно представить события тех дней.

Русские многому научились у немцев, у своего сильного противника, писал Лем.

На этот раз советские части обошли город с запада и юга, что оказалось для гитлеровцев полной неожиданностью. Лем в те дни снимал комнату у семейства Подлуских на Зелёной. Когда пошли слухи, что к городу приближается дивизия «Галичина» («SS Division Galizien»), евреи бежали на Погулянку, боясь расстрелов. Бежал с ними и Лем. В рюкзаке у него лежали — запасной носок (один), несколько кусков сахара, мятая рубашка и какой-то ботинок (тоже на всякий случай). На улицах появились тяжёлые советские танки, обстановка всё время менялась, никто ничего не понимал. Немцы сидели высоко в Цитадели и стреляли по русским танкам. Когда Цитадель замолчала, Лем решил, что теперь-то, наверное, весь Львов советский. Никого ни о чём не спрашивая, он отправился к своему дому на Грудецкую. Это была не лучшая идея, поскольку на какой-то боковой улице прямо на Лема (спрятаться было негде) выкатилась немецкая «пантера». Это было страшнее встречи с Кинг-Конгом или Мумией, отмечал позже писатель. К счастью, «пантеру» заметили и советские артиллеристы. Башня «пантеры» была так изуродована, что экипаж не смог выбраться из огня. Через несколько дней Лем увидел, как большой советский трактор «Сталинец» оттаскивал танк с улицы. «Она сгорела так, что не катилась на роликах, к которым прикипели гусеницы. Из любопытства я залез на самоходку<sup>[15]</sup> и увидел внутри обгоревшие черепа немцев. Никогда больше не хотел бы увидеть ещё что-нибудь подобное»<sup>{21}</sup>.

Прячущиеся евреи... Сожжённый танк...

Бомбёжки, перестрелки, непреходящий страх смерти...

Это и есть опыт, который *приобретается*, а не вычитывается из книжек.

Вдруг оказалось, что индейцы Карла Мая и индейцы Фенимора Купера, грозные, внушающие ужас, в любую минуту готовые скальпировать бледнолицых, — это всё чепуха. И ужасный Кинг-Конг, и Мумии, настигающие грабителей пирамид, — чепуха. И тайны заколдованных замков, и ужасы тарзановских джунглей — всё это ничто, ерундистика, чепуха; побеждает только реальность, только её ничем не вытравишь из души, разве что смертью. Чтобы понять, как мощно въелось пережитое в годы оккупации в душу Станислава Лема, есть смысл процитировать страничку из романа «Глас Господа» — одного из лучших его романов. Понятно, что это научно-фантастическое произведение, что во многом этот роман (как и вообще вся фантастика) условен, но дар истинного писателя делает произведение Лема глубоко реалистичным.

«Раппопорт (первооткрыватель звёздного Послания. — Г. П., В. Б.) был родом из Европы, где пресловутые “соображения генералитета” и “соображения кабинета” всегда, по его словам, напоминают о кровавом месиве. Он никогда бы не попал в число сотрудников Проекта, если бы не стал одним из его создателей. Только из страха перед возможной “утечкой информации” его и включили в наш коллектив.

В Штаты Раппопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя было уже известно кое-кому из довоенных специалистов: на свете не слишком много философов с глубокими познаниями в математике и естественных науках, а Раппопорт относился именно к таким. Мы жили дверь в дверь в гостинице посёлка, и вскоре я установил с ним прочный контакт. Он покинул свою родину в тридцать лет совершенно одинокий — вся его семья была уничтожена. То ли чтобы отблагодарить меня странной своей исповедью за моё доверие, то ли по каким-то другим неизвестным мне причинам, но однажды Раппопорт рассказал мне, как у него на глазах, кажется, в 1942 году, происходила массовая экзекуция в его родном городе.

Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; их расстреливали группами во дворе недавно разбомблённой тюрьмы, одно крыло которой ещё горело. Раппопорт описывал подробности этой

операции с ужасающим спокойствием. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, арестованные не видели самой экзекуции, но некоторые из них впали в странное оцепенение, другие пытались спастись самыми безумными способами. Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, но кричал он это по-еврейски, так как немецкого языка, видимо, не знал. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм этой сцены; и вдруг самым важным для него стало сберечь до конца ясность разума — то, что позволяло ему сохранять интеллектуальную дистанцию по отношению ко всему происходящему. Необходимо было, однако, деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку “с той стороны”, который в принципе не способен понять подобные переживания, найти какуюто ценность вовне, какуюто опору для ума; и — поскольку это было предельно абсурдным — он решил уверовать в перевоплощение.

Ему было бы достаточно сохранить эту веру на пятнадцать-двадцать минут. Но абстрактным путём он даже этого сделать не смог, а потому выбрал одного из офицеров, стоявших поодаль от места экзекуции, и мысленно внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, душа его переселится именно в этого немца. Он прекрасно сознавал, что мысль эта совершенно вздорная даже с точки зрения любой религиозной доктрины, включая само учение о перевоплощении, поскольку “место в теле” было уже занято. Но это ему как-то не мешало. Напротив, чем дальше, тем активнее цеплялся его мозг за родившуюся в нём мысль...

Раппопорт описал мне этого человека так, будто смотрел на фотографию.

То был молодой, статный, высокий офицер; серебряное шитьё его мундира словно бы поседело или слегка потускнело от огня. Он был в полном боевом снаряжении — “Железный крест” у воротника, бинокль в футляре на груди, глубокий шлем, револьвер в кобуре, для удобства сдвинутый к пряжке ремня; рукой в перчатке он держал чистый, аккуратно сложенный платочек, который время от времени прикладывал к ноздрям, — экзекуция шла уже давно, с самого утра, пламя подобралось к телам расстрелянных, валявшимся в углу двора, и оттуда разило жарким смрадом. Впрочем, трупный запах Раппопорт уловил только после того, как увидел платочек в руке офицера.

Этот немец руководил всей операцией, не двигаясь с места, не крича, не впадая в тот полупьяный транс ударов и пинков, в котором находились его подчинённые с железными бляхами на груди. Раппопорт вдруг понял, почему солдаты именно так и должны были поступать: они прятались от



своих жертв за стеной ненависти, а ненависть невозможно возбудить в себе без жестоких действий. Вот поэтому они и колотили евреев прикладами — им нужно было, чтобы кровь текла из рассечённых голов, коркой засыхая на лицах, потому что эта корка делала лица уродливыми, нечеловеческими, и таким образом во всём происходящем не оставалось места для ужаса или жалости.

Но офицер, на которого неотступно глядел Раппопорт, по-видимому, способен был выполнять свои обязанности, не нуждаясь в подобных приёмах. В воздухе плавали хлопья копоти, гонимые струёй горячего воздуха, которая исходила от пожара, за толстыми стенками в зарешеченных окнах без стёкол ревел огонь, — а он спокойно стоял, прижимая к ноздрям белый платок.

Ошеломлённый его невозмутимостью, Раппопорт на мгновение забыл о себе.

И тут распахнулись ворота и во двор въехала группа кинооператоров. Выстрелы тотчас смолкли. Может, немцы решили заснять груды трупов, чтобы использовать эту сцену в кинохронике, изображающей действия противника, этого Раппопорт так и не узнал. Расстрелянных могли потом демонстрировать как жертв большевистского террора. Возможно, что так оно и было, — но Раппопорт ничего не пытался объяснить, он только рассказывал о том, что видел.

Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли.

Затем офицер потребовал одного добровольца; он даже дал арестованным время на размышление и, повернувшись спиной, тихо и неохотно заговорил с одним из своих подчинённых. Раппопорт вдруг ощутил, что должен вызваться; он не понимал толком, почему, собственно, должен, но чувствовал, что если не сделает этого, то с ним произойдёт что-то ужасное. Он был доктором философии, автором великолепной диссертации по логике, но в эту минуту он без всяких сложных силлогизмов понял: если никто не вызовется — расстреляют всех, так что выбора, собственно, нет. Это было просто, очевидно и безошибочно. Он дошёл до той черты, за которой вся сила его внутренней решимости должна была выразиться в одном шаге вперёд, — и всё же не шелохнулся. Он снова попытался заставить себя шагнуть, уже без всякой уверенности, что сумеет, — и снова не шелохнулся.

За две секунды до истечения срока кто-то всё же вызвался; в сопровождении двух солдат он исчез за стеной, оттуда послышалось несколько револьверных выстрелов; потом его, перепачканного собственной и чужой кровью, всё-таки вернули к остальным в шеренгу.

Уже смеркалось; открыли огромные ворота, и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечерней прохлады, вышли на пустынную улицу. Раппопорт не знал, почему так случилось, он не пытался анализировать действия немцев; они вели себя как рок, чьи прихоти толковать необязательно.

Вышедшего из рядов человека — нужно ли об этом рассказывать? — заставляли просто переворачивать тела расстрелянных; тех, кто был ещё жив, немцы добивали из револьвера. Словно желая проверить, правильно ли он считает, что я действительно ничего в этой истории не смогу понять, Раппопорт спросил, зачем, по-моему, офицер вызвал “добровольца” и даже не подумал объяснить, что тому не грозит расстрел. Признаюсь, я не сдал экзамена; я сказал, что немец поступил так из презрения к своим жертвам, чтобы не вступать с ними в разговор.

Раппопорт отрицательно повертел своей птичьей головой.

— Я понял это позже, — сказал он, — благодаря другим событиям. Хотя офицер и обращался к нам, мы для него не были людьми. Он был твёрдо убеждён, что хотя мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся. Он не мог вступать с нами в переговоры, потому что, по его представлениям, на этом тюремном дворе находились только он и его подчинённые...»[{22}](#)

В 1944 году Станиславу Лему повезло.

От сокурсника, встреченного им на улице, он узнал, что зачётные книжки, отданные в деканат медицинского института перед вторжением немцев, были выброшены вместе с ненужным мусором, но не потерялись. Какой-то архивариус из костёла бернардинцев подобрал казённые бумаги. Лем разыскал этого человека и получил от него свою зачётную книжку с результатами всех сданных экзаменов. Архивариус, кстати, оказался тем ещё типом. У него были самые разные печати, и за некоторую плату он предложил Лему оформить даже тот экзамен, который не был сдан ранее. Лем отказался, и хранитель непонимающе и с укоризной покачал головой. Потом, когда в качестве репатрианта Станислав Лем уже переехал в Польшу, оказалось, что многие его сокурсники воспользовались услугами архивариуса и сразу оказались в институте курсом выше. И, наверное, были правы, считал Лем. В конце концов, всему, чего не знаешь, со временем можно научиться.

Впрочем, учёба в медицинском институте не увлекала Лема.

«Когда я учился на втором курсе, — рассказывал он позже, — во Львов приехал русский профессор Воробьёв, и мы с ним близко сошлись. Я потому, что интересовался теорией эволюции и вообще биологией, он же, как ученик Павлова, считал, что способен на большее, чем быть просто заурядным преподавателем, и постоянно пытался уйти от академической рутины. Именно тогда я начал писать работу под названием “Теория функции мозга”. Было это одно большое ребячество, которое я, впрочем, воспринимал смертельно серьёзно, просиживал целыми днями в библиотеке, читал Шеррингтона и раскапывал различные научные материалы. Была это, как видно теперь, бездарная научная фантастика, хотя тогда я искренне считал, что пишу *stride* научную работу. В ней было около ста пятидесяти страниц и множество графиков. Из сентиментальных соображений я сохранил её до сих пор, но подальше спрятал. Конечно, профессор Воробьёв не мог оценить мою работу, потому что для этого мне пришлось бы перевести её на русский язык. Однако он видел мой запал и это моё многочасовое корпение в библиотеке, и он написал мне прекрасную рекомендацию, благодаря которой я стал практикантом и чуть ли не почётным ассистентом при его кафедре. Конечно, этот титул не давал мне никакой платы, делал я всё это *con amore*...»<sup>[23]</sup>

Какое-то время львовяне верили, что их город отойдёт к Польше, верил в это и Лем. Но однажды, вернувшись с работы, отец коротко сказал, что всем следует собираться. Причём собираться быстро. Как только советская власть на Западной Украине окрепнет, уехать будет уже невозможно.

Те, кто выезжал из Львова в 1945 году, могли забрать с собой мебель, но Лемы несколько запоздали. Они потеряли практически всё. Взяли с собой два-три ящика с одеждой, пишущую машинку, письменный стол и немного книг. А ведь у Самуэля Лема за долгие годы была собрана огромная медицинская польско-немецко-французская библиотека. И книги самого Станислава тоже остались в советском Львове: и Фредро в коленкоровом переплёте, и тёмно-синее издание Словацкого, и энциклопедия Тшаски, Эверта и Михальского.

«В вагоне, в котором мы ехали, оказалась пожилая пани с очень красивой дочерью, — вспоминал позже Лем. — Жених дочери ждал их в Кракове. Всё время главным вопросом было как бы — скажем так — облегчиться, поскольку выходить во время остановок поезда было небезопасно. Из-за этого все принципы *savoir-vivre* последовательно исчезали, и временами случалось, что наружу высывалась очень хорошенькая голая попка. Я даже написал когда-то статью о том, как вынужденные обстоятельства совершенно ломают правила, принятые в общении между чужими людьми.

В поезде русские почти не показывались. Когда поезд пересёк границу и доехал до Пшемысля, в нём наверняка остался только польский персонал. На вокзале в Кракове какой-то парень кричал другому: “Анте-е-ек”, с ударением на последнем слог. Это произвело на меня колоссальное впечатление потому, что очень отличалось от нашего львовского выговора. Поезд должен был идти дальше, но нас уговорили выйти. Мы приехали в Краков с женой одного нашего знакомого, который там жил. Пани Оля — бывшая “белая” русская — была нашей подругой. По-польски она говорила с сильным русским акцентом. Она вышла замуж за коллегу отца, который тоже был ларингологом. Он выехал в Краков раньше, чем мы, потому что во Львове у него начала гореть под ногами земля, хоть я и не знаю толком почему. В Кракове он устроился на фабрику конских скребниц и каждую неделю ходил на бега. Вёл он довольно роскошную жизнь, и это именно он

приготовил нам пристанище на улице Силезской, 3, квартира 2. Там было две комнаты. Он с женой жил в одной, а мы с матерью и отцом — в другой. Ещё там был маленький закуток, в котором я впервые принимал свою будущую невесту...»[{24}](#)

Однажды Станислава Лема спросили: «Вы не раз говорили, что никогда не вернётесь, никогда больше не поедете во Львов? Почему?»

Писатель ответил: «Если любишь кого-то, например, женщину, и кто-то её у тебя отобьёт, и она с этим кем-то нарожает детей, то я — будучи взрослым — предпочёл бы с ней больше не встречаться. Что мы можем сказать друг другу?.. Так и Львов... Этот город для меня уже чужой. Чем меня могут заинтересовать камни?»

*Глава вторая.*

## **НАУКА О СЧАСТЬЕ**

Оказавшись в Кракове, Лем решил, что зарабатывать на жизнь теперь сможет ремеслом сварщика или автомеханика. Но отец был категорически против таких мрачных, на его взгляд, перспектив. Он даже мысли не допускал, что сын прервёт начатое во Львове обучение. И Лем возобновил учёбу. На этот раз на медицинском факультете старейшего в Европе Ягеллонского университета.

Во Львове остались два собственных, принадлежавших Самуэлю Лему каменных дома, — в Кракове жильё пришлось снимать. Жизнь постоянно дорожала. В семьдесят с лишним лет известный врач вынужден был работать в самой обыкновенной казённой больнице; о частной практике нечего было и думать. Никакой компенсации за потерянное во Львове ждать не приходилось. В конце концов, Самуэль Лем попросту сжёг бумаги, подтверждавшие его права на львовские дома. Чтобы как-то помочь семье, Станислав начал писать рассказы для журналов так называемого лёгкого чтения. Одновременно он писал лирические стихи. И за рассказы, и за стихи платили одинаково мало. В надежде на более или менее приличный гонорар за первые два краковских года Лем перепробовал всё — от мистических рассказов до научно-популярных эссе и стихов.

«Я начал ходить со своими стихами по разным редакциям, — вспоминал он позже, — например, к Каролу Курылюку, когда “*Odrodzenie*” (“Возрождение”) выходило ещё в Кракове. Как и другие светлые личности, он выбрасывал меня с ними из редакции, за что я ему до сих пор благодарен. Помню также долгие разговоры с Пшибосем, который объяснял мне, что я пишу немного под Лесьмяна, а немного неизвестно под кого, что моя версификация строф, которой я придерживался, как пьяный — забора, никуда не годится, но всё это было бесполезно. Я гнул своё и очень любил рифмы и к ним кристальную версификацию. Все эти “произведения” я печатал у Туровича в “*Tygodnik Powszechny*” (“Всеобщий еженедельник”)...»<sup>[25]</sup>

Кстати, с католической газетой «*Tygodnik Powszechny*» Станислав Лем сотрудничал более пятидесяти лет.

Постепенно молодой поэт вошёл в непрочный, но всё время расширявшийся дружеский круг молодых писателей, среди которых была, кстати, Вислава Шимборская (1923–2012), будущий лауреат Нобелевской премии. Они даже подружились. Шимборская в те годы поддерживала



Лема. Её нисколько не пугали невесёлые настроения молодого поэта, значительно усиленные влиянием любимого им Рильке.

В тьму вбиты гвозди белых крестов.  
Берёзы — как траектории звёзд падучих.  
Мрак бесконечен, бегуч, крылат, лесист —  
Хребтом бьёт в застлавшую взгляд твердь тучи.  
Лишь одно напомним о солнце — разбуженной иволги свист.  
Пламенем сломлен хор. Запомнится только глине  
Подземная форма угасших губ.  
На могилах мята с полынью.  
На покровах, ничьих уж, трава сменяет траву.  
И моя смерть настанет. И тьма. Не знаю, за что живу<sup>[16]</sup>.

Мир стремительно менялся.

Он менялся во всём — в одежде, в отношении к жизни, к вечным её ценностям.

Менялись вкусы, интересы, обычные бытовые заботы мешались с совершенно новыми, прежде незнакомыми. Война, массовые убийства, бессмысленное масштабное истребление, воздушные бомбёжки, трупы на улицах, ночёвки в подвалах, жизнь по фальшивым документам — всё это не могло пройти просто так, всё это что-то меняло в людях.

Изменился сам темп жизни.

Казалось, совсем недавно, в 1938 году (теперь уже в *другом* мире, совершенно *другом*), немецкие физики Отто Ган (1879–1968), Фриц Штрассман (1902–1980) и Лиза Мейтнер (1878–1968) впервые описали расщепление ядра урана, а уже весной 1941 года (тоже в *другом* мире) Энрико Ферми (1901–1954) завершил разработку теории цепной ядерной реакции. 6 декабря 1941 года в США было принято решение о выделении огромных средств и ресурсов на создание ядерного оружия. А через год — 2 декабря 1942 года — там же, в США, заработал первый в мире ядерный реактор и была осуществлена первая самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. И, наконец, 17 сентября 1943 года стартовал Манхэттенский проект, позволивший 16 июля 1945 года испытать в пустыне под городком Аламогордо (штат Нью-Мексико) первое ядерное взрывное устройство — «Gadget» (одноступенчатое, на основе плутония).

Итог этих исследований известен.

6 и 9 августа 1945 года первые американские атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. Их чудовищная разрушительная сила и вступление Советского Союза в войну против Японии (9 августа 1945 года) заставили премьер-министра Кантаро Судзуки и министра иностранных дел Того Сигэнори незамедлительно подписать Акт о капитуляции. День подписания указанного акта — 2 сентября 1945 года — и считается, собственно, официальной датой окончания Второй мировой войны, кардинально изменившей расстановку всех политических сил на планете и столь же кардинально изменившей экономику и демографию нашей цивилизации.

Станислав Лем внимательно следил за происходившим. Со временем, по мере получения информации, по мере её осмысления он напрямую

обратится к происходившим в окружающем его мире процессам (в «Астронавтах», в романе «Глас Господа», в других рассказах и повестях), но пока-Пока Лем писал стихи. Часто несовершенные, но полные желания — *понять*.

Что внутри воображенья? Лица и пальцы,  
И губы, что в смерти, как в коконе, слипаются.  
Пенье мёртвых, сны грусти, ночей страхи,  
И Земля — голова, летящая с плахи.  
Что там внутри тела? Пейзаж электронов —  
Одиночные кванты, беззвёздное движение,  
Где явлено лишь слуха чёрное цветенье,  
А сны, животные ночи, разбегаются из-под век.  
А нервов леса белые, лица живые корни,  
И сквозь память пробивающийся крови родник,  
И кость: известняк, после меня впитавший вмиг  
Мою одинокость и мой мрак... [\[17\]](#)

При всём интересе к происходящему, политикой в 1950-е годы Станислав Лем интересовался мало. Правда, и в годы оккупации он проявлял интерес к ней, скажем так, сугубо прагматичный. Но в оккупации это помогало ему выжить, теперь же Лем просто искал верный путь, то есть сотрудничал с изданиями прямо противоположных направлений: и с католическим журналом «Tygodnik Powszechny», и с левым журналом «Książka». Лем никогда не преувеличивал значения написанных им стихов, даже в более поздние времена, уже удостоенный громкого имени, он не старался их переиздавать, а вот рассказы, вообще проза, не скованная жёсткими условностями поэтических форм, увлекали его всё больше. Это были уже не элегические воспевания тихих сельских кладбищ (как в ранних стихах), не лирические, как он сам говорил, «любовные стоны», а первые попытки всерьёз оценить своё собственное прошлое, начинавшееся в просторном кабинете отца, на гимназических занятиях, в стенах Львовского медицинского института, а теперь пытающееся выжить в послевоенном Кракове. В рассказах, написанных даже ради заработка, всё равно отражался весь мир, не важно, что сам Лем в то время ни разу не покидал пределов Польши. Этот огромный закопчённый взрывами мир поднимался из руин, осторожно отряхивался, осматривался, начинал потихоньку отстраиваться. Лем в те годы вообще не знал Германии, ни разу не бывал в Англии или в США, но, вот странно, писал он тогда почти исключительно о событиях, известных ему больше теоретически и разворачивавшихся именно в этих странах. «Аванпост», «Гауптштурмфюрер Кестниц», «План “Анти-Фау”», «День Д», «“Фау” над Лондоном», «Чужой», «КВ-1», «Новый», наконец, «Атомный город» и «Человек из Хиросимы», «Конец света в восемь часов», «Трест твоих грёз» и всё такое прочее. Лем даже напечатал свою самую первую, написанную в оккупированном Львове научно-фантастическую повесть «Человек с Марса». От реальной жизни всё это было достаточно далеко, но постоянно возникали вопросы, требующие срочного ответа.

Ну, скажем, вопросы происхождения.

Станислав Лем всю жизнь считал себя поляком, хотя предками его были евреи.

Жизнь в оккупации лишила писателя многих иллюзий, по крайней мере он на собственной шкуре узнал, что такое не быть арийцем.

«Я ничего раньше не знал об иудейской религии, — писал Лем в эссе «Моя жизнь». — О еврейской культуре я, к сожалению, тоже совсем ничего не знал. Собственно, лишь нацистское законодательство просветило меня насчёт того, какая кровь течёт в моих жилах». Позже, в письме американскому переводчику Майклу Канделю (от 6 мая 1977 года), Лем прямо признавался в своём еврействе, называл себя евреем.

«Немцы (тут не обойтись без банальностей), — писал он Канделю, — были методичны, планомерны, исполняли приказы безличностно и вообще механистически. Они считали себя Высшей Расой, а нас, евреев, чем-то вроде *Ungeziefer*, паразитов, вредных насекомых, которых нужно уничтожать, букашек, таких хитрых, наделённых такой наглостью, что они, эти букашки, *посмели*, благодаря своей подлой мимикрии, принять сходство с Человеком прямо поразительное»<sup>{26}</sup>.

Антисемитизм и вообще насилие устрашали писателя.

«Теперь, впрочем, — говорил он в одном из своих поздних интервью, — преимущественно среди молодого поколения антисемитами являются люди, которые в жизни ни одного еврея в глаза не видели. Может, в связи с этим они не проявляют столь людоедских позиций, как поколение их отцов. Кроме того, евреев у нас почти уже нет, хотя есть те, которые утверждают, что мы все евреи. У меня к этому такой же подход, как у дирижёра американского оркестра, к которому ни с того ни с сего обратился дирижёр советского оркестра. “У меня играет шесть евреев”, — сказал он. “А я не имею понятия, кто у меня играет, — ответил американец, — мне как-то не пришло в голову об этом спрашивать”»<sup>{27}</sup>.

Павел построил дом  
От цветов до ласточкиного гнезда.  
С крышей из полёта,  
Окнами, полными пения.  
Вечером  
Собирал каштаны, колющие, как звёзды,  
Тучи птиц  
Переводил тучам деревьев.  
Маленькие слова подрастали,  
Изменялись как облака:  
Розово — фиолетово — печальней.  
Он укладывался в сказки, как в сон,  
И укачивался стихами.  
В небе его страны плыли железные паруса.  
У Яна не было дома.  
Он жил в улыбке как на острове.  
Покинутый девушками,  
Как вяз без птиц,  
Любовь спрятал под веками  
И не изменил ей во сне.  
Уступал дорогу  
Деревьям и муравьям,  
Никогда не был одиноким.  
Водил слова  
Лёгкой линией лазури  
Розовым плечом Струной.  
Пришли за ним ночью.  
Пётр верил в незабудки.  
У его отца  
Серебряного живого старичка  
Была гробница  
Вся из огня и кирпича.  
Пётр учился у отца молчанию.  
Девушка, которую он любил,  
С глазами яснее, чем воздух,

Поймала грудью пулю —  
В золотых ресницах  
Погасли два маленьких неба.  
Пётр  
Учился  
у мёртвой любви [\[18\]](#).

«Из моей семьи мало кто уцелел, — вспоминал Станислав Лем. — Кроме отца и матери, только два кузена и одна дальняя родственница. А теперь вот один французский профессор в открытой печати утверждает, что немцы в оккупированной Польше вообще никого не убивали, что всё это — чистые домыслы. А известный учёный-лингвист Ноам Хомский берётся этого профессора защищать от нападок всяких там французских интеллектуалов, потому что, как говорит Хомский: как это всё там было, он, конечно, не знает, но свобода слова, а значит, свобода высказывания любых личных убеждений должна соблюдаться всегда! Цензура могла помешать французскому профессору распространять своё категорическое *dementi*<sup>[19]</sup> немецкого геноцида, но ведь любая цензура — это отвратительно! И вот я читаю о стычках и диспутах в немецкой прессе, и сквозь тон сконфуженности (всё же речь идёт о либеральных, прогрессивных газетах, таких как “Frankfurter Allgemeine” и “Süddeutsche Zeitung”) пробивается всё-таки некий старательно скрываемый отзвук удовлетворения. Возможно, это лишь моё, к тому же ошибочное впечатление, но в любом случае, видимо, не существует в мире такого большого и ужасного преступления, которого нельзя было бы однажды обелить, — причём тогда, когда ещё живы уцелевшие жертвы! Мой невозмутимый либерализм улетучивается, как камфора, при чтении подобных сообщений. Французский профессор, *nota bene*, конечно, не первый является с миссией полного оправдания немцев, но все такие попытки кажутся мне странным извращением. Наверное, всё, что находится в камерах и бараках Освенцима, этот профессор считает умышленно изготовленным реквизитом. Странно и то, что благородный защитник французского профессора, этот вот Ноам Хомский, — сам еврей по национальности. По правде сказать, я просто не знаю, что нужно делать в подобных случаях.

В своё время Борхес (в рассказе “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius”) описал некий придуманный им тайный сговор неведомого сообщества, которое с нуля начинает создавать совершенно новый фиктивный мир. Но сейчас фантазия Борхеса кажется мелочью по сравнению с размахом французского профессора, который не только в своих статьях, но и в своих лекциях активно объясняет студентам, как гуманно вели себя немцы в оккупированной Польше. Поскольку в наши времена профессора



университетов — как, например, в Италии — являются вдохновителями и предводителями самого кровавого террора, элементарная вменяемость в стремительно меняющемся мире становится исчезающей категорией и вряд ли стоит удивляться поведению других, к примеру, французских профессоров, оправдывающих СС и гестапо.

Кажется, я жестоко обманулся в мире, в котором мне довелось родиться.

Не знаю, откуда она взялась у меня смолodu, то есть почти полвека назад, эта верa в превосходство университетских профессоров над другими людьми. Не припомню, чтобы мне кто-то такое говорил вслух, и очень сомневаюсь, чтобы я мог что-то подобное слышать от отца, который в качестве ассистента Львовского университета постоянно вращался в тех почитаемых мною кругах. Наверное, я попросту всё это вообразил, потому что, как любой человек, постоянно нуждаюсь в некоем неоспоримом авторитете и воплощении благородной мудрости...»<sup>{28}</sup>

Большинство своих юношеских публикаций Станислав Лем считал несерьёзными, подготовленными к печати ради заработка. Позже он категорически не разрешал их переиздавать и сделал исключение лишь однажды: в конце 1980-х годов в Германии (на немецком языке) вышел сборник его ранних вещей под названием «Блуждающий».

«Рассказы, вошедшие в сборник, — указывал Лем в предисловии, — написаны в 1946 и в 1947 годах; они являются не просто моими первыми шагами на литературном пути, но явственно свидетельствуют о моём блуждании между жанрами, впрочем, практически неизбежном, когда тебе двадцать пять лет.

Один из рассказов написан был, например, под прямым влиянием моего самого настоящего потрясения от прочтения “Хиросимы” американского писателя Джона Херси<sup>[20]</sup>. В наши дни этого Херси вряд ли кто помнит, но в своё время ужасающий репортаж, привезённый им из Японии, занял целый номер журнала “New Yorker”. В репортаже этом писатель рассказал о судьбах конкретных людей, которые пережили атомную бомбардировку и испытали на собственном опыте значение знаменитой фразы “и вот в один миг город был стёрт с лица Земли”. Даже сегодня не хватает мне мужества писать рассказы на основе тех страшных событий, у меня просто отказали бы руки. Но тогда мне, писателю-дебютанту, ещё полному иллюзий, казалось, что именно я избран судьбой и могу стать певцом катастрофы, аналогов которой не знала история...

Некоторые рассказы я написал, будучи бедным студентом-медиком, у которого ужасная война отняла родину и дом и изгнала за сотни километров от родного города. Это не высокая литература со своими сложными моральными построениями; речь идёт всего лишь о шпионских историях с лёгким налётом фантастики. Я испытывал себя на этих несколько легкомысленных текстах без малейшего предчувствия того, что некоторые из выбранных мною литературных троп так никуда меня и не приведут, зато другие непостижимым образом станут главным моим путём...

В сборник включён и “Человек с Марса”. Эту небольшую повесть я написал во время войны исключительно для себя самого, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от войны, забыть о геноциде, царившем в генерал-губернаторстве<sup>[21]</sup>. Об этой работе периода *primum iuvenilium* я

вспоминаю теперь только потому, что недавно силами неизвестных моих поклонников нелегально, “подпольно” повесть снова была напечатана. Я читал её и другие свои рассказы того периода как что-то совершенно чужое, полностью забытое, и был отчасти удивлён, а отчасти поражён тем, что некоторые сюжетные линии, впоследствии неоднократно повторявшиеся в моих зрелых работах, оказывается, проявились уже тогда, в самом начале моей жизни...»[{29}](#)

Студенческая работа «Теория функции мозга», начатая при доброжелательном «попустительстве» (как говорил Лем) профессора Воробьёва, вскоре превратилась у него в объёмистый философский трактат.

Однажды Лем показал эту свою «Теорию» доктору философии Хойновскому.

Мечислав Хойновский был весьма неоднозначным человеком. В 1944 году, когда в Польшу вошли советские войска, его этапировали из города Белостока в концентрационный лагерь № 41, а затем в Советскую Россию — в рязанский лагерь № 178. Неукротимый философ с неволей, конечно, не смирился и в 1945 году бежал из лагеря в компании с неким Чесяком — бывшим взводным 5-го полка польских улан. Беглецов поймали, и до репатриации 1946 года доктор Хойновский содержался в Бялой Подляске. Всегда отличавшийся прямоотой, он и со студентами вёл себя соответствующе. Понятно, что и настырный Лем получил сполна. «Вздор! Полный вздор! — так оценил его работу Хойновский. — Никакой научной ценности!»

Но сам Лем доктору Хойновскому понравился.

Он согласился стать научным руководителем Лема, даже разрешил пользоваться книгами из своей личной библиотеки. Но, узнав, что юный создатель «Теории» в достаточной мере владеет только немецким, французским и русским языками, вновь впал в неистовый гнев. Как это так? Ведь только идиот может не видеть, что времена французского и немецкого языков прошли! Это прошлое! В ближайшие два века, категорически заявил Хойновский, языком мировой научной литературы станет почти исключительно английский. Вот Лему и пришлось взяться за учебники логики, методологии науки, психологии и психотехники (теория психологического тестирования), истории естествознания и за многое, многое другое.

«Пришлось читать и английские книги без каких-либо языковых занятий, — вспоминал Лем. — Но эти книги обычно были настолько интересны, что я “разгадывал” их со словарём в руках, как Шампольон — египетские иероглифы. Я и теперь могу лишь читать по-английски, но сам не говорю и не понимаю устную речь».

Доктор Хойновский правильно оценивал перспективу. К тому же как раз в это время он основал Науковедческий лекторий ассистентов

Ягеллонского университета. По его просьбе учёные Канады и США стали высылать полякам новейшую научную литературу, разумеется, на английском языке. Выбрав для изучения языка «Кибернетику» Норберта Винера (1894–1964), Лем не просто увлёкся. Работа Винера во многом определила его мировоззрение.

Однажды (в 1947 году), забежав к своему другу скульптору Ромеку Хуссарскому, Станислав Лем попал в «котёл» — так в Кракове называли засады, которые время от времени устраивали сотрудники Управления безопасности. Они как раз разрабатывали какуюто свою тайную сложную операцию — в результате несколько недель все случайные гости Ромека Хуссарского вынуждены были находиться в его квартире. Правда, Лему удалось выбросить в окно записку, которую добрые люди передали родителям, так что проблем с его отсутствием дома не возникло. В мастерской своего друга Лем в первый и последний раз в жизни создал скульптуру из гипса — голову неандертальца. Неизвестно, правда, кто ему позировал.

Впрочем, важно не это. Важно то, что именно у Ромека Станислав Лем впервые встретился со своей будущей женой Барбарой Лесьняк. Красивая, стройная, элегантная студентка привлекла его внимание своеобразной цельностью, здравым рассудком и тем, чего, видимо, всегда недоставало самому Станиславу Лему — сугубой практичностью. Многие из тех, кто хорошо знал писателя, не раз отмечали, что, несмотря на эрудированность и пытливый ум, временами писатель бывал откровенно наивен, как ребёнок. Когда «Trybuna Ludu» в 1950-х годах опубликовала, например, душераздирающую новость о том, что американцы тайно сбрасывают на польские поля колорадского жука, пани Барбара только рассмеялась, а вот Станислав всерьёз недоумевал, как это можно не верить печатному слову. Тогда же Лем был страшно разозлён, получив по почте, как подписчик Большой советской энциклопедии, страницу (карта Берингова моря), которую полагалось вклеить в четвёртый том вместо той, на которой была ранее напечатана статья о Лаврентии Берии. Лем действительно не понимал: как можно таким образом поступать с серьёзными энциклопедическими изданиями?

Томаш, сын писателя, вспоминал:

«Состояние, которое отец называл “осадой”, продолжалось три года, поскольку Барбара не хотела выходить замуж за Станислава Лема. Она вообще в то время ещё не хотела выходить замуж, а кандидат, который был старше её на девять лет, пугал её не только необычным поведением, но и, прежде всего, интеллектом. Она считала, что Сташек непомерно превосходит её в этом отношении. При этом происходило много

необычных событий. Как-то жених повёл свою избранницу на концерт классической музыки и при первых звуках — уснул. Тогда Барбара не осмелилась дать будущему мужу тумака в бок, но позже такое иногда случалось. Из детства, то есть из времён, когда мать уже много лет без особого успеха внедряла правила *savoir-vivre*'а<sup>[22]</sup>, я запомнил торжественный ужин, на котором был представлен весь цвет польской литературы, в том числе Вислава Шимборская и Эва Липская. В какой-то момент отец, показывая на тарелку с пирожными из “Краковии”, одной из немногих краковских кондитерских, чьи изделия в те времена можно было подать на стол, не беспокоясь за судьбу гостей, сказал: “Я считаю, что в эти пирожные надо было бы навтыкать карточки с ценами, чтобы все знали, как мы потратились!” После чего, обращаясь к жене, добавил с лёгким укором: “Бася, ну зачем ты меня пинаешь под столом?”

Нетипичными были встречи жениха и невесты в краковских кафе.

Барбара обычно заставляла Сташека за газетой. Завидев невесту, он собирал газету, залпом выпивал кофе, со стуком ставил чашечку на столик и нетерпеливым голосом спрашивал: “Ну что? Идём?” А как-то, уже через много лет после женитьбы, во время торжественного именинного обеда отец вдруг начал подавать матери таинственные знаки. Он протягивал к ней ладонь, растопыривал пальцы и повторял сценическим шёпотом: “Ша, Бася. Ша!” И так несколько раз. Мать, конечно, перепугалась, но через несколько минут всё выяснилось. Таким деликатным способом муж напоминал своей любимой жене, что именно в этот день подарил ей редкие тогда французские духи “Шанель № 5”. И очень удивлялся, почему она никак не могла догадаться, что “Ша” означает “Шанель”, а растопыренная ладонь — цифру пять.

Столь же нетипичным оказалось и признание в любви.

В один прекрасный день Барбара получила торт с посылным.

Не просто цветы с письмом или с записочкой, а именно торт. Сначала она даже не хотела его принимать; сперва потому, что не знала, кто именно преподнёс подарок, а потом — потому, что знала. До неё не сразу дошло, что для Сташека дарение торта было выражением наивысшего обожания, своеобразным приношением, сложенным из глазури, сахара, теста и крема»<sup>[30]</sup>.

Кстати, сладости всю жизнь были слабостью писателя.

Когда в старом доме разбирали книжные полки, оказалось, что за 20 лет всё пространство за полками было забито фантиками от конфет. Различные пирожные, марципаны, засахаренные фрукты, шоколад (следы

от которого могли оказаться на одежде писателя в самый неподходящий момент) — о, Лем в этом неплохо разбирался! Но ещё лучше он разбирался в сортах и видах халвы. Не хуже какого-нибудь дегустатора самых тонких вин. И когда в пожилом возрасте ему диагностировали сахарный диабет, он любил говорить, что запереться в кабинете с пятикилограммовой банкой турецкой халвы — вовсе не самый худший вариант самоубийства.

Свои взгляды оказались у Лема и на семейную жизнь.

«Жена всегда права принципиально именно потому, что является женой, а не в зависимости от сути дела, — любил говорить он. — Однако ни за какие блага ей нельзя давать понять, что вы придерживаетесь именно этой максимы, потому что всё тут же обернётся против вас самих. Следует всячески убеждать жену, что она права на 99,999%, но никогда — на 100%».



Барбара училась в Ягеллонском университете, а жила с матерью.

Конечно, Лем ездил к ней на трамвае № 5, пересекающем практически весь город, что оставило след в стихах, так и называвшихся: «Трамваем номер пять через весь Краков».

Оправленные в движение и золото покачиваются шпили.  
 Так небо голубо, что в глубине застыли  
 Голуби, узорами рисующие молчанье.  
 Лиловой акварелью в глазах стоит закат,  
 Фарфоровые, лаковые сверкают изваянья,  
 К солнцу серебряными иглами приколоты облака.  
 В стеклянных розах собора пламя блеснуло,  
 Небо ступило в воду, кирпича отраженья снулые  
 Возвращает зенит, темнея,  
 Из глубин Вислы каменным золотоглазым строеньям.  
 Вдали четырёхгранная башня с часами.  
 Там время играет чёрными в золоте лепестками,  
 Отмечая дорогу Земли, что несётся  
 Аллеей небесных костёлов в направлении Солнца.  
 Память мала как звезда и так же подслеповата,  
 Девушек приняла за сырые краски заката,  
 Бескрылых ангелов в земном заточенье,  
 Кого красный запад и женская улыбка печалят,  
 А звездистого мрака немое терпенье  
 Так близко поэту одиночеством и молчаньем<sup>[23]</sup>.

Чтобы не терять времени, Лем обдумывал в этих поездках сюжеты своих будущих рассказов, планы научно-популярных статей. Он тогда активно сотрудничал с газетой «Новая культура», но, к сожалению, эта работа оказалась неблагодарной. Редактор «Новой культуры» известный писатель Ежи Путрамент (1910–1986) умудрялся в последний момент вставить в уже набранный текст Лема казавшиеся ему необходимыми фразы: «Как правильно сказал Маленков...», «Как правильно отметил Жданов...», не говоря уже о Сталине. Поскольку оспаривать такую

редактуру было бессмысленно, Лем перестал писать для «Новой культуры».

В одном из таких трамвайных «путешествий» был обдуман и большой рассказ «Сестра Барбара». В журнальной публикации Станислав Лем обозначил его как фрагмент романа «Неутраченное время», но в окончательную версию романа рассказ не вошёл. Лем не знал, как воспримет Барбара сложный, как ему казалось, текст, но, к счастью, она вообще-то и статьи под названием «Химико-динамические показатели предракового периода мышей, питающихся 3:4, 5:6 дибензантраценом» читала...

29 августа 1953 года молодой писатель Станислав Лем и врач-радиолог Барбара Лесьняк сочетались законным браком.

Задолго до этой счастливой даты, ещё в 1948 году, Лем должен был окончить университет. Но там возникла проблема.

По существовавшим в то время законам все выпускники медицинского факультета в обязательном порядке направлялись военными врачами на службу в армию, слишком уж востребованной была в то время эта профессия. Не на год и не на пять, а — насколько понадобится командованию.<sup>[31]</sup>

Посоветовавшись с отцом, Станислав отказался от госэкзаменов.

Таким образом, вместо долгожданного диплома он получил только справку о высшем образовании. Предъявив её, Лем устроился врачом-гинекологом в городскую поликлинику, но неутомимый доктор Мечислав Хойновский не упускал из виду способного молодого человека. По его настоянию Лема приняли в Науковедческий лекторий младшим научным сотрудником. Параллельно для журнала «Жизнь науки», издававшегося всё тем же доктором Хойновским, Лем рецензировал появляющиеся в свет новые книги и писал обширные научные обзоры. К сожалению, длилось это недолго, поскольку темой одного из таких обзоров Станислав Лем выбрал генетику — науку, активно гонимую и в СССР, и в соцстранах. Лем внятно и подробно изложил взгляды вейсманистов и морганистов, а вот из трудов академика Т.Д. Лысенко (1898–1976) выбрал только самые одиозные положения. В результате, конечно, разразился грандиозный скандал, и доктор Хойновский лишился своего поста. Лекторий закрыли, а через какое-то время и сам доктор навсегда покинул Польшу.

Львов. Война. Репатриация.

Пережитое требовало осмысления.

Газетные и журнальные рассказы перестали удовлетворять Лема.

Он начал задумываться о большой работе. Да, он знал — мир перевернулся, мир стал совсем другим; но как, почему, по чьей вине это случилось? Далеко не всё можно было объяснить логикой и здравым смыслом.

В основу задуманного романа Лем решил положить историю некоей психиатрической больницы. Дело происходит в оккупации подо Львовом. В романе Лем подробно описал пейзажи, которые наблюдал, бывая в гостях у своих старых друзей Хали Буртан и Ромека Хуссарского в местечке Пшегожалы.

Всё остальное, как Лем сам признавался, он «выдумал».

Но разве можно назвать выдумкой замечательные диалоги врачей?

Вот, например, один из них говорит об известном поэте Секуловском, укрывающемся от немцев в психиатрической больнице: «Наркоман. Морфий, кокаин, даже гашиш». А другой вторит говорящему: «Да, терапия у нас — ничего особенного: до сорока лет сумасшедший — это *dementia praecox*: скополамин, бром и холодный душ. После сорока — *dementia senilis*: холодный душ, скополамин, бром. Ну, и шоки. Вот, собственно, вся психиатрия». А чем занят сам поэт? О, Секуловский занят исключительно собой. «Что вы вообще можете знать о стихах? — говорит он Стефану Тшинецкому, главному герою романа. — Писание — это окаянная повинность. Если кто-то, наблюдая за агонией самого близкого ему человека, невольно вылавливает из его последних конвульсий всё, что можно описать, — это настоящий писатель. Филистер тут же завопит: “Подлость”. Нет, не подлость, милейший, а только страдание. Это не профессия, этого не выбирают, как место в конторе. Спокойствие — удел лишь тех писателей, которые ничего не пишут. А такие есть. Они блаженствуют в океане возможностей, понимаете? Чтобы выразить мысль, надо сперва ограничить её, то есть убить. Каждое произнесённое мною слово обкрадывает меня на тысячу иных, каждая строфа — это гора самоотречений. Я вынужден выдумывать уверенность. Когда отваливаются куски штукатурки, я чувствую, что глубже — там, за золотыми фрагментами, разверзается невысказанная бездна. Она там, она там

наверняка, но любая попытка докопаться до неё оборачивается крушением...»

Конечно, это размышления самого Станислава Лема.

«Для кого мне писать? — говорит Секуловский. — Исчез пещерный человек, который пожирал горячий мозг из черепов своих ближних, а их кровью рисовал в пещерах произведения искусства, равных которым нет. Миновала эпоха Возрождения, гениальных универсалов и костров с поджаривающимися еретиками. Исчезли орды, обуздывающие океаны и ветер. Близится эра загнанных в казармы пигмеев, консервированной музыки, касок, из-под которых невозможно смотреть на звёзды. Потом, говорят, должны воцариться равенство и свобода. Почему равенство, почему свобода? Ведь отсутствие равенства порождает сцены, полные провидческой символики, порождает пламя отчаяния, а беда способна выжать из человека нечто более ценное, чем лощёная пресыщенность. Я не хочу отказываться от этих колоссальных перепадов напряжённости. Если бы это от меня зависело, остались бы и дворцы, и трущобы, и крепости!»

И далее: «Я не Мефистофель, я люблю каждую проблему продумывать до самого конца. Филантропия? Да ну. К милосердию приговорены дипломированные девицы с иссохшими гормонами, что же касается революционных теорий, то беднякам просто некогда заниматься такими вещами. Этим всегда занимались ренегаты из стана толстобрюхих. Впрочем, людям всегда плохо. Тот, кто ищет покоя, тишины, благодати, найдёт всё это на кладбище, а не в жизни. К чему тут абстракции? Я вырос в нищете, о какой вы понятия не имеете, господин доктор. Знаете, своё первое рабочее место я получил трёх месяцев от роду. Мать давала меня напрокат побирушке, так как женщине с ребёнком больше подадут. Восьми лет от роду я болтался вечерами возле ночных заведений и выбирал в изысканной толпе самую шикарную пару. Шёл за ней по пятам и плевал на котиков, бобров, ондатр, оплёвывал изо всех сил манто, пропахшие чудесными духами, и женщин, пока не пересыхало во рту. А то, чего я добился, я отвоевал себе сам. У кого есть способности, всегда выбьется...»

Изъян этих рассуждений виден невооружённым глазом.

В итоге предательство Секуловского попросту предопределено.

Лем пишет об этом с настоящей горечью, чувствуется, что для него это не просто очередное разочарование. Он мучительно ищет, на кого можно опереться в поисках смысла, в поисках будущего. Больные — как опора — не подходят. Тогда, может, доктор Ригер? Низкорослый, носатый, смуглолицый, со шрамом на лбу. Крошечное пенсне в золотой оправе, постоянные разговоры на нейтральные темы: закончилась ли зима? как с

углем? много ли работы? Или опереться на доктора Паенчковского? Правда, этот старикан похож на недожаренного голубя — тщедушный и заикающийся. Или на доктора Носилевскую? Бледное лицо, обрамлённое разметающимися каштановыми волосами, под чистым красивым лбом — поистине крылатый разлёт бровей, а под ними — строгие голубые глаза. Или на доктора Марглевского, так щедро уснащающего свою речь латынью, что его нельзя понять? Все мировые гении для него всего лишь разные имена в некоей инвентарной описи. «Бальзак — гипоманиакальный психопат... Бодлер — типичный истерик... Шопен — неврастеник... Данте — шизоид... Гёте — алкоголик... Гёльдерлин — шизофреник...»

Станислав Лем внимательно присматривается к каждому.

Вот Меланья — старая дева, «ампулка со старым ядом». Вот некий псих — феноменальный вычислитель. Вот допившийся до сумасшествия тихий и незлобивый ксёндз. «Смех, да и только, — горько жалуется ксёндз Стефану, — но ведь у нас любой обидится, если с ним не выпьешь. И на Новый год, и на Пасху, а с освящением-то, это уж всего хуже. Мне нельзя, но разве они уважают мою болезнь? Мне от них не отбиться. Лучше уж посижу здесь, если вы, господин профессор (так он титуловал Пайпака), меня не прогоните».

А рядом с запуганными, встревоженными врачами, рядом с вопящим клубком смятенных больных умов мрачными тенями проходят полицейские — украинские и польские, наконец, немцы, всегда подтянутые, соблюдающие спокойствие. Они безжалостно расстреливают всех больных, но отпускают персонал. Сумасшедшие — это ведь не люди, они никому не нужны, а больницу переоборудуют под военный госпиталь. С каждой страницей романа нарастает внутреннее напряжение. Судьба... Ничего уже нельзя изменить... Тихий ксёндз говорит растерянному Стефану: «Прошу меня простить, но, кажется, вы не очень часто заглядываете в Евангелие. Прочитайте, как это там у святого Матфея — глава 27, стих 46».

У кого нет под рукой Евангелия, напомним:

«А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: “Или! Или! лама савахфани?” То есть: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”».

Работа над «Больницей Преображения» шла легко, но попытки издать законченный роман сразу встретили сопротивление. Краковское издательство «Гебетнер и Вольф», куда Лем отнёс рукопись, было неожиданно закрыто, и всё имущество, вместе с рукописью Лема, передали в Варшаву.

Начались переговоры с издательством «Ксёнжка и Ведза».

Переговоры эти длились несколько лет. Лему предлагали убрать «неточности», выбросить скрытое «декадентство», сгладить «реакционность» взглядов. Даже посоветовали дописать одну или даже две части, чтобы роман получил «настоящий объём», чтобы возник некий «противовес» — для композиционного равновесия. В конце концов Лем уступил. «Например, коллегу врача я переделал в коммуниста Марцинова», — позже неохотно признавался он.

Когда роман «Больница Преображения» ещё отлёживался в издательстве и судьба его была неясна, Станислава Лема приняли в Союз польских писателей. В те времена такое было возможно. Правда, обещанный роман всё не выходил и не выходил, и вообще непонятно было, когда он выйдет, поэтому Лема, на всякий случай, из союза исключили. Какой же член Союза писателей без толстой книги? К тому же в послевоенной социалистической Польше человек, в документах которого не указывалось место работы, автоматически попадал в разряд подозрительных лиц. Часто бывавший в Кракове и хорошо относившийся к молодому писателю Ежи Путрамент попытался убедить Лема вступить в Польскую объединённую рабочую партию.

Аргументы? Пожалуйста! «Член партии может располагать своим временем».

Вспомнив попытку примерно такого же «вступления» в комсомол, Лем отказался.

Конечно, родители тяжело переживали литературные неудачи сына. Сначала — отсутствие диплома, потом — отсутствие серьёзной работы, теперь — ни к чему не ведущее писательство. Но роман «Больница Преображения» Самуэлю Лему понравился. Используя старые, ещё львовские знакомства, он по привычке искал возможность каким-то образом «пропихнуть» залежавшуюся в издательстве рукопись. Когда в Краков приехал какой-то чиновник — знакомый Лема-старшего,



работавший в филиале варшавского издательства «Czytelnik», Самуэль, конечно, попытался поговорить с ним. К сожалению, ничего путного из этого разговора не вышло, и Лемстарший так и не увидел эту книгу при жизни.

Мучения с романом закончились только в 1955 году.

Впрочем, никакой радости от издания своего литературного детища Лем не испытал.

Трилогию «Неутраченное время» он посвятил отцу. Именно — трилогию, поскольку к первой части («Больница Преображения») пришлось дописывать вторую («Среди мёртвых»), а затем и третью («Возвращение»), в которой описывалось послевоенное время. Устраняя некоторые «идеологически ошибочные» недостатки трилогии, писатель ввёл в неё гениального математика Карла Владимира Вилька с откровенно коммунистическими убеждениями и вообще добавил множество деталей, сработанных по лекалам социалистического реализма. Например, появился в тексте такой тост: «Дорогие товарищи! Давайте выпьем за исполнение наиболее частных, наиболее личных желаний всех коммунистов мира, ибо если они исполнятся, то не будет уже никаких других людей — будут только счастливые...»<sup>[32]</sup>

Впоследствии Лем переиздавал только первую часть трилогии — роман «Больница Преображения». Даже в наиболее полном прижизненном собрании своих сочинений Лем из второй и третьей частей «Неутраченного времени» представил лишь две главы. А вот на немецком языке трилогия выходила дважды. Перевели её и на английский, испанский, итальянский и турецкий языки. А в 1978 году польский режиссёр Эдвард Жебровский снял по роману одноимённый полторачасовой фильм.

В 120 километрах южнее Кракова расположен небольшой польский городок Закопане — популярный горный курорт. Тишина, чистый воздух, прекрасные лыжные трассы. У Станислава Лема появилась и личная причина время от времени выбираться в Закопане: в период весеннего и летнего цветения у него резко обострилась аллергия.

В 1950 году в Закопане, в находящемся там Доме творчества писателей, Лем познакомился с толстым добродушным господином — Ежи Паньским, председателем варшавского издательского кооператива «Czytemik». Как-то во время прогулки разговор зашёл о фантастике и Лем с удовольствием вспоминал и цитировал книги Герберта Уэллса, Жюль Верна, Стефана Грабиньского (1887–1936), которыми зачитывался в детстве, а потом посетовал, что в Польше научная фантастика вообще забыта.

«А вы взяли бы написать фантастическую книгу для молодёжи, если бы издательство попросило вас об этом?»

Писатель кивнул: «А почему нет?»

Особого значения словам Ежи Паньского Станислав Лем не придал, но через какое-то время действительно получил заказ от издательства. Его официально просили написать научно-фантастический роман! Только идиот мог отказаться от такого предложения.

«Не зная ещё, что это будет, что у меня получится, я написал на листе бумаги заглавие “Астронавты” и... написал книгу»<sup>[33]</sup>.

«Астронавты» были изданы уже в следующем году.

Самуэлю Лему роман совершенно не понравился, да и сам автор очень скоро стал относиться к своему сочинению довольно скептически. Впрочем, взгляды Станислава Лема далеко не всегда совпадали с взглядами его читателей: он и такие свои вещи, как «Возвращение со звёзд» и «Расследование», считал неудачными.

Действие в романе «Астронавты» было отнесено к началу XXI века.

В реальном тревожном мире, только что пережившем ужасную войну, сотрясаемом мрачными политическими бурями, начало XXI века казалось тогда всем просто неким абстрактным будущим. Тем интереснее сегодня вчитываться в роман, написанный молодым Лемом. Что смог предугадать он в таком далёком (для него) будущем, в котором сейчас мы живём?

Приведём цитату из романа, чтобы случайным образом не исказить её смысл.

В цитате этой не просто обрисовка будущего, не просто детальные привязки к времени и месту, в ней — дух романа. Не исключено, что именно этот чрезмерно оптимистический дух и оттолкнул Лема-старшего от «Астронавтов».

«В 2003 году, — узнаём мы, — был закончен частичный отвод Средиземного моря вглубь сухой жаркой Сахары, и гибралтарские гидроэлектростанции впервые дали электрический ток для североафриканской сети. Много лет прошло после падения последнего капиталистического государства (ох как тяжело отказаться от каких-либо комментариев, но мы решили всё-таки от них отказаться. — Г. П., В. Б.). Окончилась тяжёлая, напряжённая и великая эпоха справедливого преобразования мира. Нужда, экономический хаос и страшные войны не угрожали больше великим замыслам обитателей Земли.

Росли не стесняемые никакими границами континентальные сети высокого напряжения, сооружались атомные электростанции, безлюдные заводы-автоматы и мощные фотохимические преобразователи, в которых энергия Солнца превращала углекислоту и воду в сахар. Этот процесс, в течение миллионов веков совершавшийся в растениях, теперь был подвластен человеку.

Науке уже не нужно было заниматься созданием многочисленных средств уничтожения (ох как трудно всё-таки удержаться от комментариев.

— Г. П., В. Б.). Служа идеям коммунизма, наука сделалась мощным орудием преобразования мира. Казалось, обводнение Сахары и направление вод Средиземного моря в электрические турбины — это подвиги, которые на долгое время останутся непревзойдёнными, но уже через год началась работа над проектом столь неслыханной смелости, что перед ним отступил в тень даже Гибралтарско-Африканский гидроэнергетический комплекс. Международное бюро регулирования климата от скромных опытов по местному изменению погоды, от простого управления дождевыми тучами и передвижки воздушных масс перешло к фронтовой атаке на главного врага человечества — холод. Вечные льды, покрывавшие Антарктику и миллионы лет сковывавшие Гренландию и острова Ледовитого океана, — эти льды, источник холодных подводных течений, омывающих северные берега Азии и Америки, теперь должны были исчезнуть навсегда. Для этого следовало обогреть огромные пространства океана и суши, растопить тысячи кубических километров льда (нет, нет, никаких комментариев! — Г. П., В. Б.). Необходимая теплота измерялась триллионами калорий. Такой гигантской энергии даже уран дать не мог, все его запасы оказались бы слишком ничтожными. К счастью, одна из наиболее, как всегда считалось, оторванных от жизни наук — астрономия — открыла источник энергии, поддерживающей вечный огонь звёзд, — превращение водорода в гелий. В горных породах и в атмосфере Земли водорода мало, но неисчерпаемым его источником являются воды океанов. Мысль учёных была простой: создать близ полюсов особые огромные «костры» с температурой Солнца, чтобы осветить и обогреть ледяные пустыни. Однако когда люди научились превращать водород в гелий, то оказалось, что никакой из известных на Земле материалов не в силах выдержать температуру в миллионы градусов, получающуюся при этой реакции. Самая прочная шамотная плитка, прессованный асбест, кварц, слюда, благороднейшая вольфрамовая сталь — всё превращалось в пар, соприкасаясь с ослепительным атомным огнём. Теперь у человечества было топливо, с помощью которого можно было растапливать льды и осушать моря, изменять климат, согревать океаны и создавать вокруг полюсов тропические джунгли, но не было материала, из которого можно было бы построить для него печь. Но так как ничто не может остановить людей, стремящихся к достижению поставленной цели, то трудность эта тоже была побеждена»<sup>{34}</sup>.

Что, собственно, описывается в романе?

В эпицентре известной тунгусской катастрофы учёные находят капсулу с намагниченной проволокой. Запись удаётся расшифровать. Выясняется, что в районе северной реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году упал вовсе не метеорит, а потерпел катастрофу самый настоящий космический корабль-разведчик с планеты Венера, жители которой планировали захватить благодатную Землю. В апреле 1916 года, узнаём мы из романа, один молодой бельгийский учёный опубликовал статью, в которой сравнил средние годовые температуры на Венере за 14 лет. Колебания в среднем не превышали 40 градусов, и только в последний год температура там внезапно поднялась до 290 по Цельсию. Такое резкое повышение держалось около месяца. Но на Земле шла великая война (речь, конечно, о Первой мировой. — Г. П., В. Б.), и никого не интересовали астрономические фантазии. Только коммунистическое общество, наконец, построенное на Земле, отнеслось к указанным открытиям серьёзно. Земляне срочно построили мощный атомный корабль «Космократор» и отправились на Венеру. Они хотели предупредить новое возможное нападение жителей белой планеты. Но ко времени их прибытия там не осталось никаких разумных существ — только пустые мёртвые города со странными полуразрушенными установками, частично ещё работающими в автоматическом режиме. Жестокий план захвата Земли у агрессивных жителей Венеры не осуществился по той простой причине, что на их собственной планете внезапно разразилась жестокая война, которая в итоге привела к всеобщей ядерной катастрофе.

После реальных атомных бомбардировок Японии такое толкование событий выглядело для читателей вполне убедительным.

«Мы знаем, — говорил один из астронавтов, — что материя слепа и что над ней нет никакого Провидения, которое указывало бы ей путь. Порядок в бесконечные просторы космоса вносит сам человек, ибо он творит ценности. Существа, посвятившие свою жизнь уничтожению, являются причиной собственной гибели, будь они даже самыми могущественными. Какое мы можем составить мнение? Воображение отказывает, разум отступает перед размерами страданий и количеством смертей, которые заключены в словах “уничтожение планеты”. Должны ли мы осудить её обитателей? Да, конечно. Но разве на Земле не велись

чудовищные войны между обществами, состоявшими из гончаров, крестьян, служащих, плотников, рыбаков, маляров? Разве миллионы и миллионы людей, погибшие в этих войнах, были хуже нас? Или они больше, чем мы, заслуживали смерти? Вот профессор Арсеньев считает, что жителей Венеры посылали на войну думающие машины. А разве у нас людей на смерть посылала не машина — обезумевшая, хаотически действующая машина капитализма? Разве мы можем знать, сколько Бетховенов, Моцартов, Ньютонов погибло под её слепыми ударами, не успев совершить свои бессмертные деяния?..»

Несмотря на столь явно выраженные коммунистические приоритеты, критика приняла роман молодого писателя довольно холодно.

«Пани Возьницкая с паном Гженевским, — вспоминал Лем, — прикончили “Астронавтов” в 1951 году в “Новой культуре”. Эти “Астронавты”, писали они, идейно фальшивые, политически вредные и вообще никому не нужные. Каждый колотил меня своей палкой»<sup>[35]</sup>. И далее: «Позже я уже не вступал в споры с критиками, так как стал считать это нонсенсом. Но в тот раз меня сокрушали идеологически, хотя мне была оказана честь: в спор вмешался сам Антоний Слонимский<sup>[24]</sup>, который деликатно высмеял идею расширения марксизма (её, кстати, провозглашали мои рецензенты) на весь космос. Слонимский прямо этого не написал, но вполне можно было понять, что если утверждение, будто классовая борьба везде проходит одинаково, принимать всерьёз, то на планете Венера, как и на всех других планетах, должна была со временем возникнуть КПВ, то есть Коммунистическая партия Венеры. А уж она бы активно противостояла бы любой попытке совершить нашествие на Землю. Это значит, что ситуация, описанная Лемом, вообще не могла бы произойти»<sup>[36]</sup>.

Ещё один критик Лема, инженер Евстахий Бялоборский, автор нескольких научно-популярных книг, регулярно слал письма в редакции газет и журналов и в письмах этих обвинял писателя в антинаучности и даже конкретно в том, что описанный в романе космический корабль «Космократор» никак не может долететь до Венеры.

Лем поначалу отвечал на такие наскоки с юмором, а потом просто опубликовал нечто вроде своего «творческого манифеста».

«От каждого литературного произведения, — писал он, — в том числе и от научно-фантастического, следует прежде всего требовать обобщённой правды и представления неких типичных явлений, а вовсе не натуралистических описаний, в которых используются адресные книги, персональные анкеты и таблицы логарифмов».

Тем не менее в дальнейшем он старался уже не углубляться в научно-технические подробности космических кораблей, устройств и механизмов.

В 1951 году, ещё до выхода «Астронавтов», Станислав Лем и его приятель Ромек Хуссарский совместно написали весёлую пьесу «Яхта “Парадиз”», в которой обращали внимание читателей на вполне реальную атомную угрозу.

Послевоенная эйфория закончилась быстро, гораздо быстрее, чем этого можно было ожидать. Только Советский Союз мог ещё противостоять послевоенному весьма возросшему политическому и экономическому влиянию США. Прежде неизвестные формулы запестрели в газетах и журналах разных стран: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Социалистический лагерь по инерции ещё прислушивался к внешним призывам — спасти западную культуру от советской экспансии, но внутреннее сопротивление быстро угасало. В 1949 году Североатлантический пакт заложил основу создания НАТО, тогда же единая прежде Германия была разделена на две самостоятельные страны: Бонн стал столицей Федеративной Республики Германии, Берлин — Германской Демократической Республики. Поляки с удивлением убеждались, что процессы по их «освобождению» тоже весьма далеки от завершения.

«Яхту “Парадиз”» поставили в театрах Ополе, Лодзи и Щецина.

«Главную роль любовника играл сам Феттинг<sup>[25]</sup>, — вспоминал Лем. — Была в этой пьесе пара замечательных анекдотических сцен. Действие происходило на яхте американского миллионера, который сидел в обществе ядерного физика и ещё кого-то — не помню, в каком акте это было, — в лучах роскошного солнца. На палубу выходил представляющий силы прогресса и демократии негр, который нёс на подносе то ли апельсины, то ли мандарины, а поскольку в Польше тогда вы даже со свечкой не нашли бы таких деликатесов, сделаны они были из дерева. И когда негр вышел на премьеру на сцену и споткнулся, все эти деревянные фрукты с грохотом покатались по полу, ну прямо как кегельные шары. И была ещё сцена, в которой выступал Опалиньский<sup>[26]</sup>, игравший ядерного физика. Поскольку он уже тогда был лысый, то на голову ему насадили великолепный, красивый султан. И вот, когда он поднимался по трапу, то зацепился париком за рею, правда, сумел схватить парик и заново прикрепить к голове. Примерно на таком уровне всё и происходило. К стыду своему, мы с Ромеком, как авторы, должны были присутствовать на каждом



представлении»<sup>{37}</sup>.

«Единственное, что я от всего этого получил, — добавлял к сказанному Лем, — это сближение с театральной средой. Поскольку я тут обязан говорить только правду, то добавлю, что профессия актёра для меня — это что-то кошмарное. Обычно я боялся актёров больше, чем сумасшедших. С теми можно хоть как-то совладать, а мысль, что кто-то может выдавать себя за другого на сцене, представлялась мне совершенно ненормальной. Я говорю об этом, может, слишком жестоко, но это факт. Вероятнее всего, сама эта мысль возникла потому, что я сам совершенно неспособен что-либо сыграть, поэтому даже вообразить себе, что кто-то может быть актёром, для меня трудно. Да, очень странной казалась мне эта среда...»

Тем не менее театр привлекал писателя.

Примерно тогда же Лем написал ещё одну пьесу.

На сцене она никогда не появлялась, да и не могла появиться.

Некий учёный Мичуренко, ученик академика Лысюрин (намёки вполне понятны), с большим успехом выращивал кактус, скрещенный с коровой. Кактус даже давал молоко, но властям почему-то всё это не понравилось, начались научные и общественные дискуссии, в их процессе нервный сотрудник госбезопасности Вамья Эстонесоветидзе потребовал отменить дойку кактуса. Была в пьесе ещё Авдокия Недоногина Праксивтихина. Её мужа отправили в США за большими секретами: он должен был подсмотреть, как там делают гашёную соду (видимо, намёк на кока-колу). К сожалению, когда муж Праксивтихиной, прибыв в Америку, подсматривал в замочную скважину, кто-то из капиталистических молодчиков вязальной спицей выколол ему глаз, ну и всё такое прочее. В финале на украшенной красными знамёнами сцене появлялся сам товарищ Сталин — «нечеловечески улыбающийся и сверхчеловечески гениальный». Всматриваясь в зал и поглаживая свои прокуренные усы, он должен был заметить: «Таварыщи немножко отклонились от линии, но...»

Рукопись пьесы удалось разыскать только после смерти писателя.

В 1953 году в журнале «Przekroj» начал печататься новый научно-фантастический роман Станислава Лема «Магелланово облако».

Наученный опытом «Астронавтов» писатель отнёс действие нового романа в поистине далёкое будущее. Это был уже не XXI век, а век XXXII — время, когда вся наша планета действительно будет преобразена. Главный герой, например, родился в Гренландии, в той её части, где «тропический климат ныне сменяется умеренным, а пальмовые рощи уступают место высокоствольным лиственным лесам».

В 3114 году с коммунистической планеты Земля к далёкой звезде альфа Центавра отправлен гигантский космический корабль «Гея» с экипажем из 227 человек. Ограниченность жизненного пространства, постоянный сенсорный голод, тяжёлая депрессия некоторых членов экипажа — да, межзвёздным путешественникам не позавидуешь, им пришлось бороться со многими трудностями. Но пройдут годы, оптимистически писал в дневнике герой романа, и снова, подобно голубой пылинке среди звёзд, возникнет из вечного мрака родная Земля. Мы, обещал герой, привезём вам дневники экспедиции — огромный, ещё не осмысленный и не систематизированный материал. Мы привезём ценнейшие научные труды, созданные за время долгого полёта, и расскажем о том, как была героически побеждена Великая Чёрная Тишина, как мужественно боролись отважные межзвёздные путешественники со страхом чёрной пустоты, в безднах которой даже огромные солнца кажутся всего лишь мерцающими искорками...

Впрочем, уйти от *прошлого* межзвёздным путешественникам и на этот раз не удалось. В окрестностях звезды Проксима Центавра они случайно наткнулись на космическую станцию с ядерным оружием, которая когда-то сошла с земной орбиты и тихонько затерялась в космосе. Конечно, экипаж «Геи» уничтожает станцию, но один из героев отравлен смертельными бактериями. *Прошрое убивает* — это знают теперь все. Но *убивает и будущее*, если вовремя не корректировать свои поступки, — это тоже теперь знают все. В результате неустрашимых случайностей при попытке высадиться на чужую планету погибают ещё десять астронавтов. Мир Проксимы Центавра близок к гибели, но, к счастью, экипаж «Геи» не отвечает немедленным ударом на удар, и дальнейшие поиски контакта приводят к успеху.

В «Магеллановом облаке» Станислав Лем использовал все к тому времени накопленные им знания. Кибернетику изучает главный герой романа, в экипаже «Геи» работает много специалистов по информационным технологиям, по управлению космическим кораблём. Много во время написания романа (вот он истинный дух эпохи) нельзя было называть напрямую. Ту же кибернетику в СССР, а значит, во всём социалистическом лагере подвергали остракизму, писателю пришлось прибегать к вынужденным неологизмам, — почему бы, скажем, не назвать кибернетику «механоэвристикой»? — грамотный читатель поймёт. Настоящий гимн в этом романе Станислав Лем пропел во славу трионов — устройств запоминания информации на кристаллах кварца. Довольно долго эта выдумка Лема считалась чистой фантастикой, но в последние годы мировые информационные технологии успешно разрабатывают именно кристаллические запоминающие устройства.

В романе «Магелланово облако» впервые появился ещё один необычный фантастический термин, изобретённый автором: фелицитология — наука о счастье. К этой теме (вечной и трудной) Станислав Лем будет возвращаться неоднократно. С годами он тщательно изучит все составляющие изобретённой им науки, даже, казалось бы, не самые главные её аспекты.

Вот характерный пример.

«В коммунистическом обществе фелицитологам, учёным, изучающим счастье, много забот причиняла проблема уникальности некоторых

предметов, бывших произведениями природы или делом рук человека. Казалось, к этому случаю, и только к нему одному, неприменим был основной принцип коммунизма, гласящий — “каждому по его потребностям”. На Земле было много предметов, существовавших в одном или немногих экземплярах: полотна крупнейших художников, скульптуры, драгоценности. Конечно, можно снять много точных копий, чтобы удовлетворить всех желающих, но то были бы только копии. Унаследованное от предыдущих общественных формаций стремление к обладанию ценностями породило немало странностей. Одной из них была так называемая мания коллекционирования. Неустанно растущая продукция благ позволяла каждому обитателю Земли получить всё, что бы он ни пожелал, независимо от того, нужно ли ему это в действительности или желаемое им всего лишь призвано удовлетворить неуёмную жажду обладания. Чувство радости, вытекающей из самого факта обладания каким-либо предметом, бессмысленное и даже смешное для нас (людей будущего. — Г. П., В. Б.), порождало много проблем, разрешить которые было нелегко. Говорилось, например, что в будущем у каждого окажется так много разных прекрасных вещей, что за автоматами, которые будут заботиться о собственности, должны будут наблюдать другие автоматы, за этими — другие и так далее. Только применение трионовой техники ликвидировало подобные псевдопроблемы. Любой существующий предмет сегодня может, как говорят, “иметь по триону”. Если, например, кому-нибудь захочется получить картину древнего художника Леонардо да Винчи, изображающую Мону Лизу, то он может повесить в своей квартире в рамке телевизионного экрана именно эту картину, переданную трионом, и единолично любоваться её красотой...»

Герои «Магелланова облака», как и герои другого замечательного романа того времени «Туманность Андромеды», написанного советским писателем Иваном Ефремовым, утверждают себя не только непрерывным научным поиском, но и выступлениями на Олимпийских играх. Они гармоничны во всём. С этой точки зрения схожесть раннего Лема с Иваном Ефремовым бросается в глаза. Это можно проследить даже по названиям глав. В «Магеллановом облаке»: «Марафонский бег», «Прощание с Землёй», «Трионы», «Золотой гейзер», «Девятая симфония Бетховена», «Совет астрогаторов», «Коммунисты», «Столица Центавра», «Красный карлик», «Падающие звёзды», «Цветы Земли». В «Туманности Андромеды»: «Железная звезда», «Эпсилон Тукана», «В плену тьмы», «Река времени», «Легенда синих солнц», «Симфония фа минор цветовой тональности 4.750 мю», «Красные волны», «Школа третьего цикла», «Тибетский опыт», «Остров забвения», «Совет звездоплавания», «Ангелы неба»...

Вера в будущее.

Величайший оптимизм.

Любая проблема в будущем может быть решена.

В немалой степени потому, что сила человека всегда опирается на его прошлое — на правильные решения, принятые когда-то, на правильные нужные решения, сформировавшие нового человека. Беспольных чувств не бывает, говорит один из героев Станислава Лема. Неудачи, страдания, огорчения необходимы. Великие трудности, которые мы преодолеваем, возвеличивают нас, тогда как удовлетворение желаний, пока они по-настоящему не развились и не созрели в человеке, может принести гораздо больше вреда, чем пользы. Мы достигаем в этой жизни тем больше, чем более трудные цели ставим перед собой.

Звучит дидактично.

Но ведь срабатывало.

Били день, били третий.  
Не добились, чего хотели.  
Били круглые сутки.  
В общем и целом — с неделю.  
— Говори, говори! — кричали. —  
Нам и так известны отлично  
Имя твоё и фамилия, и подпольная кличка!  
Головой его колотили по столешнице по дубовой.  
— Хоть фразу скажи нам, пададь, хоть единое слово!  
И паспорт, и визу на выезд выудили ищейки,  
И шифрованные инструкции на чемоданной обклейке.  
И лишь когда «томмиган»<sup>[27]</sup> показали, он перестал молчать.  
Он сказал: — Уберите скатерть, я буду сейчас блевать.  
До смерти били снова — не выбили больше ни слова.  
И в Майданек за проволоку бросили полуживого.  
Но удрал он из-за колючей от конвоя и пистолета...  
Так что же такое слава, если пройдёт и эта?<sup>[28]</sup>

В далёком будущем даже проблема неразделённой любви перестанет оставаться неразрешимой. «Можно представить себе такую картину. Мужчина любит женщину, а та не разделяет его чувств. Других препятствий к сближению у них нет, поэтому женщина принимает пилюлю, преобразующую черты её характера, мешавшие ей полюбить именно этого человека, и всё кончается к обоюдному удовольствию».

Почему бы и нет? Человек должен быть счастлив. Это тоже сближало книги Станислава Лема и Ивана Ефремова.

Как и ожидание тех колоссальных перемен, которые могут прийти с успехами мировой науки.

Пятидесятые годы — особенные годы. С одной стороны — ужасное дыхание холодной войны, постоянная угроза того, что зыбкое мировое равновесие вот-вот рухнет, а с другой — напряжённое ожидание невероятных чудес. Истинных чудес. Считалось, например, что скорый выход в космос сблизит народы. К сожалению, этого не произошло. Любовь небесная и любовь земная остались любовью земной и любовью небесной. Вот почему писателю приходилось так часто вставлять в текст романа дежурные фразы. «После победы коммунизма просвещение стало развиваться с необыкновенной быстротой». И всё такое прочее. И всё же, всё же...

«Его спросили:

— Как тебе жилось?

— Хорошо, — ответил он, — я много работал.

— Были у тебя враги?

— Они не мешали мне работать.

— А друзья?

— Они настаивали, чтобы я работал.

— Правда ли, что ты много страдал?

— Да, — сказал он, — это правда.

— Что ты тогда делал?

— Работал ещё больше...»<sup>{38}</sup>

Казалось, 1954 год начинается для Станислава Лема удачно, но 5 января умер Самуэль Лем.

Это был удар. Станислав всегда любил отца. Он делился с ним своими размышлениями, понимал и принимал его тревоги, неприятие многих событий. Ведь Самуэлю Лему довелось жить в совершенно разных общественных системах: и в довоенной Польше, и при советской власти, и при немецком генерал-губернаторстве, а теперь снова при советской власти. Писатель с горечью видел, как нелегко приходилось его отцу в Кракове — после комфортной и обеспеченной львовской жизни.

«Я часто печатался в “Tygodnik Powszechny”, хотя не был католиком, — вспоминал Лем. — Мой отец был агностиком, да и я, сколько себя помню, всегда оставался неверующим, потому что это соответствовало моим самостоятельным исследованиям в биологии и теории эволюции»<sup>[39]</sup>. Это тоже помогало Лему делиться с отцом замыслами, несомненно, он показывал ему наброски книги «Звёздные дневники» («Dzienniki gwiazdowe»), по крайней мере в 1953 году некоторые из «путешествий» Ийона Тихого были уже написаны.

А вышли они в 1954 году в сборнике «Сезам».

Сборник не нравился Лему, он считал его неровным.

Такие рассказы, как «Топольный и Чвартек», «Сезам», «Клиент ПАНАБОГА», «Агатотропный гормон», писатель в дальнейшем попросту не переиздавал. Рассказ «Топольный и Чвартек» он вообще считал самой своей большой «соцреалистической мерзостью». Правда, говоря о том же «Топольном и Чвартеке», он замечал, что ему и там удались кое-какие предсказания. А в 1999 году на проходившем в Кракове XI Международном конгрессе логики, методологии и философии науки Станислав Лем с некоторым даже удивлением отметил тот факт, что предположение о возможности существования отсутствующих в природе стабильных сверхтяжёлых элементов он впервые высказал именно в этом рассказе<sup>[40]</sup>.

Но сердцем сборника «Сезам» были всё же рассказы об Ийоне Тихом.

Профессор звёздной зоологии Тарантога (ещё один из героев Лема) представил читателям Ийона Тихого весьма впечатляюще. Это и знаменитый звездопроходец, и капитан дальнего галактического плавания, и охотник за метеорами и кометами, и неутомимый исследователь, открывший 80 003 мира, и почётный доктор университетов обеих



Медведиц, и член Общества по опеке над малыми планетами и многих других обществ, наконец, кавалер многих млечных и туманностных орденов. Лем любил цикл об Ийоне Тихом, и в дальнейшем он не включал в него только рассказ о двадцать шестом путешествии, в котором знаменитый звездoproходец угодили в тюрьму в маккартистской Америке. Устами того же профессора Тарантоги рассказ этот будет обозначен как апокриф, лишь по случайности попавший в первое издание «Звёздных дневников».

В 1955 году Станислав Лем был представлен к «Золотому кресту Заслуги».

Конечно, он принял эту награду. «Ибо я не оцениваю человечество как совершенно безнадёжный и неизлечимый случай».

## **Глава третья.**

# **СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ**

*В заброшенном старом парке,  
склоняясь над прудом заросшим,  
я думал о том, что прежде  
вода здесь была прозрачной.  
А почему бы сегодня  
ей не принять свой прежний  
вид? И высохшей веткой  
я стал подталкивать ряску  
к белым дренажным трубам.  
Меня за этой работой  
застал какой-то спокойный  
мудрец с изборождённым  
проблемами лбом. С улыбкой,  
таившей упрёк, он молвил:  
«Не жаль вам времени, что ли?  
Минута — вечности капля.  
Жизнь коротка. И разве  
дел нет важней у пана?»  
Пристыженный я поплёлся  
назад. И весь день я думал  
о жизни. Потом о смерти.  
О Сократе. О римском  
Форуме. И о башне  
Эйфелевой. О бессмертье  
души. Потом о пшенице.  
О мамонтах и пирамидах.  
Но только всё понапрасну.  
И, вернувшись наутро,  
в старый парк, я увидел  
над тем же прудом, заросшим  
патиной зеленоватой,  
мудреца, чьи морщины  
разгладились. Он спокойно*

брошенной мною веткой  
собирал потихоньку  
ряску к дренажным трубам.  
Вокруг шумели негромко  
деревья и пели птицы [\[29\]](#).

Середина 1950-х — это бурлящая Европа, в которой не осталось ни одной страны, которая не испытывала бы экономического и политического дискомфорта. Потрясённый чудовищной войной мир колоний и зон влияний, казалось, построенный на века, на глазах у всех бурно распадался и перекраивался. В Лондоне шли переговоры британского правительства с малайской делегацией Тунку Абдула Рахмана (1903–1990), требовавшей независимости; Национальный конгресс пересматривал конституцию, навязанную им французами; президент Египта полковник Гамаль Абдель Насер (1918–1970) объявил национализацию Суэцкого канала; понятно, что израильские войска незамедлительно начали боевые действия против египтян; израильтян поддержали Франция и Великобритания, но мир уже действительно изменился — вмешательство СССР в ближневосточные дела предотвратило потерю Египтом контроля над столь важным для региона Суэцким каналом.

В социалистическом лагере проблем было ничуть не меньше.

23 октября 1956 года вспыхнуло восстание в социалистической Венгрии.

События там развивались чрезвычайно стремительно. 24 октября председателем Совета министров Венгрии был избран Имре Надь (1896–1958), он сразу ввёл в стране чрезвычайное положение. Эрнё Герё (1891–1980) был снят с поста первого секретаря Венгерской партии трудящихся, на его место избрали Яноша Кадара (1912–1989). За несколько дней Имре Надь сумел сформировать многопартийное правительство и распустил ВПТ (Венгерскую партию трудящихся), заменив на Венгерскую социалистическую рабочую партию. Более того, Имре Надь заявил о выходе своей страны из Варшавского договора и провозгласил Венгрию нейтральной страной. Но Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан социалистическими странами всего лишь год назад — 14 мая 1955 года как адекватная ответная мера на присоединение ФРГ к НАТО (Организации Североатлантического договора) — крупнейшего военно-политического блока, объединившего многие страны Европы, США и Канаду. Конечно, СССР ни в коем случае не мог допустить выхода Венгрии из Варшавского договора, и уже к началу ноября советские войска подавили восстание.

Но мир менялся.

Менялись границы, менялась политика.

Подлил масла в огонь знаменитый доклад первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва, прозвучавший 22 февраля 1956 года с трибуны XX съезда партии. Реакция на разоблачение культа личности Сталина оказалась неоднозначной. Вдруг стало ясно, что слабых сторон у Советского Союза больше, чем предполагалось. 15 ноября Мао Цзэдун (1893–1976), председатель Коммунистической партии Китая, на II пленуме КПК призвал к энергичному «упорядочению стиля», другими словами, к чистке китайской коммунистической партии от сторонников советских методов и к развёртыванию исключительно «китайских методов» строительства социализма.

Активно начала действовать оппозиция и в самом социалистическом лагере.

Мер, принимаемых внутри Советского Союза, скажем, таких как отмена судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с работы, некоторое облегчение налогов, отмена платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях, оказалось недостаточно. На СССР смотрели с опаской и недоверием. В своём докладе («О культе личности и его последствиях») Н. С. Хрущёв фактически подтвердил историю многочисленных преступлений, совершённых КПСС и её деятелями. Заседание XX съезда КПСС было закрытым, но текст доклада довели до сведения рядовых членов. Понятно, что очень скоро этот текст попал в руки западноевропейских и американских спецслужб и стал широко известен.

13 апреля 1956 года близкий друг Лема писатель Ян Юзеф Щепаньский (1919–2003) записал в своём дневнике: «Был у Лема. Он сказал: “Год назад ты придерживался тех же позиций, что и сейчас, а я был слишком красным. Сегодня мы на одинаковых позициях”»<sup>[41]</sup>.

Лем действительно переживал кризис. Уверенность в скорой победе мирового коммунизма была резко поколеблена, вскрылось много тайного, страшного, бьющего по нервам, по сознанию.

Немалую роль в изменении, казалось бы, устоявшихся взглядов сыграла и первая поездка Станислава Лема и его жены за границу.

Союз польских писателей выделил писателю две путёвки на теплоход

«Мазовше», совершавший туристические рейсы в Скандинавию. Как позже вспоминал Томаш Лем, сын писателя: «...в 1956 году путешествие на Запад для гражданина Народной Польши казалось чуть ли не полётом на Луну или Марс»<sup>{42}</sup>. Конечно, в этом была определённая доля преувеличения; сам Станислав Лем в письме близкому другу, режиссёру и сценаристу Александру Сцибору-Рыльскому (1928–1983) описывал свою поездку проще.

«Национальная гордость, то есть теплоход “Мазовше”, — писал он, — немного удручала, поскольку жили мы в маленьких каютах, напоминающих шкафы, *без окон, ниже ватерлинии*, потому что это был такой маленький кораблик, предназначавшийся поначалу (это не шутка) для навигации по Дунаю — плоскодонный и опасный при большом волнении. К нашему счастью, погода стояла превосходная. Неустойчивость корабля отпугнула многих желающих от путешествия — к примеру, на четырёх местах, которые были у ССП, поехали лишь мы двое. Ещё двое — не знаю кто — от поездки отказались»<sup>{43}</sup>.

И всё же путешествие оказалось замечательным.

Скалистые фьорды, живописные морские восходы и закаты.

Экскурсии в Осло, в Бергене, в Копенгагене, где туристы, кстати, побывали в знаменитом парке развлечений Тиволи. Конечно, особенно разгуляться Лемам не удалось: на всю поездку разрешено было взять по 17 долларов на человека. Ну и без скандала не обошлось. В Копенгагене один из польских пассажиров сбежал, оставив на родине жену с двумя детьми.

Бежать было от чего.

Низкая зарплата, отсутствие товаров.

Доклад Н. С. Хрущёва расколол и Польскую объединённую рабочую партию — на консерваторов и на сторонников реформ. В июне 1956 года начались бурные выступления рабочих в Познани — на заводе имени Сталина (теперь имени Х. Цегельского). Многотысячная толпа собралась в центре города рядом со зданием министерства общественной безопасности. Поначалу демонстрации проходили организованно, но скоро события вышли из-под контроля, начались массовые беспорядки, вызванные стычками между сотрудниками силовых ведомств и демонстрантами. Почувствовав силу, рабочие разгромили здание городского комитета ПОРП, штурмом взяли тюрьму, освободив политических заключённых. В уличных конфликтах погибло, по разным данным, от 57 до 74 человек и было ранено не менее пятисот (включая военных). Уже в октябре 1956 года VIII пленум ЦК ПОРП официально осудил сталинские методы руководства и управления; из высших эшелонов власти были выведены наиболее одиозные деятели-сталинисты, партию возглавил Владислав Гомулка (1905–1982). Пытаясь снять напряжение, в Варшаву прибыла делегация Президиума ЦК КПСС во главе с самим Н. С. Хрущёвым. К Варшаве была подтянута советская танковая дивизия, дислоцированная в северных районах Польши. Впрочем, на силовое решение назревших вопросов, как ранее произошло в Венгрии, на этот раз не решились. В результате двусторонней встречи, состоявшейся 19 октября, польская сторона добилась права самостоятельно избирать своё высшее политическое руководство, советские советники отзывались из Войска польского и ведомства госбезопасности, наконец, оставил пост министра национальной обороны и заместителя председателя Совета министров ПНР маршал К. К. Рокоссовский (1896–1968). Немалым достижением польской оппозиции стали отказ от колхозной системы и поощрение индивидуальных хозяйств в аграрном секторе, сотрудничество с католической церковью. И это несмотря на раздражённые слова Хрущёва: «Мы проливали кровь за освобождение вашей страны, а вы хотите отдать её американцам!» — и не менее раздражённые слова Владислава Гомулки, сказанные в адрес В. М. Молотова (1890–1986): «Как это у товарища Молотова — в связи с тем, что он сказал о Польше в 1939 году, — ещё хватает мужества приезжать в



Варшаву?» Имелись в виду слова Молотова о Польше, как об «уродливом детище Версальского договора».

В 1957 году Станислав Лем был удостоен ещё одной награды — литературной премии города Кракова. «За трилогию “Неутраченное время” и другие творческие достижения», как говорилось в представлении. Но социалистический реализм, его творческие подходы были уже неинтересны Лему, его взгляды менялись, он всё глубже погружался в вопросы философские и общественные. Социализм, точнее, методы, которыми пытались социализм строить, вообще развитие человека — всё это наталкивало Лема на размышления (далеко не всегда оптимистические), итогом которых стала первая его серьёзная философская работа — «Диалоги».

«ФИЛОНУС. Привет, друг. О чём ты одиноко размышляешь в этом прекрасном парке?

ГИЛАС. А, это ты. Рад тебя видеть. Этой ночью я пришёл к мысли, которая открывает перед человечеством беспредельные возможности.

ФИЛОНУС. Что же это за бесценная мысль?

ГИЛАС. Я пришёл к убеждению (несомненно, бесспорному), что в будущем люди обретут бессмертие.

ФИЛОНУС. Не ослышался ли я? То есть ты презрел материализм, которому был верен до сих пор?

ГИЛАС. Никоим образом. Мысль моя нисколько не противоречит материализму, напротив, следует из него неуклонным образом.

ФИЛОНУС. Как интересно! Слушаю тебя, друг мой.

ГИЛАС. Как тебе известно, не существует ничего, кроме материи. Эти тучи, эти осенние кроны, это неяркое солнце, мы сами, в конце концов, — всё это суть материальные предметы, то есть скопление атомов; разнообразные же особенности тел проистекают из различий атомных структур. Поэтому в наиболее общем смысле можно сказать, что существуют только атомы и их структуры. Так вот, я стал размышлять о том, почему наперекор течению времени я ощущаю себя всё тем же самым Гиласом, который бегал здесь ребёнком. И я спросил себя: что, неужели это чувство индивидуальной идентичности вызвано идентичностью строительного материала, то есть атомов, из которых оно состоит? Но этого не может быть. Ведь мы знаем благодаря естественным наукам, что атомы нашего тела постоянно обновляются едой и питьём, а также воздухом, которым мы дышим. В костях, нервных клетках, мускулах неустанно

заменяются атомы, заменяются так быстро, что через пару недель все материальные частички, из которых состоял мой организм, уже носятся в речных волнах и среди облаков, я же продолжаю существовать и ощущаю неизменность своей личности. Чему я этим обязан? Наверное, только неизменяемой структуре атомов. Посуди сам, новые атомы моего тела — не те же самые, из каких оно состояло месяц назад, но они такие же, и этого вполне достаточно. Поэтому я могу утверждать, что идентичность моего существования зависит от идентичности моей структуры...»[{44}](#)

«Существуют только атомы и их структуры». В те годы такие утверждения звучали странно. «— *Пан Станислав, а вот эту книгу вы помните?*

— О! «Диалоги». Но это было издано так давно... Вы знаете, вот всё, что здесь, на первой странице написано, так это они (редакторы, философы, читатели. — *Г. П., В. Б.*) не понимали. Никто, даже издатель не понимал, что это всё значит. Думали, может, я немножко с ума сошёл...» («Об атомном воскрешении, о теории невозможности, о философских концепциях людоедства, о грусти в пробирке, о кибернетическом психоанализе, об электрическом метемпсихозе, об обратной связи эволюции, о кибернетической эсхатологии, об индивидуальности электрической сети, о коварстве электромозгов, о вечной жизни в ящике, о конструировании гениев, об эпилепсии капитализма, о машинах для правления, о проектировании общественных систем», — конечно, было чему дивиться, разглядывая первое польское издание «Диалогов». — *Г. П., В. Б.*).

— Вы знаете, нашёлся один немец, который спросил: «Как вы смогли написать о механике устройства социалистического общества в то время?» Ну, как-то удалось... Я даже не... Когда я писал, я даже не знал, что это будет издано... Где это вы нашли эту книгу?

— *В букинисте. В антиквариате.*

— В Кракове?

— *Да, вот сейчас.*

— Удивительно. В то время очень небольшой был тираж... Сейчас посмотрю... Да, три тысячи!..»<sup>[\[45\]](#)</sup>

Имена для героев своей необычной книги Станислав Лем позаимствовал у английского философа Джорджа Беркли (1685–1753) — из его трактата «Три диалога между Гиласом и Филонусом» (1713).

Имя Гилас происходит от латинского *hyle* — материя; телесный, материальный, конкретный, а Филонус от *phylos nos* — любящий мысль; духовный, интеллектуальный.

Вот в споре этих ипостасей Станислав Лем и пытался найти истину.

Детальное знакомство с работами Норберта Винера (благодаря доктору Мечиславу Хойновскому) позволило Лему углубиться в самые насущные проблемы философии. Кибернетика в те годы казалась Лему выходом из многих кризисов. Герои его «Диалогов» Гилас и Филонус в первом и втором диалогах подробно обсуждали парадоксы, связанные, например, с возможностью достижения физического бессмертия — посредством копирования атомной структуры живого организма. Будет ли такое копирование отказом от классического понятия тождественности личности? В третьем диалоге информация рассматривалась как противоположность энтропии; в четвёртом речь шла о проблемах, связанных с невозможностью локализации нашего сознания.

Кибернетика и теория информации — вот ключи к пониманию мира.

Гимн в честь кибернетики и теории информации (наук тогда совсем ещё молодых) Лем пропел в научно-фантастическом романе «Эдем», а вот в пятой главе «Диалогов» Гилас и Филонус попытались докопаться до самой сути человеческого сознания. В качестве физиологической корреляции они рассматривали саму нейронную сеть с её входами, выходами, системой управления и обратными связями — то есть опять видели перед собой некую кибернетическую систему. В шестом диалоге речь шла уже о возможности конструирования такой сети, которая оказалась бы точным эквивалентом человеческого мозга, и, наконец, в седьмом диалоге с позиций всё той же предлагаемой писателем «кибернетической социологии» анализировались капитализм и социализм, тирания и автократия.

«Централизация из-за чрезмерной концентрации обратных связей не только блокирует информацию, но и удлиняет её путь. Вместо коротких обращений спроса и предложения в этой системе наблюдаются иерархически нагромождённые “пункты переключения”. В результате

удлинения пути информации возникает запаздывание от импульса к реакции. В социалистической модели наиболее существенным является запаздывание, вызванное увеличением периода обратных связей (периферия — центр — периферия). Если запаздывание реакции в ответ на импульс — того же порядка, что и промежутки времени, в которые этот импульс действует, тогда само это запаздывание становится существенным параметром системы, то есть начинает активно влиять на происходящие в системе процессы...»<sup>{46}</sup>

В восьмом диалоге Лем пытался при помощи всё той же кибернетики проанализировать общественную психологию, то есть выявить влияние личных особенностей индивидуумов, составляющих общество, на деятельность всего этого общества — и наоборот. Рано или поздно, утверждал Филонус (читай — сам Станислав Лем. — Г. П., В. Б.), люди построят, несмотря на все промахи, катастрофы и трагические ошибки, лучший мир. Если не действовать с этой мыслью, то будет непоправимо утрачена вера в человека и его возможности, а тогда и жить не стоит. Другими словами, «Диалоги» представляли собой взгляды Станислава Лема на, как сейчас говорят, социальную антропологию с опорой на новую методологию — кибернетику, что тогда было внове. «Когда я писал “Диалоги” (которыми горжусь хотя бы потому, что их цитируют в иностранных кибернетических библиографиях), кибернетика представляла собой ну, шестьдесят книг, из которых половину, не хвалюсь, я знал; сегодня таких книг уже целые библиотеки»<sup>{47}</sup>.

То, что седьмой диалог смог увидеть свет в те жёсткие времена, вообще-то — факт удивительный! Пусть малый тираж, пусть не все могли понять сложное содержание, но книга вышла. Пытаясь разобраться в том, почему социалистическая система, якобы основанная на научных методах предвидения исторического развития, никак не может заранее предвидеть и предотвратить столкновения экономических проблем с идеологией (события 1956 года в Польше и Венгрии показали это весьма недвусмысленно), Лем последовательно проводил анализ, используя информационную и кибернетическую методологию.

Понятно, что в Польше «Диалоги» долгое время не переиздавались, а на русском языке эта книга вообще вышла впервые только в 2005 году.

Сложные рассуждения о копировании живых существ и их мозга, о создании искусственного интеллекта, о сложностях любых новаций, связанных с мышлением человека, писатель продолжил, и весьма успешно, во многих своих фантастических и философских произведениях. Он стал

адептом новых учений. Однажды на вопрос Станислава Береса о том, почему писатель так часто обращается к «Запискам из подполья» Достоевского, Станислав Лем ответил: «Господи, да ведь в этой книге, как чудовищные эмбрионы, запрятаны все “чёрные философии” XX века. Там вы найдёте терзания всех этих многочисленных и разных Камю».

В свою очередь, мы можем столь же уверенно говорить, что в ранних произведениях Лема, особенно в «Диалогах», содержались эмбрионы практически всех написанных и ненаписанных им книг.

Собственно говоря, и стихи Лема отвечают рассуждениям Гиласа и Филонуса.

Мир, раздвигаемый руками,  
Небо, подпертое взглядом,  
И музыка из ниоткуда  
Сжимали меня день за днём.  
Кровеносною сетью  
Слабели ветра и светила,  
Сминаясь, как листья,  
Измочаленные детьми.  
Ночь в меня пробиралась —  
Тёмной страны отпечаток,  
Теряя воздуха звуки  
И белый выдох цветов.  
Из стихов моих слова выпадали.  
Строфы зарастали в моих книжках.  
В глазах умирали пейзажи —  
В голубых и зелёных...  
...  
Звёзды стекали с неба,  
Светляки гасли как солнца,  
Снулые жабры месяца —  
Последние тающие облака,  
Вода смешалась с землёй,  
Свет смешался с мраком,  
Сходя в предсветную тьму.  
В моих снах увядали лица  
Безымянных стихов и женщин.  
Аквамарин и охра  
Обращались в пыль.  
В глуби глаз умирали ландшафты.  
Актёры покидали театр.  
Опускался тяжёлый занавес  
На сцену — пустую как смерть.



...

Только ты оказалась  
Прошедшей сквозь пламя —  
Белый девичий профиль  
В обугленном воображенье.  
Скреплённый чёрной печатью  
Закованного в уголь  
Папоротника древнего леса,  
Срезанного океаном [\[30\]](#).

Параллельно «Диалогам» Лем работал над «Звёздными дневниками».

Дневники звездопроходца Ийона Тихого упрочили известность писателя.

В этих дневниках были юмор и необыкновенные приключения. В них читатели попадали в своеобразный, никогда ранее не существовавший в литературе мир, местами, впрочем, слишком уж переполненный неологизмами.

Словотворчество сближало Лема с польскими футуристами.

Но для Станислава оно никогда не было просто игрой.

Писатель пытался найти новые возможности, для того чтобы обозначить, определить, описать явления, события, предметы, существа, отсутствующие на Земле или только-только начавшие проявляться в смутном зеркале будущего.

«Час уже пробил, и выбор между злом и добром у нашего порога».

Слова Норберта Винера призывали Станислава Лема к прямым действиям.

Это и понятно: усложнённые тексты требовали соответствующего комментария.

Много позже к очередному воспоминанию неутомимого звездопроходца — роману «Осмотр на месте» — писатель даже приложил особый «Толковый земляно-землянский словарь».

«Ниже я привожу горсточку слов из этого словаря, — указывалось в приложении к роману, — поскольку они могут облегчить чтение настоящей книги. Я привёл также некоторые выражения, которые не встречаются в тексте, однако играют важную роль в духовной и материальной жизни Энции (так Станислав Лем назвал некую планету из системы двойного солнца в созвездии Тельца. — Г. П., В. Б.). Лицам, которые с большей или меньшей язвительностью упрекают меня (Ийона Тихого) в том, что я затрудняю понимание моих воспоминаний и дневников, выдумывая неологизмы, настоятельно рекомендую провести несложный эксперимент, который уяснит им неизбежность этого. Пусть такой критик попробует описать один день своей жизни в крупной земной метрополии, не выходя за пределы словарей, изданных до XVIII столетия. Тех, кто не хочет произвести подобный опыт, я попросил бы не брать в руки моих сочинений»<sup>[48]</sup>.

Кстати, в четырнадцатом путешествии Ийона Тихого впервые появились знаменитые и загадочные «сепульки», никак автором не объяснённые: прекрасный и очень убедительный пример метафоры порочного круга.

«Нашёл короткую информацию: “СЕПУЛЬКИ — важный элемент цивилизации Ардритов (см.) на планете Энтеропии. См. СЕПУЛЬКАРИИ”. Я заглянул туда и прочёл: “СЕПУЛЬКАРИИ — предметы, служащие для сепуления (см.)”. Я поискал слово “Сепуление”; там стояло: “СЕПУЛЕНИЕ — деятельность Ардритов (см.) на планете Энтеропии (см.). См. СЕПУЛЬКИ”»<sup>[49]</sup>.

Писателя не раз спрашивали, что же это всё-таки такое — сепульки.

Например, журналист Л. Репин писал ещё в 1963 году: «Станислав Лем положил трубку и подошёл к столу. Теперь самое время спросить его про эти... как их... сепульки. Набравшись смелости, спрашиваю. Лем весело и очень заразительно смеётся, потом говорит: “Честное слово, я и сам не знаю! Просто мне очень хотелось, чтобы читатель сам решил, что это такое. Пусть каждый думает, как ему хочется. Или, как у вас говорят, кто во что горазд. И не огорчайтесь, что я не открыл вам эту маленькую тайну. Ведь и Ийон Тихий не смог найти ответ на этот вопрос”»<sup>[50]</sup>.

Конец 1950-х годов для писателя Станислава Лема — это прежде всего реальное осмысление накопленных им научных знаний. Это поистине огромные и глубокие знания. Кибернетика и теория информатики, к примеру, вошли в самую суть таких его романов, как «Эдем» (впервые напечатан в 1958 году в катовицкой газете «Робочая трибуна») и «Расследование» (напечатан в краковском журнале «Pzeglójk»).

К концу 1950-х Лем выработал свой собственный метод работы.

Заключался он в том, что писатель, обдумав некую общую концепцию романа или рассказа, начинал писать прямо с «чистого листа», в надежде на то, что по ходу работы автоматически столкнётся с какими-то неожиданными и интересными явлениями и начнёт с ними разбираться. Главное, считал Лем, ввязаться в сражение, вторгнуться на незнакомую территорию.

Не самый лучший, конечно, метод.

Он изначально таил в себе множество изъянов.

Прежде всего, конечно, мешало то, что автор мог столкнуться (и действительно не раз сталкивался) с чем-то совершенно не укладывающимся в уже обдуманную концепцию. Скажем, в романе «Расследование» убедительный финал так и не был найден, вот и пришлось довольствоваться тем, что подарило автору его буйное воображение. Слишком уж много было выявлено загадок, и к некоторым из них даже подход не был обозначен. В общем, ну да: *истина может быть и такой*. Но для читателя такого вывода мало.

А случалось, дело вообще не шло.

Ну, рассказ — ладно, рукопись можно и выбросить.

Но с крупными вещами расставаться нелегко, Лем этого не любил.

В основе романа «Эдем» лежала, по сути, робинзонада. Многие писатели мечтали и мечтают оставить след в этом жанре. Утверждая свой подход, Станислав Лем отказался даже от персонификации героев: у землян, попавших на планету Эдем, нет никаких личных имён, они названы просто по их профессиям (только у инженера почему-то вдруг всплывает имя — Генрих), но ничто человеческое им не чуждо. Они много курят (слабость самого писателя), часто нервничают, раздражаются, то бледнеют от волнения, то краснеют, кричат друг на друга, а в совсем уж тяжёлых случаях глотают какие-то порошки, как в сельской польской аптеке.

Неведомую планету они снимают на обычную киноплёнку, теряя большие куски её из-за неверно установленной резкости или засветки. И на удар неведомого противника практически всегда отвечают ударом, хотя понимают, что любая, даже локальная война — это наихудший способ сбора информации о чужой культуре.

«Мой метод представлял собой своеобразный вариант метода проб и ошибок, — писал Лем, — и был отягощен не только хорошо известными мне недостатками, но, что гораздо хуже, был небезопасен в том отношении, что незнание (приведёт ли начатая работа к цели?) порой жестоко мстило за себя».

И далее: «Роман “Эдем”, который был задуман “двухслойным”, то есть должен был представлять собою сплав “космической робинзонады” с совершенно иной проблемой (о которой я скажу ниже), — методу моему не поддавался. В книге осталась первая (“робинзонная”) и вторая, та, другая, часть; они не сплелись в единый монолит, вследствие чего эти слои взаимно не поддерживают друг друга. Это произошло потому, что я писал, имея вначале лишь туманную концепцию целого, а не конкретных событий, только столь же туманную концепцию какой-то определённой “погоды”, “климата”, некоей общей ситуации, — и не выдержал темпа и общности событий. Действие развивается в первой главе неплохо, но потом тянется по всяким неприятным мелям, среди длиннот, полных описательства...

Второй проблемой “Эдема” должно было стать положение людей, которые, случайно и помимо своей воли вторгнувшись в чужой мир, могут понять только то, что хоть каким-то образом напоминает им дела и проблемы земные. В таком аспекте можно было наделить проблему как бы двумя сторонами: с одной стороны, человек, доискивающийся в сфере *чужой*, действительно совершенно *чужой* культуры явлений, подобных земным, а с другой — вопрос вмешательства либо воздержания от такого вмешательства в область чужой культуры. Первый аспект можно назвать познавательным, второй, хотя на первый взгляд он кажется производным (ибо нельзя действовать, не понимая), скорее всего, этическим. Оба этих аспекта, но по-иному, я позже вновь поднял в романе “Солярис” — там это именуется “проблемой контакта”. Так вот, в романе “Эдем” меня сегодня не удовлетворяет (помимо чересчур разбавленной, недоработанной стилистики) изображение чужой цивилизации, поскольку она слишком одномерна, слишком плоска. Двигаясь по линии наименьшего сопротивления, я основной упор сделал на биологические особенности иных разумных существ — грех, который я делю с очень многими фантастами. А ведь известно, что подобные существа как бы редуцируют в

своём биологизме, когда создают развитую цивилизацию, поскольку на первый план в этом случае выдвигается *homo socialis*, а не *homo biologicus*.

Разумеется, у этой проблемы (превращения индивида из биологического в общественный) могут быть свои тупики, отклонения, когда общественный строй становится разновидностью молоха, формирующего единицы в соответствии со своими закономерностями. В земном измерении такое явление носит название альянции<sup>[31]</sup>; в своё время генетические источники и общественные двигатели её анализировал ещё Карл Маркс...»

Но были у нового метода и преимущества.

Метод, разработанный Станиславом Лемом, позволял писателю оставаться совершенно свободным в выборе любых объектов описания и, разумеется, в самих описаниях. «Внешний вид жителей Эдема, — вспоминал позже Лем, — вырисовывался постепенно. Вначале он виделся неясно, к тому же был “мёртвым” (в начале романа герои натываются не на живых обитателей планеты, а на их захоронения. — Г. П., В. Б.). Понемногу я уточнял подробности, всё время заботясь о том, чтобы не впасть в какой-либо род антропоморфизма, причём — именно это я хочу подчеркнуть — я действительно тогда был свободен. Гипотезы о том, как может функционировать сконструированное мною удивительное существо как биологический организм, герои книги стали выдвигать гораздо позже, — иначе говоря, я действовал через них, максимально подстраивая биологические данные к той внешности, которую создал»<sup>[51]</sup>.

Что касается антропоморфизма, то да — двутелы Эдема сильно отличаются от людей, но вот психология их, «политическая» и «общественная» система отношений не очень далеко ушли от земных вариантов. Не в первый раз некая разумная цивилизация, слишком увлечённая генетическими новациями, попадает в ловушку собственных жутких результатов. «Экземплификация самоуправляемой прокрустики»... «Биосоциозамыкание»... «Гневисть»... Эти странные термины из беседы землян с двутелом воспринимаются скорее на уровне интуиции...

«Эдем» — далеко отстоит от «Астронавтов» и «Магелланова облака».

Многие иллюзии оставлены. Лем, как всякий поляк, остро чувствовал несправедливость. Выступление Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС не сняло политической напряжённости, она сказывалась во всём. В эпизодах «Эдема», посвященных совещаниям и собраниям экипажа корабля, явственно чувствуется атмосфера пятидесятых. К тому же в романе слишком многое держится на загадках. Сплошные загадки, цепь загадок, следующих одна за другой, мерное, мощное нагнетание непонятного, угрожающего, страшного. Это тоже типичная атмосфера пятидесятых: надеяться только на себя. Экипаж звездолёта, потерпевшего аварию, тоже может надеяться только на себя. А страшные загадки бесчисленно множатся. Вот странные захоронения... Вот странные трупы... Вот непонятный, сам по себе работающий завод и поразительные самодвижущиеся диски...

Наконец, сами обитатели планеты Эдем...

«Словно из гигантской веретенообразно вытянутой устрицы, из толстой складчатой мясистой сумки высунулось маленькое — не больше детского — двурукое туловище. От собственной тяжести оно осело вниз, коснулось пола узловатыми пальчиками, раскачиваясь всё медленнее и медленнее на растягивающихся перепонках бледно-жёлтых связок, пока, наконец, совсем не замерло. Доктор первым отважился подойти к нему и подхватил мягкую многосуставчатую конечность. Маленький торс, исчерченный бледными прожилками, выпрямился, и все увидели плоское безглазое личико с зияющими ноздрями и чем-то разодранным, похожим на покусанный язык, в том месте, где у людей находится рот...»

«Чем эта книга («Эдем». — Г. П., В. Б.) могла стать, — писал Станислав Лем, — я понял только много времени спустя после того, как она была окончена. В ходе развития сюжета, когда мои герои изучали неизвестную планету и её таинственную цивилизацию, каждая экспедиция была одновременно и моим собственным приключением, моим собственным походом в незнаемое. Таким образом, я сначала выдумал загадочную “фабрику” в пустыне, потом первую вооружённую стычку с представителями иной расы разумных существ, причём каждая такая ситуация возникала, как бы вытянутая силой, вырванная из небытия, — наверное, по тем же законам, по которым возникают ситуации снов. Это

вовсе не значит, будто я писал в каком-то трансе, ничего подобного; я лишь пытаюсь подчеркнуть, что я не знал ничего, или почти ничего, о том, что должно было произойти, что должно было появиться через минуту. Причём одним из постулатов действия, в постоянном присутствии которого я лучше всего отдаю себе отчёт, было ощущение, что описываемое должно быть “нечеловеческим”, “иным”, чуждым всему объёму жизненного опыта моих героев. Поэтому, создавая различные декорации для их экспедиций, я следил за тем, чтобы ни один из героев, — будучи интеллектуально полноценным, — не был в состоянии уразуметь, что, собственно, перед его глазами происходит. Это положение, довольно туманное, позволило создать некий неизвестный мир. Он возникал из разрозненных элементов, и я совсем не заботился о том, чтобы элементы эти с самого начала были как-то связаны друг с другом, объясняли друг друга. И лишь после того, как таких “загадочностей” нагромодилось достаточно много, я принялся посредством бесед, открытий, гипотез моих героев — догадываться, на равных с ними правах, каково было значение, механизм увиденного на чужой планете. Тут оказалось, что есть такие гипотезы, с помощью которых возможно объединить все сведения и разрозненные факты в достаточно осмысленное целое. Однако, я подчёркиваю, мне пришлось самому додумываться до этого, я толком не знал заранее, каков будет смысл целого, которое возникло как бы самостоятельно. Кроме директивы, уже названной мною, что всё должно было быть “иначе, чем на Земле”, действовала и другая. “Инаковость” должна была обладать свойствами какой-то угрозы, таинственности, а кроме того, по крайней мере местами, напоминать, хотя бы очень отдалённо, что-то земное. Так, например, большие “диски”, на которых перемещаются с места на место обитатели Эдема, я придумал потому, что каким-то средством передвижения должны же были всё-таки располагать жители цивилизованного мира. Однако я тут же ситуацию запутал, усложнил, сделал так, что “диски” одновременно совершали некую загадочную операцию, которая в восприятии землян связывалась с засыпанием массовой могилы. Такое я использовал и далее, исходя из соображений в значительной степени формальных, так как чувствовал, что описаний столь сложных, длинных, но “ни на что не похожих” объектов, как, скажем, фабрика в пустыне, — нельзя давать в чрезмерных количествах. Иначе читатель перестаёт понимать происходящее...»<sup>[52]</sup>



Поразительно, что методы, которые применял Лем, иногда приводили писателя к совершенно невероятным предвидениям.

«Много оборотов планеты — когда-то — управление централизованное — распределённое, — пытается объяснить землянам историю своей трагической планеты умирающий двутел. Речь его постоянно прерывается паузами. — Сто двенадцатый оборот планеты — один двутел — управление — смерть. Сто одиннадцатый оборот планеты — один двутел — смерть... Другой один — управление — смерть... Потом — один двутел — управление — неизвестно — кто... Неизвестно — кто — управление...»

Земляне понимают. И никакой это не ребус, говорит Координатор. Просто двутел пытается сообщить, что до 113 года, считая от сегодняшнего дня, у них было центральное правительство из нескольких индивидуумов. «Управление централизованное, распределённое». Потом наступило правление одиночек, что-то вроде монархии или тирании, а в 112 и 111 годах произошли, видимо, какие-то бурные дворцовые перевороты. Четыре властителя сменились в течение двух лет, потом появился новый, и никто не знал, кто им был. Так сказать, неизвестный анонимный властитель. Он существует, и в то же время его как бы нет. Централизованная власть существует, и в то же время этой власти как бы и нет.

На изумлённые слова Инженера: как же так, у любой власти должно быть какое-то местопребывание, любая власть должна издавать распоряжения, законы, содержать исполнительные органы, и всё такое прочее, Координатор отвечает: да, это всё так. Есть и власть, и распоряжения, и законы, и исполнительные органы, но любая информация об этом блокируется. Что грозит тем, кто пытается всё-таки распространять запрещённую информацию? Трудно сказать. По крайней мере умирающий двутел землянам этого не сообщил, точнее, не объяснил. Но, наверное, ничего хорошего с такими отщепенцами не происходит.

Невероятно, но личная анонимность, по мнению двутелов, выгоднее известности.

Странно? Да ничуть. Мы, земляне, сами проходили через такое. Нам, землянам, необязательно лететь на другую планету, чтобы увидеть что-то такое. Подобные общественные системы возникали и на Земле. Например, в Юго-восточной Азии, а конкретно, в Демократической Кампучии — в

государстве, построенном «красными кхмерами» на территории Камбоджи и просуществовавшем с 1975 по 1979 год. В течение почти пяти лет партия «красных кхмеров» контролировала всю страну. Сама история стала объектом их эксперимента. Год прихода «красных кхмеров» к власти объявлен был нулевым. Во главе «Ангки лозу» — «Верховной организации» — стояли анонимные «братья»: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Имена их держались в тайне от населения, но сейчас они нам известны: Брат № 1 — Пол Пот, Брат № 2 — Нуон Чеа, Брат № 3 — Иенг Сари, Брат № 4 — Та Мок и Брат № 5 — Кхиеу Сампхан. В течение почти пяти лет внешний мир не знал, что, собственно, происходит в Кампучии. Доходили лишь смутные слухи о некоей совершенно невероятной попытке построить там стопроцентно коммунистическое общество. На первом этапе жители городов выселялись в сельскую местность. Все вещи отбирались и уничтожались, деньги были отменены, религия запрещена. Даже ношение очков рассматривалось как особый вид ревизионизма. Даже язык подвергся мощной правке, вводились революционные термины, любая сентиментальная архаика преследовалась, физически уничтожались врачи, учителя, прежние военные и гражданские чиновники, монахи. По теории главного вдохновителя этого эксперимента Пол Пота, человека, кстати, образованного, окончившего в своё время Сорбонну, в будущей чудесной стране должно было жить не более миллиона жителей<sup>[32]</sup>. Зато это должен был быть поистине «золотой» миллион. Остальные шесть миллионов населения подлежали физическому уничтожению.

Поразительно, но описанное Лемом общество двутелов занято экспериментом, очень похожим на будущий эксперимент анонимных братьев; по крайней мере многочисленные захоронения тысяч и тысяч «отбракованных» двутелов это подтверждают. Учтём и то, что параллельно описываемым событиям на Эдеме ведутся ещё и странные генетические эксперименты, далеко не всегда удачные...

Невозможно не увидеть в романе Лема ещё одну идею, через пять лет после публикации «Эдема» блистательно развитую братьями Стругацкими в знаменитой повести «Трудно быть богом». Действие повести братьев Стругацких разворачивается тоже в будущем и тоже на другой планете — там сотрудники земного Института экспериментальной истории изучают конвульсии некоей жестокой (по переживаемому этапу) цивилизации. Политические интриги, вооружённые перевороты, убийства, пытки, сознательная ложь — весь набор того, что мешает нормальному развитию любого общества.

Но имеет ли право человек *извне* вмешиваться в чужую жизнь?

Имеет ли в данном случае земной человек *извне* брать на себя функции Бога?

Представьте себе, говорит Координатор своему коллеге, что какая-то высокоразвитая раса прибыла на Землю сотни лет назад во время активных религиозных войн и хочет вмешаться в конфликт на стороне слабых. Опираясь на свою мощь, инопланетные боги запрещают сожжение еретиков, преследование иноверцев и т. д. И что ты думаешь, сумели бы они распространить по всей Земле свой, скажем так, инопланетный материализм? Ведь почти всё человечество тогда было верующим, пришельцам в борьбе за абстрактное Добро пришлось бы уничтожить его всё — вплоть до последнего человека, и остались бы пришельцы на опустошённой Земле наедине со своими рационалистическими идеями.

«Ты что же, считаешь, что никакая помощь тут в принципе невозможна?» — возмущается Химик. На что Координатор отвечает: «Помощь? Боже мой, что значит помощь? То, что здесь происходит, то, что мы здесь видим, — это плоды определённой общественной формации. Пришлось бы её сломать и создать новую, лучшую. А как это сделать? Ведь это существа с совершенно иной физиологией, психологией, историей. Они не такие, как мы. Ты не можешь здесь воплотить в жизнь модель нашей цивилизации. Ты должен предложить план совершенно другой цивилизации, которая могла бы функционировать даже после нашего отлёта». А Доктор к сказанному добавляет: «Да, я опасался, что в приступе благородства вы и впрямь захотите навести тут свой порядок, что в переводе на язык практики однозначно означало бы террор...»

Стихи — тоже эксперимент.  
Стихи — всегда эксперимент.  
Крылья ночницы из фиолетовой краски и грозы.  
Под крыльями пушистый ветер.  
Весь этот свет — это темнота, надетая на сладкий шарик света.

Это гора лилового воздуха... [\[33\]](#)

Крылья из фиолетовой краски...

Пушистый ветер... Сладкий шарик света...

Зачем-то писателю надо было это. Он погружался в научные статьи, пытался понять скрытые связи, пронизывающие весь мир, все общества, все эстетические и политические системы, но всё равно упорно возвращался к словам.

Бабочка... Гусеница... Пчела... Жук-могильщик...

Да, всё в мире может (и должно, наверное) быть предметом исследования и восхищения. В конце концов, это не просто слова, не просто образы, — это попытка нарисовать то, чего мы ещё не знаем, словами, которые мы уже знаем...

Тем же методом Станислав Лем работал над загадочным криминальным романом «Расследование».

Действие в нём происходит не в далёком космосе, а на Земле. Но не в Польше, как в «Больнице Преображения», а в Лондоне, полном всяких мрачных загадок не меньше, чем планета Эдем. Тут снова возникают загадочные случаи, они множатся, как в зеркалах, поставленных друг перед другом. Из моргов почему-то исчезают трупы. И это, похоже, не похищения, это не результат летаргических снов, нет, это что-то более странное; после мучительных размышлений полицейский инспектор Грегори приходит к совершенно неожиданному выводу: исчезнувшие трупы могли уходить из моргов сами.

Мерзкая лондонская погода не придаёт бодрости запутавшимся полицейским.

Они нервничают. Как многие герои Лема, они курят, пьют кофе чашками. Они постоянно взъерошены, злятся друг на друга, выглядят усталыми и удручёнными. И всё это показано в романе через длинные, иногда даже очень длинные описания, через огромное количество деталей.

Вот, к примеру, дом, в котором живёт инспектор Грегори.

Старая двухэтажная постройка с порталом, достойным кафедрального собора.

Крутая причудливая крыша, каменные тёмные стены, длинные коридоры, изобилующие неожиданными поворотами и закоулками. В комнатах такие высокие потолки, будто они предназначались для каких-то летающих существ. Поблескивают позолотой своды. Поблёскивает мрамор лестничной клетки. Длинная опирающаяся на каменные колонны терраса. Зеркальный салон с люстрами. Десятки, сотни деталей, многие из которых вообще не имеют никакого отношения к рассказываемым событиям, но в целом они дают неожиданный эффект — реальную картину Лондона.

Конечно, «Расследование» — не примитивный роман ужасов, но он доверху, иногда даже чрезмерно набит мрачными загадками. Трупы, морги, неизвестные бактерии, тайны рака, пляски смерти. Вот главный инспектор Шеппард поворачивает выключатель, и свет на несколько секунд заливает кабинет.

«Потом главный инспектор погасил верхний свет, и вновь наступил полумрак.

Но прежде, чем он наступил, Грегори разглядел то, что прежде было неразлично, — женское лицо, отброшенное назад по диагонали листа, глядящее одними белками глаз, и шею, на которой виднелся глубокий след от верёвки. Он уже не видел деталей снимка, но, несмотря на это, его как бы с запозданием настиг ужас, запечатлевшийся на мёртвом лице. Он перевёл взгляд на Шеппарда, который продолжал расхаживать взад-вперёд. “Мне кажется...” — хрипло произнёс Грегори. Он очень медленно отклонялся корпусом в одну сторону, пока целиком не оказался вне радиуса действия слепящего рефлектора. Благодаря этому его глаза лучше видели в темноте. Рядом с фотографией женщины были и другие. На них были запечатлены лица мёртвых. Шеппард снова зашагал по комнате, на фоне этих кошмарных лиц он передвигался как посреди странной декорации, нет, как посреди самых обычных, привычных вещей».

Другой герой, доктор Сисе, учёный, тоже не прост. Он активно помогает полицейским распутывать странное дело об «оживающих трупах», но иногда кажется, что доктор Сисе это дело специально запутывает.

«Приглашение моей особы к расследованию тем не менее, — говорит полицейским доктор Сисе, — я рассматриваю как полезное новшество. Всю эту серию случаев, о которой идёт речь, я изучил, насколько было возможно. Классические методы расследования — коллекционирование следов и поиски мотивов — себя абсолютно не оправдали. Поэтому я прибег к статистическому методу. Что он даёт? На месте преступления часто можно определить, какой факт имеет с ним связь, а какой нет. Например, очертания кровавых пятен рядом с телом убитого связаны с преступлением и могут многое сказать о развитии событий. А то, какие облака проплывали над домом в день убийства, кучевые или перистые, были перед домом алюминиевые телефонные провода или медные, можно считать несущественным. Что же касается нашей серии, то вообще невозможно определить, какие сопутствующие факты связаны с преступлением, а какие нет. Если бы подобный случай оказался вообще единственным, наш метод не удалось бы применить. К счастью, случаев оказалось больше. Разумеется, количество предметов и явлений, в критический час находившихся или происходивших близ места происшествия, практически бесконечно. Но поскольку мы имеем дело с целой серией, следует основываться главным образом на тех фактах, которые сопутствовали всем или почти всем происшествиям. Итак, воспользуемся методом статистического сопоставления...»

И он поясняет, чего, собственно, можно ждать от статистического

анализа.

Даже из приведённой выше цитаты видно, какое необыкновенное впечатление в своё время произвела на Станислава Лема теория информатики. Писатель всерьёз был убеждён, что человек, владеющий информацией, владеет миром. А его герой — доктор Сисе — в свою очередь, был убеждён, что проблема романа имеет характер чисто методологического свойства, уголовная окраска учёного вообще не занимает.

«Что, если мир — вовсе не разложенная перед нами головоломка, — методично рассуждает доктор Сисе, — а всего лишь бульон, в котором в хаотическом беспорядке плавают некие кусочки, иногда по воле случая слипающиеся в нечто единое? Если всё сущее фрагментарно, недоношено, ущербно и события имеют либо конец без начала, либо середину, либо начало? А мы-то классифицируем, вылавливаем и реконструируем, складываем это в любовь, измену, поражение, хотя на деле и сами-то существуем только частично, неполно. Наши лица, наши судьбы формируются статистикой, мы случайный результат броуновского движения, люди — это незавершённые наброски, случайно запечатлённые проекты. Совершенство, полнота, завершённость — редкое исключение, возникающее только потому, что всего на свете неслыханно, невообразимо много! Грандиозность мира, неисчислимое его многообразие служат автоматическим регулятором будничного бытия, из-за этого заполняются пробелы и бреши, мысль ради собственного спасения находит и объединяет разрозненные фрагменты. Религия, философия — это клей, мы постоянно собираем и склеиваем разбегающиеся клочки статистики, придаём им смысл, лепим из них колокол нашего тщеславия, чтобы он прозвучал одним-единственным голосом! На каждом шагу торчат куски жизни, противореча тем значениям, которые мы приняли как единственно верные, — а мы не хотим, не желаем этого замечать!»

И далее: «На деле существует только статистика. Человек разумный есть человек статистический. Родится ли ребёнок красивым или уродом? Доставит ли ему наслаждение музыка?

Заболит ли он раком? Всё это определяется игрой в кости. Статистика стоит на пороге нашего зачатия, она вытягивает жребий конгломерата генов, творящих наши тела, она разыгрывает нашу смерть. Встречу с женщиной, которую я люблю, продолжительность моей жизни — всё решает нормальный статистический распорядок. Может быть, он даже решит, что я обрету бессмертие. Ведь кому-то достанется бессмертие, как достаются красота или уродство? Но поскольку нет однозначного хода

событий, и отчаяние, красота, радость, уродство — всего лишь продукт статистики, то она и определяет наше познание. Бесчисленное количество вещей смеётся над нашей любовью к гармонии. Ищите и обрящете, в конце концов, всегда обрящете, если будете искать рьяно; ибо статистика не исключает ничего, делает всё возможным, одно — менее, другое — более правдоподобным. История — картина броуновских движений, статистический танец частиц, которые не перестают грезить об ином мире».

В этом месте главный инспектор не без иронии спрашивает: «Бог тоже возникает время от времени?»

И слышит ответ: «Возможно».

И в самом деле. Разве мы сами не возникаем только время от времени?

Разве мы не исчезаем, не растворяемся, а потом какой-то внезапной судорогой, внезапным усилием ну хотя бы на день не становимся самими собой?



Сам Лем считал «Расследование» неудачей.

«Причина этого, — писал он, — лежит в том, что я понаставил себе чересчур много капканов, наплодил слишком много загадок, подробностей, которые потом никоим образом не смог соединить воедино каким-то логичным объяснением. Первоначальная общая директива требовала показа философско-познавательного феномена явлений, их двойственного обличья, единичного с одной стороны, а с другой — массово-статистического, в котором правят иные закономерности. Автомобильная авария вызывается, как правило, какими-то единичными причинами, но в целом — все они подчиняются определённым закономерностям, причём столь явным, что даже полиция может предвидеть с довольно значительной степенью точности, сколько человек может погибнуть в тот или иной день. Увы, действие романа вырвалось из-под моего контроля, я потерял над ним власть, я уже не мог направлять действие в сторону, намеченную вышеназванной вполне рациональной директивой. К тому же мне очень мешало то, что я писал о конкретном историческом времени, поэтому не мог, как в “Эдеме”, отдаться фантазии, воображению, которые позволили бы объединить в логичное целое все наиболее странные нагромождения вначале разрозненных элементов...

Воспользуюсь таким примером: существует игра, основанная на том, что на чистом листе бумаги рисуют совершенно не связанные друг с другом элементы, какие-то штришки, кривые линии, колечки, завитушки и тому подобное; требуется создать на основе всего этого рисунок, имеющий определённый и однозначный смысл, так, чтобы он охватил все разрозненные подробности, поглотил их в качестве элементов, составляющих общую картину. Так вот, мне кажется, суть моего творчества в то время в том и заключалась, чтобы в ходе повествования сливать воедино первоначально разбросанные беспорядочно (по значению) первичные элементы. Разумеется, чтобы иметь возможность более или менее успешно проводить вторичную интеграцию материала с первоначально низкой степенью конвергенции (семантической, ситуационной), я должен обладать максимальной свободой действия. Если её нет, все труды обречены на провал...»<sup>[53]</sup>

19 апреля 1974 года Лем писал своему русскому переводчику Рафаилу Нудельману:

«Думаю, что я уже знаю, как должно было закончиться моё “Расследование”.

Проблема должна была выглядеть так. Выявлена серия непонятных явлений, неважно каких! Были события A1, A2, A3, A4, A5, A6... AN. Наконец, возникла гипотеза, которая рационально объясняла всё, за исключением одного события, например, A9. Совершенно ясно, что A9 никак не удастся впихнуть в эту гипотезу. Отсюда два выхода: а) считаем гипотезу ошибочной; всё, то есть создание гипотезы, начинаем с самого начала, *загадка остаётся* (именно так фактически заканчивается “Расследование”); б) считаем, что случай A9 *не входит в серию!* Он “из другого семейства”, отдельный, он имел собственные причины и чисто случайное сходство с явлениями всей серии. Всё объяснено, гипотеза себя оправдала, гностика спасена, и лишь нужно будет ещё *отдельно* разгадать случай A9. И если даже он не будет объяснён, гипотезе это не повредит, скажем просто, что откладываем дело *ad acta*<sup>[34]</sup>, поскольку в этом *ином* случае обстоятельства сложились так, что следы затёрты и реконструкция невозможна. Я этого не учёл. А жаль. Потому что это очень красивая модель познавательного продвижения».

Начиная с романа «Расследование», о Станиславе Леме можно говорить как о настоящем крупном состоявшемся художнике. Он научился не только придумывать, он научился в полную силу пользоваться собственной памятью. Он научился не бояться того, что хранится в её глубинах, поэтому любой текст с этой поры освещен им самим, его личностью. Как пример приведём крошечный эпизод из романа, который нет смысла придумывать, скорее всего, он просто жил в памяти писателя, чтобы явиться в нужное время.

«Когда Грегори выходил из метро, было около одиннадцати.

Сразу же у поворота, за которым находился дом семейства Феншоу, в нише стены постоянно обретался, поджидая прохожих, слепой нищий с огромной облезлой дворнягой у ног. У него была губная гармошка, в которую он дул только при чьём-нибудь приближении, даже не пробуя делать вид, что играет, — он просто сигналил. Старость этого человека угадывалась скорее по его одежде, нежели по физиономии, покрытой растительностью неопределённого цвета. Возвращаясь домой поздно ночью, Грегори встречал его всегда на одном и том же месте, как вечный укор совести. Нищий принадлежал уличному пейзажу наравне с эркерами старой стены, между которыми он сидел. Грегори и в голову не пришло бы, что, молчаливо мирясь с его присутствием, он совершает должностной проступок. Ведь он был полицейским, а согласно полицейским инструкциям, нищенство воспрещалось.

Он никогда особенно не думал об этом человеке, однако старик, кажется, занимал какое-то место в его сознании и даже возбуждал какие-то чувства, проявлявшиеся в том, что Грегори, проходя мимо, немного ускорял шаг. Он не признавал подаяния, но это не объяснялось ни его характером, ни его профессией. По неведомым ему самому причинам, он ничего никогда не подавал нищим; думается, здесь срабатывала какая-то не совсем понятная застенчивость. Однако в этот вечер, уже миновав старика, он совершенно неожиданно для себя вернулся и подошёл к тёмному углу, держа в пальцах извлечённую из кармана монету. И тогда произошёл один из тех пустяковых случаев, о которых не рассказывают никому и вспоминают с ощущением жгучего стыда. Грегори, убеждённый, что нищий протянет руку, несколько раз совал монету в неразличимый сумрак закутка между стенами, но каждый раз наталкивался только на неприятные

в соприкосновении лохмотья; нищий вовсе не спешил получить подаяние, но как-то неуклюже, с трудом прижимая к губам гармошку, дул ни в склад ни в лад. Преисполненный отвращения, не в состоянии и дальше нащупывать карман в драной одежде, Грегори вслепую положил монету и двинулся дальше, как вдруг что-то негромко звякнуло возле его ноги. В слабом свете фонаря блеснул катящийся вдогонку за ним его собственный медяк. Грегори безотчётно поднял его и швырнул в тёмный излом стен. Ответом был хриплый, сдавленный стон. Грегори, близкий к отчаянию, устремился вперёд большими шагами, словно убегая. Весь этот эпизод, продолжавшийся, пожалуй, с минуту, привёл его в дурацкое возбуждение, которое прошло лишь перед самым домом, когда он заметил свет в окне своей комнаты...»

В 1959 году романы «Эдем» и «Расследование» вышли отдельными книгами.

В том же году был издан и сборник рассказов «Вторжение с Альдебарана» — в краковском Литературном издательстве, в котором ранее вышли «Диалоги», а в будущем будут выходить практически все новые произведения Лема.

В сборнике «Вторжение с Альдебарана» впервые появились рассказы о пилоте Пирксе — «Испытание», «Патруль», «Альбатрос».

Позже Лем признавался, что поначалу не задумывал писать цикл, но вот как-то так получилось: один рассказ, за ним другой, третий. К тому же, за исключением двух-трёх рассказов, сборник не казался Лему очень удачным. Будущее следует описывать с эпическим размахом, нужно уметь набрасывать запоминающийся историко-социальный фон; с этой точки зрения рассказы о доблестном пилоте выглядят мелковатыми. Ни семьи, ни близких людей, ни отчётливого окружения. Неудивительно, ведь Лем думал написать один, ну два рассказа, а они вдруг начали разрастаться в цикл. Да и что за герой? Ни особого интеллекта, ни сногшибательных авантур. Только одно оправдывало пилота Пиркса в глазах Станислава Лема, его создателя, — человечность. Именно человечность помогала Пирксу всегда оставаться самим собой и из самых напряжённых ситуаций выходить с достоинством.

В 1959 году Станислав Лем был награждён Крестом офицерского ордена Возрождения Польши. Пришла известность, появились деньги. Не сумасшедшие, конечно, но их хватило на покупку первого автомобиля. Им оказалась немецкая (ГДР) малолитражка Р-70. Ни у Станислава, ни у Барбары водительских прав не было, пришлось учиться и этому. Впрочем, уже скоро писатель лихо разъезжал по Кракову. Одна поездка даже чуть не завершилась катастрофой. Лем вёз своего приятеля писателя Яна Юзефа Щепаньского в соседний городок. Шёл весенний дождь, перебиваемый мокрым снегом, видимость никакая, и вдруг скользкую дорогу перегородил тяжёлый грузовик. «У меня был выбор: или столкнуться с ним, или рассчитывать на какое-то чудо, — рассказывал Лем. — С необыкновенным хладнокровием я направил автомобиль в кювет, где, к нашему счастью, оказалось много снега»<sup>[54]</sup>.

Лем был азартным водителем, любил обгонять другие машины.

Эти обгоны часто заканчивались тем, что выкипала вода в радиаторе, после чего неугомонный водитель отправлял пани Барбару на поиски воды, которую та и приносила от добрых людей в банке. Сам же Лем стоял в это время в клубах пара у двигателя, а мимо проезжали все те машины, которые ранее он умудрился обогнать.

Томаш, сын писателя, вспоминал: «Как-то в восьмидесятые я вёз родителей домой. Дорога была скользкой, падал снег. Мы ехали за грузовиком, который еле тащился. Отец нетерпеливо подскакивал на сиденье, даже несколько раз сказал: “Ну же, Томаш!” Я объяснил ему, что не могу обойти грузовик, потому что из-за снега плохо видно, а мы приближаемся к крутому повороту, вдруг навстречу кто-то выедет. “Удивляюсь я тебе, — сказал отец. — Я в твоём возрасте просто *предполагал*, что встречных машин не будет”. — И удовлетворённо добавил: “И знаешь? Всегда оказывался прав”»<sup>[55]</sup>.

В начале 1960-х годов Славомир Мрожек (1930–2013), ещё один близкий приятель Лема, писатель, тоже приобрёл Р-70. Однажды Лем, как опытный водитель, принялся в гараже объяснять неопытному Мрожеку, как следует обращаться с машиной. В частности, он решил показать, как нужно менять колесо. К сожалению, домкрат соскользнул, и машина с грохотом упала на ось. Выбежав из дома, встревоженная пани Барбара увидела покатывающиеся со смеху приятелей.

В 1959 году в ГДР по мотивам романа «Астронавты» немцы начали снимать фантастический фильм «Безмолвная звезда». С писательской делегацией Лем побывал в ГДР, его там знали, хорошо принимали, но впечатление о фильме осталось у Лема самое неприятное. «В нём (фильме. — Г. П., В. Б.) чуть ли не провозглашали речи на тему борьбы за мир, — жаловался он. — Навалили какой-то низкопробной сценографии, клокотала смола, которая и ребёнка бы не напугала. Этот фильм был дном дна! Был ещё такой один фильм, он возник в начале пятидесятих годов, — назывался “Светлые нивы”. Польского, кстати, производства. Ну, в этом фильме была такая прекрасная деревня, всё в ней было “тра-ля-ля”, люди тоже были “тра-ля-ля”, крестьянин за плугом не потеет, так как известно, что при социализме никто не потеет. Что-то страшное! Вот и “Безмолвная звезда” оказалась такой же. Слава богу, никто об этом фильме давно уже не помнит. Ужасная халтура, бессвязный соцреалистический паштет. Единственной пользой от всего была возможность осмотреть западную часть Берлина. Стены, делящей Берлин на две части, тогда ещё не существовало, поэтому в перерывах между постоянными ссорами с режиссёром я вырывался на западную сторону»<sup>[56]</sup>.

Довольно скоро Лем сменил Р-70 на новый, опять же немецкий (ГДР) — «вартбург».

Это была вполне современная машина, на ней Лем с женой отважились отправиться даже в заграничное путешествие — в Чехословакию. Вот там, в Праге, Лем пережил, как он сам потом рассказывал, свой наивысший писательский успех.

«Мы приехали в Прагу, не побеспокоившись о том, чтобы заранее заказать место в гостинице. И вот ездим от одного отеля к другому, нигде нет свободных комнат, всё занято. В очередном отеле кладу паспорт на стойку и снова слышу: “Ничего нет”. И вдруг служащий поднимает голову от моего паспорта: “Лем? Станислав Лем? Так это вы написали 'Эдем'?” И вручает мне ключ от номера!»<sup>[57]</sup>

В тот раз Лем и Барбара побывали в Праге и Братиславе.

В музеях смотрели работы Пикассо и Ренуара, скульптуры Родена.

Кстати, чешский переводчик Лема некий господин С. пригласил супругов вместе отметить день рождения писателя, но потом как-то потерялся и перестал отвечать на телефонные звонки. Станислав и Барбара отправились в ресторан «Москва» самостоятельно, а через некоторое время там появился и переводчик с подругой, при этом он ничуть не был смущён и вёл себя как ни в чём не бывало. В тот же вечер, вернувшись в гостиницу, Лем написал господину С. одно из своих первых «разводных писем» (позже такие письма получали многие сотрудничавшие со Станиславом Лемом переводчики, журналисты, критики, литературные агенты). Понятно, что господин С. книгами Лема больше не занимался...

По существовавшим в то время законам Лем не мог вывезти в Польшу полученные за границей деньги. Гонорар за изданные в Чехословакии книги нужно было истратить там же, в Чехословакии, так что хватило и беготни по магазинам. В итоге автомобиль был загружен под завязку, зато пани Барбара с облегчением записала в своём дневнике: «Наконец-то у нас почти не осталось крон».



В целом 1950-е годы сложились для Лема успешно.

Книги публиковались как в Польше, так и за рубежом.

Роман «Астронавты» выдержал пять изданий на родине, а также был опубликован в Болгарии, Венгрии, ГДР, Голландии, СССР, Финляндии. В Чехословакии он вышел на чешском и словацком языках. «Магелланово облако» трижды издавалось в Польше, одновременно было переведено на латышский, немецкий, румынский, русский, словацкий, чешский языки. Вышли рассказы о пилоте Пирксе и рассказы о приключениях Ийона Тихого, опубликована философская книга «Диалоги».

Спектр необыкновенный, некоторых он сильно удивлял.

Но самое главное — Лем неуклонно расширял и углублял свои знания.

*Глава четвёртая.*  
**ЗВЁЗДНЫЕ ГОДЫ**

1961 год стал для Лема поистине «звёздным».

Вышли в свет сразу четыре его книги, да ещё какие!

«Возвращение со звёзд»! «Солярис»! «Рукопись, найденная в ванне»!  
А ещё сборник рассказов «Книга роботов»!

На каждой стоит остановиться подробнее.

Верный своему методу, Станислав Лем историю астронавта Эла Брега («Возвращение со звёзд») тоже начал с «чистого листа», то есть с незнания того, с чем встретится на Земле вернувшийся со звёзд астронавт. По словам самого Лема, он, автор, как и его герой, весьма смутно представлял будущее. Прошло много времени с той поры, когда Эл Брегт покинул родную планету. Естественно, он понимает, что в жизни землян должны были произойти какие-то весьма существенные изменения, но увиденное Брегом превосходит все самые смелые предположения. Неторопливо, не боясь долгих, иногда потрясающе красивых, иногда несколько утомительных описаний (всегда, впрочем, невероятных), Лем показывает нам новый мир — поистине *новый*. Со всех сторон сыплются на Брега непонятные слова, люди одеты *не так*, они держатся *не так*, он всё время видит что-то незнакомое, не укладывающееся в сознание, постоянно сталкивается со сбивающими с толку суждениями и ощущениями. Что-то, конечно, предсказуемо, что-то пусть частично, но угадывается, хотя есть и такое, что самого автора, создателя романа, ставит в тупик.

«Было во всём этом нечто забавное, — признавался Станислав Лем. — Я сижу, пишу, следя с интересом, как у моего героя завязываются первые беседы, первые контакты, и вдруг в сознании всплывает слово “бетризация”. Откуда это? Что это? Я сам не знаю, что такое слово должно означать. Но вот участники разговора как бы сами по себе начинают обсуждать что-то связанное с бетризацией, и я невольно заинтересовываюсь. Вот тут повествование начинает развиваться, тут начинает вырисовываться прежде смутный замысел вещи»<sup>[58]</sup>.

«Начиная писать “Возвращение со звёзд»”, — вспоминал Лем, — я знал только то, что герой возвращается на Землю спустя столетие после отлёта и что его подкарауливают, если так можно выразиться, многие не очень-то приятные неожиданности. Даже речи не могло идти о каком-то (много раз описанном фантастами. — Г. П., В. Б.) всеобщем энтузиазме землян, вдруг узнавших о возвращении звёздной экспедиции. По неизвестным — даже мне, автору, — причинам космонавтика давно уже не пользуется на Земле ни популярностью, ни признанием. Поэтому я сказал себе: герой не сразу высадится на Земле. Почему? Ну, скажем, по причинам чисто техническим. Ведь звёздный корабль должен быть гигантом, вероятнее всего, такие корабли в будущем будут причаливать к Луне. Далее, астронавтами, возвращающимися из столь далёких экспедиций, должен кто-то специально заниматься, какая-то специальная организация, — поэтому я придумал АДАПТ. Однако оставлять героя надолго в этом АДАПТЕ я не хотел — мне было важно, чтобы астронавт как можно скорее оказался на Земле. Для естественности я решил, что Брегг должен взбунтоваться, — немедленное возвращение на Землю должно было стать его первым эмоциональным толчком, необходимой встряской. Однако когда Эл Брегг, выполняя моё решение, сел в корабль, летящий на Землю, я почувствовал, что эскапада эта вряд ли удастся, потому что работники АДАПТА, уже имея соответствующий опыт, разбирались в текущей ситуации гораздо лучше героя. Поэтому Брегга в порту встречает нечто такое, что должно сразу ударить по его бунтарству, причём это “нечто” не должно “организовываться” умышленно. Брегг попросту заблудился в огромном порту — я воздвиг с этой целью огромный, роскошный, действительно подавляющий лабиринт...»<sup>[59]</sup>

Эл Брегг видит какие-то подплывающие к перронам зелёные круги, движущиеся дорожки, невероятный праздник цветных огней. Он не понимает, что это такое, что должна означать та или иная деталь, и никто не может ему этого объяснить. Плывут над перронами гигантские, как бы ничего не говорящие огненные буквы — СОАМО СОАМО СОАМО. Затем перерыв, голубоватая вспышка, и вновь из ничего возникают буквы, теперь другие — НЕОНАКС НЕОНАКС НЕОНАКС. Возможно, это реклама? — если она, конечно, существует в новом мире. Огромные залы — один, другой, третий, бесконечный, необозримый ряд залов. К ярким и весьма

необычным нарядам женщин астронавт скоро привыкает, но вот костюмы мужчин кажутся ему маскарадными, нелепыми. Отсюда — раздражение Эла Брегга, его беспричинный гнев, вспышки гнева.

Интересно, будь любимым писателем Лема не Достоевский, а Тургенев, как бы выглядели эти чудовищные порты будущего?..

РЕАЛ АММО РЕАЛ АММО. Как это понять?

СЪЁМОЗАПИСИ МИМОРФИЧЕСКОГО РЕАЛА.

ОРАТОРИЯ ПАМЯТИ РАППЕРА КЕРКСА ПОЛИТРЫ.

ПЕТИФАРГ ДОБИЛСЯ СИСТОЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭНЗОМА.

АРРАКЕР ПОДТВЕРДИЛ ЗВАНИЕ ПЕРВОГО ОБЛИТИ-СТА  
СЕЗОНА...

А ведь это всего лишь внешнее.

Гораздо сложнее понять *новых людей*.

С людьми, как всегда, намного сложнее.

Впрочем, до встречи Эла Брега и «реалистки» Наис, вспоминал позже Лем, у него не было каких-то совсем уж особых трудностей с текстом. Волшебный и непонятный мир будущего сам по себе вызывал у автора (соответственно, и у героя) всё новые и новые аллюзии. Это вам не ночной, плохо освещенный, пустынный тусклый Краков. В *новом мире* пришельцу из прошлого объяснить, понять что-либо по-настоящему трудно, иногда невозможно, ведь он и разговоров, даже слов многих не понимает. К счастью, за словом «бетризация», так неожиданно всплывшим в сознании Лема, последовало внезапное озарение, мысленная вспышка. Писатель (по его собственным словам) вдруг «догадался», что речь идёт о чём-то очень важном, о чём-то вроде ампутации человеческой агрессивности...

И это — величайшее достижение!

Вторым же величайшим достижением стало полное покорение землянами гравитации, другими словами, полная нейтрализация силы притяжения и инерции. Теперь все транспортные средства оснащены специальными «чёрными ящиками», которые в случае катастрофы мгновенно высвобождают мощный заряд «гравитационного поля». Парастатика, гравитационная техника, придумана вовремя, отмечает про себя Брегг, — мир бетризованных людей нуждается в особом обеспечении безопасности. Агрессию человека сумели унять — это хорошо. Люди теперь могут не бояться кораблекрушений, аварий на дорогах, взрывов в самолётах, вообще техногенных катастроф, это тоже хорошо. Но, получая одно, теряешь другое. По-иному никогда у людей не получалось. Построив счастливый, в высшей степени стабильный мир, люди потеряли способность рисковать: человечество сознательно отказалось от полётов в космос, от звёздных путешествий, от всех этих опасных предприятий — оно окуклилось на родной планете («всё главное — на Земле»), основной его потребностью стала потребность в новых развлечениях.

Согласиться с этим астронавты не могут.

«Что тебе доказал Старк — бесполезность космодромии? — говорит при встрече Бреггу один из его товарищей. — Ну и что? Вот полюсы. Что было на земных полюсах? Те, кто их завоевал, прекрасно знали, что там никогда ничего, кроме снега и льда, не было. А Луна? Что искала группа Росса в кратере Эратосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли центр диска Меркурия? Чтобы позагорать? А Келлен и Оффшаг? Если они

что-то знали наверняка, летя к холодному облаку Цербера, — так это то, что там, в облаке, можно погибнуть. Понял ли ты истинный смысл сказанного Старком? “Человек должен есть, пить и одеваться, всё остальное безумие”. У каждого есть свой Старк, Брегг, у каждой эпохи! Не думаешь ли ты, что мы не полетели бы в космос, если бы звёзд не было? Я думаю, полетели бы. Мы изучали бы пустоту, чтобы как-то оправдать свой полёт. Геонидес или кто-нибудь другой подсказали бы нам, какие ценные измерения и исследования можно провести в пустоте...»

«Не думаешь ли ты, что мы не полетели бы в космос, если бы звёзд не было?»



В Советском Союзе роман перевели быстро, но публикация проходила со скрипом.

Опытные партийные деятели чувствовали, что нет в романе Станислава Лема того «подлинного духа коммунизма», которым ранее отличались «Астронавты» и «Магелланово облако». Одному из переводчиков Лема, Рафаилу Нудельману, пришлось даже писать специальное предисловие, в котором роман объяснялся с удобных для партии позиций, ну а издательство, в свою очередь, уговорило знаменитого космонавта Германа Титова подписать это предисловие...

Судьба романа «Рукопись, найденная в ванне», изданного в 1961 году, оказалась куда сложнее.

Лем написал эту книгу во время очередного своего бегства от аллергии в Погорье — в дом писателей «Астория». Там рукопись прочли приятели Лема — писатели Ян Котт (1914–2001) и Мацей Сломчиньский (1920–1998). Не сговариваясь, в один голос они объявили: да, книга получилась неплохая, книга получилась даже замечательная, но в Польше её не опубликуют.

К счастью, Лем так не думал. Он уже научился работать с властями.

Гораздо позже, в октябре 1991 года, писатель признался Константину Душенко, ещё одному своему русскому переводчику: «Я был вынужден снабдить “Рукопись” неким предисловием, в котором место действия фиктивно переносилось в Америку, — в противном случае роман не вышел бы “по цензурным соображениям”»<sup>[60]</sup>.

На самом деле «Рукопись», конечно, рассказывала не про США или СССР.

Роман был посвящен военной бюрократии вообще. Не бюрократии какой-то одной отдельной страны или формации, нет, это было поистине универсальное (почти научное) исследование поведения людей в некоей замкнутой системе, независимо от того, где и как такая система возникла.

Лучше всего объяснил это сам Лем.

«Стремясь исследовать как бы граничные, даже экстремальные варианты процессов общественной дегенерации, я написал “Рукопись, найденную в ванне” — произведение в значительной мере памфлетное и гротескное. Я писал его иначе, чем предыдущие свои вещи, поскольку иная ориентация наложила иной отпечаток и на работу, и на стиль. Уже в процессе написания я пришёл к мысли, что тотальная альенация, царящая в созданном мною “микрообществе”, до такой степени лишает любую личность её индивидуальных свойств, что буквально всё в этой личности становится функцией аппарата государственного принуждения, — даже черты лица, даже бородавка на носу. И, превращаясь из субъекта в инструмент, человек уже не действует сам, нет, *им* теперь действует какой-то безымянный аппарат. Такой подход привёл меня к весьма любопытной проблеме взаимопонимания — циркуляции информации, различных родов языка, наречий, диалектов, говоров...»

Тут писатель действительно дал себе волю!

РАБОЛЕПНИЧЕСТВО...

ЭСХАТОСКОПИЯ...

МИСТИФИКАТОРИКА...

КАДАВРИСТИКА...

СУЩЕСТВА

ВОЗДУШНЫЕ — см. АНГЕЛЫ... ЛЮБОВЬ — см. ДИВЕРСИЯ...

ВОСКРЕШЕНИЕ — см. КАДАВРИСТИКА... СВЯТЫХ ОБЩЕНИЕ — см.

СВЯЗЬ... Наконец, вся эта ИНФЕРНАЛИС-ТИКА, ЛОХАНАВТИКА,

ИНЦЕРЕБРАЦИЯ, ЛЕЙБГВАРДИСТИКА, ДЕКАРНАЦИЯ, даже ГРЕХ

ПЕРВОРОДНЫЙ, то есть деление мира на информацию и дезинформацию!

«Любопытно, — продолжал Лем. — что свою “Рукопись” я начал писать, имея в виду создание просто ещё одного небольшого рассказа про Ийона Тихого (который, *nota bene*, должен был сам в нём выступать в роли рассказчика). Но в процессе работы тональность постепенно изменилась, юмор отошёл на второй план, а карикатурный гротеск выдвинулся на первый. Однако внимательный читатель и в окончательном варианте заметит определённую разницу между несколькими десятками первых страниц вступления и всей остальной частью повести...»<sup>{61}</sup>

В повести «Рукопись, найденная в ванне» герой тщетно пытается отыскать комнату, в которую он может войти, пользуясь пропуском, выданным на его имя. По каким-то неясным причинам это невозможно. Поочерёдно герой попадает в Отдел Проверки, в Отдел Дезинформации, в Секцию Нажима. Он бесконечно блуждает среди людей в форме и в штатском, видит деловитых курьеров, проносящих кипящие чайники, видит деловитых секретарш, разливающих чай. Всё крайне запутанно, даже слова командующего: «Вы будете направлены к *ним* со специальной миссией (речь, понятно, идёт о подрывной деятельности. — Г. П., В. Б.). Ведь вы уже были *там*?»

Но в том-то и дело, что герой *там* не был.

Потому он и бродит по зданию в поисках некоей Инструкции, которая всё бы ему объяснила.

Коридоры... Переходы... Кабинеты...

«Только после доклада»... «Только для сдачи отчётов»...

Вновь и вновь секретарши, разливающие чай, офицеры с мускулистыми руками, украшенными шифрованной татуировкой, загадочные старички-хранители с синими отёкшими лицами... Абсолютно кафкианская вещь, не зря именно к «Рукописи» писатель всегда относился без присущего ему скепсиса. *Тотализация намеренности* — вот что его интересовало. Ведь человек в самом деле способен трактовать абсолютно всё, что попадает в поле его восприятия, как некое *сообщение*.

«— “Баромосовитура инколонцибаллистическая матекоится, чтобы канцепудролировать амбидафигигантурелию неокодивракиносмейную”, — прочитал я. — Это вы называете расшифровкой?

Офицер снисходительно усмехнулся.

— Это только второй этап, — объяснил он. — Шифр был сконструирован так, чтобы его первичное декодирование давало в результате именно нагромождение бессмыслиц. Это должно было подтвердить, что первичное содержание исходной депеши не было шифром, что оно лежит на поверхности и является тем, что вы до этого прочли.

— А на самом деле... Он кивнул.

— Сейчас вы увидите. Я принесу текст, ещё раз пропущенный через машину.

Бумажная лента выскользнула из ладони, появившейся в квадратной дверце. В глубине промелькнуло что-то красное. Прандтль заслонил собой отверстие. Я взял ленту, которую он мне подал. Она была тёплой, не знаю только почему: от прикосновения человека или работы машины. “Абрутивно канцелировать дервишей, получающих барбимуховые сенкобубины от свящеротивного турманска показанной вникаемости”. Таков был текст.

— И что вы намерены делать с ним дальше?

— На этой стадии заканчивается работа машины и начинается человеческая...»

Тотемизм и анимизм, был убеждён Лем, как и многие другие подобные явления в первобытных культурах, были основаны именно на том, что все можно воспринимать и понимать как сообщение, адресованное всем.

«Вы говорили, что всё является шифром. Это была метафора? — Нет.

— Следовательно, каждый текст... — Да.

— А литературный?

— Ну конечно. Прошу вас, подойдите сюда.

Мы приблизились к маленькой дверце. Он открыл её, и вместо следующей комнаты, которая, как я предполагал, там находилась, я увидел занимавший весь проём тёмный щит с небольшой клавиатурой. В середине щита виднелось нечто вроде никелированной щели с высовывавшимся из неё, словно змеиный язычок, концом бумажной ленты.

— Прочитайте, пожалуйста, фрагмент какого-нибудь литературного произведения.

— Может быть... Шекспир?..

— Что угодно.

— Как? Вы утверждаете, что драмы Шекспира — это тоже набор зашифрованных депеш?

— Всё зависит от того, что мы понимаем под депешей.

Я опустил голову. Долго я не мог ничего вспомнить, кроме снова и снова приходящего на ум возгласа Отелло: “О, обожаемый задок!”, но эта цитата казалась мне слишком короткой и не соответствующей требованиям.

Потом вспомнил:

— “Мой слух ещё и сотни слов твоих не уловил, а я узнала голос: ведь ты Ромео? Правда?”

— Хорошо.

Капитан быстро нажимал на клавиши, выстукивая изречённую цитату.

Из полой на отверстие почтового ящика щели поползла, извиваясь в воздухе, бумажная полоса. Прандтль осторожно подхватил её и подал мне. Я держал в руках кончик ленты и терпеливо ждал. Она медленно, сантиметр за сантиметром, выползала из щели. Потом лёгкая дрожь механизма, ощущавшаяся через полоску бумаги, внезапно прекратилась. Лента продолжала выползать, но уже чистая. Я поднёс отпечатанный текст к глазам. “Подлец мать его подлец руки и ноги ему переломать со сладостью неземной мэтьюзнячии выродок мэтьюз мэт”.

— Что это значит? — спросил я, не скрывая удивления.

— Полагаю, что Шекспир, описывая эту сцену, испытывал крайне неприязненные чувства к некоему лицу по имени Мэтьюз и зашифровал испытываемые им чувства в тексте драмы.

— Ну, знаете... Никогда этому не поверю!.. Вы что же, хотите сказать, что Шекспир умышленно совал в этот чудесный лирический диалог площадную брань по адресу какого-то Мэтьюза?

— А кто говорит, что умышленно? Шифр — это шифр вне зависимости от намерений, которыми руководствовался автор.

— Разрешите? — Я приблизился к клавиатуре.

Лента ползла, скручивалась в спираль. Я заметил странную улыбку на лице Прандтля, который, однако, ничего не сказал. “Ее ли бы ты мне да ла эх рай ее ли бы ты мне эх рай да ла бы да ла рай эх ее ли бы”, — увидел я аккуратно сгруппированные по слогам буквы.

— А это что такое?

— А это следующий слой. Мы просто докопались до ещё более глубокого уровня психики средневекового англичанина.

— Не может быть! — воскликнул я. — Значит, чудесный стих Шекспира — всего лишь футляр, прячущий внутри себя эти свинские словечки *дай* и *рай*! И если вы заложите в свою машину любые величайшие литературные произведения, любые непревзойдённые творения человеческого гения, бессмертные поэмы и саги — из этого тоже получится подобный бред?

— Конечно, — холодно ответил капитан. — *Диверсионный бред*. Всякое там искусство, литература — разве вы не знаете, для чего они предназначаются?»

Всему можно поверить, полистав книги, попавшие в руки героя.

Эти книги издают запах плесени, запах бумажной пыли, тяжёлый смрад тления.

«Антология предательства»... «О реализации небытия»... «Как материализовать трансцендентность»... «Об удаче шпионской, или Руководство по безупречному шпионажу» — в трёх книгах, с парергой и паралипоминной нугаторы Джонаберия О. Пауна... «Как не доверять очевидному»... «О распутничестве дистанционном»... «Подкуп — основной подручный инструмент шпиона»... «Теория подсматривания»... «Скоптофилия и скоптомания на службе разведки»... «Боевая разведывательная машина, или Тактика шпионажа»... «Краткий очерк доношительства»... Даже для любителей музыки можно найти кое-что, скажем, вот эту рассыпающуюся стопку нот с написанным от руки лиловым заглавием: «Малый провокаториум для четырёх рук, со сборником сонетов “Иголки”».

В принципе, по мнению писателя, всё в нашем мире может быть использовано (и использовалось) создателями замкнутых общественных систем. «А с этого момента, — писал он, — действительно *всё* начинается быть *известием*. Наступает абсолютизация конспирологического видения истории, даже дождь становится симптомом, позволяющим плохо или хорошо предвещать то, что может произойти в политической сфере. Именно это представлялось и представляется мне самым существенным в книге, внутреннее безумие которой я, кажется, выстроил с достаточной интенсивностью и настойчивостью. Этой моей “Рукописью” с самого начала управляло счастливое сочетание понурого кошмара с юмором...»<sup>[62]</sup>



Многих собеседников писателя не покидало устойчивое, иногда даже не слишком приятное ощущение того, что в процессе беседы с ними Лем успевал ещё и продумать что-то своё, к разговору не относящееся.

Несколько нервная манера общения часто переносилась Лемом на его героев.

«Гонишь меня? — выкрикивает один из сотрудников станции («Солярис». — Г. П., В. Б.). — Тебе не надо ни предостережений, ни советов? А ведь я твой верный товарищ по звёздам! Кельвин, давай откроем донные люки и станем кричать ему (разумному океану планеты Солярис. — Г. П., В. Б.) туда, вниз. Может, он услышит? Скажем ему, во что он нас превратил, пусть испугается, пусть построит нам серебряные симметриады, и помолится за нас своей холодной математикой, и пошлёт нам окровавленных ангелов, и пусть его мука станет нашей мукой, его страх — нашим страхом, и станет он нас молить о конце...»

И далее: «Кто это сделал? Кто это с нами сделал? Гибарян? Гизе? Эйнштейн? Платон? Они же все преступники! Подумай, ведь в ракете человек может лопнуть как мыльный пузырь, или застыть, или изжариться, или так быстро истечь кровью, что даже и крикнуть не успеет, а потом только его косточки будут греметь на орбитах Ньютона с поправкой Эйнштейна. Чем тебе не погремушки прогресса?! А мы — браво, вперёд по славному пути! И вот пришли и сидим в этих клетушках, над этими тарелками, среди бессмертных рукомойников, с отрядом верных шкафов и преданных клозетов. Осуществились наши мечты... Кто виноват?...»<sup>[63]</sup>

Это не просто цитата. Это писательская манера.

Станислав Лем всегда искал себе *равных* собеседников.

Может, по этой причине в поздние годы он совсем отказался от беллетристики — слишком уж упал читательский уровень. Научную фантастику почти во всех странах стремительно вытеснило сказочное фэнтези, а психологический роман выродился в десятки подвидов — от дамских повестушек до низкопробного триллера. Какие уж тут интеллектуальные откровения?

Впрочем, эрудиция, глубокая аналитическая манера размышлений Станислава Лема часто сочетались в писателе с некоторой наивностью.

«Я привёз ему в Краков из Сибири мешочек кедровых орехов, которых он никогда ранее, видимо, не видел, — вспоминал Владимир Борисов. —

Он тут же схватил пару орешков и попытался их разжевать вместе со скорлупой. Когда я спохватился и показал, что их нужно расщёлкивать, он отложил орехи и с сожалением заметил: «Ну, Бася разберётся»...»

Лем обладал чрезвычайно широким научным кругозором. Он всегда был в курсе последних научных событий, это позволяло ему не терять времени на поиски нужного материала. Он легко оперировал понятиями из самых разных научных дисциплин, находил скрытые глубинные связи, случалось, даже проявлял определённую самоуверенность в своих суждениях. Мог, например, бесцеремонно перебить собеседника: «А, знаю, знаю!» Но это шло от нежелания попусту терять время.

В эти годы Станислав Лем очень близко дружил с писателем Славомиром Мрожеком, несмотря на разницу в возрасте почти в десять лет. Впервые Мрожек (он жил в Варшаве) написал Лему ещё в 1956 году. При чтении «Больницы Преображения», признавался Мрожек, он открыл для себя «нового Лема».

Характерный образец их дружеского общения представляет, например, вот это объяснение (в письме от 23 января 1960 года) Лема, почему он не может принять приглашение Мрожека вместе с ним поехать на семинар в США:

«О, как я благодарен! Но всё-таки, поражённый сиянием Твоего Благодеяния, осмелюсь я, ничтожный Червь, просить полушёпотом Твою Златотканую Личность, овитую Плащом Собственного Превосходства, отойти от моего порога и обратить излучающие благость Очи свои на кого-нибудь более достойного. Ибо, — переходя от евангелического стиля к стилю Блоньского, — ибо хотя между ними и нет особого отличия — недостойн я! Я мог бы замучить Тебя до смерти перечислением всех обстоятельств, поводов и дел, требующих моего присутствия в Польше, однако, в противоположность гражданам, отвечавшим Наполеону, почему они не приветствовали его пушечным виватом<sup>[35]</sup>, отвечу Тебе со спартанской краткостью, избавляя Тебя, как уже сказал, от утомительных отступлений, в которых Око Твоё, увязши, бесполезно тратило бы время. К тому же я лишь читаю по-английски, дорогой Славомир, только читаю, а если когда-либо производил впечатление говорящего на этом языке, то это случайно. Впечатление такое возникло как бы само собой, обрело независимость и возросло сверх всякого приличия и меры. А я читаю и пишу — с чудовищными ошибками. Поэтому и остаюсь немым в английском языке, примерно как вышеупомянутый Наполеон...

Об остальных причинах («The rest is silent», Уильям, где-то там<sup>[36]</sup>)

промолчу»[{64}](#).

Близко дружил Лем с профессором Яном Блоньским — историком и литературным критиком, жившим, кстати, в Кракове по соседству, что позволяло видеться им едва ли не каждый день. А ещё с журналистом Яном Юзефом Щепаньским, с которым написал несколько киносценариев. И с художником Даниэлем Мрузом, иллюстрировавшим многие книги Лема. И тесно общался с критиками научной фантастики Дарко Сувиным и Францем Роттенштайнером, который впоследствии стал его литературным агентом. Правда, в 1996 году Лем с Роттенштайнером разругался, даже судился. Владимир Борисов спросил однажды Роттенштайнера: а не в его ли «честь» назван профессор Троттельрайнер в повести «Футурологический конгресс»? Роттенштайнер ответил сдержанно: «Может быть». Ведь на немецком языке слово *Trottell* означает *глупец*.

Дружески переписывался Станислав Лем с Урсулой Ле Гуин, книги которой высоко ценил, и с переводчиками: Майклом Канделем (США), Виргилиусом Чепайтисом, Ариадной Громовой и Рафаилом Нудельманом (СССР), позже с Константином Душенко и Виктором Язневичем...

«Очень неинтересные были годы», — как-то заметил Лем.

Но вот странно, именно в «неинтересные» годы он написал свои самые интересные книги.

«Я писал их тем способом, — иронизировал писатель, — каким паук ткёт свою сеть. Если паука исследовать даже под электронным микроскопом, мы не обнаружим в его ганглиях никакого плана будущей сети. В железах его тоже не обнаружится никакой сети, только жидкость, которая затвердевает на воздухе. У каждого паука целая батарея таких желёз (около сорока), из которых он извергает особую жидкость, а потом из неё формирует нити. Аналогично со мной. Никогда не бывало так, чтобы у меня в голове сразу появлялся какой-то готовый образ целого и я, дрожа от опасения, что его забуду, торопливо записывал бы его. Нет, я просто писал. И постепенно всё “это” как-то само собой возникало. Например, когда я ввёл Кельвина на солярийскую станцию и заставил его впервые увидеть перепуганного и пьяного Снаута, я сам не знал, что именно Снаута так поразило и почему это он так ужасно испугался прилетевшего с Земли человека...»<sup>[65]</sup>

«В девятнадцать ноль-ноль бортового времени я спустился по металлическим ступенькам внутрь контейнера. В нём было ровно столько места, чтобы поднять локти. — Так начинается роман «Солярис». — Я вставил наконечник шланга в штуцер, выступающий из стены, скафандр раздулся, и я не мог больше сделать ни малейшего движения. Я стоял, вернее, сидел в воздушном ложе, составляя единое целое с металлической скорлупой...»

В общем-то, не ахти как оригинально.

Но вот дальше начинается нечто особенное.

«Я беспомощно огляделся, ожидая кого-нибудь, но никто не появлялся. Только неоновая стрелка светила, указывая на бесшумно скользящий эскалатор. Я встал на него. По мере спуска красивые параболические своды зала постепенно переходили в цилиндрический туннель. В нишах грудami валялись баллоны со сжатым газом, контейнеры, кольцевые парашюты, ящики. Это меня удивило. Эскалатор заканчивался у круглой площадки, и здесь царил ещё больший беспорядок. Под кучей жестяных банок растеклась маслянистая лужа, в воздухе стоял неприятный резкий запах. В разные стороны тянулись следы, чётко отпечатавшиеся в липкой жидкости. Между жестяными банками валялись рулоны белых телеграфных лент, вероятно, их вымели из кабин, клочки бумаги, мусор. Засветился зелёный указатель, направляя меня к средней двери. За ней вообще тянулся такой узкий коридор, что в нём трудно было бы разойтись. Свет проникал сквозь нацеленные в небо двояковыпуклые стёкла верхних иллюминаторов. Ещё одна дверь, разрисованная бело-зелёными шахматными клетками, была приоткрыта. Я вошёл в полукруглую кабину. В единственном обзорном иллюминаторе горело затянутое туманом небо. Внизу, бесшумно перекатываясь, чернели гребни волн. В стенах множество открытых шкафчиков с инструментами, книгами, невымытыми стаканами, пыльными термосами. На грязном полу стояло пять или шесть шагающих столиков, между ними несколько надувных кресел, потерявших всякую форму — воздух из них был частично выпущен. В единственном кресле сидел маленький худенький человек с обожжённым солнцем лицом, нос и скулы у него шелушились...»

Это и был Снаут, так испугавшийся первой встречи.

Конечно, не стоит думать, что, начиная роман, Лем действительно не

имел никакого общего замысла. Имел, конечно. Но моделировал он не сюжет, а проблематику романа. Моделировал саму возможность контакта землян с негуманоидными необычными формами жизни; детали гомеостатического существа, способного поддерживать разумное существование в необычных условиях; земную науку будущего; наконец, вопросы ещё более сложные: что, скажем, определяет идентичность любого живого существа — его функциональная структура или материальный субстрат? То есть, другими словами: подобна ли появляющаяся перед героем «нейтринная» Хари той «истинной» земной Хари, которую помнит Кельвин?..

Итак.

Планета Солярис была открыта давно.

Но в течение сорока с лишним лет после открытия к планете не приближался ни один земной космический корабль. Невозможность возникновения жизни на планетах двойных звёзд как бы подразумевалась — ведь их орбиты непрерывно изменяются в результате гравитационных возмущений, происходящих при вращении солнц относительно друг друга. Если говорить конкретно о планете Солярис, то по первоначальным подсчётам учёных она вообще давно должна была приблизиться к красному солнцу и упасть в раскалённую бездну.

Но почему-то этого не случилось.

Тогда на Солярис обратили внимание.

Несколько земных экспедиций облетели планету, затем на круговые орбиты были выведены искусственные спутники. И внезапно обнаружилось, что поверхность Солярис почти полностью покрыта неким странным слизистым океаном — вот он-то и стал с этого момента главным предметом учёных споров. Биологи увидели в Океане некую гигантскую, невероятно разросшуюся жидкую клетку, занявшую всю планету своим студенистым покровом, достигающим кое-где нескольких миль глубины, а физики обнаружили прямую связь между некоторыми процессами, протекающими в плазматическом Океане, и местным гравитационным потенциалом, меняющимся в зависимости от океанического «обмена веществ».

«Плазматическая машина» — так определили новую форму жизни.

И Солярис была признана учёными планетой населённой, правда, всего лишь *одним* обитателем.

«Роман “Солярис” был написан за один сеанс терапии в Закопане, ну, кроме одной последней главы, — вспоминал Лем. — Эту главу я написал только после годичного перерыва. Я вынужден был отложить книгу, потому что не знал, что делать мне со своим героем. А сейчас даже не могу найти того “шва” — места, по которому книга была “склеена”. Мало того, я не знаю даже, почему не мог так долго её закончить. Помню только, что первую часть писал гладко и быстро, а закончил весь текст только через год в какой-то счастливый день или месяц...»<sup>[66]</sup>

Сразу после выхода роман начал своё победное шествие.

Он много раз переиздавался в Польше, был переведён на многие языки.

На русском языке глава «Соляристы» была напечатана в 1961 году в журнале «Знание — сила». В 1962 году сокращённый перевод романа (М. Афремович) появился в журнале «Наука и техника», а перевод Д. Брускина — в журнале «Звезда». Брускинский перевод Станислав Лем авторизовал, и на долгое время (до 1976 года) в Советском Союзе публиковался в основном этот перевод. В целом его можно назвать удачным, если бы не одно обстоятельство: бдительное идеологическое редактирование лишило роман «Солярис» нескольких очень важных страниц, на которых разумный Океан сравнивался с... самим Богом.

«Скажи мне, — спрашивает Кельвин Снаута. — Ты веришь в Бога?»

Снаут отвечает: «Да ну, кто сейчас верит». Но в глазах его светится беспокойство.

«Это всё не так просто, — говорит Кельвин. — Ведь меня интересует не традиционный земной Бог. Я не разбираюсь в религиях и, может, ничего нового не придумал. Но... Ты случайно не знаешь... существовала ли когда-нибудь вера в Бога слабого... в Бога-неудачника?»

«Неудачника? — удивляется Снаут. — Как это понимать? В каком-то смысле Бог любой религии был слабым, ведь его наделяли человеческими чертами, только преувеличенными. Бог Ветхого Завета, например, был вспыльчивым, жаждал преклонения и жертв, завидовал другим богам, а греческие боги из-за своих склок и семейных раздоров тоже выглядели почеловечески неудачниками...»

«Нет, — прервал его Кельвин. — Я имею в виду Бога, несовершенство которого не связано с простодушием людей, сотворивших его.



Несовершенство — его основная, имманентная черта. Это Бог, ограниченный в своём всеведении, всесии, он ошибается в предсказаниях будущего своих начинаний, ход которых зависит от обстоятельств и может устрашать. Это Бог калека, который всегда жаждет большего, чем может. Это Бог, который изобрёл часы, а не время, которое они отсчитывают, изобрёл системы и механизмы, служащие определённым целям, а они давно переросли эти цели и изменили им. Он создал бесконечность, которая должна была показать его всемогущество, а стала причиной его поражения».

«Когда-то манихейство...» — неуверенно начал Снаут.

«Нет, это не имеет ничего общего с добром и злом, — тут же прервал его Кельвин. — Этот Бог не существует вне материи. Он не может от неё избавиться, он этого только жаждет...»

«Нет, подобной религии я, пожалуй, не знаю, — говорит Снаут, помолчав. — Такая никогда никому не была нужна. Если я правильно тебя понял, ты думаешь о каком-то эволюционирующем Боге, который развивается во времени и растёт, возносясь на всё более высокий уровень могущества, дорастая до сознания своего бессилия. Этот твой Бог — существо, для которого его божественность стала безвыходным положением; и, поняв это, он впал в отчаяние. Но ведь отчаявшийся Бог — это просто человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека. Так что, всё это только никуда не годная философия, это даже для мистики слабовато».

«Нет, — говорит Кельвин упрямо, — я не имею в виду человека. Возможно, некоторые черты моего Бога соответствовали бы такому предварительному определению, но лишь потому, что оно далеко не полно. Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Её навязывает ему время, в которое он родился. Человек служит этим целям или восстаёт против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Полная свобода поиска цели возможна, если человек окажется совсем один, но это нереально, ибо человек, который вырос не среди людей, никогда не станет человеком. Этот мой Бог — существо, лишённое множественного числа, понимаешь?»

«Ах, — сказал Снаут. — Как это я сразу...»

И указал рукой на Океан.

«Нет, — возразил Кельвин. — И не он. Слишком рано замкнувшись в себе, этот Бог миновал в своём развитии возможность стать божеством. Теперь он, скорее, отшельник, пустынный космос. Он повторяется, Снаут, а тот, о ком я думаю, никогда бы этого не допустил. Может, он где-то уже возникает — как раз теперь, в каком-то уголке Галактики, и вот-вот начнёт

гасить одни звёзды и зажигать другие...»

«Новые и сверхновые. Это, по-твоему, свечи на его алтаре?»

«Если ты собираешься так дословно понимать то, что я говорю...»

«А может, именно Солярис — колыбель твоего божественного младенца, — замечает Снаут. — Может, именно он — зародыш Бога отчаявшегося, может, жизненные силы его детства пока превосходят его разум, а всё то, что содержится в наших библиотеках, всего только перечень его младенческих рефлексов. А мы какое-то время были всего лишь его игрушками... Да, возможно... Почему нет?.. И знаешь, что тебе удалось? Создать абсолютно новую гипотезу на тему планеты Солярис, а это нешуточное дело! По крайней мере, теперь можно объяснить, почему невозможно установить Контакт и откуда берутся некоторые, скажем так, экстравагантности в обращении с нами. Психика маленького ребёнка...»

А потом Снаут спрашивает: «Откуда ты взял идею этого несовершенного Бога?»

И Кельвин растерянно отвечает: «Не знаю. Но это единственный Бог, в которого я мог бы поверить. Его мука — не искупление. Она никого ни от чего не избавляет, ничему не служит, она просто есть...»

Пропуск такой главы, конечно, влиял на впечатление от романа.

И ещё одну важную деталь не совсем точно передал переводчик.

В оригинале романа Солярис — имя женское. В польском варианте это особенно заметно: «поверхность Солярис», «здесь, на Солярис» и т. п. Всё это, казалось бы, мелочи, но когда читаешь роман на польском, то отчётливо понимаешь, что Лем, говоря о разумном существе, обитателе планеты, называет его по-разному. Земные исследователи Кельвин, Снаут и Сарториус, все мужчины, общаются то с «несклоняемой» Солярис, то просто с разумным Океаном. И хотя понятие пола вряд ли применимо к такому чудовищному существу, как мыслящий океан, никуда не деться от нашей извечной антропоцентричности, мы невольно примериваем на Солярис именно наши земные представления. И согласитесь, «игры» этого существа выглядят по-разному, если воспринимать его как женщину или как мужчину.

Вся эта история трагична, говорит Снаут, имея в виду действия сотрудников станции по отношению к «гостям». То, что произошло с землянами, — ужасно. Но с другой стороны, ничего ведь, в сущности, не произошло! Ведь что такое нормальный человек? — говорит Снаут. Это человек, привыкший думать, что он никогда в жизни не совершал ничего откровенно ужасного, откровенно извращённого. И даже, наверное, он и не думал ни о чём таком. Только однажды, ну, считай, совершенно случайно, на какие-то полсекунды мелькнуло в подсознании что-то такое... С кем не бывает? Мелькнуло и забылось. Но вот посреди бела дня, при совершенно незнакомых людях, ты вдруг встречаешь это своё *скрытое, грязное, извращённое* и, что самое ужасное, — *всем видимое*, прикованное к тебе намертво...

«Ты же психолог, Кельвин! Кому хоть раз в жизни не снился такой сон, не являлось такое видение? Возьмём фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья. Рискую жизнью, угрозами и просьбами, он ухитряется раздобыть этот свой драгоценный, отвратительный лоскут. Забавно, да? Он и брезгует предметом своей страсти, и сходит по нему с ума. И ради него готов пожертвовать своей жизнью, как Ромео ради Джульетты. Такое случается. Но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие вещи... ну, скажем, ситуации... которые никто никогда не отважится представить, признаться в них... Которые живут лишь в минуту опьянения,

падения, безумия...»

«Я всё это говорю о Солярис, — продолжает Снаут. — Только о Солярис, ни о чём... ни о ком другом. Я не виноват, что всё так резко отличается от твоих ожиданий. Впрочем, ты достаточно пережил, чтобы, по крайней мере, выслушать меня до конца. Мы отправляемся в космос, готовые ко всему, то есть к одиночеству, к борьбе, к страданиям, даже к смерти. Из скромности мы об этом вслух не говорим, но порою думаем о своём величии. А на самом деле... На самом деле это не всё и наша готовность — только поза. Мы совсем не хотим завоёвывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его пределов. На одних планетах должны быть пустыни вроде Сахары, на других — льды, как на полюсе, или джунгли, как в бразильских тропиках. Мы гуманны и благородны, не стремимся завоёвывать другие расы, а стремимся лишь передать им наши достижения и получить взамен их наследие. Мы считаем себя рыцарями Святого Контакта. Это вторая ложь. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, мы и так в нём задыхаемся. Мы хотим найти свой собственный, идеализированный образ: планеты с цивилизациями, более совершенными, чем наша, или миры нашего примитивного прошлого. Между тем по ту сторону есть нечто, чего мы не приемлем, от чего защищаемся, а ведь с Земли мы привезли не только чистую добродетель, не только идеал героического Человека! Мы прилетели сюда такими, какие есть на самом деле; а когда другая сторона показывает нам нашу реальную сущность, ту часть правды о нас, которую мы скрываем, мы никак не можем с этим смириться... Контакт с иной цивилизацией... Вот он, этот Контакт! Увеличенное, как под микроскопом, наше собственное чудовищное безобразие, наше фиглярство и позор...»

«Мы не знаем, что делать с другими мирами».

Перевод Г. Гудимовой и В. Перельман, сделанный в 1976 году, восстановил досадные пропуски, имя Солярис вернуло себе женский род, уточнены были другие детали, но всех тонкостей оригинала, конечно, не может передать никакой, даже самый талантливый переводчик. Более того, поскольку слово «Океан» практически во всех изданиях так и пишется — Океан, то оно становится как бы именем собственным, то есть невольно начинаешь думать, что разумный Океан и планета Солярис — это какие-то два разных разумных существа, хотя у Лема такого разделения нет.

Вообще в книгах Станислава Лема, посвященных будущему, имена личные, как правило, не несут никакой особенной информации о национальности героев. Это была принципиальная установка писателя, считавшего, что со временем так называемые национальные признаки будут вообще стёрты. Поэтому имена в его романах правильнее транскрибировать по возможности ближе к их латинскому написанию: Хари, а не Хэри, Гибариан, а не Гибарян, и т. д. Это только Андрей Тарковский, экранизируя роман «Солярис», своей волей наделил персонажи Лема чётко выраженной (не присущей оригиналу) национальностью — тогда-то и появились на станции армянин Гибарян и занудный немец Снаут...

Глубины человеческого разума темны.

«Солярис» — роман трагический. Читатель ждёт, что ему подадут хоть какую-то надежду, но ожидания его напрасны. Судите сами.

«Между тонкими изогнутыми возвышениями я открыл что-то вроде берега, несколько десятков квадратных метров довольно покатой, но почти ровной поверхности, и направил туда машину. Посадка оказалась труднее, чем я предполагал, я чуть не задел винтом за выросшую прямо на глазах стену, но всё кончилось благополучно. Я тут же выключил мотор и откинул крышку купола. Стоя на крыле, я проверил, не угрожает ли вертолёту опасность сползти в Океан; волны лизали зубчатый край берега в нескольких шагах от места посадки, но вертолёт твёрдо стоял на широко расставленных полозьях.

Я прыгнул на... «землю». То, что я сначала принял за стену, было огромной, дырявой, как решето, тонкой, как плёнка, костной плитой, стоявшей на боку и проросшей напоминающими маленькие галереи утолщениями. Щель шириной в несколько метров делила наискось всю эту многоэтажную плоскость, раскрывая глубокую перспективу. Та же перспектива видна была сквозь большие, беспорядочно разбросанные отверстия. Я вскарабкался на ближайший выступ стены, отметив, что подошвы скафандра необыкновенно устойчивы, а сам скафандр нисколько не мешает передвигаться. Очутившись на высоте примерно пяти этажей над Океаном, я повернулся лицом к странному скелетоподобному пейзажу и только теперь рассмотрел его.

Мимойд был удивительно похож на древний полуразрушенный город, на какое-то экзотическое марокканское поселение, много веков назад пострадавшее при чудовищном землетрясении или другом катаклизме. Я отчётливо видел извилистые, наполовину засыпанные и загромождённые обломками улочки, круто спускавшиеся к берегу, омываемому пенистой гущей, выше вздымались уцелевшие зубцы стен, бастiónы, их округлые основания, а в выпуклостях и впадинах стен чернели отверстия наподобие разрушенных окон или крепостных бойниц. Весь этот город-остров, тяжело накренившись, как полузатопленный корабль, бессмысленно, бессознательно двигался вперёд, медленно поворачиваясь, тени лениво ползали по закоулкам развалин, иногда сквозь них пробивался солнечный луч, падая на то место, где я стоял.

С немалым риском я вскарабкался ещё выше, с выступов над моей головой посыпался мелкий сор. Падая, он заполнил клубами пыли извилистые ущелья и улочки. Мимойд, конечно, не скала, сходство с известняком исчезает, если взять осколок в руку: материал гораздо легче пемзы, у него мелкочаеистое строение; поэтому он необыкновенно воздушен.

Я поднялся так высоко, что невольно стал ощущать движения мимойда.

Он не только плыл вперёд под ударами чёрных мускулов Океана, неизвестно откуда и неведомо куда, но ещё и наклонялся то в одну, то в другую сторону, и каждый такой крен сопровождался протяжным чмоканием бурой и жёлтой пены, стекавшей с обнажавшегося бока. Это колебательное движение было придано мимойду очень давно, вероятно, при его рождении, он сохранил его благодаря своей огромной массе. Осмотрев с высоты всё, что мог, я осторожно спустился вниз и только тогда понял, что мимойд, оказывается, меня несколько не интересует и что я прилетел сюда, чтобы встретиться не с ним, а с Океаном.

Я сел на твёрдую потрескавшуюся поверхность в нескольких шагах от вертолёта.

Чёрная волна тяжело вползла на берег, расплющиваясь и теряя цвет. Когда она отступила, на кромке остались дрожащие нити слизи. Я подвинулся ближе и протянул руку к следующей волне. Тогда она очень точно повторила то, с чем люди впервые столкнулись почти сто лет назад: задержалась, чуть отступила, окружила мою руку, не касаясь её, так что между рукавицей скафандра и внутренностью углубления, сразу ставшего из жидкого почти мясистым, остался тонкий слой воздуха. Я медленно поднял руку; волна, а точнее, её узкий отросток пошёл за ней вверх, продолжая окружать мою кисть постепенно светлевшим грязновато-зелёным слоем. Я встал, чтобы ещё выше поднять руку. Прожилка студенистого вещества натянулась, как дрожащая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющившейся волны, как странное, терпеливое существо, прильнуло к берегу у моих ног. Из Океана будто вырос тягучий цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их верным негативом, но не коснулась их. Я попятился. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна поднялась, втянула его в себя и исчезла за кромкой берега. Я повторял эту странную игру до тех пор, пока опять, как сто лет назад, одна из очередных волн не отхлынула равнодушно, словно насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что мне пришлось бы ждать долго, пока вновь проснётся её



“любопытство”.

Внешне спокойный, я чего-то безотчётно ждал.

Чего? Её возвращения? Как я мог?

Каждый из нас знает, что представляет собой материальное существо, подвластное законам физиологии и физики, и что сила всех наших чувств, разом взятых, не может противостоять этим законам, а может их только ненавидеть. Извечная вера влюблённых и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующие нас слова “любовь сильнее смерти” — ложь. Правда, такая ложь не смешна, она просто бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми, то собираемыми снова, в механизме которых, едва конструктор тронет маятник, поднимается отчаяние и любовь, знать, что ты всего лишь репетируешь мук, усиливающихся тем более, чем смешнее они становятся от их многократности? Повторять человеческое существование, но повторять его, как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая всё новые и новые медяки в музыкальный ящик? Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовил в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, будет взволнован трагедией двух людей. Его действия преследовали какуюто цель? Возможно, но и в этом я не был сейчас абсолютно уверен, только знал, что уйти — это зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несёт в себе будущее. Так что же — годы среди мебели и вещей, которых мы вместе касались, в воздухе, ещё хранящем её дыхание? Во имя чего? Во имя надежды на её возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание — последнее, что мне осталось. Какие свершения, насмешки, муки мне ещё предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что ещё не кончилось время жестоких чудес».

О романе «Солярис» написано огромное количество статей.

Как любая неординарная работа, роман находил и восторженных поклонников, и ядовитых критиков, — попытки осмыслить и переосмыслить основные проблемы романа не прекращаются до сих пор.

В СССР первый отклик на роман оказался отрицательным.

В десятом номере журнала «Сибирские огни» за 1963 год критик Э. Зиннер опубликовал рецензию под названием «Маленькие люди в большом космосе». Наверное, полезно привести пару выдержек из этой рецензии.

«И, наконец, появляется первый живой обитатель спутника — Снаут. Маленький изнурённый человек с лицом, обожжённым солнцем. Кожа ключьями висит у него с носа и щёк. Читатель немного удивлён: он как-то иначе представлял себе внешность завоевателей космоса, он помнит фотографии Титова, Гагарина, и нарисованный Лемом портрет Снаута вызывает некоторое недоумение...»

И дальше: «В мире огромных катаклизмов, кричащих красок, невиданных очертаний мелькают крошечные фигурки ничтожных людей, охваченных паническим страхом, парализованных ощущением своего полного бессилия, фигурки людей, сошедших как будто только что со страниц ультрамодернистского “психологического” романа. Не верится, что эти ущербные люди могли создать удивительно умные и красивомощные машины и механизмы, могли проникнуть далеко во вселенную. Им ли управлять вселенной?»

В журнале «Молодой коммунист» Ю. Котляр тоже не преминул уцепиться за Лема:

«Неизвестное может быть всяким. Но как изображает писатель известное! Посмотрите внимательнее на героев “Соляриса”. Ведь это же люди, это же человеки будущего! И как мелко, как подло они выглядят — все трусы, и у каждого за душой гнусность. Самый симпатичный из них “всего только” довёл до самоубийства беззаветно любившую его женщину. Идея “Соляриса” удивляет и разочаровывает. Грубо говоря, она в следующем: “Человек — дрянь”»<sup>[67]</sup>.

Тему неподготовленности коллектива станции (а значит — автора) к встрече с каким-то иным, совершенно иным, непостижимым, непонятным будущим продолжил и развил рецензент М. Лазарев.

«Уже сегодня, — писал он, — среди биологов, физиков, астрономов,

космонавтов — среди тех, кто стоит у переднего края науки, можно найти примеры человеческой психики, хорошо натренированной для возможных встреч с явлениями, которые не сразу будут поняты и объяснены. Так стоит ли допускать, что люди эпохи глубокого звездоплавания, участники специально подготовленной научной космической станции окажутся психически менее устойчивыми, чем лучшие из наших современников?»<sup>{68}</sup>

Оспаривать эти мнения — бессмысленно. Но нельзя и отмахнуться от вопроса: должен ли писатель, художник ограничивать себя какими-то искусственными рамками, установленными наукой или общественными условиями?

Наверное, нет. Сами судите, как выглядели бы романы «Трудно быть богом» братьев Стругацких или тот же «Солярис», если бы авторы рассматривали поставленные в них проблемы в рамках чисто производственных. Скажем, должны были бы работать разведчики-земляне в далёком государстве Арканар или сотрудники исследовательской лаборатории на орбите планеты Солярис? Чем отличались бы они в этом случае от многочисленных для того времени повествований о запуске новой домны или строительстве полярного туннеля?

«Я хотел прославить мужество и стойкость моих героев, — отвечал на все эти нападки Станислав Лем, — которые вопреки всему остаются на чужой планете, чтобы понять и познать Океан, познать Неизвестное. В этом долг учёных, в этом их человеческая привлекательность. Мне кажется, что всё это вполне ясно высказывает один из героев “Соляриса”, умнейший Снаут: “Мы принесли с Земли не только дистиллят добродетели, героический монумент Человека! — мы прилетели сюда такими, какие мы есть в действительности...”»<sup>{69}</sup>.

Впрочем, на всех не угодишь.

Леонид Леонов (1899–1994), например, отмечал:

«То, что называется “странным миром”, не должно быть полностью придуманным, лишённым абсолютного чувства реальности. А такие надуманные концепции всё чаще появляются в литературе. Пример — “Солярис” Станислава Лема». И делал несколько неожиданный вывод: «Поэтому он — фантаст, но отнюдь не художник»<sup>{70}</sup>.

Подобные упрёки адресовались в своё время и Рею Брэдбери, и братьям Стругацким, и Роберту Шекли, но разве кто-то сейчас помнит эти упрёки, а не книги указанных художников! Реакция читателей на роман Лема вообще располагалась в самом широком диапазоне: от наивно-

умилительного: «Мне так понравилась Ваша книжка, что захотелось написать второй том», до углублённо-аналитического, свидетельствующего о том, что «нетерпение потревоженной совести» не может оставить равнодушным самых разных людей. О романе «Солярис» уважительно и восторженно отзывались и писатели, и учёные, и школьники. Отец Александр Мень, человек, казалось бы, далёкий от фантастики, написал специальную статью о проблемах контакта с иным разумом в литературе, — в немалой степени он опирался в своих предположениях на роман Лема. Любопытное признание можно найти в незаконченной повести братьев Стругацких «Дни кракена», вошедшей в заключительный том нового собрания сочинений. В пространным монологе главного героя о своих любимых книгах (с большой уверенностью можно считать этот монолог авторским) есть и такие строки: «Теперь, Лем. У меня только “Астронавты” и “Магелланово облако”. Когда и если выйдет отдельным изданием “Солярис”, я их выкину. А пока пусть стоят, представляют в моей пятой и последней библиотеке любезного сердцу моему пана Станислава»<sup>[71]</sup>.

Пожалуй, стоит согласиться с мнением, высказанным Кшиштофом Тёплицем в одной из первых рецензий на роман Лема: «“Солярис” и через пятьдесят лет можно будет читать без стыда...»<sup>[72]</sup>

И ещё одно наблюдение в связи с языком произведений Станислава Лема.

Можно перебрать тысячи научно-фантастических книг, но нигде не найдёшь столько ярких, зримых, откровенно *выдуманных* явлений, как в книгах Лема. Одни только творения планеты Солярис чего стоят: загадочные симметриады, мимоиды, древогоры, длиннуши, быстренники. А описание невероятного Бирнамского Леса на Титане в романе «Фиаско», который, в отличие от шекспировского, никуда не идёт, зато ежеминутно, ежесекундно меняется.

Феерическое зрелище.

Оно чарует и завораживает.

Рассудок протестует против любой попытки понять, какими художественными средствами всё это достигается. По мере чтения книг, написанных Станиславом Лемом, возникает почти физическое ощущение ускользающих из ладоней словпесчинок, в сущности, это всё равно что разделять слова на буквы или звуки, доискиваясь до какого-то особого смысла. Здесь аналогия, там метафора, тут необычное сочетание слов, а здесь приставлено к существительному вроде бы никак не сочетаемое с ним прилагательное — в результате возникает принципиально новое

видение.

А ведь прежде, чем описать, автор должен был *представить*.

Эта вот необычность предопределила непреходящий интерес к «Солярис» — деятелей кино, музыки, театра. В Польше почти сразу после выхода романа краковское радио подготовило специальную радиопостановку (режиссёр Юзеф Гротовский), а в СССР «Солярис» был дважды экранизирован. Правда, телефильм Б. Ниренбурга (1968) прошёл практически незамеченным, зато киноверсия Андрея Тарковского (1972) до сих пор вызывает споры — от категорического неприятия до восторженных утверждений, что фильм получился даже глубже и интереснее книги. Впрочем, сам Лем экранизацию Тарковского, его толкование романа не принял. Приехав в Москву специально для общения с Тарковским, он с ним поругался, обозвал дураком и вернулся домой — в Краков, давно ставший для него родным.

В Англии театр танца поставил синтетический спектакль «Солярис» (режиссёр Дэвид Глазе, автор сценария Тони Хаас, 1987), в котором актёры танцуют, разыгрывают пантомимы, ведут диалоги и поют. Днепропетровский государственный театр оперы и балета по мотивам «Солярис» показал на сцене фантастический балет в двух действиях (композитор С. Жуков, авторы либретто В. Фетисов, А. Соколов, 1990).

Правда, есть все основания думать, что балет по мотивам знаменитого романа не понравился бы писателю. Вот что (если судить по либретто) происходит на сцене (на станции планеты Солярис).

«Корабль опускается на станцию. Астронавты счастливы — перелёт удачно завершён. Крис и Снаут уходят в каюты. Внезапно за спиной Гибаряна появляются незнакомки. Кто они — жестокое напоминание его давней вины, воплощение собственной боли о несостоявшейся любви? Нет, это так Солярис отреагировал на появление землян — появлением “гостей”. Помочь астронавту избавиться от них пытается Снаут.

Но безуспешно. Теряя рассудок, Гибарян бросается в океан. Напрасно ищет друга в волнах Соляриса Крис Кельвин. Подавленный, он возвращается на станцию. Неожиданно перед ним возникает Хари. Крис растерян — кто это? Снаут убеждает Криса, что это всего лишь фантом, неземное порождение, а настоящая Хари давно умерла. Поняв, что она не человек, и не желая быть всего только призраком любящей женщины, Хари бросается в океан, но Солярис выносит её обратно на станцию, пытаясь продолжить контакт с людьми...»

Наученный печальным опытом писатель долгое время сопротивлялся попыткам Голливуда приобрести права на экранизацию романа, но в конце

концов уступил — так в 2002 году на экранах появился ещё и американский фильм. Реакция Станислава Лема была проста: «Я думал, что самым худшим был “Солярис” Тарковского».

В октябре 1961 года Станислав с Барбарой собрались в Югославию.

Они заранее договорились с четой Мрожеков встретиться в Дубровнике, но поездка с самого начала не заладилась. Долго не могли оформить заграничные паспорта, потом появились проблемы финансовые, потом проблемы с билетами, с заказом мест в гостиницах. Но всё-таки выехали, и в дороге Лем решил вести дневник. На первой странице блокнота, взятого у Барбары, он крупно вывел: «Кошмарная Хнига Беспощадных Досаждений и Путешествий на Обочине Далматинской Партии Адриатики». И добавил: «Пусть нас Бог хранит».

К сожалению, почерк Лема (по выражению его сына Томаша) всегда был больше похож на отметки сейсмографа при сильных подземных толчках. Всё же некоторые записи можно расшифровать.

Вот одна из них, от 10 октября:

«В Варшаве из-за тумана задержаны авиарейсы. Надежда умирает. Голод. Спасаемся коньяком. Лучших туристов приглашают перекусить за счёт аэропорта. А мы использовали почти все наши запасы. Забыл берет в самолёте. После того как берет нашли, прошли таможенный осмотр. Купили два билета по 80 динаров на автобус авиалинии. Бася беспокоится о багаже, — опираясь на заверения стюардессы, успокаиваю её. Какой-то тип предостерегает нас — не пользуйтесь грабительскими такси. По приезде — наших чемоданов нет. Бася в отчаянии начинает говорить по-английски...»<sup>[73]</sup>

Шли дожди, в гостиничных номерах не было горячей воды, а в некоторых даже и холодной не было, но семейство Лемов мужественно покоряло Югославию. Когда распогодилось, несколько дней провели на корабле в Адриатическом море. Из-за кошмарно малого количества денег приходилось отказываться от предлагаемых в судовом ресторане блюд и вин, — а в последний день выяснилось, что питание и напитки изначально были включены в цену билетов на рейс. Понятно, пан Станислав, исполнявший роль переводчика, получил от жены заслуженные упрёки.

А ещё Мрожеки в Дубровнике не появились.

Судя по виноватому письму Славомира, написанному позже, Станислав и Барбара разминулись с ними, только потому что толком не договорились о сроках. Зато от поездки остались немые фильмы, которые Лем собственноручно снимал на чёрно-белую восьмимиллиметровую

плёнку. Правда, основное внимание он уделял памятникам старины и экзотическим автомобилям...



«Книга роботов», вышедшая в 1961 году, не имела никакого отношения к будущим сборникам «Кибериада» и «Сказки роботов». Она составлена из рассказов, вошедших в циклы «Звёздные дневники» и «Из воспоминаний Ийона Тихого», прежде уже публиковавшихся. Были и два новых рассказа: «Формула Лимфатера» и «Терминус».

«Терминус» — это пронзительная история о роботе, уцелевшем в катастрофе, в которой погиб весь экипаж космического корабля. Голоса погибающих астронавтов навсегда остались в электронных «мозгах» робота, как остаются наши голоса на магнитных лентах. Сам Терминус ничего рассказать не может, зато точно воспроизводит все последние переговоры погибающих. И эта странная «очеловеченность» механического существа, лишённая какой бы то ни было мистической окраски, потрясает; хотя, надо признать, отчётливо слышны в «Терминусе» отзвуки главы «Возвращения со звёзд», в которой инженер Маджер везёт астронавта Эла Брега на склад утилизации списанных роботов...

В январе 1962 года в книжные магазины поступила ещё одна книга Лема — «Выход на орбиту».

Это была книга статей. Об искусстве, о научной фантастике, о детективах, абстракционизме, Достоевском, романами которого Лем восхищался, и, разумеется, о науке и проблемах техники.

Завершался сборник ироничным «Автоинтервью».

Станислав Лем никогда не чурался чистой публицистики.

Он умел коротко, иногда предельно сжато рассказать о самых важных областях современной жизни. Его пугала холодная война — противостояние капиталистического Запада и социалистического Востока. Он видел растущую угрозу третьей мировой, теперь уже атомной, войны. Но, рассуждая о новых технологиях, он никогда не скатывался к пессимистическим оценкам технического прогресса, прекрасно понимая, что такой путь уже предопределён.

В эти годы начался долгий, на всю жизнь, «роман» Станислава Лема с футурологией, хотя сам этот термин вошёл в научный обиход позже, где-то с середины 1960-х годов. «Начиная заниматься тем, “что ещё возможно”, — признавался писатель, — ни о какой “футурологии” я тогда, конечно, не знал. Не знал даже самого этого термина, придуманного в 1943 году О. Флехтхеймом, не знал и того, что сам Флехтхейм делил придуманную им “футурологию” на три части: прогностику, теорию планирования и философию будущего. Так что я вполне самостоятельно пробовал силы во всех этих разновидностях...»<sup>[74]</sup>

О будущем Станислав Лем всегда писал много и с удовольствием, и не только в научно-фантастических романах, но и в статьях, названия которых звучат весьма выразительно:

«Технология чуда»,  
 «Научный прогноз»,  
 «На путях будущего»,  
 «Перспективы будущего»,  
 «О границах технического прогресса»,  
 «Как принимать гостей со звёзд»,  
 «Камо грядеши, мир?».

В статье «Каким будет мир в 2000 году?» Лем, например, детально описывал предполагаемую в будущем экскурсию на самолёте с прозрачным

корпусом над необозримой польской равниной. Внизу ползают электрические сельскохозяйственные машины, деревушки с соломенными крышами давно превратились в ухоженные городки-сады с асфальтированными улочками, между ними возвышаются башни с установками для регулирования климата. Ночью самолёт пролетает над сияющим городом, вдали встают отчётливые столбы огня. «Это с аэродрома привычно стартовали ракеты, доставляющие расходные материалы и машины для одной из экспедиций, исследующих поверхность Луны...»<sup>{75}</sup>

Типичная фантастика «ближнего прицела».

Но в статье «Об астронавтике — по существу», написанной в 1955 году, то есть задолго до запуска первого искусственного спутника Земли, Станислав Лем уже детально рассматривал предстоящие этапы освоения космического пространства. Он не ограничивал себя рассуждениями о возможных технических новшествах, нет, он пытался выявлять именно *проблемы*.

«Астронавтика поставит перед людьми грандиозные задачи, — уверенно писал он. — В зависимости от потребностей придётся создавать совершенно новые материалы и новые устройства для научных исследований. Флот космических кораблей потребует соответствующих кораблестроительных производств, ангаров, стартовых площадок. Всё это вместе создаст новые специальности для инженеров, технологов, химиков, экономистов, врачей и других специалистов, а также положит начало профессиям, которые сегодня нам неизвестны. Для каждого работающего на другой планете человека должны будут трудиться десятки людей на Земле, которая станет тылом огромного фронта исследований. Из сказанного следует, что покорение космоса и освоение планет представляет собой весьма впечатляющий проект, выполнить который можно будет только всеми силами объединённого человечества. Эпоха активного развития астронавтики будет способствовать быстрому исчезновению сепаратизма и национализма; можно предположить, что её влияние на международную жизнь будет больше влияния какого-либо иного известного нам средства коммуникации...»<sup>{76}</sup>

В октябре 1962 года Станислав Лем в составе делегации польских писателей впервые побывал в Советском Союзе. К этому времени на русском языке вышли «Астронавты» и «Магелланово облако», сборники рассказов «Вторжение с Альдебарана» и «Звёздные дневники Ийона Тихого», а в августовском номере ленинградского журнала «Звезда» начал публиковаться роман «Солярис».

Позже Лем неоднократно вспоминал о поездке, тщательно фиксируя различные, казалось бы, мелкие, но чем-то поразившие его детали.

«Помню, как у меня закончились чернила в шариковой ручке, и я легкомысленно и наивно утром отправился по улицам Москвы, чтобы купить другую ручку, и естественно ничего не нашёл, а когда удивлённый (потому что глупый) рассказал об этом знакомым, несколько рук протянули мне вынутые из карманов шариковые ручки.

Помню также, что острая горчица была одним из немногих продуктов, которые можно было купить, и как я вместе со знакомым зашёл в магазин самообслуживания, чтобы приобрести баночку. На улице он спросил, заметил ли я, с каким исключительным почтением принимали меня в этом магазине. Нет, я ничего такого не заметил. “Ну как же, — сказал он, — ведь тебе позволили пройти в зал с портфелем!” Оказывается, все покупатели должны были оставлять свои портфели у входа при кассе, чтобы никто ничего не мог украсть.

Безумно забавным показалось мне сталинско-королевское метро, поскольку станция “Маяковская” была украшена огромной мозаикой, сложенной из цветных камешков, которая изображала заседание Политбюро, — а когда отдельные члены Политбюро в результате известных процессов стали исчезать, их места за столом президиума на мозаике заполняли камешки, которые должны были идеально согласовываться с фоном; правда, этого не получилось, и в результате вместо канувших в небытие и тех, “которые к ним примкнули”, на стене отчётливо просматривались тени несколько иного оттенка, совсем как призраки разжалованных особ...

Всё это, конечно, мелочи, но из них, — писал Лем, — как из кусочков какого-то разбитого зеркала, проглядывала советская действительность — по крайней мере, её вершины. Я слышал “смелые” песни в Доме Физиков; физики, видимо, могли позволить себе чуть больше, чем обычные люди. В

отель мне принесли первое, “почти горячее” от печатных машин издание “Одного дня Ивана Денисовича”, как символ растрескивания стен неволи...»<sup>{77}</sup>

Во время поездки Лем встречался с советскими учёными.

Они знали его книги, и Лема это, конечно, радовало и воодушевляло.

«Если бы не знаменитый радиоастроном И. С. Шкловский и его исследование о жизни в космосе, возможно, никогда не была бы написана моя первая книга о будущем — “Сумма технологии”. Поэтому я и посвятил ему эту книгу ещё до того, как она появилась на русском языке. У Шкловского я бывал и в Институте имени Штернберга, и в его квартире, тогда ещё пахнувшей свежей краской. Помню, как мы упражнялись в прогнозировании на ближайшие годы — это были, так сказать, почти партизанские действия, поскольку не существовало ещё ни футурологии, ни какого-либо другого вида прогностических исследований»<sup>{78}</sup>.

Побывал Станислав Лем и в Ленинграде.

«Когда я уезжал туда, почти в полночь, — вспоминал он, — несколько учёных группкой приехали проводить меня на вокзал, и кто-то, не помню кто, через окно вагона просунул мне в ладонь сбережённый как реликвия экземпляр дореволюционного, отпечатанного ещё старороссийской кириллицей томика стихов Маяковского, и я, естественно, не осмелился отказаться от такого дара...»<sup>{79}</sup>

Снова и снова писатель обращал внимание на детали, которые для советских людей давно стали привычными, даже обыденными.

«Когда русские изъяли меня из делегации польских писателей и отправили в Ленинград на поезде “Красная стрела” (это та железнодорожная трасса, которая летит абсолютно прямо, и только в одном месте есть дуга, вызванная тем, что, как говорят, царь именно там держал свой палец на карте, когда чертил план дороги), я оказался в двухместном купе совершенно один. Только в последнюю минуту перед отправкой появился некий москаль, у которого не было никакого багажа, вообще ничего. Когда нужно было укладываться в чистую постель, я подумал, что он ляжет спать голым, и тут очередная неожиданность: вместо кальсон на нём оказались тёмно-синие спортивные брюки, в них он и лёг спать, а проводница постучала утром, когда мы уже подъезжали к “Северной Пальмире”, и принесла на подносе бутерброды с красной икрой и грузинский коньяк. Видимо, таким образом начинала свой день высшая советская элита.

Я жил напротив Исаакиевского собора — в гостиничном номере,

напоминавшем о жизни предреволюционной аристократии из какого-то красочного фильма, а добрая Ариадна Громова, моя переводчица, к сожалению, уже покойная, проживала в комнатке с простой мебелью в задней части этого же салонного реликта гостиничного дела, потому что именно таким, разноуровневым, был тогда Союз Советских Социалистических Республик.

В Ленинграде я был на званом ужине у одного пожилого инженера, автора научно-фантастических книжек (у Ильи Варшавского. — Г. П., В. Б.), который с семьёй занимал комнату в большой дореволюционной квартире, поделённой среди неизвестного количества жильцов; видя, что по-другому никак не получится, он устроил ужин прямо в кухне, из которой вынесли всё, что можно было вынести, осталась лишь раковина литого железа, украшенная орлами. Меня усадили на почётное место — спиной к этой раковине, а на поставленных столах громоздились изысканные рыбные блюда и красная икра, результат неутомимых поисков всей семьи хозяина.

Я, как умел, делал вид, что приём, на котором почётный гость сидит с раковиной за спиной, — вещь совершенно нормальная и вполне соответствует европейским обычаям.

Всё это, конечно, пустяки, но именно из таких пустяков можно было многое узнать о быте граждан Страны Советов»<sup>{80}</sup>.

Конечно, на встрече с коллегами-фантастами речь шла о фантастике — о её назначении и возможностях.

В 1963 году Евгений Брандис и Владимир Дмитриевский вспомнили разговоры со Станиславом Лемом в статье «Век нынешний и век грядущий», напечатанной в сборнике «Новая сигнальная». На мой взгляд, говорил Лем, в фантастике сейчас существуют три главных направления: роман-мечта, роман-предупреждение и социальный роман. Это относится, понятно, не только к романам, но и к произведениям всех других видов. Самым важным и нужным Лем назвал социальный роман, поскольку в выборе сюжета в данном случае писатель ничем не ограничен. Важен в таком романе не сюжет, а то, как можно показать моральные или нравственные последствия того или иного воздействия, развить вопросы философского и этического характера, сделать попытку разобраться в том, какие пути выбирает человечество.

Там же был затронут вопрос о предсказательной функции фантастики.

Лем соглашался с тем, что угадать детали будущего в художественной книге вряд ли удастся. «По-моему, — сказал он, — даже незачем и пытаться точно предсказывать развитие науки. Это невозможно. Мы можем определить лишь некое общее направление движения. Можно сказать, например, что через тысячу лет человечество наверняка станет галактическим фактором, решающим судьбу звёздных систем. Но так можно говорить только о наиболее общих закономерностях. О вещах же более конкретных, скажем, о развитии науки на ближайшие сто-двести лет вперёд, делать предсказания просто бессмысленно. Ну разве мог кто-нибудь предвидеть сто или даже пятьдесят лет тому назад появление кибернетики в том виде, в каком она существует сегодня? А сколько ещё таких неожиданностей на пути человека! Фантаст не может серьёзно говорить о точном облике будущего. По законам общественного развития меняются язык, нравы, отношения между людьми. То, что сегодня мы считаем серьёзным и значительным, в будущем может оказаться просто смешным, и наоборот. Максимум, чего можно достичь, — это какого-то отблеска будущих процессов, проложить в будущее узкую тропинку, и — всё. Но это и неважно. Фантаст пишет для современников, для людей сегодняшнего дня. И сам он живёт сегодня. Призма будущего позволяет с особенной остротой увидеть именно настоящее, заставляет людей понять

свою ответственность и за завтрашний день, и за всё дальнейшее развитие человечества»<sup>[81]</sup>.

Тогда же Станислав Лем впервые встретился с братьями Стругацкими.

«Но с ними мне как-то не везло, — вспоминал он в 1975 году. — Только однажды мне удалось повидать их вместе; это было как раз в Ленинграде; потом, сколько я ни приезжал, встречался с ними лишь порознь... В тот первый раз Стругацкие решили меня испытать: во время разговора на стол поставили бутылку коньяку с тремя звёздочками, и как только бутылка пустела, волшебным образом появлялась следующая. Но у них ничего не получилось, я не позволил себя на этом поймать и ушёл с честью...»

Однако Борис Стругацкий рассказывал об этом несколько иначе.

«Что касается воспоминаний Лема по поводу его встреч с АБС, то здесь расхождения наши максимальны. Я, например, точно помню, что втроём (АБС + Лем) мы не встречались никогда. Эпизод с распитием коньяка — да, имел место, но происходило это в Питере, в самом начале шестидесятых, в большой компании ленинградских писателей (Варшавский, Брускин, Брандис, БНС, ещё кто-то), напитки действительно лились рекой, и пан Станислав действительно поглощал их с удивительной стойкостью и без каких-либо вредных последствий для хода беседы. По-моему, аналогичная встреча и примерно в те же времена имела место и в Москве — там были Громова, Нудельман, АНС, Парнов, кажется, и там пан Станислав тоже был на высоте. Он вообще — прекрасный полемист, интереснейший собеседник и великий эрудит. Потом они встречались (спустя лет десять) с АНС в Праге, на юбилее Чапека, и тоже там общались за рюмкой чая, но, опять же, без меня... Такие вот аберрации памяти»<sup>[82]</sup>.

Видимо, Лем действительно ошибался.

Существуют рабочие дневники братьев Стругацких, в которых все их встречи, как правило, фиксировались. Так вот, в 1962 году Аркадий приезжал в Ленинград только в ноябре, уже после отъезда Лема. И тогда же записал в дневнике: «23 ноября. Сегодня ровно неделя, как я в Ленинграде. Приезжал Лем. Выступил по радио. Сказал, что больше всех в СССР из фантастов ценит Стругацких и Ефремова. Очень лестно».



Поездкой в СССР Станислав Лем остался доволен.

Славомир Мрожек это почувствовал (письмо от 9 декабря 1962 года):

«Я недавно прочитал скопившиеся номера “Le Mond” (у каждого с возрастом возникает газетка для завтрака), и у меня появились сомнения. Что власть разрешила, то власть может и отменить. А последняя атака на художников и музыкантов, которые несмело отошли от обязательных тра-ля-ля, избиение абстракционистов, отбирание у беззащитных атональных композиторов их малых деточек и бросание их под бешеные копыта<sup>[37]</sup>, это разве не предостережение? А что будет с литературой, можно ли будет писать что-нибудь, нет, не против Сталина, а попросту интересное и политически нейтральное о людях, или же любой психологический рассказ должен будет содержать несколько слов вроде: “Иван Васильевич вспоминал свою ногу, отгрызенную палачами в минувшем навсегда периоде культа личности” лишь для того, чтобы пройти цензуру? Нет, как-то мне это не нравится. А то, что после годов толерантности джаз снова стал агентом и духовным врагом русского народа? Что скажешь, переводчик, а? Тебе я поверю, если сумеешь убедить»<sup>[83]</sup>.

Лем сразу на это ответил:

«Что касается твоих вопросов, то ты выбрал неправильный адрес, поскольку я вообще никакой строй не защищал и никак не идентифицировал с ним мои позитивные настроения, даже наоборот; и тешило меня только то, что там (в СССР. — Г. П., В. Б.) всё-таки есть те, кто мыслит и спонтанно творит. Я вообще не понимаю, с чего ты взял, что я пою какие-то гимны в честь строя? Мне даже стыдно, что мы могли дойти до такого непонимания. К тому же, когда я выезжал из СССР, там всё это только начинало раскручиваться. Теперь, видимо, стала жизненной следующая фаза синусоиды. Но о проблемах самовозбуждающихся колебаний нашей системы я давно уже писал в моих “Диалогах”, только никто их не читает, но тут уж я не виноват...»<sup>[84]</sup>

В конце 1950-х годов Станислав Лем купил небольшой дом в посёлке Клины, который уже тогда входил в состав Кракова. Подвал дома занимали кладовая и гараж, первый этаж — кухня и комната, в которой жила мать Барбары, а на втором этаже располагались спальня и кабинет.

Здесь писатель продолжил свою работу.

Работу безусловно успешную — теперь это было ясно.

И дело не только в таланте рассказчика, в воображении, в широких знаниях, сложившихся в определённую систему, — дело было ещё в удивительной работоспособности. Даже если с утра работа по каким-то причинам не задавалась, это не сбивало писателя с толку. Неудачные страницы он безжалостно уничтожал и снова и снова правил рукопись. Выпадали периоды, когда он каждый день писал по статье. А ведь была ещё переписка — с друзьями, писателями, переводчиками. На вопрос Владимира Борисова о возможном количестве писем, написанных Станиславом Лемом, секретарь писателя Войцех Земек ответил: «Наверняка он написал их несколько тысяч (а может, даже несколько десятков тысяч), не считая, конечно, электронных. Ежегодно он писал сотни писем. Если перемножить это на шестьдесят лет его профессиональной работы, получим очень приличное число...»

«Ритм нашей корреспонденции, — иронизировал Лем в письме Славомиру Мрожеку (декабрь 1962 года), — ускорился до такой степени, что, кажется, и делать уже ничего нельзя, кроме как писать письма и отвечать на них»<sup>[85]</sup>.

И Лем, и Мрожек с опаской следили за переменами, происходящими в Советском Союзе. Их очень насторожила статья в «Правде» о некоем учёном, которого интерес к абстракционизму якобы привёл к измене родине. Их удивляли советские несоразмерно жёсткие статьи о джазе. «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». Когда в Польше вышла книга воспоминаний маршала А. И. Ерёменко (1892–1970) «Битва на Волге», они с изумлением узнали, что Сталинград отстояли, оказывается, не под руководством товарища Сталина, а чуть ли не под руководством товарища Н. С. Хрущёва. И т. д. и т. д. Вплоть до анекдотов. «Что это там такое — шестьдесят метров длиной и ест только капусту?» Ответ: «Очередь за мясом».

Книги Станислава Лема выходили теперь не только в странах

социализма.

Писатель заключил договор с Японией на перевод романа «Солярис». Роман «Астронавты» вышел в Италии, Финляндии, Франции и Японии, в США опубликовали «Тринадцатое путешествие Ийона Тихого», там же появилась большая статья о писателе — в «The New York Times». Это радовало. Как-то Лем из газет узнал о том, что самая большая в мире пещера находится в Словении. Как же так? Почему никто не сообщил ему об этом, когда он путешествовал по Югославии? Впрочем, дела складываются хорошо, в той же Югославии намечен выход двух книг, значит, увидим и самую большую пещеру.

Конечно, Лем много читал.

Прежде всего, классика, научно-популярные работы.

Но не пропускал он и современников: Славомира Мрожека, Витольда Гомбровича (1904–1969), Иренеуша Иредыньского (1939–1985). Он не просто читал, он анализировал тексты. Вот Ян Юзеф Щепаньский выпустил сборник рассказов «Бабочка» — Лем тут же сообщает Мрожеку: «Может, лишь двести или триста человек найдётся в Польше, которые смогут при чтении понять, в чём разница между писаниной Путрамента и книгами Яся Щепаньского. Для тебя, Славомир, оккупация Польши была только началом, а для меня — цензурой, потому что, когда она началась, мне было 17 лет. Я вынес из того времени то, что вынес Щепаньский; поэтому не думаю, что “Бабочку” поймут те, кто не знал оккупации»<sup>[186](#)</sup>.

А ещё жила в Леме страсть к автомобилям.

В письмах друзьям он посвящал им целые страницы.

В 1963 году вышел в свет сборник «Лунная ночь».

Название сборнику дала небольшая пьеса, показанная на польском телевидении. Пьеса эта телезрителям понравилась, и Лем решил написать ещё несколько подобных штудий. Вот парадокс, сама пьеса «Лунная ночь» в сборник не попала — Лем опубликовал её в Польше только в 1976 году. Зато в книге появился новый рассказ о пилоте Пирксе — «Условный рефлекс». (На русском языке этот рассказ, как это ни странно, впервые вышел как раз под названием «Лунная ночь».) Ещё в сборник был включён рассказ «Дневник» («Записки всемогущего»), стоявший там несколько особняком. Из специального предисловия к рассказу следовало, что читателям представлен фрагмент рассуждений не человека, а какого-то мыслящего существа, возникшего в ходе кибернетической эволюции. (Нет, нет, общение с профессором Мечиславом Хойновским не пропало даром. — Г. П., В. Б.) И включена была в сборник очередная (уже пятая) история из воспоминаний Ййона Тихого («Стиральная трагедия») — сатирический рассказ о том, как фирмы, производящие «думающие» стиральные машины, жёстко конкурируя друг с другом, создают поистине неожиданную ситуацию: «умные» стиральные машины начинают вести себя независимо. Понятно, это порождает множество комических неурядиц, вызванных неготовностью человеческого общества рассматривать искусственный разум в качестве самостоятельной личности. Наконец, часть сборника заняли четыре небольшие пьесы: «Верный робот» (о сбежавшем с завода роботе, задавшемся поистине удивительной целью — создать идеального человека), «Путешествие профессора Тарантоги», «Чёрная комната профессора Тарантоги» и «Станный гость профессора Тарантоги» — истории об известном читателям профессоре Тарантоге — друге и давнем соратнике знаменитого звездопроходца Ййона Тихого.

По классификации Каленусианского Космического агентства профессор Тарантога — самый что ни на есть типичный представитель «слаборазвитой расы существ недомыслящих», а попросту говоря, землян. Правда, он путешествует во времени и в пространстве.

В новых произведениях Лем давал себе волю.

«Я включил конденсаторы. Требуется определённое время, чтобы набралось достаточно энергии, способной перегнуть пространство. Это указатель потенциала сгиба». Именно так объясняется профессор

Тарантога. И совершенно не важно, слышал ли кто-то из читателей слово «капацитрон». Уроки Герберта Уэллса пошли на пользу лучшим фантастам XX века. Хотя время от времени неутомимый Тарантога и некоторыми объяснениями не пренебрегает. «Моя милая, послушайте! — говорит он, например, представительнице некоей далёкой неземной цивилизации. — Мы не можем вам заплатить вашими мурплями, потому что у нас нет таких денег. А нет их у нас потому, что мы прилетели с другой планеты».

В «Непобедимом» такие объяснения звучали бы нелепо, но в пьесе...

Стоит обратить внимание и на призыв: «Замораживайте учёных! Не штуками, а целыми отделами!» Конечно, речь идёт об их спасении. Правда, и тут «гуманитариев в последнюю очередь!» Но как иначе объяснить инопланетянам, что такое человек, что такое разум. Странностей в развитии человека накопилось много. Вот недавно изобретены даже минусовые вкладыши для разума. При подключении их самый умный человек за одну минуту становится абсолютным кретином.

Божественное ощущение!

«ТАРАНТОГА. Вы, наверное, шутите?

ДИРЕКТОР. Что вы! Это общая мечта — хоть на часок, вечером, после ужина...

ТАРАНТОГА. Стать идиотом? Невероятно! Кто захочет стать идиотом?

ДИРЕКТОР. Как кто? Каждый! Неужели вы не понимаете, сколь прекрасен мир крестина?

ТАРАНТОГА. Что вы говорите? Это же убожество духа...

ДИРЕКТОР. Тоже мне! Какое убожество? По-вашему, крестин убог духом? Вы глубоко заблуждаетесь. Душа идиота — райский сад! Человек интеллектуальный намучается вдоволь, прежде чем найдёт нужную книгу, искусство, отвечающее его запросам, женщину, душа и тело которой находятся на требуемой им высоте! А идиот неразборчив, крестину всё равно, лишь бы увиденное взволновало океан его воображения! Поэтому идиот всегда и всем доволен! Интеллектуальный человек в любом случае улучшал бы, переделывал, исправлял, и то ему было бы не так, и это плохо, а крестину всё хорошо, он всем доволен!

ТАРАНТОГА. Но ведь цивилизацию создал разум!

ДИРЕКТОР. А это вы откуда взяли? Простите! Кто начал создавать цивилизацию? Пещерный человек! Вы думаете, наверное, он был разумен? Что вы! Он-то и был полным идиотом, поскольку не отдавал отчёта в том, что творил! Цивилизацию зачинали именно идиоты, а разумные люди потом пользуются последствиями, комбинируют их, ломают себе голову, как вот я за этим столом! Как же скучны все эти модернистские повести,

все эти антидрамы, антифильмы... Но что делать, разум обязывает!.. Но вот вечером... После работы... Я надеваю себе такой малюсенький отрицательный протезик, вот он в ящике... И напеваю себе кретинские песенки о ручейке на лужайке, о том, что сердце моё в забвении... И плачу, и стенаю, и так мне хорошо...»

Профессор Тарантога — наш современник.

С детства он восхищался великими представителями человечества — Архимедом, Эсхилом, Ньютоном, Кеплером и т. д. и т. д. Изобретя машину для передвижения во времени, он решил для начала со всеми умершими гениями перезнакомиться и начал с Томаса Эдисона, который оказался к нему ближе всех во времени.

И что же? Он увидел типичного болвана, лентяя.

И вообще, этот Эдисон разбирался в технике, как обезьяна в симфониях.

Профессор Тарантога был жестоко разочарован. Что же это такое? Почему люди так несовершенны? Почему Гёте вполне в этом смысле достоин Данте, а Данте — Стефенсона, а все они вместе, как личности, гроша ломаного не стоят? Так профессор Тарантога начал понимать, что, говоря о прогрессе, мы, собственно, всегда говорим обо всём человечестве. А отдельные ублюдки...

«Нет, нет, чего ради я бы стал их ненавидеть? — говорит профессор Тарантога. — Я думал теперь не о Гёте или Эсхиле.

Я думал теперь о человечестве. Ведь я знал, я прекрасно знал в своём времени, что это Ньютон *должен* открыть закон тяготения, а Кеплер — законы движения планет, а Коперник — законы движения Земли. Я знал, что *должны быть написаны* “Божественная комедия”, произведения Шекспира, Горация, Вергилия, Гомера, иначе не возникнет наша цивилизация. Думайте, думайте о человечестве! А они... Кант подписал фальшивый вексель — придётся его выкупать... Коперник и слышать не хочет о том, что Земля вращается вокруг Солнца, — талдычит, что это противоречит теологии... А знаете, во что мне стало уговорить Колумба открыть Америку? Совсем недавно закончил уговоры, он все жилы из меня вытянул... А знаете, что сделал Пифагор, эта свинья?.. И я должен подгонять всех этих ослов!.. Правда, Эсхил уже готов, Данте тоже согласился, но у меня нет пока даже жалкого какого-нибудь кандидата на Конфуция, ну, этот уж-ж-жасный китайский язык, сами понимаете... Да тут ещё Галилео Галилей соблазнил дочь своей хозяйки, алименты, разумеется, должен платить я. И пока всё это не уляжется, никто его не заменит. А ведь без Галилея не будет современной физики...» Эпические фигуры — на

фоне быта.

Появились гонорары, появилась возможность путешествовать.

Путешествиями ни Станислав Лем, ни Барбара никогда не пренебрегали.

Вот, скажем, что писал Лем своему другу Мрожеку (6 октября 1963 года):

«Были 15 дней в солнечной Греции, в толпе туристов, главным образом любимых немцев, шведов и англичан, с небольшой добавкой американцев... Я много снимал в этой Греции на цветную плёнку, которую сейчас проявляю, и надеюсь, что из этого что-то получится, потому что в Греции очень красиво. Ты сам лучше меня знаешь, что нищета, даже изрядная, на юге необычайно красочна. Мы были в Афинах, в Дельфах, в Фивах, в Олимпии, в Патрах, в Элефсисе, в Спарте, в Триполисе, также два дня на Крите, в Ираклионе, оттуда в Кносс и поперёк Крита до Феста, где райские купели и банановые пальмы... У нас тут всё выглядит скромнее... Греция отсюда теперь кажется ужасно далёкой. Дорого там всё, а денег мало, почти нисколько, но там прекрасно и есть даже автострады, въезжая на которые, нужно платить. Афины — совершенно европейский двухмиллионный город с богатой ночной жизнью.

Режим довольно полицейский, мы должны были регистрироваться, сдавать фотографии, заполнять анкеты, зато Крит — просто рай, по которому бродят стада небритых по современной моде юнцов со всей Европы, огромных парней и гигантских блондинок, немок и шведок. В Греции, кроме Акрополя, кроме дворца короля Миноса, кроме Лабиринта запомнилось ещё каменное гнездо микенских королей-разбойников с теми воротами со львами, да и театр в Эпидавре — это что-то!.. Кроме ракушек и камешков мы, конечно, ничего из Греции не привезли, разве что феноменальные воспоминания...»<sup>[87]</sup>



После 1963 года переписка со Славомиром Мрожеком ослабела.

Уехав из Польши, Мрожек хотя и сохранил польское гражданство, но жил то во Франции, то в Италии, а иногда — в США, в Германии, в Мексике.

«Живи, где хочешь и как можешь, — писал Лем другу. — Когда вернёшься, под нашей соломой тебя всегда будет ждать не совсем заплесневелый кусок мякинного хлеба и глоток огненной воды на траве, которая *belowed by the european bison*<sup>[38]</sup>»<sup>{88}</sup>.

Мрожеку исполнилось 33 года — не худший возраст для выбора *другой* жизни. На вопрос, а как Лем себя ощущал в этом возрасте, писатель ответил другу весьма пространно; в сущности, он изложил ему своё жизненное кредо.

«Кажется, тридцать три года, — писал он, — у меня случились в 1954 году; я лично развивался очень медленно, в результате чего был тогда ещё весьма глуп, а потому убеждён в своём совершенстве, а также в ожидающих меня великих свершениях (без уточнения, каких именно). Это был второй год моей семейной жизни и первый — написания некоторых местами вполне осмысленных текстов, вроде “Звёздных дневников”, если я не ошибаюсь. А ещё это было время духовных перемен, типичных для периода приближения к октябрьским событиям<sup>[39]</sup>. Ничего окончательного, рубежного, ничего такого, что отличалось бы от иных жизненных моментов, в моей душе тогда не произошло. Вообще думаю, что мудрость заключается прежде всего в отречении, в отказе. Причём отказываться следует вдвойне — и от мира, и от себя; в том смысле, что мир не может дать того, что тебе нужно, но при этом ты и сам многого не можешь. Согласие с текущим существованием своим и мира, это двойное согласие — одна из самых трудных вещей для осуществления, если всё делать без фальши...

Всё это, впрочем, известно издавна, ещё Вольтер писал о совершенном самодовольстве старой идиотки, которое как бы не должно, но всё-таки вызывает зависть в очах философа, который ничего такого не знает. Читал я и разные буддийские мудрости, и суть их в том, что жить нужно так, чтобы как можно сильнее отвыкнуть от жизни, не совершать свинства. К этому сводится почти вся хинаяна. А махаяну<sup>[40]</sup> я не очень почитаю, потому что она теистична и слишком много в ней говорится о вещах, о которых ничего

не известно. Только воздействие внешних условий придаёт человеку форму, то есть создаёт его, и то до некоторых границ. Слишком сильное воздействие превращает человека в беспомощно дрейфующий предмет (связанный, посаженный на кол, коронованный, изнасилованный и т. п.). Если же такое воздействие отсутствует, экзистенциальная центробежность начинает разрывать, разрушать, уничтожать...

Кисель, который у нас в голове, действует таким образом, чтобы мы стремились к чему-то; воздействие условий (гвоздь в ботинке, оккупация, отсутствие денег, цензура) придаёт этой тенденции направление и форму, а также иллюзорное ощущение, что нужно от этих условий освободиться и что именно в этом заключается главная задача. В самом деле, удаление гвоздя, оккупации, нищеты, цензуры, тюрьмы и прочее дают некое минутное облегчение. Но тут же возникает пустота, которую заполняют другие гвозди, тюрьмы, оккупации и т. п. Поэтому раем была бы, наверное, только полная свобода выбора как можно большего разнообразия мук; их можно было бы добровольно выбирать, в отличие от адской ситуации, в которой эти муки задаются извне раз и навсегда. В раю можно умереть только от нерешительности. В аду — от тоски (после привыкания к пыткам).

Существование художника является поиском задач.

Эта свобода (конечно, мнимая) создаёт предвкушение рая (выбирай, что хочешь), но одновременно являет собой суррогатный характер выбора (нереальность переживаний), ибо выбираются не различные жизни, и даже не конкретные гвозди, а только темы. В межтематический период (между различными выборами) одолевает лишь голое, бесформенное ощущение необходимости стремления, то есть делания чего-то там.

Не столько ради того, чтобы сделать это что-то, сколько для того, чтобы заполнить безумно неприличную пустоту. Искусство жизни — это талант заполнения пустоты такими заботами, с которыми, может быть, удастся справиться. Просто искусство — это то же самое, но квази. Но тот, кто знает, что это квази, уже не может этого делать и из художника становится просто отчаявшимся типом. А потому и самообман необходим, как часть жизненного искусства. Ведь можно ходить на ходулях, зная, что ты на них ходишь, совсем не прикидываясь и не уверяя самого себя, что это у тебя такие ужасно длинные ноги. Пропорция самообмана и понимания, что обманываешься, является вопросом индивидуально составляемой рецептуры с учётом практических проверок собственных возможностей и потребностей: Но добавлю также, что всю эту мешанину следует делать инстинктивно, как пташка поёт в бору, потому что если кто-то много знает

о себе или даже просто считает, что знает, уже близок к полной импотенции...

Если ты что-нибудь понял, то хорошо, хоть и удивительно; если нет, ничего страшного»[\[89\]](#).

И, наконец, ещё один триумф Станислава Лема — триумф несомненный.

В декабре 1963 года в «Белостокской газете» начал печататься «Непобедимый».

Необыкновенный роман, это признают многие. Но начинается он *демонстративно обычно*, как, впрочем, в те годы начинались многие другие *обычные* научно-фантастические романы.

«“Непобедимый”, крейсер второго класса, самый большой корабль, которым располагала База в системе Лиры, шёл на фотонной тяге. Восемьдесят три человека команды спали в туннельном гибернаторе центрального отсека. Поскольку рейс был относительно коротким, вместо полной гибернации использовался очень глубокий сон, при котором температура тела не падает ниже десяти градусов. В рулевой рубке работали только автоматы. В поле их зрения, на перекрёстке прицела, лежал кружок солнца, немногим более горячего, чем обычный красный карлик. Когда кружок занял половину площади экрана, реакция аннигиляции прекратилась. Некоторое время в звездолёте царила мёртвая тишина. Беззвучно работали кондиционеры и счётные машины. Погас вырывавшийся из кормы световой столб, который, пропадая во мраке, как бесконечно длинная шпага, подталкивал корабль, и сразу же прекратилась едва уловимая вибрация. “Непобедимый” шёл с прежней околосветовой скоростью, притихший, глухой и, казалось, пустой...”»

Любителям фантастики это должно было нравиться (и нравилось), любители литературы психологической, «серьёзной» могли бросить чтение на первой странице.

Но ведь это был Лем! Он уже приучил читателей к своей неординарности.

На пустынную и, как считалось, необитаемую планету Регис III крейсер второго класса «Непобедимый» прибыл в поисках другого затерявшегося там корабля — такого же крейсера «Кондор».

Мощное воображение писателя рисует пейзажи почти земные и в то же время *чужие*.

Вот колонна вездеходов пересекает текущие песчаные пространства, двигаясь к руинам вроде бы обнаруженного с орбиты «города». Но то, что наблюдатели называли «городом», конечно, ни на какой город не походит.

Это просто утопленные в барханах на неизвестную глубину непонятные тёмные массивы, чудовищные конструкции, не поддающиеся определению.

«Одни выглядели как складчатые расходящиеся в разных направлениях очень густые сети с утолщёнными узлами сплетений, другие напоминали сложные пространственные арабески, какие создали бы взаимно проникающие друг в друга пчелиные соты, или решёта с треугольными и пятиугольными отверстиями. В каждом большом элементе и в каждой видимой плоскости можно было обнаружить какуюто регулярность, не такую однородную, как в кристалле, но, несомненно, повторяющуюся в определённом ритме. Некоторые конструкции, образованные чем-то вроде призматических, плотно сросшихся ветвей (но эти ветви не росли свободно, как у деревьев или кустов, а составляли либо часть дуги, либо две закрученные в противоположных направлениях спирали), торчали из песка вертикально. Встречались, однако, и наклонные, похожие на плечи разводного моста. Ветры, чаще всего дующие тут с севера, нагромодили на всех горизонтальных плоскостях и пологих откосах сыпучий песок, так что издали многие из этих руин напоминали невысокие пирамиды, срезанные у вершины. Но вблизи становилось ясно, что их, казалось бы, гладкие поверхности на самом деле являются системой ветвистых, остrokонечных стержней, лепестков, кое-где настолько густо переплетённых, что на них удерживался песок...»

Но не тайны мёртвого «города» интересуют Станислава Лема.

И не тайны органической жизни, всё же существующей на планете Регис III.

И даже не тайны несчастного «Кондора», хотя детали, связанные с гибелью крейсера, потрясают: везде из песка торчат неиспользованные кислородные баллоны, валяются консервные банки, фотоаппараты, бинокли, штативы, фляжки, как будто их кто-то бессмысленно выбрасывал из корабля.

«Заметив небольшой выпуклый бугорок, прикрытый тонким слоем песка, Рохан (помощник астрогатора. — Г. П., В. Б.) тронул его носком ботинка, думая, что это какой-то маленький глобус, машинально поднял бледно-жёлтый шар с земли и вскрикнул. Все повернулись к нему. Рохан держал в руках человеческий череп».

Потом находят и другие кости.

Находят целый скелет в истлевшем комбинезоне.

Люди с «Непобедимого» поражены. Они предпочли бы увидеть «Кондор» потерпевшим техническую аварию, ну хотя бы взрыв реактора. Но то, что они видят, никак не укладывается в их сознании. Откуда взялись,

например, некие «оспинки» на титано-молибденовых плитах обшивки «Кондора»? Какой силе поддались эти невероятной прочности сплавы? И почему разгром царит в картографических и звёздных каютах, в кают-компаниях, в каютах экипажа, в радарных рубках, в коридорах? Почему стёкла приборов разнесены в серебристый порошок, а библиотека завалена размотанными микрофильмами, варварски выброшенными с полок книгами, поломанными циркулями, лентами спектральных анализов, грудями измятой одежды и кожи, содранной с распотрошённых кресел?..

А потом появилась *туча*, и, как ни парадоксально, с этого места роман перестаёт быть научно-фантастическим. Он становится философским, психологическим, это, собственно, уже Вольтер — с опытом двух мировых войн и всего, что этим войнам сопутствовало.

В слоях каменного угля планеты найдены отпечатки многочисленных видов ископаемых растений, которые явно могли существовать только на суше.

Оказывается, действительно на Регис III когда-то цвела наземная жизнь.

Но вот странность: эта жизнь цвела на планете как бы дважды. Первый её закат пришёлся на эпоху около 100 миллионов лет назад и был, видимо, вызван близкой вспышкой Новой. После ужасного упадка жизнь на планете всё же восстановилась, но через 90 миллионов лет произошла какая-то другая катастрофа — следы её удалось обнаружить в виде радиоактивных изотопов. По приблизительным подсчётам, эта вторая вспышка не могла вызвать массовое вымирание, однако начиная с этого момента окаменевшие останки животных и растений на Регис III встречались всё реже и реже. Зато было много необычного спрессованного «ила» — сульфидов сурьмы, окислов молибдена, железа, солей никеля, кобальта и титана. Эти металлические, относительно тонкие слои, возрастом от восьми до шести миллионов лет, местами содержали очаги повышенной радиоактивности, будто планета действительно пережила серию локальных, но бурных ядерных ударов.

А ещё геологи «Непобедимого» обнаружили большое количество валяющихся в песке чёрных металлических зёрнышек. Что это такое, сказать никто не мог, многие «образования» чужой планеты не имели земных аналогов. Конечно, учёные тут же выдвинули множество причудливых гипотез. Из них самой странной, но и самой привлекательной оказалась та, по которой разные формы неорганической жизни (занесённые на планету Регис III цивилизацией лирян) в течение многих миллионов лет вступали в борьбу друг с другом. Чудовищные гиганты (от них и осталось то, что было принято землянами за руины «городов») сражались со всякой мелкотой, вроде таких вот «мушек». Самые горячие споры, впрочем, разгорелись вокруг проблемы «психичности» или «апсихичности» тучи, несколько раз приближавшейся к кораблю. Кибернетики, например,

склонялись к мнению, что это могла быть мыслящая система, явно обладающая способностью к определённой стратегии...



Основная идея романа «Непобедимый» тесно связана с размышлениями, из которых сложилась другая знаменитая книга Станислава Лема — «Сумма технологии». Писателя чрезвычайно занимало явное противоречие: почему в процессе эволюции простые и надёжные решения (бактерии, фотосинтез у растений) меняются на более сложные, не столь совершенные (многоклеточные организмы, пищеварение для обеспечения энергией)? И почему протобактерии, имевшие на Земле все условия для своего благополучного и долгого существования, всё-таки уступили место менее приспособленным существам? Возможна ли, так сказать, «обратная эволюция»?

А почему нет? На планете Регис III, похоже, разыгрался именно такой вариант.

Оставленные прежними хозяевами (лирянами) роботы, исходя уже из своих собственных интересов (физическое выживание), начали борьбу за будущее. В итоге верх взяли автоматы, вернувшиеся к простым формам и подпитывающиеся непосредственно от Солнца. Экипаж «Непобедимого» скоро убедился, какой страшной силой могут обладать такие вот «примитивные» создания. Против чёрной тучи, опасно приблизившейся к кораблю, астрогатор Хорпах высылает самое мощное оружие «Непобедимого» — машину с неофициальным названием «циклоп», которая может действовать и при высокой радиации, и при гигантских давлениях и температурах, к тому же оснащённую излучателем антиматерии и собственным электронным мозгом.

«Теперь циклопа от места катастрофы отделяло не больше ста метров.

Один из энергоботов Рохана стоял, опершись бронированным задом о скалу, в самом узком месте прохода застряли сцепившиеся вездеходы, а дальше за ними находился второй энергобот; лёгкое дрожание воздуха свидетельствовало о том, что он всё ещё создаёт защитное поле. Циклоп сначала дистанционно выключил эмиттеры этого энергобота, а затем, увеличив мощность реактивной струи, поднялся высоко в воздух, быстро проплыл над неподвижными машинами и опустился на камни уже выше прохода. И в этот момент кто-то из находящихся в рубке предостерегающе вскрикнул. Чёрная шерсть склонов задымилась и обрушилась волнами на земную машину с такой стремительностью, что в первый момент машина совершенно исчезла, словно закрытая наброшенным сверху плащом смолистого дыма.

Тотчас всю толщину атакующей тучи пробила ветвистая молния.

Циклоп не использовал своего страшного оружия — это образованные тучей энергетические поля столкнулись с его силовой защитой. Теперь силовая защита будто материализовалась, облепленная толстым слоем клубящейся тьмы; она то распухала, как огромный пульсирующий шар лавы, то сжималась, и эта причудливая игра продолжалась довольно долго. У наблюдавших сложилось впечатление, что скрытая от их глаз машина старалась растолкать мириады нападающих, которых становилось всё больше и больше, так как всё новые тучи целыми лавинами скатывались на дно ущелья. Исчез блеск защитной сферы, и только в глухой тишине продолжалась жуткая борьба двух мёртвых, но могущественных сил.

Потом форма тучи изменилась.

Теперь это было что-то вроде гигантского чёрного смерча, который возносился над вершинами самых высоких скал. Зацепившись основанием за невидимого противника, смерч кружился километровым мальстромом, голубовато переливаясь при своём сумасшедшем вращении.

Никто не произнёс ни слова; все понимали, что таким образом чёрная туча пытается смять силовой пузырь, в котором, словно зёрнышко в скорлупе, спряталась машина. Рохан краем глаза заметил, как астрогатор уже открыл рот, чтобы спросить стоящего рядом с ним главного инженера, выдержит ли силовое поле, но не спросил. Не успел. Чёрный вихрь, склоны скал — всё исчезло в долю секунды. Казалось, на дне ущелья вспыхнул

вулкан. Столб дыма, кипящей лавы, каменных обломков, наконец — огромное, окружённое вуалью пара облако возносилось всё выше. Пар, в который, наверное, превратился журчащий поток, достиг полуторакилометровой высоты, где парил зонд. Циклоп привёл в действие излучатель антиматерии. Никто из стоявших в рубке не шевельнулся, не произнёс ни слова, но никто не смог сдержать чувства мстительного удовлетворения; оно было неразумно, но это не уменьшало его силы. Казалось, что, наконец, туча нашла достойного соперника. Всякая связь с циклопом прекратилась с момента атаки, и теперь люди видели лишь то, что через семьдесят километров вибрирующей атмосферы доносили ультракороткие волны телезонда.

О битве, которая разразилась в замкнутом ущелье, узнали теперь и те, кто был вне рубки. Часть команды, которая разбирала алюминиевый барак, бросила работу. Северо-восточный край горизонта посветлел, словно там должно было взойти второе солнце, более яркое, чем то, которое висело в небе; потом это сияние погасил столб дыма, расплывающийся тяжёлым грибом. Техники, управляющие работой телезонда, вынуждены были увести его от огня схватки и поднять на четыре километра — только тогда он вышел из зоны резких воздушных потоков, вызванных взрывом. Скал, окружающих ущелье, косматых склонов, даже чёрной тучи, которая из них выползла, не было видно — экраны заполнились кипящими полосами пламени и дыма, перечёркнутыми параболами сверкающих осколков; акустические индикаторы зонда передавали непрерывающийся грохот, словно значительную часть континента охватило землетрясение.

То, что чудовищная битва всё ещё не кончилась, было удивительно.

Уже через несколько десятков секунд дно ущелья, всё, что окружало циклопа, должно было приобрести температуру плавления, скалы оседали, падали, превращались в лаву. Её багровый светящийся поток уже пробивал дорогу к выходу из ущелья, находящемуся в нескольких километрах от места схватки. Какое-то мгновение Хорпах раздумывал, не испортились ли электронные выключатели излучателя; казалось невозможным, чтобы туча продолжала атаку на такого страшного противника, но изображение, появившееся на экране, когда зонд по новому приказу поднялся ещё выше, достигнув границы тропосферы, доказало, что он ошибается. Поле зрения теперь охватывало около сорока квадратных километров. На этой изрытой ущельями территории началось странное движение. Со скоростью, которая из-за отдалённости точки наблюдения казалась небольшой, с покрытых тёмными потёками склонов скал, из расщелин и пещер выплывали всё новые и новые чёрные клубы, поднимались высоко вверх, соединялись и,

концентрируясь, стремились к месту схватки. Какое-то время могло казаться, что обрушивающиеся в её центр тёмные лавины задавят атомный огонь, задушат его, погасят своей массой, но Хорпах хорошо знал энергетические резервы чудовища, сделанного руками людей. Сплошной, оглушительный, ни на секунду не умолкающий гром, рвущийся из репродукторов, наполнил рубку. Одновременно три языка пламени километровой высоты навывлет пробили массив атакующей тучи и стали медленно вращать её, образовав что-то вроде огненной мельницы. Циклоп, по неизвестным причинам, начал пятиться и, не прекращая борьбы, медленно отступал к выходу из ущелья. Возможно, его электронный мозг считался с опасностью окончательного разрушения склонов, которые могли обрушиться на машину. Она, конечно, выбралась бы и из такого положения, но всё же рисковала потерять свободу манёвра. Так или иначе, но борющийся циклоп старался выйти на свободное пространство, и уже было непонятно в кипящих водоворотах, где огонь его излучателя, где дым пожара, где обрывки тучи, а где обломки обваливающихся скал.

Казалось, битва приблизилась к кульминации.

Но в следующий момент произошло нечто невероятное.

Экран вспыхнул, засверкал страшной ослепляющей белизной, покрылся оспой миллиардов взрывов, и в новом приливе антиматерии оказалось уничтоженным всё, что окружало циклопа. Воздух, обломки, пар, газы, дым — всё это, превращенное в жёсткое излучение, расколов надвое ущелье, замкнуло в объятия аннигиляции тучу и вылетело в пространство, словно извергнутое самой планетой. Какой-то обломок, очевидно, зацепил зонд, несмотря на то, что он находился теперь в тридцати километрах от центра катаклизма. Связь не прервалась, но качество изображения резко ухудшилось, экран густо покрылся помехами. Прошла минута, и, когда дым немного осел, Рохан, напрягая глаза, увидел следующий этап борьбы.

Если бы атакующими были живые существа, избиение, которому они подверглись, наверное, уже заставило бы следующие друг за другом шеренги повернуть вспять или хотя бы остановиться у ворот огненного ада. Но мёртвое боролось с мёртвым, атомный огонь не угас. И тогда Рохан в первый раз понял, как должны были выглядеть битвы, когда-то разворачивавшиеся на пустынной поверхности планеты Регис III, битвы, в которых одни роботы сокрушали и уничтожали других. Нечто подобное здесь уже явно происходило. Мёртвая, неуничтожимая, закристаллизованная, зафиксированная солнечной энергией память биллионной тучи должна была содержать сведения о подобных схватках. Именно с отшельниками-одиночками, с бронированными гигантами, с

такими вот атомными мамонтами должны были сотни веков назад драться эти мёртвые капельки, которые казались ничем рядом с пламенем всё уничтожающих разрядов, пробивающих навывлет даже скалы. То, что сделало возможным их существование и стало причиной гибели огромных чудовищ, чьи плиты были распороты, как ржавые лохмотья, и размётаны по всей огромной пустыне планеты, — это была именно какая-то неправдоподобная, не имеющая названия отвага, если можно применить такое слово всего лишь к кристалликам чёрной тучи...

А она продолжала атаку.

Над её поверхностью на всём обозреваемом сверху пространстве теперь слегка выступали отдельные, наиболее высокие пики. Всё остальное, вся страна ущелий исчезла под разливом чёрных волн, мчащихся концентрическими кольцами со всех сторон горизонта, чтобы рухнуть вглубь огненной воронки, центром которой являлся невидимый за огненным трепещущим щитом циклоп. Энергетические возможности гиганта были практически неисчерпаемы, но, по мере того как продолжалась аннигиляция, несмотря на мощные защитные средства, несмотря на антирадиационное покрытие, малая часть звёздных температур всё же воспринималась излучателем, возвращалась к своему источнику, и внутри машины должно было становиться всё жарче и жарче. Ни один человек уже давно не выдержал бы внутри циклопа. Наверное, керамитовая броня уже вишнево светилась, но люди видели под куполом дыма только голубой сгусток пульсирующего огня, который медленно полз к выходу из ущелья, так что место первой атаки тучи осталось на расстоянии трёх километров к северу, обнажив свою ужасающую, спёкшуюся, покрытую слоем шлака и лавы поверхность...»<sup>[90]</sup>

Спасательная экспедиция провалилась.

Экипаж «Кондора» погиб ещё до появления «Непобедимого», а экипаж «Непобедимого» теперь сам понёс серьёзные потери. И «циклопа» пришлось уничтожить, поскольку столкновение с «мушками» привело к нарушению работы его электронного мозга. Попытка Рохана спасти людей, подвергшихся нападению «мушек», тоже завершилась неудачей. Вывод, к которому он пришёл в результате своей не слишком удачной спасательной операции, был не менее поразителен: эти «мушки», с которыми «Непобедимый» пытался бороться, давно уже, оказывается, стали *частью природных сил планеты*, а потому людям следует отступить, ведь нельзя же наказывать стихийные бедствия за причинённый ими ущерб. Пытаясь отыскать потерявшихся людей своей группы, Рохан много часов провёл в царстве грозных чёрных «мушек» и понял, наконец, что именно связывает человека и «природу», пусть даже в таком странном исполнении.

*Чувство красоты.*

Красоты безмерной, единой.

«Сидя под большим изломом, Рохан услышал надвигающееся издали тяжёлое гудение тучи. Странно — он совсем не испугался. Его отношение к туче в течение одного дня удивительно переменилось. Он знал, во всяком случае, думал, что знает, что именно он может себе позволить — как альпинист, которого не пугают смертельные трещины ледника. По правде, Рохан сам ещё не очень хорошо разобрался в происшедшей в нём перемене, его память даже не отметила, в какой именно момент он заметил мрачную красоту чёрных зарослей, переливавшихся всеми оттенками фиолетового цвета. Но теперь, рассмотрев чёрные тучи — а их было уже две, они выползли из обоих склонов ущелья, — он даже не шевельнулся, не пытался спрятаться, прижимая лицо к камням. В конце концов, положение, которое он занимал, не имело значения, если только маленький аппаратик ещё работал. Сквозь материал комбинезона он коснулся кончиками пальцев круглого, как монета, донышка и почувствовал лёгкие толчки. Рохан не хотел испытывать судьбу и уселся удобнее, чтобышний раз не менять положения.

Тучи теперь занимали обе стороны ущелья.

В их чёрных клубах происходило какое-то странное упорядоченное

движение, они сгущались по краям, образуя почти вертикальные колонны, а их внутренние части вытягивались и сближались всё больше. Казалось, какой-то гигантский скульптор с необыкновенной быстротой формировал их невидимыми движениями. Несколько коротких разрядов пронзили воздух между ближайшими точками туч, казалось, рвавшихся друг к другу, но каждая осталась на своей стороне, вибрируя центральными клубами во всё убыстряющемся темпе. Блеск этих молний был удивительно тёмным, он на мгновение освещал обе тучи — застывшие в полёте миллиарды серебристо-чёрных кристалликов. Потом, когда скалы повторили несколько раз эхо ударов, слабое и приглушённое, обе тучи, дрожа, напрягаясь до предела, соединились и перемешались. Сразу потемнело, как будто зашло солнце, и одновременно в воздухе появились неясные изгибающиеся линии, и Рохан только через некоторое время понял, что это гротескно изуродованное отражение дна ущелья...

Воздушные зеркала волновались и таяли под покровом тучи; вдруг он увидел гигантскую, уходящую головой во тьму человеческую фигуру, которая неподвижно смотрела на него, хотя само изображение непрерывно дрожало и колебалось, гаснущее и вновь вспыхивающее в таинственном ритме. И снова ушли секунды, прежде чем он узнал собственное отражение, висящее в пустоте между боковыми полотнищами тучи. Он был так удивлён, до такой степени поражён непонятными действиями тучи, что забыл обо всём. У него блеснула мысль, что, возможно, туча знает о нём, о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди камней ущелья.

Но и этой мысли он не испугался.

И не потому, что она была слишком неправдоподобна.

Нет, он просто сам теперь жаждал присоединиться к мрачной мистерии, значение которой — в этом он был уверен — не поймёт никогда. Гигантское отражение, сквозь которое слабо просвечивали далёкие склоны верхней части ущелья, таяло. Одновременно из тучи высунулись бесконечные щупальца, если какое-нибудь втягивалось обратно, его место занимали другие. Из них пошёл чёрный дождь, становившийся всё более густым. Мелкие кристаллики падали на Рохана, легко ударяли его в голову, осыпались по комбинезону, собирались в складках. Чёрный дождь шёл и шёл, а голос тучи, это всеобъемлющее, охватившее всю атмосферу гудение, усиливался.

В туче образовывались локальные вихри, окна, сквозь которые просвечивало небо; чёрный покров разорвался посередине и двумя валами, тяжело, как бы неохотно, попятился к зарослям, заполз в неподвижную

чащу и растворился в ней.

Рохан по-прежнему сидел без движения.

Он не знал, можно ли стряхнуть кристаллики, которыми был обсыпан.

Множество этих кристалликов лежало на камнях, всё белое ложе ручья было словно забрызгано чёрной краской. Он осторожно взял один из треугольных кристалликов, и тот будто ожил, деликатно дунул на руки тёплой струёй и, когда Рохан инстинктивно разжал руку, взлетел в воздух.

Тогда, будто по сигналу, всё вокруг заройлось.

Это движение только в первый момент показалось Рохану хаотичным.

Чёрные точки образовали над самой землёй слой дыма, сконцентрировались, объединились и столбами пошли наверх. Казалось, сами скалы задымились жертвенными факелами несветящегося пламени. Потом произошло что-то ещё более непонятное. Когда взлетающий рой повис, как огромный пушистый чёрный шар, над серединой ущелья, на фоне медленно темнеющего неба, тучи снова вынырнули из зарослей и стремительно бросились на него. Рохану показалось, что он слышит скрежещущий звук воздушного удара, но это была иллюзия. Он уже решил, что наблюдает схватку, что тучи извергли из себя и сбросили на дно ущелья этих мёртвых “насекомых”, от которых хотели избавиться, но понял, что ошибается. Тучи разошлись, и от пушистого шара не осталось и следа. Они поглотили его. Мгновение, и снова только вершины скал кровоточили под последними лучами солнца, а раскинувшаяся долина снова стала пустынной.

Рохан поднялся на ослабевшие ноги. Он вдруг показался себе смешным с этим поспешно взятым у мертвеца излучателем; больше того — он почувствовал себя совершенно ненужным в этой стране абсолютной смерти, где могли победить только мёртвые формы, победить для того, чтобы совершать таинственные действия, которых не должны были видеть ничьи чужие глаза. Не с ужасом, но с полным ошеломления удивлением участвовал он мгновение назад в том, что произошло. Он знал, что никто из учёных не в состоянии разделить его чувств, но хотел вернуться теперь уже не только как вестник гибели товарищей, но и как человек, который будет добиваться, чтобы эту планету оставили в покое, нетронутый. “Не всё и не везде существует для нас”, — думал он, медленно спускаясь вниз...»



Наверное, кто-то упрекнёт авторов за то, что выше приведена такая большая цитата.

Но кто лучше самого Станислава Лема мог так зримо, так необычно показать странный, почти нечеловеческий переход от низкого предельно откровенного ужаса к высокой космической красоте?

В одном из интервью на вопрос о том, можно ли предвидеть будущее, Лем ответил:

«Я думаю, что в пределах каких-нибудь ближайших трёхсот лет, с известной долей вероятности — возможно. Однако меня интересует эпоха примерно через пятьсот лет, куда “заглянуть” уже практически не удаётся. Конечно, я бы хотел увидеть и мир 3000 года. Однако если бы я попытался потом воссоздать его облик в наши дни, то, вероятно, не нашёл бы адекватного языка для того, чтобы рассказать об этом. Да и найдя необходимые слова, я не был бы понят до конца. Мир, изображённый мной, выглядел бы слишком странным, читатели могли бы не принять его, не согласиться со мной. Может, над моей головой разразились бы даже громы и молнии. А ведь любопытно, к примеру, поболтать с машиной, которая обрела самостоятельность, а теперь жалуется на свою судьбу, на то, что это человек вызвал её к жизни... Конечно, слишком продолжительный контакт с научной фантастикой, со всеми этими ракетами и механизмами вызывает здоровый предохранительный рефлекс — юмористическую усмешку. И это тоже толкает меня скорее в сторону ситуаций, чем научно-технических описаний»<sup>[91]</sup>.

Всё-таки попытку представить, как будет развиваться человечество в далёком будущем (не в фантастическом романе, а в *исследовании*), Станислав Лем предпринял. В начале 1960-х годов в печати начали появляться отдельные его статьи и эссе о будущем, а затем вышла объёмистая книга «Сумма технологии».

Название Лем «позаимствовал» у Фомы Аквинского («Сумма теологии»), хотя не раз признавался, что книгу эту он не читал.

«Существует Гармония или Хаос или же Бардак и Порядок, в зависимости от того, как смотреть, где искать и чего желать, — писал он Мрожеку в октябре 1963 года. — Подробности смотри в “Сумме технологии”, в которой на 21 авторском листе наконец-то изложено Всё. Однако обращаю твоё внимание на то, что положение настолько сложное, что может существовать как идиотская Гармония, так и великолепный непорядок; жизнь — это борьба Демона Случайности с Демоном Причинности. Но в любом случае это лучше Ахримана и Ормузда с их дикими развлечениями»<sup>[92]</sup>.

«Чем же, собственно, является “Сумма”? — писал Лем в предисловии к своей книге. — Собранием эссе о судьбах цивилизации, пронизанных “всеинженерным” лейтмотивом? Кибернетическим толкованием прошлого и будущего? Изображением Космоса, каким он представляется Конструктору? Рассказом об инженерной деятельности Природы и человеческих рук? Научно-техническим прогнозом на ближайшие тысячелетия? Собранием гипотез, чересчур смелых, чтобы претендовать на подлинную научную строгость? — Всем понемногу. Насколько же можно, насколько допустимо доверять этой книге? — У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, какие из моих догадок и предположений более правдоподобны. Среди них нет неуязвимых, и бег времени перечеркнёт многие из них. А может быть, и все. Но не ошибается только тот, кто благоразумно молчит»<sup>[93]</sup>.

Более чем полвека, прошедшие с выхода «Суммы технологии», показали, что в этой книге сейчас можно найти ряд неточностей в рассуждениях о математике, биологии, социологии, но в основе своей она не только не устарела, но осталась весьма актуальной по целому ряду вопросов, которые в 1960-х годах относились чуть ли не к чистой фантастике, а сейчас являются насущными и необходимыми. Виртуальная реальность, нанотехнологии, разработка искусственного интеллекта, генная инженерия — это уже не выдумки, а реально разрабатываемые и решаемые научные темы и проблемы. Темы технической эволюции, развития науки в целом, «выращивания информации», конструирования целых миров и реконструкции человека остаются и поныне фантастическими, но неизбежно станут реальными в будущем, если, конечно, человечество не остановится в своём развитии. Так, переходя от темы к теме — введение в проблематику футурологии, сравнение биологической и технической эволюции, создание искусственного разума и возможность кибернетического управления обществом, конструирование виртуальной реальности, сотворение новых миров, — Станислав Лем пытался увязать все перечисленные выше проблемы в единое целое, рассмотреть их в комплексе, увидеть явные и скрытые связи. Вслед за «Диалогами» книга «Сумма технологии» стала источником для многих будущих художественных разработок; отголоски этой работы долго слышались в книгах писателя.

В предисловии к большому тому переписки Станислава Лема и Славомира Мрожека известный польский литературовед Ежи Яжембский писал: «Если сегодня попытаться определить, что доминирует в переписке Мрожека с Лемом, то мы должны будем согласиться, что это недоразумения, касающиеся взаимной оценки написанных в те годы произведений. Какие удивительные оценки! Лем сравнительно низко оценил одну из самых знаменитых драм Мрожека “Танго”, а Мрожек в свою очередь весьма принципиально критиковал главную работу, излагающую взгляды Лема, которая до сих пор многими читателями считается гениальной, — “Сумму технологии”. Неужели они так плохо друг друга понимали? Ведь Лем считал прекрасными пьесы “Забава” и “Кароль”, хвалил рассказы, а значит, следует полагать, мог превосходно распознавать достоинства творений своего друга. А Мрожек восхищался интеллектом Лема (и многократно подчёркивал это в письмах), так что вроде бы у него не было повода не воспринимать такой замечательный труд, как “Сумма”.

Проблема, кажется, заключается в деталях: Лем имел к “Танго” претензии формального характера, критиковал драму за кажущийся конструктивный “разрыв” в конце пьесы, придавая этому настолько важное значение, что говорил чуть не о поражении автора, который, по его мнению, очень интересно начал, но в конце испортил пьесу. Беспрецедентный успех “Танго”, как в Польше, так и во всём мире, привёл к тому, что Лем позже уравнивал упрёки и похвалы, однако принципиально оставался при мнении о “разрыве”, хотя можно считать, что именно этот “разрыв” запускает в пьесе политическую проблематику, выявляя роль “хама” в новейшей истории. А Мрожек? “Сумме технологии” он посвятил обширные размышления, воздавая цезарю цезарево, не отступая, однако, от того, что он считал фундаментальным недостатком этой книги, а именно то, что Лем ушёл в суждениях о перспективах технологий будущего — от перспектив человеческого индивидуума. Это звучит как крик отчаяния, потому что автор книги показывает нам мир, который, в сущности, диаметрально отличается от того, который мы знаем, а прогресс технологии считает независимой переменной — от намерений и пожеланий людей. То, что противопоставляет этому Мрожек, звучит так: “Хорошо, но как ЛИЧНО Я буду чувствовать себя во всём этом?! Почему никто не спрашивает МЕНЯ, что я об этом думаю?!”»<sup>[94]</sup>.

Лем пытался объяснить Мрожеку, что его интересовали другие масштабы, что «Сумма» появилась в ответ на скептицизм астрофизиков, которые высказывали гипотезу о кратковременности космического

«психозоя», опираясь на то, что не видят и не слышат в космосе проявлений сверхцивилизаций. «Вся книга как бы является второй частью рассуждения, первая часть которого звучит: “если в результате такой или иной серии спровоцированных людьми катаклизмов нас не провалят в тартарары, то могло бы быть так или так...” Вся книга посвящена этому “так или так”. Об этом свидетельствует, между прочим, её иронический тон, весьма отчётливо проявляющийся во многих местах; это как бы представление для некоего дегенерата и пьяницы о том, какие перспективы открылись бы перед ним, если бы он захотел перестать быть тем и другим. Однако нельзя сказать, что эти различные перспективы развития, то ли ужасно извилистые, то ли прекрасные (скорее первое, чем второе), меня самого приводили в восторг; они меня скорее очаровывают, чем восхищают, и я — не маньяк этих технологий, а скорее адепт их всеобщего исследования...

Что касается единственного ключа, о котором ты пишешь, то могу тебе ответить так.

Как Авраам родил Исаака и так далее, так наука родила технологию, а технология — цивилизацию, а цивилизация — массовую культуру. И хотя немногим в полученных результатах можно похвастать, но *единственным лекарем будущего может быть или наука, или никто*. Кибернетический ключ способен охватить любую разнородность, какой бы она ни была; поэтому кибернетика может принести многочисленное решение самых различных проблем, и *только в этом смысле* можно говорить о единственном ключе. Да, единственном, потому что нет никаких других. Если бы ты встал, во что я не верю, на позицию безнадёжности, обусловленную каким-нибудь мистицизмом, то дискутировать было бы не о чем. Но если человечество больно, как человек, то лишь тот врач, который какуюто болезнь — частично или целиком — обозначил, может приняться за лечение, правда, не гарантируя никаких результатов. Некоторые нотки твоего письма удивительно похожи на первую часть “Записок из подполья” Достоевского, не знаю, читал ли ты их? Там речь идёт о том, что человек после открытия законов, управляющих им, никогда не согласится использовать их для построения Хрустального Дворца Будущего, и больше того, если он не найдёт защиты от этого Дворца, то сойдёт с ума, так как предпочтёт быть сумасшедшим, нежели “осчастливленным” таким вот рациональным способом. Некоторые из этих вопросов я поднимал в моих “Диалогах”, где о “Записках” тоже была речь. Я не мог и не хотел повторять всё это в “Сумме”. Поэтому замечу в двух словах, в чём могло бы заключаться преимущество “кибернетического” подхода к “регулированию

человечества” по сравнению с уже использованными. Оно просто в том, чтобы принять реальные данные, то есть определения, что у человека *anima* ни *naturaliter Christiana*, ни *naturaliter bona*<sup>[41]</sup>, что неверна установка, будто он любит других, но ему мешают злые условия, что он не обожествляет работу и не мечтает о том, чтобы её — творческой — было как можно больше. Ясно, что сами по себе такие определения ещё не гарантируют хороших результатов, но, по крайней мере, они могут предостеречь от некоторых ошибок, совершавшихся ранее»<sup>[95]</sup>.

Летом 1964 года в краковском Литературном издательстве вышла ещё одна книга Станислава Лема — «Сказки роботов», небольшая, изящно оформленная в чёрно-белых тонах. Обложку и иллюстрации выполнил Шимон Кобылинский (1927–2002), известный в Польше график и карикатурист. Конечно же, на рисунках оказались модные в то время перфоленты. Кто мог подумать, что век этих перфолент окажется таким коротким!

Свои кибернетические сказки Лем написал в стилистике Яна Пасека (1636–1701) и Генрика Сенкевича (1846–1916). «Это лишь элементы стиля, — говорил он позже в одном из своих интервью. — Я использовал этот стиль потому, что Сенкевич удачно накладывался на нужные мне традиции польского языка, — это их прекраснейшие страницы. Впрочем, “Трилогия” — это тоже не совсем Пасек, а лишь Пасек, “пропущенный” через Сенкевича. Может, потому я и привязывался к этому образцу, что мне всегда казалось, будто мы уже находимся за границами прекраснейшего периода нашей прозы. Но это только предположение, никакая не уверенность. Одновременно я сознавал, что использовать такой образец можно лишь иронически или насмешливо, иначе меня подстерегала опасность скатиться в декадентскую вторичность»<sup>[96]</sup>.

«Сказки роботов» — это своеобразный фольклор мира будущего, населённого разнообразными роботами. При ближайшем рассмотрении видно, что в этом мире множество откровенно архаических деталей — там есть короли и империи, рыцари и принцессы, войны и драконы (кибернетические, естественно). Человек встречается в этом мире крайне редко, он там — почти сказочное существо, и никому и в голову не взбрёт, что именно человек, именуемый в этом мире бледнотиком (в оригинале это звучит более звучно: блядавец, *Bladawiec*. — Г. П., В. Б.), когда-то создал первых роботов. Тем не менее бледнотики считаются существами весьма коварными, и редко кому удаётся одолеть их так, как удалось, например, отважному рыцарю Эргу Самовозбудителю.

Чувствуется, что Лем работал над книгой с удовольствием и в очередной раз дал полную волю воображению, юмору и словотворчеству. Смешение архаичного стиля со множеством неологизмов, конечно, доставило немало хлопот переводчикам этих сказок. «Я отдаю себе отчёт в том, что очень затрудняю, а временами даже делаю невозможной работу

своих переводчиков, когда наспиговываю книги определениями, которые могут быть понятны лишь на польском языке, но ничего тут не поделаешь, — говорил Лем. — Всё же, что касается неологизмов, я ограничиваюсь минимумом. Если бы я на самом деле взялся придумать язык какой-то иной эпохи, то потратил бы полжизни на то, чтобы написать совершенно непонятную книгу, разве что добавил бы к ней словарь с энциклопедией, также придуманной мной. А пока скажу, что я всё-таки стараюсь избегать невольной юмористики и позволяю себе развлекательное словотворчество лишь в произведениях гротескового направления»<sup>[97]</sup>.

В сборник «Сказки роботов» вошли рассказы, главными действующими персонажами которых были гениальные конструкторы Трурль и Клапауций. К ним в будущем Лем вернётся ещё не раз, потому что изобретательность героев позволит ему самому «реализовать» множество необычных замыслов.



Несмотря на кажущееся благополучие, в переписке Лема и Мрожека в конце 1964 года преобладают явственные пессимистические нотки. Мрожеку неуютно вдали от родины, но и возвращаться не хочется. Лем в ответ пишет пространное письмо, в котором, видимо, в первый (но, конечно, далеко не в последний) раз подводит некоторые итоги своей жизни и деятельности.

«Я автор семнадцати книг; общий их тираж — два с лишним миллиона; книг моих в стране не найдёшь, потому что они все раскуплены. Я занимаюсь не только художественной литературой, но и научными пророчествами, и в результате состою из двух половинок, точнее, моя скорлупка из них состоит, так что я могу, в случае необходимости, прятаться в одной или другой. Все мои сочинения делятся на старые книги, такие как “Астронавты”, благодаря которым я и получил все эти тиражи и переводы, и на более поздние, практически не рецензируемые. Уже два года я не имею на них никаких рецензий, кроме упоминаний в рубрике издательских новостей в “Польской Газете”, например. Можно было бы изобразить внутреннюю безучастность по отношению к такому всеобщему игнорированию, но я считаю, что “Рукопись, найденная в ванне”, так же как и “Солярис”, и “Сумма технологии” являются определёнными культурными фактами, или, точнее, *предложением* таких фактов. Поскольку я не нашёл ни резких противников, ни блистательных оппонентов, ни восторженных поклонников, я не стал основателем никаких движений, не увидел обмена мнениями вообще ни на какую тему. В этом смысле я со всеми своими миллионными тиражами вообще не существую. У меня популярность довоенного Марчиньского<sup>[42]</sup>. Позавчера, будучи у Скурницкого в Литературном издательстве, я просмотрел все заботливо собранные рецензии и отклики на мои книги. Должен сказать, что всё это абсолютная белиберда. Например, единственную рецензию из 30 строк, которой удостоена “Сумма технологии”, написал тип, который назвал меня “гением мистификации”.

Таковы результаты моей деятельности, дорогой Мрожек.

Я считаю, что писателю нельзя игнорировать отклик общества на его творчество, а потому пишу дальше (а что ещё можно делать?), но делаю для себя соответствующие выводы. Принимая во внимание прежде всего, что, во-первых, ситуация смешная, а во-вторых, что не может быть права

одна личность — против всех. Признание личности, работающей в области культуры, современным ей поколением является принципиально важным фактом. Не стоит рассчитывать, не будучи смешным, на признание последующих поколений. Загробное признание вообще ничего не стоит и не имеет никакого значения. Вот и всё. Ведь я пишу не для каких-то там будущих поколений, да и вообще их признание в лучшем случае может иметь характер исторического сожаления (ах! а ведь он был предтечей! глупые они, эти наши предки, что не поняли его, и т. п.). Общественный отклик, конечно, может быть спорным. Однако тот, кого считают шутом, когда сам он себя считает пророком, вынужден принять шутовской колпак и в дальнейшем хотя бы внешне, хотя бы частично от позиции провидца отказаться. Можно быть спорным явлением в культуре, и это даже неплохо, — но когда ты оказываешься *вне*, когда тебя игнорируют, невозможно не сделать из этого выводы. И речь тут не о героизме одиночества, а о самом обычном рассудке»<sup>{98}</sup>.

И далее: «Так что, несмотря на весь мой библиотечный запас, дорогой Мрожек, меня нет нигде, я — Робинзон в космическом масштабе. Я сам напридумывал все эти свои информационные бомбы и прочее, но оказался проигнорированным дважды, как со стороны науки, так и со стороны литературы, как со стороны философии, так и со стороны критики. Думаешь, я жалуюсь? Нет, совсем нет. Это просто факты. Мне бы хотелось дискутировать с академиями, потому что есть о чём дискутировать, а меня приглашают на встречу с молодёжью из экономическо-железнодорожного техникума. Что я могу сказать этой молодёжи?»<sup>{99}</sup>

Мрожек пытался успокоить Лема, объясняя, что вообще очень трудно найти человека, который смог бы написать приличную рецензию на «Сумму технологии»: «Я думаю, что никто не знает, как это угрызть, с какой стороны? как подступиться к твоим книгам и не оконфузиться?»<sup>{100}</sup>

*Я, как выдавший виды мореход,  
все вещи для меня аборигены,  
наивны, неподвижны, неизменны,  
а мне видений полон небосвод.  
Весь этот мир, теснящийся вокруг, —  
пустыня, он безлюднее луны,  
но в них всё — отклик, отзвук и испуг,  
и все слова у них населены.  
И вещи, мною взятые сюда,  
ушли в себя в предчувствии потери:  
в своей стране они лихие звери,  
а здесь дышать не в силах от стыда<sup>[43]</sup>.*

*Глава пятая.*

## **ВРЕМЯ ПРОРОКОВ**

В январе 1965 года Ян Юзеф Щепаньский и Славомир Мрожек попытались организовать поездку Лема на международный семинар, проходивший в Гарварде. Но Лем категорически отказался, мотивируя свой отказ тем, что плохо знает английский. «Не тянет меня в Гарвард. Я бы поехал, если бы мог там поговорить с мудрецами, но Винер уже лежит в гробу...»<sup>[101]</sup> К тому же Лем к этому времени запланировал поездки во Францию и в СССР. Так что Америка была бы уже перебором.

А вот «поговорить с мудрецами» Лему удалось.

«Получил некоторое интеллектуальное удовлетворение, связанное с конференцией по “Сумме технологии” в Варшаве, где прозвучали всякие умные слова, — написал он Мрожеку. — А в “Философском ежеквартальнике” будут напечатаны материалы дискуссии с моим преди-и послесловием, в общем, более ста страниц...»<sup>[102]</sup>

Действительно, 18 декабря 1964 года в редакции журнала «Studia Filozoficzne» состоялась бурная дискуссия, посвященная знаменитой книге Лема. В дискуссии приняли участие видные польские учёные: Юзеф Гурвиц (р. 1911)<sup>[44]</sup>, Вацлав Мейбаум (1933–2002), Хелена Эйльптейн (1922–2009), Владислав Краевский (1911–2006).

В предисловии, о котором писал Лем Мрожеку, говорилось:

«Мне представляется, что центральной темой моей книги является лозунг, звучащий, может быть, даже забавно, а именно: “Догнать и перегнать Природу”. Лозунг этот предполагает, что технология — универсальный инструмент; это может быть как биотехнология, так и социотехнология, и с её помощью можно реализовать, по крайней мере, то, что уже реализовала и продолжает реализовывать своими силами Природа. Это, несомненно, выражение максималистичного оптимизма (или же оптимистического максимализма), который стремится к тому, чтобы перспектива, в которой мы видим мир, подверглась принципиальному изменению и чтобы в связи с этим подверглись изменениям способы и масштабы нашего воздействия на него. Он стремится к тому, чтобы мы сказали себе: по крайней мере, в определённых пределах возможно сравнение творений человека с творениями Природы — в отношении исправности, безотказности, прочности, универсальности и так далее. Можно даже попробовать дифференцировать фазы такого соревнования; первая фаза наверняка была бы фазой урегулирования, то есть

оптимизации существующего состояния, того, что уже дано (общество, наш мозг, наше тело), вторая же — фазой собственно творения (от усовершенствования существующих решений переходим к созданию новых). Я хотел бы лишь подчеркнуть (даже если это прозвучит как вызывающий парадокс), что считаю себя весьма скептической личностью, не склонной к безответственным мечтаниям»<sup>[103](#)</sup>.

А в послесловии Лем вообще «раскатал» своих оппонентов, обстоятельно подтверждая выдвинутые им тезисы фактическими данными из самых разных областей науки. От чего, видим, и получил «некоторое интеллектуальное удовлетворение».

В феврале 1965 года Лем купил шестицилиндровый седан итальянского производства — «Fiat 1800».

Переписка того времени практически не содержит никаких размышлений о литературе, философии или технологиях — всё заполонила машина. Лем подробно, даже занудно описывал Мрожеку весь процесс покупки, и как он потом осваивал машину, и как не смог доехать на ней из Варшавы до Кракова, потому что в дороге кончилось масло, и его буксировали какие-то сельские трактористы. В каждом письме он приводил массу подробностей о характеристиках новой машины и просил как можно скорее уточнить у производителя (Мрожек как раз проживал в Италии), как нужно ухаживать за машиной, чем её «кормить» и т. п. «Вот только жаль, во Францию приехать на автомобиле я не смогу, потому что уже приобрёл авиабилеты. Значит, встретиться в этом году не получится. Но, поскольку заключаются новые заграничные договоры, к следующему году какие-то деньги накопятся, и тогда можно планировать путешествие в Австрию и Италию, а вернуться можно будет через Югославию, где тоже получу какие-то гроши...»<sup>{104}</sup>

И ещё из письма Мрожеку (от 10 февраля 1965 года): «Дорогой! Какие философствования? До философствований ли мне теперь, когда я едва-едва могу собрать сколько-то денег на бензин марки “Premium”! Кажется, я просто вынужден быстро-быстро написать пару новых книжек...»<sup>{105}</sup>

Тем не менее Лем с Барбарой всё-таки съездили в Париж.

А на обратном пути побывали в гостях у Мрожеков в Италии.

Летом 1965 года вышли «Кибериада» и «Охота».

В «Кибериаду» Лем включил уже известные рассказы о замечательных роботах-конструкторах, дополненные «Семью путешествиями Трурля и Клапауция» (на самом деле — девятью, потому что два «путешествия» — первое и пятое — были двойными). Вошли в сборник и совершенно новые истории: «Сказка о трёх машинах-рассказчицах короля Гениалона» и «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле».

«Когда я писал “Сказки роботов”, — рассказывал позже Лем о том, как он вышел на суть «Кибериады», — то одновременно делал пометки для следующей книги. А поскольку я это делал исключительно для себя, то использовал собственный, смешной язык, с неграмматическими сокращениями или стенографическими заметками. Когда всего этого набралось некоторое количество, я начал просматривать материал под углом “отглаживания” написанного в более плавный стиль и заметил, что текст при его обработке становится каким-то “искусственным”, “накрахмаленным”, попросту плохим. А вот то, что было “исковерканным” и несуразным, выглядело значительно лучше. Я подумал тогда, что именно так, наверное, и следует писать. Если что-то можно было сказать нормально, то я шёл “рядом” или “наперерез” языку. А когда нужно было сказать, к примеру, что кто-то является прохвостом, я писал, что он — прохвостный гнуснец. Это придало “Кибериаде” стилистическую цельность, которая принципиально отличается от “Сказок роботов”. “Сказки” стали как бы строительными лесами, по которым я вскарабкался на уровень, с которого мог прыгнуть в сторону “Кибериады”. Или это было как две ступени. В любом случае разница выразительна ещё и потому, что я придумал фигуры Трурля и Клапауция, которые оказались очень плодотворными. Это процесс, который самому мне трудно понять. Он напоминает виноградный или брюквенный сок, который поставили бродить. Некоторое время брожение продолжается, всё кипит, а потом прекращается. Наступает настоящее истощение, потому что реакции гаснут. При желании наверняка можно ещё вытянуть силой один-два рассказа, но обычно они бывают уже эпигонскими. Это законы, которые не я придумал, потому что их давление, по крайней мере, так было в моём случае, ощущаешь совершенно внезапно»<sup>[106]</sup>.

Местами плотность словесной игры в «Кибериаде», пожалуй, даже



зашкаливает.

«Новшеством, свойственным “Кибериаде”, — писал Лем 12 апреля 1973 года своему американскому переводчику Майклу Канделю, — является введение в пространство парадигматики (той, которая составляет так называемые форманты) скрещения СКАЗКИ и НАУКИ — в самое сердце, не на периферию этих пространств...»

«Я бы хотел в меру моих возможностей помочь Вам, — писал Лем Канделю, вознамерившемуся представить американским читателям забавные истории о Трурле и Клапауции. — Прежде всего хочу сказать, что моё знание того, как делается нечто такое, как “Кибериада”, это знание *a posteriori*, то есть я сначала написал книжку, а уж потом задумался, откуда всё это взялось. В “Фантастике и футурологии” об этом тоже говорится очень мало, поскольку парадигматикой и синтагматикой литературного словотворчества я несколько шире занимался в “Философии случая”, вот там есть несколько замечаний общего характера... Дело, однако, представляется мне необычайно трудным, прежде всего потому, что английский язык даёт совершенно иные возможности играть языком, нежели польский. Я думаю, что трудность состоит в том, чтобы для каждой истории найти некий особый стилистический приём. В принципе, этот приём, этот языковой план, который господствует в большинстве рассказов сборника “Кибериада”, — это Пасек, пропущенный через Сенкевича и высмеянный Гомбровичем. Это определённый период истории нашего языка, который нашёл потрясающе великолепную эпохальную репетицию в произведениях Сенкевича — в его “Трилогии”. При этом Сенкевичу удалось сделать воистину неслыханную вещь, а именно: язык “Трилогии” все образованные поляки (за исключением несущественной горстки языковедов) невольно принимают за “более аутентично” соответствующий второй половине XVII века, нежели язык *тогдашних источников*. Гомбрович набросился на это и, вывернув наизнанку памятник, сделал из этого свой “Транс-Атлантис” — видимо, единственный (в значительной мере именно поэтому!) роман, который невозможно перевести на другие языки. Поэтому я думаю, что какой-то цельный план условной архаизации, как налёта, скорее, даже как грунтовой краски, при переводе необходим, но моё невежество в области английской литературы не позволяет предложить конкретного автора, к которому можно было бы обратиться. Так как важнейшей вещью является наличие в общественном сознании (по крайней мере, у образованных людей) именно этой парадигмы — исполняющей функцию почтенного образца (“Как Отцы Говорили”). Но ясно, что моя архаизация, хоть и условная и скудная, одновременно является и отказом, с

некоторым прищуром, от таких имеющихся в польском языке уважаемых традиций. Отсюда возвращение к эпитетам, взятым из латинского языка, давно уже полонизированным и вышедшим из оборота, но всё-таки понятным, и при этом своей понятностью указывающим на источник. На этом умолкаю, чтобы не скатиться во вредный академизм (ибо всё это *невозможно, конечно же, реализовывать с какой-либо “железной настойчивостью”*).

Затем приходит фатальный вопрос низших уровней лексики, синтаксиса.

Не всё тут безнадежно, поскольку английский язык содержит в себе довольно много латыни (что неудивительно, если учесть, сколь долго англичан давили римляне), но тут всё сложно, ведь большинство говорящих по-английски не отдают себе отчёта об этой “латинизации” собственного языка. Создание неологизмов кажется лёгким делом, но, в сущности, это противная работа. Неологизм должен иметь смысл, хотя и не должен иметь собственного смысла: этот смысл вносится в него контекстом. Также существенным является вопрос: можно ли, имея перед собой некий неологизм, выйти на пути тех ассоциаций, которые имел в виду автор? Вот если бы я захотел вместо “публичного дома” использовать неологизм, то мог бы, наверное, ввести термин “любежня”, но для этого потребовалось бы, чувствую, недалеко от указанного мною слова разместить такое, которое могло бы с ним ассоциироваться, скажем, слово “беготня”. Если “беготня” не появится, могут пропасть ассоциации комического характера (сексуальная беготня — половой марафон — *etc.*). Этот пример пришёл мне в голову *ad hoc*. Конечно, он служит экзemplификацией того, о чём идёт речь, но ни в коей мере не помогает при переводе. Отход от оригинального текста во всех таких случаях является требованием, а не только дозволенным приёмом. Таким образом, возникает впечатление (наверняка я этого не знаю), что некоторые качества “Кибериады” возникают как бы сами собой из явления, которое я назвал бы контрапунктностью, основанной на противопоставлении самых разных уровней языка и стиля. А именно: в слегка архаизированных стилистически рассуждениях появляются термины *stride* физические, причём самые свежайшие (берейторы, — но держат в руках лазеры; лазеры — но у них есть приклад; *etc.*). Стиль в известной мере противостоит словам: слова удивляются архаичному окружению; вообще-то это принцип поэтической деятельности (“слова, удивляющиеся друг другу”). Речь идёт о том, чтобы “ни одна сторона” определённо не могла победить, чтобы произведение не было перетянуто ни в направлении физики, ни в направлении архаики —

таким образом, чтобы был баланс, чтобы тут держалось какое-то колебание. Это вызывает некоторое “раздраживание” читателя, результатом которого должно быть ощущение комизма, а не раздражение, конечно. “Послушайте, милостивые государи, историю Запрориха, короля вендров, дейтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела”.

а) Запев взят из “Тристана и Изольды”.

б) Запрорих является Теодорихом, скрещенным с прорехой и запором.

в) Из остроготов я сделал недоготов; видимо, потому что “недоготов” — это наверняка ассоциировалось у меня с чем-то недоготовленным.

г) Дейтоны — это просто из физики, — дейтроны, *etc.*

д) Вендры — это венды, древнее наименование славянских племён («р» добавилось, чтобы приблизить к *ведру*)<sup>[45]</sup>.

Конечно, если бы я писал аналитически, строго следуя словарям, то в жизни никогда ни одной книжки бы не написал — всё это как-то само перемешивалось в моей бедной башке.

Что же я могу Вам предложить?

а) Идиоматику современной стратегии, любовницы Пентагона (откуда пошло *MOUSE* — *Minimal Orbital Satellite, Earth*<sup>[46]</sup>, всяческие Эниаки, Гениаки<sup>[47]</sup> *etc.*) — *MIRV*(*Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle*<sup>[48]</sup>), *ICPM* (это уже я: *Intercontinental Philosophical Missile*<sup>[49]</sup>); *second strike capability*<sup>[50]</sup> *etc.* Вы сведущи в этой прекрасной лексике? Она скрывает в себе великие гротескные возможности.

б) Сленг, конечно.

в) Кто-то, достаточно широко известный для читателей, но, как я уже говорил, не знаю кто: какой-то исторический писатель, соответствующий Дюма во Франции, Сенкевичу в Польше (но учтите, что Дюма был намного беднее Сенкевича в языковом отношении).

г) Кибернетическо-физическая лексика (ею можно разбивать или освежать идиоматические слепки — *feedback* — *feed him back*<sup>[51]</sup> — не знаю в эту минуту, что бы можно было с этим сделать, но представляю себе некий контекст, в котором это явно можно было бы использовать для намёка на обыденность).

д) Ну и юридический язык! — язык дипломатических нот, правовых кодексов, конституций *etc.* Прошу не бояться бессмыслицы! (В “Сталеглазах” присутствует Комета-Бабета; конечно, исключительно из-за аллитерационной рифмы, а не из-за какого смысла; аналогично можно сделать *planet Janet, cometary commentary etc.*) Даже совершенно “дико” всажённое слово обычно подвергается переработке в контексте и исполняет

тогда функцию локального орнамента или “остраннителя”. Затем — контаминации {*strange-estrangement*<sup>[52]</sup> — если удастся в это вбить *strangulation*<sup>[53]</sup>, может из этого получиться что-нибудь забавное).

Впрочем, разве я знаю!..

*Nb*, заметка на полях. В некоторых частях “Рукопись, найденная в ванне” была написана белым ритмичным стихом, например, разговор священника с героем после разыгравшейся оргии. Ритм иногда очень увлекает, но слишком злоупотреблять им не следует. Впрочем, любые недостатки при умышленном их увеличении могут иногда стать достоинствами {*cometery commentary about a weary cemetery*). Пишу это Вам, поскольку смелость не приходит сразу. Даже наглость, нахальство необходимы (в языковом отношении, разумеется). Это можно заметить, сопоставляя довольно несмелые “Сказки роботов” с “Кибериадой” или первую часть “Кибериады” со второй, в которой разнузданность уже господствует. (Я составлял тогда длинные списки слов, начинающихся с *sub-cyberceber*, и искал корни с *ber*, чтобы создавать кибербарисов из барбарисов и т. п. Можно бы *Cy berserker*, *cy berhyme*, но это не звучит так хорошо, как в польском. (Впрочем, Вам виднее.)

Можно также строить фразы из “мусора” (обрывков модных “шлягеров”, детских стишков, поговорок), смешивая всё это без малейшей жалости»<sup>[107]</sup>.

И далее: «Что касается названия, то должен признаться, что в вопросе звучания *The Cyberiad* я некомпетентен. Ослабления в английском, о котором Вы говорите, я, конечно, ухватить не могу. “Кибериада” в тексте *explicite* названа всего лишь раз, как какая-то женщина в стихотворении, которое сочинила машина Трурля (Электрувер<sup>[54]</sup>) (думаю, с этим стихотворением Вы ещё намучаетесь!), и наверняка это ассоциировалось у меня с Иродиадой и с “Илиадой” заодно<sup>[55]</sup>. Так что “Кибериада” связывается с явной античностью. По-польски “Кибернавты” звучало бы для меня плохо. А так ли в английском, я не знаю. Единственным, впрочем, несущественным аргументом в пользу сохранения названия “Кибериада” может быть лишь то, что она уже переведена на несколько языков, например, на русский, французский (чудовищно), немецкий, и там это название сохранено. Но, конечно, это не тот аргумент, который может предопределить суть дела. Для меня самого по каким-то непонятным самому причинам *Cybernauts* представляется более возвышенным названием, чем *Cyberiad*. Но я не могу выжать из себя — почему так...»<sup>[108]</sup>

Второй сборник 1965 года — «Охота» — рассказывал о пилоте Пирксе и, кроме известных уже рассказов, включал новые: «Охота», «Несчастный случай», «Рассказ Пиркса», в которых молодой упорный пилот постепенно взрослеет, набирается опыта. Ещё в сборник вошли «Два молодых человека» и «Альтруизин, или Правдивое повествование о том, как отшельник Добриций Космос пожелал осчастливить и что из этого вышло».

«Альтруизин» — глубокая вещь.

Не случайно Лем постоянно включал его в «Кибериаду».

Всемогущие энэсэрцы, достигшие Наивысшей Ступени Развития, не раз пробовали осчастливить всех с помощью самых разных способов, однако пришли к выводу, что это не имеет смысла. Ведь осчастливливание чудесами, несомненно, рискованный приём. Да и кого таким образом преобразать? Отдельных индивидов? Но избыток красоты рвёт брачные узы, излишний разум ведёт к одиночеству, а богатство — к безумию. Нет уж! Отдельных индивидов осчастливить невозможно, а общества — не позволено; каждый индивид, каждое общество должны следовать естественным путём, предназначенным самой природой для восхождения по ступеням развития: В результате энэсэрцы безвольно валяются на электронном песке: ведь когда ты всё можешь, ничего не хочется.

Неутешительную картину представляет общество, осчастливленное с помощью альтруизина. По глубинному замыслу изобретателя, препарат должен был внедрить в общество «дух братства, дружбы и глубочайшей симпатии». Ведь поскольку соседи каждой счастливой особи тоже испытывают счастье, то чем счастливее эта особь, тем интенсивнее блаженство соседей. Поэтому они желают такой особи ещё больше счастья — сначала, понятно, в собственных интересах, а потом от всей души. Если же кто-то рядом страдает, все тотчас спешают на помощь, чтобы избавить себя от индуцированных страданий.

Увы, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Реальные результаты действия альтруизина поистине ужасны.

У коттеджа молодожёнов, например, собирается целая толпа, чтобы из самых чистых побуждений поучаствовать в их счастливой первой брачной ночи. А с сочувствием к страдающим, ну, с этим никак не получается. Этих страдающих или норовят побыстрее удалить за пределы чувствительности альтруизина или же радикальным способом облегчают их страдания, так,

чтобы они ничего больше не чувствовали.

Кстати, в «Альтруизине» Станислав Лем в уста некоторых энэсэрцев вложил своё чётко обозначенное и обдуманное отношение к проблеме прогрессорства. Допустимо ли развитой цивилизации вмешиваться в жизнь другой, стоящей на более низком уровне развития? Ответ (по мнению энэсэрцев) подразумевается: такая помощь никогда не приведёт ни к чему хорошему.

В августе 1965 года появилось и третье издание романа «Неутраченное время» — в трёх томах. Этим изданием краковское Литературное издательство обозначило начало выхода первого собрания сочинений Станислава Лема, которое печаталось вплоть до 1978 года (всего вышло 28 томов).

Конечно, это стало Событием.

И для Лема, и для его читателей.

Работа писателя была отмечена литературной премией II степени министра культуры и искусства ПНР — за творчество в целом, а на телевидении поставили телеспектакль «Профессор Зазуль» — по одному из рассказов знаменитого звездoproходца Ййона Тихого.

В том же году с 5 по 9 сентября 1965 года Станислав Лем участвовал в симпозиуме, посвященном знаменитому чешскому писателю Карелу Чапеку (1890–1938).

Лем с большим удовольствием писал Мрожеку (20 сентября 1965 года):

«Был я в Чехии, с Анджеем Киевским, десять дней на симпозиуме, посвященном Карелу Чапеку, который проводило Европейское содружество писателей COMES<sup>[56]</sup>. До того я был в Чехии пару лет назад. Из экономически-продовольственного коллапса они выбрались. Колбас, копчёностей, бананов, апельсинов — горы. Я жил поначалу в роскошном отеле в Марианских Лазнях (Мариенбад). Красный плюш, псевдобарокко, кельнеры, похожие на профессоров, ванны, как бальные залы, ванны на львиных ножках, атласы, кисти, театральная бар-сцена среди леса колонн, — а среди всего этого крутятся скучающие валютные “быки”, которые по инерции приезжают из какой-нибудь Бельгии или Голландии поваляться в лечебных грязях. Я познакомился там с несколькими французиками, с господами Робером Пинго, Морисом Надо, Маргаритой Дюра, Роже Кайуа, — и с самим Роже Гароди. Но интеллектуальная жизнь — внутри делегационная — оказалась совсем неинтересной. Скорее, интересными оказались мои личные перипетии. Застигнутый перед отлётом в Варшаве непогодой, я, например, пытался защититься от дождя приобретённым зонтом, но это не помогло. Уже в Праге я познакомился близко с вирусами и насморком и там же заразил Киевского, который жутко занемог, а я, поскольку это были мои вирусы, взялся за ним ухаживать, одним словом,

говорили мы с ним за малыми дозами сливовицы и бехеровки — о жизни, также и о смерти. Добрый он парень, закомплексованный, правда, нервный, а в общем, способный, но недооценённый, и живёт за бортом действительности. Братание наше достигло пика по возвращении из Лазней в Прагу, где нас по воле случая разместили на этот раз в какой-то паскудной гостинице, из которой мы выскакивали в город, чтобы совершить торговые нападения...

Был я, как говорится, на щите: министрами принимаемый, коктейлями угощаемый (кампары). Ел удивительные блюда, такие как лосось в ландышах и желе, корону св. Вацлава из заячьего паштета, величины (сама корона) сверхъестественной, очень вкусную, салаты и прочие чудеса, даже названий которых я никогда не слышал, а также марципанов горы. Но всё это — в полном вакууме духа. Делегацию СССР возглавлял некогда могущественный бугай соцреализма, сам поэт Сурков, ныне тихий и скромный хрыч, который всех, кого мог, затаскивал в свой номер, из бездонного чемодана доставал бутылку (водка петровская, отличная) и упайвал гостей, общаясь только жестами, поскольку никакими языками, кроме своего родного, не владеет. По случаю отсутствия соответствующих женщин сексуальной жизни внутри симпозиума, можно сказать, не было...

Принимали нас также бургомистр Праги в ратуше, весь в золотых цепях, и *Svaz Spisovatelů*<sup>[57]</sup>. Я заметил, не в первый раз уже, что мужчины у чехов всегда почему-то красивее прекрасного пола. Они флегматичны, мало чем интересуются, зато очень довольны сами собой, очень себя любят, себя хвалят, о себе без перерыва говорят, — например, во время поездки из Праги в Марианские Лазни автобус вдруг останавливается посреди чистого поля и высаживают нас, заграничных, удивлённых, и показывают отмеченный собаками камень — старый, серый, никакой, и объясняют, что это центр всей Европы. Оказывается, это с точностью великой определили профессиональные географы ещё блаженной памяти австро-венгерской монархии сто лет назад. Или рассказывают, что в том-то и том-то веке Прага была больше Парижа во столько-то раз. Всеобщее самолюбование в интеллектуальной плоскости проявляется и в твёрдом убеждении о страшной свободе, царящей ныне, — но при этом, к примеру, никакой иностранной прессы у них не найти. Забавный народец, весьма практичный, но как бы в последние годы поблекший...

А вот мои главные приобретения:

- 1) заводной слон, который пускает из хобота мыльные пузыри;
- 2) космонавт, тоже заводной, с идиотской улыбкой ходит и даже не падает;



З) маленькая космическая ракета;

А) *frankfurters*, или сосиски в консервных банках.

Ну, вот и всё. Слон в дороге сломался, но я его починил»[{109}](#).

А вот выдержки из письма Мрожеку от 16 октября 1965 года:

«Пишу тебе уже за пару часов до отъезда в Москву. На прошлой неделе был в Варшаве в качестве гостя на Конгрессе Профсоюзов, где познакомился с Егоровым, космонавтом-врачом, который безумно любит меня и мои книги. Он пригласил меня к себе в гости, когда буду в Москве, так что я уже свой среди космонавтов...»<sup>{110}</sup>

В СССР исполнилась мечта Лема «поговорить с академиками».

Писатель побывал в Харькове, в Москве, в Ленинграде. Приехал он в составе польской писательской делегации, в которую входили Мария Климас-Блахутова (Катовице), готовившая серию репортажей для еженедельника «Панорама», Эдмунд Кизюрски, председатель Лодзинского отделения Союза польских писателей, прозаик Мариан Пехаль (Лодзь) и поэт Юзеф Ратайчак. Правда, Лема почти сразу «изъяли» из состава польской делегации. В СССР он был очень популярен. Его принимал нобелевский лауреат академик Пётр Капица (1894–1984), с ним беседовал глава Эстонской АН Густав Наан (1919–1994), ему разрешили посетить Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, где показали синхрофазотрон.

В Дубну Лем ездил с писателем-фантастом Евгением Велтистовым (1934–1989) и поэтом Давидом Самойловым (1920–1990).

«Станиславу Лему, сыну врача, — писал об этой поездке Велтистов, — было восемнадцать лет, когда Гитлер напал на Польшу. В оккупированном фашистами городе он работал автомехаником, постигая, по его же словам, “искусство малого саботажа”. Вражеские машины должны были выходить из строя не сразу, а где-то на дороге и на долгое время — это требовало умения. Но как бы умно ни устраивались аварии, однажды механику пришлось бежать, скрываться, переходить линию фронта.

После войны Лем учился в Краковском университете. Ему предлагали работать автосварщиком; в те времена дневной заработок сварщика равнялся месячной стипендии студента, но Лем хотел стать медиком. После окончания института он работал в родильном доме, первый брал в руки новорождённых.

Худощавый седой человек. 44 года. Рабочий. Врач. Писатель. Коммунист.

Голые деревья. Деревянные домики. Дорожки, убегающие от крыльца

в лес. Грузовики, набитые белыми кочанами. Выпуклые очки и выпуклое окно автобуса. Станислав Лем, известный польский писатель-фантаст, едет в Дубну смотреть синхрофазотрон. Не едут ли вместе с нами его герои — Пирке, Ион Тихий, Эл Брегг? От этого впечатления трудно отделаться. Лем это чувствует и смущённо улыбается.

“Как, вероятно, большинство писателей, — говорит он, — я, когда начинаю новую вещь, не знаю, что будет дальше. Иногда как будто должен получиться небольшой рассказ, как вдруг тебя понесёт, и ты с удивлением наблюдаешь, что рассказ растёт и растёт. Или никак не могу закончить: просто не могу придумать конца. Очень много неудавшихся вещей. Я не считал, но примерно процентов тридцать. Выписок почти не делаю. Отмечаю нужные места закладками, ставлю книгу на полку. (Есть у меня и “моя” полка; там все издания не помещаются, я складываю книги в гараже.) Но пишу только тогда, когда чувствую, что свободно владею материалом. Для работы мне нужны три вещи: книги на полках, машинка и тишина. Ещё, конечно, кофе и много сигарет. Писать авторучкой разучился, диктовать не могу, мысль должна пройти через руки, а на машинке можно писать и в темноте”.

В объединённом институте ядерных проблем работают сотни физиков, представляющих десять стран мира. Директора института академика Н. Н. Боголюбова нет в Дубне; нас принимает вице-директор — чешский профессор И. Уегла.

— Я только что с удовольствием прочитал вашу книгу “Возвращение со звёзд”, — сказал профессор, поздоровавшись с Лемом. — Как читатель хочу задать вам один вопрос. Если в будущем, которое вы описываете, главенствуют новые идеи, новая техника, то почему же не меняется столь радикально психология самого человека?

— Это сложный вопрос. Вероятно, можно искусственно изменить психику путём вживления электродов в мозг, но это, как вы понимаете, чрезвычайно опасно своими последствиями. Полная же картина эволюции человеческой психологии станет ясной, если вести наблюдения за развитием человека с ледникового периода. Это потребует огромного количества информации для психологов. Я же описал только свои представления...

Каждая минута ускорителя строго расписана. Мы отнимем у него примерно пять минут работы. Наверное, об этом и объявляет диспетчер, когда Лем по крутому трапу взбирается на гигантское колесо, но понять хрипящий громкоговоритель так же трудно, как и его вокзального собрата. Ускоритель в рабочем состоянии, закрыт лишь пучок протонов, и пока

дружески светит зелёный глаз светофора, физик Мухин, стоя на металлических рёбрах магнита, объясняет, как магнит ускоряет частицы и управляет их движением.

Оглянувшись, Лем сказал:

— Настоящий завод. Завод по производству информации, от которой мы с вами в какой-то мере зависим.

Я сразу вспомнил, как Лем критиковал некоторых фантастов: “Одно только воображение не спасает, всегда надо иметь твёрдую... — (он даже постучал кулаком по столу) — почву под ногами”.

— Всё начинается с ожидания необычного. Я не знаю ещё, что должно случиться, это пока только предчувствие, и оно длится довольно долго. Изучив немало трудов по психологии творчества, я понимаю, что пока работает подсознательная часть моего мозга, что она ещё не связалась с сознанием, и в этот период заключаю договор с издательством. Но, в конце концов, приходит момент, когда надо принимать решение и действовать. И тут наступает второй период, который я называю биологическим сопротивлением организма. Я всё время думаю, как бы убежать из дома. Нельзя. Тогда я достаю пухлую папку, где лежат отбросы от всех старых рукописей. Я хорошо знаю, что там ничего нет, и всё же перебираю один за другим все листки. Это ужасное положение: сознание работает само по себе, подсознание тоже, одно с другим не сцепляется. Я хватаю бумагу, со страхом гляжу на узкое белое полотно, вставляю его в машинку. И вот на чистый листок вдруг приземляется ракета. Поскольку я точно знаю, как там в ней всё устроено, на какие кнопки надо нажимать, она садится удачно. Герой, пропутешествовав сотню лет в космосе, вернулся на Землю. Он рассматривает непонятный город, идёт по улицам, заходит в ресторан, ест, пьёт. Потом новая знакомая даёт ему стакан с какой-то жидкостью. В этот момент я сам ещё не знаю, что в стакане, — просто она угощает. Но дальше я придумываю слово “бетризация” и с ужасом вижу, что вырыл себе яму, которую не могу засыпать...

— Честно говоря, путешествовать я не люблю, а в последнее время меня часто бросает на запад, восток, север, юг. Дома ждёт большая пачка книг — накопились за время отсутствия. Надо их разобрать, некоторые просмотреть, чтобы внести коррективы в свои знания, некоторые сразу отнести на чердак. Научно-популярную литературу почти не читаю, предпочитаю первоисточники. Самые лучшие сведения бывают в письмах учёных: в них всё коротко и — самое главное. Вообще в последнее время замечен настолько большой приток информации, что меня преследует постоянное чувство, будто я опаздываю: масса поездов на вокзале, все

спешат, не знаешь, куда броситься, а поезда уносятся с огромной скоростью. Поэтому я только успеваю покупать книги, читать художественную литературу считаю для себя роскошью...»<sup>{111}</sup>

«Я поехал в Дубну от “Кругозора”, — вспоминал Давид Самойлов. — Выступал в компании со Станиславом Лемом. Тихий человек, замкнутый, в очках, лет сорок с гаком. Во время банкета удалось перекинуться с ним парой откровенных слов. Как я и предполагал, в научной фантастике его меньше всего интересуют фантастика и наука...»<sup>{112}</sup>

«Академик Пётр Капица, — с удовольствием вспоминал Лем, — пригласил меня в институт, чтобы побеседовать о делах, наиболее занимающих нас обоих, — разумеется, о делах науки. Когда мы с ним прощались, один из ассистентов академика выразил сожаление, что в беседе не принимали участия сотрудники института, и я пригласил всех на вечер к себе в гостиницу. Я никак не ожидал, что их окажется так много: не хватило стульев, сидели на моём чемодане, на кровати, на полу, — и так мы до поздней ночи обсуждали высокие проблемы Земли и космоса. От академика Капицы я получил в подарок миниатюрный сосуд Дьюара, который, несомненно, стал бы гордостью моей коллекции, если б не разбился при упаковке. Потеря эта была отчасти компенсирована благожелательным вниманием академика, приславшего мне впоследствии оттиски некоторых своих работ...»<sup>{113}</sup>

И далее: «Пригласили меня даже в Институт высоких температур. Попал туда я по специальному министерскому пропуску, так как в Институте этом изучают действительно очень высокие температуры, а именно: температуры взрывов водородных бомб. Город в городе, строго охраняемый. Я отвечал на вопросы учёной публики, настоящая профессия которой осталась для меня неизвестной. А когда (холодно было) после выступления кто-то помогал мне надеть пальто, то одновременно с этим конспиративно всунул в руку какой-то листок, и там было написано (порусски, естественно), что этому человеку я могу полностью доверять. Пока я ждал машину, этот человек сказал, что после девяти вечера я должен выйти из своей гостиницы (“Пекин”) на улицу и на углу подождать: больше ничего. Заинтригованный, я сделал так, как мне было сказано, подъехал маленький “запорожец” и остановился около меня, а когда открылась дверца, я увидел, что машина полна людей, куда же я сяду?

“Ничего, все войдём”, — сказали мне.

Устроившись на чьих-то коленях, во время езды по тёмным улицам (Москва в тех районах, куда меня везли, отличалась тьмой египетской по

ночам) я пару раз поворачивался, чтобы в заднее стекло, уже как польская разновидность Джеймса Бонда, высматривать, не следует ли за нами какая-нибудь другая машина. Потом мы где-то остановились, через какие-то дворы, в кромешной тьме, по коридорам и по крутой лестнице добрались до двери, которая открылась, и меня ослепило ярким светом. А в этой большой комнате вокруг белоснежно накрытого стола сидел цвет советской науки. Конечно, там не было гуманитариев, философов или врачей; исключительно физики, космологи, кибернетики. Помню, что получил книжку от председателя Эстонской Академии наук с каким-то замечательным автографом, у каждого столового прибора с одной стороны лежала пачка американских сигарет, а с другой стояла банка с заграничным (естественно) пивом, а на случай, если я чего-то не понял, кто-то заверил меня, что здесь можно говорить всё. Быстро завязался разговор, и именно эти беседы раззадорили меня, рассеяли мои сомнения, стоит ли писать мне моего “Голема”. И так меня воспринимали в роли суперрационалистичного ересиарха-визионера, и так мы захлёбывались свободой общения, что я действительно до сих пор чувствую себя должником той странной ночной встречи...

Потом физики пригласили меня на ужин на Арбат — в московскую современность, и мы сидели в зале столь же огромном, как ангар для дирижаблей, я заказал и ел якобы куропатку, которая была больше курицы (в СССР всё, включая гномов, было гигантским), а у меня была назначена встреча с одним учёным членом-корреспондентом Академии наук в отеле, и я рассказал об этом хозяевам. Они успокоили меня, сказали, что я наверняка успею к десяти часам (вечера) на такси. Но когда после моих настойчивых просьб беседу закончили (до меня доходили отголоски каких-то переговоров с обслуживающим персоналом), оказалось, что о такси не может быть и речи. Физики бесполезно бросались под колеса автомобилей, которые безжалостно проезжали мимо нас, так что я добрался до отеля лишь к полуночи с глубоким чувством вины за сорванную встречу. Зато в гостинице я пережил ещё одно потрясение. Господин весьма приличного возраста сидел на полу перед моим номером — на портфеле, который подложил под себя, и я был вынужден сделать вид, что такое вот ожидание в такой вот ситуации — в общем-то меня не удивляет, это самое обычное явление на свете, даже неудобно было перед ним извиняться...»<sup>[114]</sup>

«С эстонским академиком Г. И. Нааном, — вспоминал Лем, — я разговаривал о космических проблемах; он подарил мне новейший свой труд на эту тему. Одному из его коллег, — к стыду моему, не запомнил фамилии! — я обязан рассказом “Новая космогония”, написанным по

возвращении в Краков, потому что в разговоре мы подхлестывали друг друга всё более странными, всё фантастичней и фантастичней звучащими идеями насчёт иных цивилизаций и, наконец, взобрались на такие высоты, с которых допустимо было помыслить о том, что Наивысшие Цивилизации могут не только обитать в космосе, но и участвовать в его конструировании. А поскольку происходило всё это поздней ночью, за щедро уставленным столом с обилием грузинского коньяка, я и вправду не знаю, кто из нас первым эту мысль высказал...

Не знаю, можно ли понять из этих моих отрывочных воспоминаний, что с таким живым радушием, с таким пылким, но критическим интересом, с такой неустанной охотой дискутировать о вопросах литературы и науки, как в Москве, Ленинграде, Харькове, я нигде больше не встречался — ни ранее, ни потом. Но поскольку мне хочется говорить прежде всего о том, чем я обязан знакомствам и дружбе, возникшим в Советском Союзе, следует упомянуть о встрече с научным коллективом именно московского Института высоких температур. Я лелеял тогда мысль о новых фантастических произведениях, основанных на идеях весьма странных и вдобавок понятных лишь тем читателям, которые обладают солидными специальными познаниями. Но как же приниматься за то, чего читатель, приученный к канонам уже существующей фантастики, пожалуй, не поймёт? И вот во время дискуссий в Институте высоких температур мне пришло в голову поставить проблему в открытую. Пускай присутствующие сами решат, сказал я, может ли писатель рисковать до такой степени, обращаясь, например, к предельно абстрактным математическим проблемам? Удивительно, присутствующие чуть ли не единогласно поддержали идею риска. Конечно, заранее неизвестно, оправдается ли этот риск в художественном и интеллектуальном плане, говорили они, но рисковать следует непременно, иначе воображение человеческое никогда не вырвется из естественных ограничений, которые создают традиции в искусстве и науке. И хотя далеко не сразу я начал осуществлять свои замыслы, память об этой поддержке со временем принесла свои плоды...»<sup>{115}</sup>

«Станным теперь кажется, но было время, когда все, кто побывал в космосе, вполне могли уместиться в одной небольшой комнате. Я был знаком с двумя из них — с доктором медицинских наук Б. Егоровым и с К. Феоктистовым, который тоже вскоре стал доктором, но технических наук. Я читал рецензию Б. Егорова в “Литературной газете” на роман “Непобедимый” — рецензия была одобрительная; и всё же я несколько волновался перед встречей с ним и с его товарищем по космическому

рейсу. Только они из всех моих тогдашних читателей могли установить, совпадает ли с истиной то, что я писал об ощущениях человека в космосе. Насколько помню, они меня ничем не попрекнули, хотя то, что стало для них уже реальностью, для меня, когда я писал об этом, существовало только в воображении. У Егорова я был дома, в его московской квартире; он примчал меня туда из гостиницы на своей чёрной “Волге” с такой скоростью, что я (теперь могу признаться) обмирал от страха, сидя рядом. А с К. Феоктистовым я выступал на встрече с читателями и энтузиастами космических полётов в библиотеке имени Горького, но перед этим мы разговаривали о литературе, и я узнал, что космонавт ещё в детстве с увлечением читал “Трилогию” Сенкевича. Был это, можно сказать, романтический период развития советской космонавтики. Егоров потом приехал в Польшу, мы с ним посетили Варшавский центр авиационной медицины; видели, конечно, и самую большую гордость этого учреждения — центрифугу, на которой лётчиков подвергают действию ускорений. Егоров сразу выразил желание не только осмотреть её, но и лично испытать перегрузки, на которые эта центрифуга способна; однако присутствовавший при этом начальник медицинской службы побоялся подвергать гостя таким неприятностям.

Оба советских космонавта искренне любили литературу — и не только фантастическую; это, безусловно, нас сблизило. Я даже признался им по секрету, что свои сочинения на космические темы всегда считал чистой фантазией. Мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь смогу увидеть и коснуться рукой человека, который вернулся из космоса на Землю. Именно поэтому я считаю их самыми экзотическими людьми из тех, с которыми подружился в Советском Союзе. Фотографию, на которой я снят с Егоровым и Феоктистовым, а также другую, подаренную мне, где изображены все советские космонавты, побывавшие к тому времени в космосе, я бережно храню в папке, в которой лежат снимки Земли, сделанные с орбиты. Позже делались снимки и лучше, но те, которые я получил от Бориса Егорова, имеют для меня особенную ценность. На них стоит автограф космонавта, а иметь портрет Земли, снятый человеком, который наблюдал её со стороны именно как планету, — это совсем не то, что разглядывать подобные изображения в журналах или в кино. Тогда я, конечно в шутку, называл космонавтику помощью, которую Советский Союз оказал лично мне, писателю, потому что первые шаги, новые и новые рекорды продолжительности орбитальных полётов таили в себе нечто большее, чем поощрение: это был вызов, брошенный воображению. Ведь если то, что я вообразил и изобразил, спроецировав на какое-то



неопределённое расстояние во времени, осуществилось так быстро и в таком масштабе, то, понятно, я не имел права останавливаться на достигнутом...»<sup>{116}</sup>

«Весь вторник и всю среду я протаскался с Лемом, — писал 29 октября 1965 года из Ленинграда в Москву своему старшему брату Борис Стругацкий. — Обеды, заседания, телевидение. Чувствовал себя полным идиотом и закаялся навсегда принимать участие в таких увеселениях. Должен тебе сказать, что Лем действительно сильно переменился. Он очень много и быстро говорит, уклоняется от сколько-нибудь серьёзных бесед, суетится и производит впечатление человека, которому всё обрыдло до предела, который хочет только побыстрее закончить все свои финансовые дела и удрать домой. Кстати, “Мосфильм” снимает две его повести, причём “Солярисом” займётся лично Тарковский (см. “Иваново детство”). Вот такто. И вообще триумф Лема не поддаётся никакому описанию — его встречали в СССР как космонавта, высадившегося на Луне, — только что на улицах народ не ревел...»<sup>{117}</sup>

И опять из воспоминаний самого Лема:

«Особое внимание я должен был бы уделить моим московским друзьям и переводчикам во главе с Ариадной Громовой, но для этого пришлось бы написать целую книгу. Ариадна Громова, Рафаил Нудельман, Александр Мирер были со мной всюду: на бесчисленных встречах с читателями, в редакциях журналов и издательств, — старались показать мне Москву, на что, однако, времени всегда не хватало. Квартира Ариадны Громовой во время каждого моего пребывания в Москве превращалась в нечто вроде штаба, где было полно народу, где составлялись планы на ближайшие дни, просматривались последние издания, переводы, статьи. В течение немногих дней происходило так много разного, что в моей памяти сохранились только обрывки...»<sup>{118}</sup>

«Шестидесятые годы, — писал позже А. Мирер, — остались в моей памяти как прекрасные — благодаря Ариадне Громовой, этой маленькой, застенчивой, отчаянно близорукой женщине. Во всяком случае, так кажется теперь. Можно было прийти в квартиру над Зоопарком, по которой расхаживал огромный валяжный кот и где постоянно бывали интересные люди, а из окна был слышен львиный рык или крики павлинов. Там мы собирались на “посиделки” — поболтать, друг на друга посмотреть и выпить. Маленькая квартира с книжными полками вместо стен и перегородок была большим домом Фантастики. Там встречались громовой Аркадий Стругацкий и тихий Евгений Войскунский; туда однажды

примчался из театра Высоцкий, чтобы спеть Станиславу Лему, — прошло двадцать лет, а я всё ещё помню, что он пел. “Протопи ты мне баньку побелому” и “Охоту на волков”. Володя был очень болен, петь ему было нельзя, и он спел всего две песни, но непроницаемый европеец пан Станислав Лем закрылся рукой и заплакал...»[119](#)

«Размываемая течением времени память моя тускнеет, — писал Станислав Лем, — остались в ней лишь события поразительные, такие как, например, моя встреча с молодёжью в Московском университете имени Ломоносова, в одном из этих чудовищных колоссов сахарной советской архитектуры. Я стоял на дне огромной воронки амфитеатра, рядом со мной в качестве “адъютанта” — профессор Брагинский (специалист по лазерной оптике), а все круги сидений, все проходы между ними, вообще всё пространство было заполнено студентами и студентками: эту встречу организовал университетский комсомол, мне говорили, что там было более двух тысяч людей. Профессор Брагинский после моего короткого выступления приступил к выполнению своих функций. Я не был тогда ещё глухим, но там царил обычай присылать выступающему карточки с вопросами. Может быть, я ошибаюсь, но такая форма увеличивает анонимность спрашивающих, что в том времени и месте могло быть полезным. Брагинский спросил меня, должен ли он пропускать “неудобные” вопросы, на что я ответил, что ни в коем случае: я постараюсь ответить на все записки. Какое-то время всё шло нормально, но тут он вручил мне карточку с вопросом: “Разве вы коммунист?” Коммунист ли я? Я решил ответить, что коммунистом не являюсь (что, конечно, противоречит словам Е. Велтистова, приводимым выше. — Г. П., В. Б.), и хотел добавить несколько слов о благородных намерениях творцов коммунизма, но после произнесённых мной слов: “Нет, я не коммунист” грянул такой шквал аплодисментов — хлопали все, — что дальнейшие попытки ослабить этот эффект не имели смысла.

Потом студенчество набежало на деревянное кафедральное возвышение, на котором я стоял, и от натиска жаждущих автографов деревянный пол начал угрожающе трещать: тут хладнокровный профессор схватил меня и всунул в небольшую дверцу под огромной доской, в лабораторию, за дверцей, там находившуюся. Там он сварил для нас обоих в лабораторных колбах кофе, однако поговорить с ним о лазерах не удалось, а позже я узнал, что деятели университетского (и не только) комсомола не пришли в восторг от моего выступления. Вот только я так и не смог решить, что именно вызвало бурное одобрение слушателей: их неприязнь к безуданной и вездесущей марксистской индоктринации или акт положительной оценки моей “отваги”. Кавычки здесь весьма к месту,

потому что сочетание мощного давления, всеобщего доносительства и одновременно угрозы любой не только карьере, но попросту жизненному пути для молодых людей, которые извели (повторю вслед за канцлером Колем) “милость позднего рождения”, уже является или уже становится экзотической стариной, трудной для понимания. Особенно трудной из-за диспропорции, зияющей между мельчайшими отступлениями от официального стандарта доктрины, и мрачными последствиями, которыми грозят такие отступления. Я уверен, что тех студентов лучше всего защищало то, что они находились в скопище людей, поскольку это создаёт ситуацию некоторой безличной безответственности, сводящей на нет возможность выявления “уклонистов”: ведь это были времена, когда советские психиатры декретировали существование “медицинской бессимптомной шизофрении” для граждан, мыслящих иначе, чем “нужно и можно”. Таким отказывали в нормальности и подвергали действию “химических дубин” психиатрической фармакопеи. Это были не шутки. Я знал лишь, что на дворе время хрущёвской оттепели, а меня как-то защищает невидимая броня заграничного гостя. Впрочем, все эти увенчания и восторги не вскружили мне голову, ибо я слишком хорошо понимал, какова сила моей “суррогатности” или, точнее, каким суррогатом свободы я выглядел в их глазах из-за того, что в моих книгах есть, и из-за того, чего в них уже давно нет (“приспособленчества”).

Таков был янусовский облик моих многочисленных московских приключений.

Впрочем, с тех пор, как в польской государственной гимназии (ещё во Львове) я выучил украинский язык (который тогда был обязательным), я уже легко втянулся в русский, при этом мне открылось пространство такой поэзии, как пушкинская, которая в оригинале гораздо прекраснее, чем даже самые лучшие его польские переводы — например, Тувима. Тогда же я читал по-русски “Преступление и наказание”, мне интересно было непосредственно встретиться с русской, первичной версией этого значительного романа Достоевского...»<sup>{120}</sup>

Станислав Бересь в своих беседах с Лемом не раз удивлялся, почему писатель, всеми признанный, всеми почитаемый, так часто жалуется на невнимание критиков к его книгам на родине.

«Отвечу примером, — пытался объяснить Лем. — Когда в Военно-техническую академию в Варшаве приехали мои знакомые советские космонавты, они пожелали, чтобы я тоже там присутствовал. Меня даже пытались отвезти в столицу на военном реактивном самолёте, но я отказался: была плохая погода, и мне вовсе не хотелось падать к ногам космонавтов на парашюте. Так что меня привезли в Варшаву на машине и сразу втянули в орбиту официальных ритуалов. Но когда мы оказались вместе в каком-то институте авиации, там сразу создалась весьма тягостная ситуация: космонавтам вручали цветы, их вписали в книгу почётных гостей и всё такое прочее, а вот с этим Лемом, как с лакеем каким-то, неясно было что делать. В Москве меня знали и читали, сам Генеральный Конструктор, то есть Сергей Королёв, который создал всю советскую космическую программу, читал книги Лема, а польские господа и полковники, не говоря уже об охране, которая вообще ничего не читает, не имели обо мне ни малейшего понятия...»

И далее:

«Как-то меня (в 1976 году. — Г. П., В. Б.) попробовали пригласить в Мадрид (в письме Майклу Канделю Лем называл Лиссабон. — Г. П., В. Б.) на международную конференцию, посвященную Гегелю. Я туда не поехал, потому что не переносу Гегеля, а быть *advocatus diaboli* как-то не пристало. Но у этой истории была интересная предыстория, когда организаторы, не зная моего адреса, обратились к представителям Польской Академии наук. Те сначала долго делали вид, что не понимают, о ком им говорят, а потом не знают, как выяснить мой адрес. Короче, польская сторона сделала всё, чтобы я не смог получить это приглашение, и организаторам пришлось выкручиваться самим. И вообще было много попыток сделать вид, что меня, писателя Лема, как бы не существует. Я сталкивался с этим в различных посольствах и бюро атташе, правда, известно, что наши атташе занимаются всем чем угодно, только не делами польской культуры. Конечно, были исключения.

Но они касались частных связей. А в институтах и ведомствах ко мне всегда относились как к беспокойному дилетанту, у которого нет никакой

учёной степени, а он пытается прорваться на разные важные сессии и конференции...»

И ещё далее:

«Меня, наверное, можно заподозрить в том, что я сейчас враждебно придираюсь ко всяким мелочам, но на самом деле это не мелочи, а система, которая поддерживала людей вовсе не за подлинные их заслуги. Идеальная ситуация для такой системы — это когда кто-то становится великим писателем или великим художником мановением руки какого-нибудь “официала”. Известно, что, когда Высокий Чиновник накладывает на кого-то руки, — тот сразу становится великим и могущественным, а если руки убрать, то харизма его улетучивается, как камфора. Вот был у меня как-то в гостях тогдашний наш Номер Два — товарищ Шляхциц. В какой-то момент он сказал, что очень удивляется тому, как далеко я продвинулся, ведь “мы не помогали”, — сказал он. А потом озабоченно добавил: “Мы даже немного мешали”. Он был откровенен абсолютно...»<sup>[121](#)</sup>

Кроме упомянутых выше встреч в Москве у Станислава Лема состоялись интересные разговоры, а иногда и дискуссии в редакции журнала «Юность», в редакции журнала «Иностранная литература», в Союзе писателей СССР, наконец, в МГУ — на филфаке, со студентами-полонистами.

«Я вернулся две недели назад такой усталый, что до сих пор ещё сплю по двенадцать часов в сутки, хотя Барбара утверждает, что это не от усталости, а от обычного отупения (я добавляю тут же: от старческого отупения), — писал Лем Мрожеку, вернувшись в Краков (письмо от 30 ноября 1965 года). — В России я оказался чрезвычайно востребованным; развлекался главным образом в студенческой среде, а также с разными физиками и космонавтами, которые оказались вполне нормальными специалистами при ближайшем знакомстве. Есть теперь большие планы в виде предложений “Мосфильма” экранизировать “Солярис” и “Непобедимого”. Вообще вокруг “Солярис” там аж горело всё; видимо, я утолял голод метафизики, так это выглядело. Огонь энтузиазма, сердечность, разговоры до хрипоты, полёты на реактивном самолёте, поездки на автомобилях, визит в город физиков, выступления в больших и малых аудиториях, долгие ночные разговоры — мне рассказывали самые невероятные биографии, я узнал множество интересных людей...

А дома — болотная тишина, молчание полей и лесов, а ещё письмо от моего итальянского издателя, что за весь 1964 год он продал всего двадцать два экземпляра “Астронавтов”, а потому хочет теперь, чтобы я выкупил у него остаток тиража по себестоимости. Сравни: в СССР тираж — два с половиной миллиона, космонавты зачитываются, Титов написал вступление к “Возвращению со звёзд” (всё-таки не во все детали посвящали Лема. — Г. П., В. Б.), Егоров, другой космонавт, дал мне фотографический снимок, который он сделал с борта “Востока”. Какой размах, какой диапазон!.. Похоже, русские и мы — это два мира, разделённые миллионом световых лет. Они верят в искусство, оно им нужно как не знаю что. Они горят, они готовы в любую минуту заняться принципиальными проблемами, днём ли, ночью, это им без разницы. Это безоглядность какой-то дикой молодости, или (так Киевский утверждает) они просто не познали ещё движения авангарда и оттого у них не девальвировались ещё какие-то смысловые версии слов девятнадцатого

века. Они не стыдятся называть всё напрямую — жёстко, жадно, они не стыдятся своих чувств, не стыдятся вообще ничего. Может быть, у них только сейчас наступило время пророков, то есть время, когда писатель исполняет обязанности предсказателя, Господа Бога, любовницы, спасательного плота, благовония, помазания, посвящения в трансцендентность...»[{122}](#)



Но, конечно, не одни только триумфы составляют жизнь людей.

Работа, работа — прежде всего. «Прочитал я “Хроники гетто в Лодзи”, — писал Лем Мрожеку, — а кроме этих хроник изучил “Криминологию”, “Историю гитлеровской оккупации в Лодзи” (для того, чтобы сопоставить с указанными выше хрониками), “Генетику человека”, “Бионику”, сказки Вильгельма Гауфа (“Калиф-аист” и пр.), стихи Ахматовой, не говоря уже о ежедневной прессе. “Newsweek” и “N. Y. Times” находятся в некоторой оппозиции к политике Линдона Джонсона, и мне кажется, что мы, находясь так близко к столь значительному явлению, можем довольно точно интегрировать и понимать его последовательное движение, являемся свидетелями перерастания США во что-то новое, в активно-агрессивную силу, в полицейского-жандарма земного шара, намерения и возможности которого перепутаны, затуманены осознанием того, что в его распоряжении находятся средства чрезвычайной силы, а ведь ещё два года назад мы Даллеса считали неосторожным и склонным к риску. Давным-давно в такую же, как нынче, зиму наши польские предки сидели в заснеженных деревушках и читали “Календарь крестьянина” при свечах. Больше у них ничего не было, а где-то, господа, в каком-то Китае — восстание боксёров (какого веса?), но и это где-то за краем света, наверное, выдумка. А теперь весь мир объединён в единое целое; никаких польских деревушек! Мир куда-то бежит, торопится, я чувствую это, ускользает, может, мы ещё увидим, куда он летит...»<sup>{123}</sup>

Май 1966 года Станислав Лем с женой провели в автомобильном путешествии по Югославии. Поскольку там он получил гонорар за вышедшие книги, то в дороге они не бедствовали. По возвращении, 4 июня, он написал общее (в пять адресов) письмо друзьям, в котором подробно рассказал о поездке. Больше всего поразило его бросавшееся в глаза несоответствие: везде в Югославии стояли памятники участникам прошедшей войны, а страна была буквально заполонена туристами из Германии. Усугублялся этот контраст ещё тем, что славянские победители явно проигрывали побеждённым в плане благосостояния.

«Чувствуют себя немцы везде как у себя дома, хохочут, верещат, поют, рычат, фотографируют всё вокруг, ну а маленькие, босые и бедные местные детки стоят при дороге и кричат пешим и моторизованным туристам “Guten Tag”, потому что в их маленьких умах *турист* отождествляется с немцем...»<sup>[\[124\]](#)</sup>

В том же году вышел «Высокий замок».

«Это как бы воспоминания о детстве, полные отступлений разного рода, — писал Лем Мрожеку. — И Ясь Щепаньский очень обрадовался, даже издал машинальный возглас одобрения, что я наконец-то оторвался от научной фантастики, что меня поразило. Впрочем, и Барбара с удовлетворением приняла эту книжечку, и я снова удивился и встревожился, поскольку вовсе не рвусь хвататься за “современную тему”.

Впрочем, есть кое-какие задумки.

Например, забавно было бы написать фиктивный дневник некоего фиктивного типа, чтобы в этом дневнике были представлены впечатления от прочтённых романов, стихов, философских произведений, драм — тоже фиктивных, вымышленных, благодаря чему можно было бы поубивать кучу зайцев сразу. Во-первых, я освободился бы от надоевших подробных описаний (“Маркиза вышла из дому в пять”); во-вторых, мог бы включать аллюзии на тексты, в которых фигурируют чудовищные вещи. То есть делал бы это многопланово, например, представлял реакцию фиктивной критики на фиктивные произведения в дневнике, также фиктивном, и от имени героя, разумеется, тоже фиктивного. Другое дело, что такая концепция рассчитана на долгое время, может быть, на годы, она потребовала бы колоссальной находчивости, изобретательности и того, что я люблю, то есть монументальной мистификации. Не знаю, возьмусь ли я вообще всерьёз за что-нибудь такое, но сама идея соблазнительна...»<sup>[125]</sup>

(Частично эту идею Станислав Лем реализовал, когда через десяток лет взялся за сборник рецензий на несуществующие книги — «Абсолютная пустота» и сборник предисловий к несуществующим книгам — «Мнимая величина».)

«Высокий замок» — книга поразительная.

Если и раньше романы Станислава Лема были наполнены множеством самых разнообразных деталей, то «Высокий замок» похож на волшебный сундук, из которого память писателя по мере необходимости извлекает всё, что до поры до времени было надёжно упрятано в подсознании. Это и ящик отцовского письменного стола, в котором (от юного Стася ничто не могло укрыться) хранились деньги, совсем настоящие, это и коробочка шоколада «Нардалли», привезённая из самой Варшавы. Это и хранившаяся в том же столе миниатюрная заводная птичка в коробке, выложенной перламутром,

и ещё одна такая же птичка, только покрупнее, размером с воробья. И, конечно, хранились в отцовском столе какие-то другие необыкновенные мелочи — крохотный столик с шахматной доской, малюсенькие стульчики, диванчики, серебряные рыбки, монеты, пилки для ногтей, ложечки. Какой поразительный контраст между невероятными космическими мирами романов «Солярис» и «Непобедимый» и домашним миром «Высокого замка»...

И на этот раз критика не удовлетворила Лема.

«Странные вещи наблюдаются на всех уровнях, — недоумевал он.

При чтении рецензий (на книгу «Высокий замок». — Г. П., В. Б.) меня часто поражал ненавидящий тон. Например, несколько часов назад я держал в руках рецензию Адама Климовича, от которой веет убийственной неприязнью. Он приписывает мне множество вещей, применяя резкие выпады *ad personam*. Он утверждает, например, что у меня отличная память и эту книгу создал не механизм спонтанно возникающих воспоминаний, а моё сознательное желание подчеркнуть одни вещи и скрыть другие. Прежде всего, это, конечно, касается умолчания о жестоких и суровых общественно-экономических условиях, в которых оказался Львов, — когда мне было четыре или двенадцать лет.

Должен сказать, что это исключительный идиотизм.

Как ребёнок из буржуазной семьи — мой отец зарабатывал девятьсот злотых, что было приличной суммой, а сверх того имел частную практику на дому, — я не мог знать, что существует что-то такое вроде борьбы классов. Это, конечно, ужасно, но я действительно в возрасте семи лет ничего не слышал о Марксе. В «Высоком замке» моя память представлена в виде разорванного мешка, там можно найти даже описание похорон казака, когда я видел явную нищету, но она ведь должна была представляться мне естественной вещью, поскольку ребёнок при вращении в некую традиционную реальность всё воспринимает как очевидность. Это было так же естественно, как толпы различных музыкантов и канатоходцев, ходивших и прыгавших по дворам, которым из окон сыпались пятаки, завернутые в бумажки. Это была эпоха значительных общественных и имущественных различий, но когда я писал «Высокий замок», то старался оперировать именно детским сознанием, а не моим сегодняшним, иначе получился бы палимпсест или совершенно неудобоваримая смесь. К воспоминаниям, ограниченным первыми детскими и гимназическими годами, я не мог примешивать знания, полученные двадцатью годами позже. Это не имело бы смысла.

Кроме того, из текста Климовича вытекает, будто я лгал, описывая «систему Удостоверений», что это якобы ещё один фантастический текст писателя Станислава Лема. Но неужели я должен был давать нотариальные клятвы, призывать свидетелей и нанимать частных детективов? Война

уничтожила дом моего отца, а с ним и все детские каракули вместе с серебряными ниточками для сшивания удостоверений и зубчатыми колесиками из будильника для перфорирования. Какие можно представить доказательства?..»[{126}](#)

«Я уже говорил, что писать и читать научился рано, — писал Станислав Лем в «Высоком замке». — Я рисовал красивые усеянные множеством цветочков поздравительные открытки матери и отцу, да и первые мои занятия были типичными, обыкновенными. После войны мне в руки случайно попал какой-то сборник стихов для детей, в котором я обнаружил то, что читал тридцать лет назад; и меня удивило — чего только я в этих стихах не находил, будучи шестилетним мальчонкой. Какие-то драмы, неправдоподобные и невероятные, эмоции, уже совершенно отсутствующие у меня теперь, удивление, страсть и смех таились в то время для меня в сочетании невиннейших слов. Почему история пятна на полу, с которым не могла справиться метла, была полна скрытой угрюмости, даже угрозы? Почему подсчёт бесхвостых ворон превращался в действие чуть ли не магическое, чуть ли не в рискованный вызов, брошенный каким-то скрытым силам, в искушение неведомого лиха? Тем более странно, что я никому не признавался в этих эмоциях, страхах, драматических переживаниях, никому о них не говорил. Вероятно, я не сумел бы этих состояний выразить, описать. Но, кроме того, — будь я в состоянии в то время подумать об этом, — я, видимо, счёл бы, что реакция, подобная моей, является единственно возможной и совершенно естественной. Во всяком случае, тогда я был более отзывчивым инструментом, нежели сегодня, не требовалось многих раздражителей, ударов, чтобы вызвать во мне или, точнее, чтобы возвести в моей голове целые небоскрёбы чувств и переживаний. Определённо, авторы книжек для детей сами не ведают, что творят, не представляют себе, каким легковоспламеняющимся — правда, лишь психически — материалом жонглируют. Им кажется, что они рассказывают поучительную историю, а между тем во время чтения она превращается в загадку или в запутанную драму; стремясь рассмешить, они учат мистическим тайнам. Они складывают ямбы, а в какой-нибудь семилетней голове эти ямбы трансформируются в возвышенный гекзаметр. Самыми необыкновенными были эти первые, полузабытые чтения...»

Не напиши Станислав Лем «Высокий замок», мы не знали бы, как странно, как неожиданно падало на его счастливое, спокойное, казалось бы, на всю жизнь обеспеченное детство тяжёлая тень будущего.

«За три года до войны я впервые столкнулся неожиданно и близко с

гитлеровской Германией (вот оно, дыхание тяжёлого будущего. — Г. П., В. Б.). На одном из павильонов выставки появился красный флаг со свастикой. Внутри павильона было много неинтересных машин, а на специально отведённом месте красовались несколько не то игрушек, не то механических моделей танков, абсолютно точно скопированных с оригиналов, покрытых пятнистой, словно у ящериц, бронёй, с гусеницами, башнями и полным вооружением; на них красовались чётко вырисованные точные миниатюры опознавательных знаков вермахта, которые немного позже предстали передо мной уже в натуральную величину на броневых плитах тех же самых танков “Марк-IV”; однако в то время они были не более чем игрушками, хотя я уже кое-что знал о гитлеровской Германии, и было для меня в этих, правду говоря, привлекающих глаз игрушках что-то от неясного предчувствия будущего времени или даже провозвестника грозы, но такого, который с помощью уменьшения притворяется невинным. В этих прелестных игрушках было что-то отталкивающее, словно они не были только и просто собою, будто из них должно было что-то вылупиться, вырасти. Впрочем, справедливости ради добавлю, что я в этом не очень убеждён; позднейшие события могли бросить этот как бы преураганный свет назад и немного необычно окрасить события, абсолютно невинные...»



Ну и, конечно, вечное:

«Когда я был маленьким, никто не умирал».

Время от времени дети слышат о чём-то таком (о смерти), но как бы издали, никак не соотнося это с собой, близкими, друзьями. Ну-да, звёзды падают... люди умирают... Но это где-то *там*, не у нас.

«Однажды в ночь между двумя дождливыми днями в Закопане, — писал Лем, — мне снился отец. Не такой вот нечёткий, туманный, неопределённого возраста, каким я могу представить его наяву, а в конкретном времени, живой. Я видел его серые, ещё неустоленные глаза под очками, усы, небольшую бородку, руки с коротко обстриженными ногтями, золотое кольцо, потончавшее от ношения; видел все складки на его жилетке, пиджак, немного оттянутый с правой стороны тяжестью ларингологического зеркала, а в глубине квартиры — неяркие обои, старую высокую печь из белого, покрытого мелкими трещинками изразца и тысячи других мелочей, которые, проснувшись, я даже не мог назвать...»

И далее:

«Какие лавины обрушились на этот мир!

Как они могли не стереть его в порошок, не уничтожить последние следы?

Для кого они, собственно, существуют, эти лавины, от кого их так бережёт память, недоброжелательная, только ночью, только в беспамятстве сна перед ним, слепым, открывающая настежь свои сокровищницы, непокорная и скупая наяву, дающая обрывочные, недосказанные ответы, которые вначале требуется старательно расшифровать, переборов упорное её молчание, смириться, если какой-либо силой вырванный из неё, как бы украдкой вынесенный — осколок, цветное пятнышко, контур чьих-то губ, тень, звук ничего не объясняют, несмотря на подсознательное ощущение, что это было связано с чем-то важным, что там когда-то прошла судьба, а сейчас есть только пустота, глухая, невидимая стена; тут ничего не поделаешь!

Что за скаредность, что за безразличие памяти, которая ведь всё знает и может, а не поддаётся, упрямая, презрительно замкнувшаяся в себе, игнорирующая течение времени, не зависящая от него. Если бы она действительно была пустырьём, редко засеянным сборищами угасающих образов... но нет, это наверняка не так, есть тому доказательства в снах...

А она никогда не допускает туда, куда бы я хотел, тогда, когда мне это необходимо, — тупо захлопнувшийся механизм, независимый в своём сумасшедше точном исполнении задачи: сохранять и закреплять неизменно, навсегда.

Навсегда? Но ведь это неправда: ведь она погибнет вместе со мной, неподкупный страж, скряга, закостеневшая в тирании, в непослушании, в язвительной строптивости, столь постоянная и столь непрочная одновременно, сентиментальная и в то же время равнодушная, словно пласт каменного угля, в котором оттиснулся лист. Как её понять? Как с ней согласиться? Нейронные сети, синапсы, петли Мак-Куллоха? Нет, не объясняйте её столь мудрым, столь смешно учёным образом — это ни к чему, пусть уж всё останется так, как есть...»

«Время от времени я получаю письма от бывших львовян, которым нравится “Высокий замок”. Вчера, например, получил смешное письмо из Лондона, автор письма похвалил меня, приклеил к письму наклейку от бананов, о которой я писал, и добавил, что в мою вторую школу ходили только растяпы (“I am sorry to say”, закончил он польское предложение), а в его школе, десятой, учились просто замечательные личности. Тип этот постарше меня, ему уже под пятьдесят, и он всё ещё помнит о гимназистских амбициях тридцатитрёхлетней давности. Разве это не прекрасно?»<sup>[127](#)</sup>

Шестидесятые годы XX века — вовсе не тихие годы.

Конечно, сейчас далеко не каждый может понять, уловить, действительно *понять* тайные связи между совершенно, казалось бы, разными событиями.

Вот каким образом, например, создание писателем Нур Мухаммедом Тараки Народно-демократической партии Афганистана связано с избранием Лю Шаоци председателем Китайской Народной Республики? Или как увязать представленную президентом США Линдоном Джонсоном программу построения «Великого общества» (это ещё раз об «исключительности» американцев. — Г. П., В. Б.) с выходом Индонезии из ООН?

В 1960-х:

в США стартовал беспилотный «Джемини-2»;

в Лаосе группа офицеров совершила военный переворот;

Чжоу Эньлай, премьер Госсовета Китая, встречался в Пекине с председателем Совета министров СССР А. Н. Косыгиным;

бомбардировщики США начали боевые налёты на территорию Вьетнама;

26 ноября 1965 года с французского космодрома Хаммагир (Алжир) был осуществлён запуск ракеты «Diamant-A» с первым французским искусственным спутником Земли «Asterix-1»;

а в США вовсю шла разработка программы «Аполлон».

И множество, множество, множество других важнейших событий.

«Может, на сорок седьмом году жизни, когда чувствуешь, что тебе ещё есть что сказать или написать, не следует слишком спешить, — писал Станислав Лем в небольшом вступлении к роману «Глас Господа», — но всё же в этом возрасте стоит оглянуться, подытожить сделанное.

Я начинал с современного романа («Неутраченное время») и с фантастических произведений, в которых пытался показать земные проблемы в инопланетном одеянии («Астронавты», «Эдем»). Я пробовал зашифровывать земные проблемы в форме игровой («Звёздные дневники») или сказочной («Кибериада»), и, наконец, я провёл необычный эксперимент: вот какие сказки могли бы сочинять роботы для роботов («Сказки роботов»). Написал я ещё книгу, которую ценю, хотя не вполне понимаю («Солярис»), и ещё другую, в жанре романа «предостережения»

(“Возвращение со звёзд”), которая получилась не во всём такой, какой мне хотелось. Нередко я вплетал в свои рассказы идеи и мотивы, относящиеся не столько к проблемам культуры или социологии, сколько к проблемам философии. Этот философский бес искушал меня с каждым годом всё сильнее, так что, в конце концов, я откупился от него четырьмя совсем небеллетристическими книгами — “Диалоги”, “Сумма технологии”, “Философия случая” и “Фантастика и футурология”. Поскольку каждый человек из духа противоречия больше всего интересуется тем, что ему труднее всего удаётся, я не раз жалел, что вслед за моей беллетристикой, быстро и далеко вышедшей за границы Польши, не вышли так же далеко и быстро эти книги. Беспокоило меня и “раздвоение” моей писательской личности между художественной литературой и произведениями, посвященными философским раздумьям о путях развития цивилизации. Сейчас это называют футурологией, но в 1955 году, когда я писал “Диалоги”, футурологии ещё не существовало. Таким образом, “Глас Господа” — это попытка наложить заплату на образовавшийся душевный разрыв, по крайней мере, в том смысле, что слишком много в этой вещи всяких раздумий и отступлений от темы, чтобы можно было назвать её просто научно-фантастической повестью, и опять-таки слишком мало в ней философствования, чтобы сошла за эпистемологический трактат.

Во всяком случае, книга эта как результат сознательного эксперимента является гибридом или же помесью; ну а о том, присущи ли ей достоинства биологических гибридов, пускай судит читатель...»

Конечно, на всё личное, творческое в эти годы накладывалось абсолютно чёткое понимание того, что основные технологии нашего стремительно развивающегося мира — это прежде всего технологии военные.

Ещё в октябре 1951 года, через несколько лет после окончания великой войны, командование стратегических сил США утвердило план, по которому предполагалось в случае необходимости нанести ряд ядерных ударов чуть ли не по всей территории СССР: по Москве, Ленинграду, Горькому, Поволжью и Донецкому бассейну, по Новосибирску, Иркутску и Владивостоку.

Станислав Лем был прав, утверждая, что главным в мире становится именно контроль над накопленным вооружением; его чрезвычайно уязвляла та мысль, что цивилизация, построенная человеком, так хрупка и так странно заострена именно на создании всё нового, всё более мощного оружия.

«Я пишу сейчас роман («Глас Господа». — Г. П., В. Б.), в котором постоянно попадаю в затруднительные положения, — писал он Мрожеку 10 апреля 1967 года. — Очень трудно роман даётся и ужасно медленно продвигается вперёд. Я думаю, что если бы я жил триста лет, то уже и под сотню ни одного слова лишнего не смог бы написать, потому что количество возражений, неуверенности постоянно растёт во мне по мере того, как я понимаю, что любую вещь можно приготовить и подать столь разными способами. Конечно, я пишу. И не голое финансовое принуждение толкает меня к работе, а скорее желание высказать некоторые давно продуманные вещи. Может, я хотел бы выразить это в более дискурсивной форме, скажем, в виде философской лекции, но я стараюсь избегать философствования...»<sup>{128}</sup>

И 27 апреля того же года — опять Мрожеку:

«Писал книжку, писал, но оказалось, что я не способен её написать.

Поэтому пока её отложил, и так вот шляюсь — там газеты какие-нибудь куплю, там книжку, и жизнь моя течёт как занесённая илом река. Что-то моё здесь и там выходит, ставлю книгу на полку, двигаюсь, как заведённый, ем, пью, ложусь спать, встаю, наверняка ты всё это знаешь, и нет в этом ничего нового, оригинального...»<sup>{129}</sup>

И, наконец, от 2 мая:

«Писанина моя всё-таки застряла, я её отложил.

Это должна была быть история в некотором смысле фантастическая, но и реалистическая, — первый контакт Земли с Космосом, перипетии, вызванные получением каких-то сигналов *оттуда*, что сразу же должно вызвать ужасные осложнения стратегического, политического, военного и т. д. характера. Сторона, которая держит шифр в своих руках (основная отправная точка романа: никто не может ни толком прочесть этот шифр, ни понять), начинает работать в огромной тайне, и эта секретность пожирает всё — и само сообщение, и учёных. Однако случились две неприятные для меня вещи. Во-первых, не удалось разогреть материал так, чтобы он расплавился, чтобы заинтересовал меня, чтобы он меня серьёзно затянул, увлёк, — наверное, потому что я хорошо знал с самого начала, что там должно быть, чего я хочу, а во-вторых, мне не хватило мелких американских реалий, поскольку всё это должно было происходить в США. Именно американцы сегодня больше всех могут сделать в области материальных разработок. Если действие вести где-нибудь в Клае<sup>[58]</sup> или даже под Парижем, это не будет иметь большого смысла. Если в России — то это потянет за собой вполне тривиальные сложности, которые меня в этом контексте попросту не интересуют.

Несчастье моё ныне заключается в том, что я свободно придумываю концепции очень разных книг, но мне *не хочется их писать*. Например, я придумал историю о фиктивном дневнике некоей фиктивной личности. Эта личность записывает впечатления от фиктивного чтения, а также от спектаклей, выставок, путешествий, скульптур и т. д., то есть от такого искусства, которое даже и не могло быть создано (по многим и разным причинам)<sup>[59]</sup>. Может, когда-нибудь я попробую это записать, но пока не хочется. Потом я придумал написать дневник детских времён, то есть по воспоминаниям, но на другом принципе, нежели в “Высоком замке”, похожие, хотя и не те же самые элементы были бы иначе поданы, связаны, освещены, проинтерпретированы, выбраны и дали бы какуюто систему, пусть даже не слишком параллельную той, скорее, изогнутую. Некоторые общие концепции композиционного характера для этой задумки у меня есть, но мне и с этим не хочется возиться.

Наконец, я придумал историю, которая, кажется, должна меня полностью удовлетворить, поскольку философствование влечёт меня своей непосредственной дискурсивностью. Некий новый этап гонки вооружений, когда начали строить стратегические мозги всё более мудрые и всё более убийственные<sup>[60]</sup>. Через некоторое время дело дошло до того, что

очередной мозг оказался таким мудрым, что вообще не захотел заниматься делами ядерно-тактически-военного свойства. Он огласил свой *desinteressement*<sup>[61]</sup>, и вспыхнул скандал. Военные решили его демонтировать, но, вняв мольбам учёных, отдали им этот мозг, и они теперь с ним разговаривают на всевозможные темы, он же доброжелательно их опекает и рассказывает философско-теологические байки. Я даже начал это писать, но через сотню страниц мне расхотелось. Может, я отупел от своих размышлений, не знаю...»<sup>{130}</sup>



В одном из интервью (февраль 1968 года) Станислав Лем высказался уже более определённо:

«Заканчиваю новый роман.

Он будет называться “Глас Господа”.

Это дневник учёного-американца, принимавшего участие в расшифровке неких радиосигналов, принятых с другой солнечной, вернее, звёздной системы. Группу учёных, которым было дано задание, тщательно изолировали от внешнего мира, поселили где-то в уединённом посёлке, создали все условия для работы. Понятно, деятели Пентагона рассчитывали выудить из полученных звёздных сообщений какую-нибудь важную военную информацию. В известной мере я взял в качестве “прототипа” условия работы американских учёных над их первой атомной бомбой. Мне хотелось изобразить ситуацию, в которую попадают честные, добрые, интеллигентные люди; ситуацию, когда им навязывают и направление работы, и систему взаимных отношений. Работа идёт своим чередом, но текст, к сожалению, расшифровке не поддаётся. И тогда герой приходит к выводу, что шифр доступен, видимо, только такой цивилизации, которая достигла достаточно высокой степени развития, чтобы не употребить сообщённое ей знание во зло...»

В Советском Союзе роман издали на удивление быстро.

Он вышел в Москве уже в 1970 году, правда, название изменили.

Теперь оно звучало — «Голос неба», ибо упоминать Бога в СССР не полагалось.

На всякий случай вырезали ещё и страницы, на которых речь шла о противостоянии США и СССР. Этот отрывок («Мы вели игру уже не с Россией, а с самой природой...») увидел свет на русском языке лишь в 1988 году. А полное издание романа появилось только в 1994 году, когда издательство «Текст» выпустило собрание сочинений Станислава Лема. Основной причиной того, что роман довольно долго не переиздавался, послужило не содержание его, а то, что один из переводчиков романа (Рафаил Нудельман) в 1975 году эмигрировал в Израиль...

Масштабы романа «Глас Господа» — не масштабы «Высокого замка».

Всё человечество и один отдельный человек — разница весьма существенная.

«Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной, — признаётся главный герой романа «Глас Господа». — В местах почитаемых, например, в церкви, или в присутствии особо достойных людей я охотно размышлял о том, что мне было запрещено. То, что размышления эти были смешными и ребяческими, не имеет ни малейшего значения. Просто я ставил эксперименты в том масштабе, который тогда был для меня доступен. Помню пронзительную скорбь, гнев, разочарование, которые потом долгие годы сопутствовали мне, когда оказалось, что голову, где кроются злые мысли, никогда не поражает молния, что никакое выламывание из надлежащего уклада жизни не влечёт за собой никаких, о, ужас, совершенно никаких последствий. Я жаждал молнии или какой-нибудь другой страшной кары и мести. Я пытался эту кару вызвать, я возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщету всяких мыслей и дел».

Хотя вообще-то, признаётся герой, мысль о Создателе, всего лишь забавляющемся, просто развлекающемся, — хотя и привлекательна, но порочна. Мы приписываем Ему какие-то чувства, например злобность, потому что сами таковы. Если вспомнить о полнейшей незначительности человека по сравнению с космосом, то миф этот вообще выглядит примитивным. Более того, если бы Сотворение мира действительно имело место, то необходимый для этого уровень знаний не соответствовал бы подобным шуткам.

Конечно, проект, посвященный отысканию других цивилизаций, был не новостью.

Многие учёные в то время уже давно занимались поиском. Искали и в реальной научной жизни, и в мире воображаемом. Лем с удовольствием перечисляет труды (фиктивные, конечно), посвященные поиску. Это С. Раппопорт — «Первая в истории межзвёздная связь». Это Т. Дилл — «Голос Неба — я его слышал». Это Д. Протеро — «Проект ГОН — физические аспекты». Таких трудов, пишет Лем, так много, что не все они вошли даже в монументальный четырёхтомный указатель, созданный неким Вильямом Энгерсом, — «Хроника 749 дней».

«Мы стояли у подножия колоссальной находки, до предела неподготовленные и до предела самоуверенные, — признаётся герой романа, собственно, рассказчик, профессор Томас В. Уоррен. — Мы, как муравьи, облепили эту гору со всех сторон — быстро, жадно, ловко и сноровисто».

И добавляет: «Я был одним из многих».

И не может удержаться: «Это рассказ муравья».

Но рассказ «муравья», столь тщательно записанный Станиславом Лемом, трагичен не потому, что в итоге долгого поиска других обитателей во Вселенной не обнаружили, нет; рассказ профессора Томаса В. Уоррена трагичен потому, что даже величайшая философская проблема — одиноки ли мы во Вселенной? — на каком-то этапе всё равно упирается в проблему абсолютного оружия. Чтобы сохранить найденное в тайне, хитроумные политики специально подбрасывают прессе сотни фантастических сообщений о неких «двоичных» и «троичных» паузах, прибывающих на Землю из космоса, о высадке маленьких зелёных человечков, облачённых в «нейтринную одежду», и тому подобные бредни. Иначе не остановить поток тёмных подозрений, слухов, опасного любопытства. Ведь молчание космоса, знаменитое *Silentium Universi*, которое многие учёные в течение долгих веков считали непреложным фактом, вдруг оказалось недвусмысленным образом связано с неким новым действительно абсолютным оружием.

К счастью, человек слишком ничтожен, чтобы взять на себя бремя Господа.

Чем больше энергия, тем менее точна локализация необычного (открытого учёными) взрывного эффекта, — скоро убеждаются профессор Томас В. Уоррен и его коллеги. Столкнувшись с чем-то таким, что не поддаётся никакому объяснению, они тем не менее продолжают свои исследования.

И оно приводит их к новому пониманию космоса.

«Мне это видится так, — высказывает свою точку зрения физик Лирней. — Космос есть пульсирующее образование, он сжимается и расширяется попеременно каждые тридцать миллиардов лет. По мере сокращения наступает состояние коллапса, когда распадается само пространство, свёртываясь и замыкаясь уже не только вокруг звёзд, как в сфере Шварцшильда, но вокруг всех частиц, даже элементарных. Поскольку привычное “общее” пространство атомов перестаёт существовать, то исчезает вся известная физика. Беспространственный рой материи продолжает сжиматься и, наконец, целиком выворачивается наизнанку — в область запрещённых энергетических состояний, в “отрицательное пространство”, то есть не в какое-то “ничто”, а в нечто гораздо меньшее, чем “ничто”...»

В результате «выворачивания», объясняет Лирней, возникает своего рода горловина, в которой всё ещё мечутся остатки непогасшей материи, — щель между исчезающим «положительным», то есть нашим пространством, и тем — отрицательным. Эта щель всегда остаётся открытой, она никогда не смыкается, потому что её непрерывно распирает изнутри нейтринное излучение! А когда «вывернутый» мир полностью выворачивается наизнанку, то и сам он начинает сжиматься и выворачиваться через ту же щель и разбегающаяся во все стороны волна нейтринного излучения начинает заново распирает и формировать расширяющийся космос. И всегда, в любых состояниях и фазах, будет блуждать в нём эхо породившей его нейтринной волны — именно это и есть *Глас Господа!* Из вихря, прорвавшегося сквозь щель, из нейтринной волны будут возникать атомы, звёзды и планеты, галактики и метagalактики. Так что, говорит физик, понимание этого снимает проблему «звёздного послания». Никакая другая цивилизация ничего не высылала нам по нейтринному телеграфу, ничего никогда на другом конце не было. Было и есть только нейтринное излучение, порождённое чисто физическими, естественными процессами, абсолютно нечеловеческое и потому лишённое какой бы то ни было языковой формы и языкового содержания...

И Станислав Лем преподносит читателям ещё один образец мировой Красоты.

В щель между погибающим и возникающим мирами в очередной раз ворвётся нейтринная волна. Энергии её достаточно, чтобы «выдуть» очередной космос, как дети выдувают мыльный пузырь. Фронт волны несёт в себе чудовищно огромную информацию, унаследованную от всех минувших фаз. В этой информации — будущие атомы, будущие планеты, звёздные миры, наконец, биогенезис. Там, конечно, много и такого, что с человеческой точки зрения как бы ничему не служит. Вот вода имеет множество свойств, благоприятных для жизни, но есть у неё свойства, безразличные для жизни, например, прозрачность. Вода могла быть и непрозрачной, в возникновении жизни это не играло бы никакой роли, так что нелепо спрашивать: «А кто же всё-таки сделал воду прозрачной и зачем?» Никто. И ни зачем. Это просто одна из особенностей данного реального космоса, свойство, которое мы можем изучать. Оно не имеет никакого «внефизического» смысла.

Другое дело: кому нужна столь масштабная Красота?

Кто в ней нуждается? Кто способен осознать, понять, почувствовать её, как свою?

Писатель по привычке уже не ожидал каких-то разумных рецензий на свой роман, но во втором номере журнала «Новый мир» за 1973 год неожиданно появилась статья критика и литературоведа Ирины Роднянской — «Два лица Станислава Лема».

Лем не удержался и написал Канделю: «Вот какая-то удивительно умная баба написала любопытную рецензию на “Глас Господа”, то есть такую, которая меня поразила. И ведь ловко написала. То есть написала и то, что могла, и то, чего не могла. Хитрая какая-то баба...»<sup>{131}</sup>

Следующая книга Лема оказалась далёкой от беллетристики.

Объёмный труд «Философия случая: Литература в свете эмпирии». И замахнулся писатель ни много ни мало — на общую теорию литературы.

Давно, ещё в июне 1964 года, он писал Мрожеку: «Подозреваю, что существует множество великолепных книг, философских трактатов, глубоких интеллектуальных открытий и т. п., очень хорошо спрятанных, скрытых в печатном море, которое давно уже нас всех затопило, и нет никакого способа добраться до них, кроме как случайно...»<sup>{132}</sup>

И позже (2 мая 1967 года), когда работа над книгой была в самом разгаре:

«То, что меня пугало, страшило, то, что я описывал в первом издании “Суммы технологии” как бедствие будущего, как некий потоп информации, становится фактом. Мир распадается на информационные анклав. Но и этим дело не кончится. Всё меньше читается из того, что имеется для чтения. В абсолютных цифрах, кто знает, может, и больше, но уровень критериев не повышается, это страшно, это на самом деле лавина, в которой сгинет крошечный мизер лучших вещей, всё заполняется волнами бумажной швали. И то же самое происходит в кино, в художественных галереях, критерии слабнут, размякают, куда-то расползаются, появляются критики-специалисты и сразу же — критики критиков-специалистов...»<sup>{133}</sup>

Авторское предисловие к «Философии случая» начинается словами:

«Книга эта — вторая моя авантюра. Первой была “Сумма технологии”. Ведь, в сущности, это — опыты “общей теории всего”, как выразился один из моих близких друзей. Два опыта, два покушения — создать такую теорию. В этом и состоит авантюризм...»<sup>{134}</sup>

Сейчас подход Станислава Лема представляется не авантурным, а скорее единственно возможным, поскольку в мире действительно всё связано и взаимосвязано. Литература является отдельным случаем человеческого творчества, которое, в свою очередь, питает человеческую культуру, а культурные процессы можно сравнить с биологическими и генетическими процессами, каковые управляются физическими законами. Будучи одновременно писателем, внимательным читателем, критиком, а также знатоком научных методологий, Станислав Лем в «Философии случая» не ограничивается чисто филологическим подходом к проблеме, он

активно использует взгляды и положения других научных дисциплин — теории информации, кибернетики, социологии, психологии творчества. «Эта книга, — писал он, — выглядит как гидра с множеством голов, из поочерёдного перечисления которых видно, что тут есть голова (глава) по информатике — значительных размеров, есть голова лингвистическая, есть маленькие логические главки и ряд более мелких. Мне представляется, что все они связаны друг с другом единым, так сказать, тематическим телом и потому ни одна из них не является лишней. Однако, хотя в этом можно усомниться, глядя на названия отдельных разделов, — книга эта не что иное, как вразброд марширующая колонна одних только Вступлений к Недостигаемому Идеалу, именуемому Эмпирической Теорией Литературы»<sup>{135}</sup>.

В беседах со Станиславом Бересем писатель не раз возвращался к мысли об угрозах «перепроизводства» искусства.

«Произошла одна довольно смешная вещь: в первом издании “Суммы технологии” последняя глава касалась судьбы искусства в эпоху технологического взрыва. Тогда я писал это, глубоко веря в то, что само широкое распространение произведений во всех областях литературы, музыки и пластики является уничтожающим фактором, потому что если у нас есть тысяча Шекспиров, то никто не будет Шекспиром.

Это утверждение встретило суровую оценку Лешека Колаковского.

Я полемизировал с ним по-немецки, но это было через четырнадцать лет после выхода книги, когда во многом “Сумма технологии” уже перестала быть фантастической, особенно во фрагментах, касающихся генной инженерии. Тем не менее Колаковский своим категорическим неодобрением привёл меня в столь сильное уныние, что я выбросил эту главу из последующих изданий. Однако сейчас вижу, что во многом был прав я. Когда недавно во Франкфурте на книжной ярмарке шестьдесят четыре тысячи издателей представили сразу двести восемьдесят восемь тысяч новых названий, кто-то подсчитал, что если за всё время многодневной ярмарки попытаться просмотреть все эти книги, то на каждую придётся примерно четыре десятых секунды. Не стоит и мечтать о том, чтобы прочитать уже изданное. Ни у кого на это не хватит жизни. Получается, что уже не нужно никакой цензуры, никакого политического вмешательства, поскольку искусство, столь растиражированное, само по себе неизбежно подвергается губительной инфляции. Это меня всегда волновало, поэтому я, наверное, когда-нибудь к этому вернусь. Может, даже напишу новую часть “Философии случая”...»<sup>{136}</sup>



Казалось бы, в 1968 году дела у Станислава Лема шли неплохо — книги переиздавались, их переводили за границей, выходило собрание сочинений, но каким-то беспокойным, даже трагичным складывался тот высокосный год. Каждый день радио, газеты, телевидение приносили всё новые и новые тревожные новости.

Американский военный самолёт случайно «обронил» атомную бомбу над льдистой Гренландией...

Погибла в северной части Тихого океана советская подлодка К-129 с тремя баллистическими ракетами на борту...

Американские солдаты расстреляли жителей вьетнамской деревни Сонгми...

В американском городе Мемфис убит Мартин Лютер Кинг (1929–1968) ...

Застрелен в Лос-Анджелесе сенатор Роберт Кеннеди (1925–1968)...

Сотни вооружённых конфликтов, государственных переворотов.

Ни чемпионат Европы по футболу, ни летние Олимпийские игры, проведённые в Мехико, не сгладили напряжения. Казалось, какое-то безумие охватило мир. За десять дней до начала Олимпийских игр мексиканские студенты при поддержке профсоюзов вывели на главную площадь столицы более пятнадцати тысяч демонстрантов под лозунгом «Не хотим Олимпийских игр, хотим революций!».

А давно ли хиппи выдвигали совсем другой лозунг: «Не хотим заниматься войнами, хотим заниматься любовью»?

Организация Объединённых Наций объявила 1968 год Международным годом прав человека. Но ещё до событий в Мехико мир потрясли майские события во Франции. Там студенты столичных университетов вышли на площади под лозунгом «Запрещать запрещается!». Марксисты, маоисты, троцкисты, анархисты — все они требовали свободы, а заодно немедленной отставки президента де Голля, сорокачасовой рабочей недели, пенсии в 60 лет и минимального оклада в тысячу франков. Самое удивительное заключалось в том, что парижские волнения начались на фоне поистине беспрецедентного экономического роста Франции. Уровень жизни в 1968 году во Франции достиг самой высокой послевоенной отметки. Это позволило социологам и журналистам утверждать, что сытый обыватель не менее опасен, чем голодный, а

некоторым министрам заявить об откровенной вредности высшего образования. «Нам нужны не умники, нам нужны потребители». Не правда ли, это кое-что напоминает?

Станислав Лем внимательно присматривался к событиям.

Переживший войну, оккупацию, смену нескольких режимов, он теперь по-настоящему боялся новых катастрофических потрясений.

И они не заставили себя ждать.

5 января всё того же года первым секретарём Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчек (1921–1992). Профессиональный партийный работник, он тем не менее склонялся к реформам, по крайней мере считал вполне законными требования граждан обеспечить в стране гражданские права, хотя бы частично децентрализовать экономику, сделать реальными свободу слова, печати, передвижений. Программный документ реформаторов «Две тысячи слов, обращенные к рабочим, крестьянам, служащим, учёным, работникам искусства и всем прочим» в одночасье стал знаменитым.

Но Советский Союз не собирался попустительствовать реформаторам.

«Доктрина Брежнева» допускала (и создана была для этого) прямое применение военной силы для выполнения той или иной социалистической страной условий Варшавского договора. В ночь с 20 на 21 августа в Чехословакию вошли советские войска, поддержанные союзниками (кроме Румынии)...

И всё-таки год закончился не только разочарованиями.

21 декабря американские астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс впервые в истории человечества вывели космический корабль «Аполлон-8» на окололунную орбиту...

Писатель всё чаще задумывается над своим положением.

25 декабря 1968 года он пишет Владиславу Капуцинскому (1898–1979) — польскому биофизику, сотруднику медицинской академии в Варшаве:

«После издания романа “Солярис” я стал в России предметом поклонения как обычных читателей, так и титанов духа.

Я солгал бы, говоря, что проявления такого интереса меня не радовали. Вполне естественно удовлетворение, которое вызывали во мне эти контакты, то, как каждый раз я бывал “вылущен” из круга членов СПП<sup>[62]</sup> (ибо обычно пребывал в качестве делегата именно этого союза), — причём, как правило, по инициативе весьма уважаемых представителей мира науки. “Сам” Капица выкрал меня к себе (о необычности его интереса свидетельствовал тот факт, что он закрылся со мной в кабинете и оставил за дверью множество своих сотрудников, которых я затем, чтобы как-то поправить ситуацию, пригласил на разговор в гостиницу). Профессор Добрушин появился у меня в гостинице после десяти часов вечера со множеством математиков и кибернетиков, и мы провели полночи, разговаривая *de omnis rebus et quibusdam aliis*<sup>[63]</sup>, ибо Шкловский представил меня своим людям как интеллектуального суперзверя. Некий палеонтолог<sup>[64]</sup> назвал “сепульками” открытые им новые виды ископаемых насекомых (*s. mirabilis* и *s. syrica*), а на посвященной им монографии коллектив Института Палеонтологии поставил вассальные подписи. Наконец, во время моего пребывания в Москве стихийный порыв тамошних научных сотрудников привёл к тому, что наше одуревшее, не готовое к этому посольство устроило приём, на котором различные знаменитости меня чествовали.

В нашей стране ничего подобного со мной никогда не происходило.

Можно, конечно, утверждать, что после таких (повторяющихся) случаев мне в голову ударила газированная вода и я, как всякий самодур, бесполезно и смешно ожидал доморощенной похвалы и апофеоза.

Однако всё не так просто.

Сколько раз западные издатели обращались ко мне с просьбой прислать им рецензии на мои произведения, прежде всего серьёзные, а я не мог им ничего такого прислать, потому что никаких рецензий не было, даже таких, которые, пусть бы оспаривая меня, свидетельствовали о том, что затронутая мной проблематика значительна и оригинальна.

Единственным исключением оказалась когда-то рецензия Колаковского на “Сумму” в “Творчестве”, которая настолько книгу “уничтожала”, что её автор потом прислал мне частное письмо, в котором пояснял, что на самом деле книга замечательная, а некоторая вспыльчивость его критики вызвана огромной разницей меж нашими стилями мышления. Конечно, это было частное письмо, то есть такое, которое публично использовать невозможно. Но, во всяком случае, это был факт хоть какого-то интереса, больше похожего, правда, на раздражение, но всё-таки — интереса, что для меня, совершенно изолированного в моей стране, было явлением.

Сколько раз меня спрашивали за границей: как мои концепции восприняты нашими учёными, какие коллективные обсуждения они проходили, как я воспитываю свою “школу”, есть ли у меня последователи среди талантливой литературной молодёжи?

Неприятные вопросы!

Помню, как во время моего пребывания в Дубне я столкнулся с особым феноменом.

Группа польских физиков, работавших там, сначала в некотором отдалении как бы присматривалась, может даже с удивлением, к тому азарту, с которым русские стремились к общению со мной, и в результате, вдохновлённые этим, присоединились — не к овациям, бога ради, а к нетрадиционной, очень ценной в умственном отношении беседе. У нас в стране им такая мысль в голову бы не пришла, потому что у нас другие традиции, у нас выработалось иное отношение к интеллектуалам.

Мне кажется, я отчётливо показываю разницу между тем, что могло быть чисто амбициозной сладостью похвал, и — элементами интеллектуального излучения, создания новых категорий обмена мыслями, нестандартного подхода к некоторым фундаментальным проблемам.

“Философию случая” заканчивает моё эссе о Томасе Манне: я излагал его “из головы” в ленинградском отделении Академии Наук, когда меня туда пригласили, но я не могу представить себе, чтобы меня кто-нибудь пригласил, например, в польский Институт литературных исследований, чтобы я рассказал что-нибудь подобное. А ведь в силу обстоятельств человек всегда лучше объясняется на родном языке, и я не мог выразить на чужом то, что хотел сказать на самом деле.

У нас ни один читатель — ни массовый, ни тот, с интеллектуальных высот, вообще не пишет автору; видимо, это представляется ему “дикостью”. Вероятно, случаются исключения, но я всегда остро ощущал невостребованность. О том, что речь не идёт о желании постоянной самоапологии, свидетельствует хотя бы то, что уже с давних пор я крайне

редко соглашаюсь выступать на так называемых авторских встречах. Публика там обычно собирается случайная, а я хотел бы общаться в более однородной среде, в которую меня (за исключением “Философской Студии”<sup>[65]</sup>) — никогда не приглашали. Одним словом, проблемами, которые меня занимают, я по необходимости могу в девяноста девяти процентах обременять лишь зарубежных корреспондентов — например, в Австрии или России; но именно там мои тексты по этим проблемам до сих пор не переведены.

Вероятно, всё это накладывает вину и на *меня*.

Моё умственное развитие было довольно медленным — об этом свидетельствует хотя бы путь от “Сезама” до “Суммы”. О нашем анонимном читателе я не имел бы права сказать ни одного плохого слова, он всё-таки добросовестно шёл за мной, по мере того, как я сам рос интеллектуально, — об этом опосредованно, но выразительно свидетельствует исчезновение с прилавков тиражей моих книг. Но хотя такая неконкретность одобрения автора и ценна, она ни в коей мере не может заменить человеческого, личного, персонального контакта. В определённой мере это тоже было причиной некоторого моего одиночества в том плане, что представленный мною стиль как в литературе, так и в философии до сих пор является у нас чем-то тотально обособленным.

Всё это я понимаю.

Со всем этим давно смирился.

Но именно по контрасту с моей “молодецкой славой” в России осознание положения в родной стране наполняет меня и горечью, и смущением, потому что я прежде всего пишу для поляков. Наука и прилегающие к ней сферы в России — это что-то совсем иное, нежели у нас. Потому что учёных там спланирует сознание того, что они являются аутентичными творцами имперской мощи и её энергии развития. А у нас, к сожалению, господствует широкая неаутентичность, которая подобно питательной среде плодит так называемый карьеризм, проявляющийся в том, что учёных проблемы науки интересуют гораздо меньше всех других дел. Когда доктор Егоров, российский космонавт, приехал в Варшаву и пожелал (вновь) со мной увидеться, меня позвали в Варшаву. Но во время посещения Института Авиационной Медицины все очень растерялись, когда Егоров, получив книгу для почётных гостей, передал её мне, чтобы я в ней тоже расписался, а это вообще-то не входило в планы — ведь я был всего лишь несчастным литераторишкой для присутствующей там молодёжи. Эти люди, желая сделать мне комплимент, обычно говорили: “У моего сына есть все ваши книги”. Я, как и прежде, далёк от какого-либо

идеализирования российской науки, но всё-таки в ней существуют достаточно мощные преобразующие течения, чтобы излечиться хотя бы от собственных болезней (типа лысенковской, скажем).

Впрочем, какой там анализ!

Думаю, я сказал достаточно, чтобы Вы могли понять, сколь ценным был и остаётся для меня в этой ситуации любой голос, опровергающий её. Хотя на самом-то деле речь идёт не обо мне, а скорее о тех, кому и для кого я пишу, о дальнейшем и прошедшем смысле моей работы, об опровержении её сизифовости. К тому же нашу и так не слишком богатую в умственном отношении жизнь опять треплет сильная буря...»[137](#)

Из письма Мрожеку (от 10 апреля 1967 года): «Очень разные судьбы моих книг на Востоке и на Западе. На Востоке меня воспринимают попросту в виде океана. Я получаю из России глубокие письма, даже философские трактаты. Я как тот Мудрый Старец, который знает, как нужно жить, а потрёпанные экземпляры моих польских изданий служат для изучения нашего родного языка. Польша — это особый случай, потому что никто у нас не является пророком. А вот один чех пишет по моему роману оперу. “Астронавты” неплохо идут на Западе, в Швейцарии они вышли в детском издательстве и так далее, а вот моя *piece de resistance*<sup>[66]</sup> “Солярис” издана только во Франции, а в других странах её пристроить не удаётся. Издатели, которым предлагали этот роман, крутили носом — это ведь не обычная, скажем так, привычная НФ, и, несомненно, они правы. Когда кто-то идёт в публичный дом, то ведь не для того, чтобы вести там разговоры на философские темы; красоты души проститутки, которая может оказаться какой-то там новой Соней<sup>[67]</sup>, лишь неприятно его обескуражат и затруднят исполнение кропотливых действий, на которые он настроился. Так и в системах с упорядоченным распорядком всё (а значит, и книги) сразу же получает классификационное отношение, и ни один, даже мудрейший, французский критик, уважающий себя, не обнаружит ценности в серии книжек НФ карманного формата, которых в этой серии *EX DEFINITIONE*<sup>[68]</sup> найти нельзя. Так доброе априорное знание серьёзно управляет миром и делает жизнь в нём по-настоящему комфортной. А потому тех, кто массово пишет и поглощает НФ, такие вот разные “Солярисы” обмануть не могут. В этом есть глубоко упрятанная правда, касающаяся таинственных и совершенно неизвестных приёмов, с помощью которых происходит столь тотальное игнорирование и фальсификация восприятия любого произведения искусства, любого писательского текста. Я считаю свою судьбу (то есть судьбу своих книг) нормальной. Не думая ни о деньгах, ни о славе, становишься способным к более важным размышлениям и черпаешь из них откровения. Я говорю это совершенно серьёзно. Ожидание того, что третьестепенная литература будет нести первостепенное содержание, столь же нигилистично, сколь и противоположное суждение...»<sup>{138}</sup>

И ещё: «Финансовых стимулов писать у меня сейчас нет, потому что многое из написанного мною переиздают. На какие-нибудь два-три года

мне не о чем беспокоиться, так что я могу делать то, что мне хочется. Вот только мне ничего не хочется. А не хочется, во-первых, из-за всего вышесказанного, а ещё потому, что часто получается так, что мои книги прочитывают неправильно, не так, как мне этого хотелось, ну и частично ещё и потому, что я уже старый, старый конь...»[\[139\]](#)



И ещё о бытовых ситуациях.

Сохранилось письмо Станислава Лема (от 4 октября 1967 года) в дирекцию Банка всепольской сберегательной кассы — о глупостях, вследствие которых его жене не выдают деньги в долларах.

«Городской народный совет выдал соответствующее удостоверение о том, что моя жена проживает на улице Нарвик, 21, а не на улице Крепостной, 20, но никак не может подтвердить факт переезда. Но это потому, что переезда не было. Горсовет просто сменил название улицы с Крепостной на Нарвик, а при этом изменился и номер дома с 20 на 21...»

Заканчивает Лем письмо такими словами:

«Если я и теперь не получу ответа, то обращусь к другим властям.

Пишу так, потому что всё яснее вижу: для получения нескольких паршивых долларов у нас приходится всё чаще морочить голову чепухой высшим властям и государственным чиновникам. Но вина за такое позорное положение лежит лишь на тех, кто способствует этому своим тупым бюрократизмом...»<sup>{140}</sup>

Но были, разумеется, и радости.

14 марта 1968 года у Барбары и Станислава Лемов родился сын Томаш.

Позже (в августе 1972 года) Станислав Лем писал своему американскому переводчику Майклу Канделю: «Я вот, извините, очень долго не решался завести ребёнка, и мы вместе с женой воздерживались от этого, как люди, способные к мышлению, да ещё и пережившие немецкую оккупацию, поскольку этот мир вообще-то представляется местом, очень плохо устроенным для принятия людей, особенно, если учесть именно тот опыт, который стал нашим уделом...»<sup>[141]</sup>

Подробнее обо всём этом рассказал сам Томаш.

«Моё появление на свет было неопределённым, потому что отец долгое время не хотел иметь детей. Он считал, что мир жесток и непредсказуем, опасался, что в любой момент может вспыхнуть Третья мировая война, неминуемо с использованием ядерного оружия, а значит, не исключено, что война эта окажется вообще последней в истории человечества. В таких обстоятельствах рождение потомка выглядело делом, по крайней мере, неосмотрительным, доказательством необоснованного оптимизма. Учитывая серьёзное напряжение в отношениях между Америкой и Советской Россией, мнение о скором ядерном конфликте в то время не было единичным, — так считали многие: от простых обывателей Польши до яйцеголовых стратегов Пентагона.

Тот факт, что отца не радовала перспектива дословного претворения в жизнь выражения: “Одна атомная бомба, и мы снова возвращаемся во Львов”, не следует, конечно, рассматривать в категориях соглашения с принудительным переселением из Львова в Краков в 1946 году и послевоенным “перемещением” Польши на запад. Просто отец никак не мог смириться с утратой родного города и часто повторял, что государства — это не шкафы, которые можно вот так передвигать с места на место. Отсутствие энтузиазма по поводу атомного разрешения таких или иных проблем было свидетельством его реализма, сильно подкрашенного пессимизмом.

Я не знаю, какие аргументы использовала мать, чтобы сокрушить принципиальное сопротивление отца, но её доводы, видимо, оказались убедительными. При этом она проявила небывалое упорство: родители поженились в 1954 году, а я родился аж в 1968 году — то есть после

четырнадцать лет супружеской жизни. Отцу было уже сорок семь лет, и если даже учесть тот факт, что мать была моложе его на девять лет, — я всё-таки был поздним ребёнком.

Обстоятельства моего появления на свет были драматическими, и не только потому (о чём часто упоминал отец), что в его “Фиате” заклинило коробку передач, в результате чего он вёз жену с младенцем из больницы домой на второй скорости в скрежещущем автомобиле. Драматизм был настоящий — политического, а не технического свойства. Мать родила меня в марте 1968 года, то есть в то время, когда студентов разгоняли дубинками и сажали в тюрьмы, устраивали охоту на евреев и очищали Польскую Народную Республику от сионистов. Отец тогда серьёзно раздумывал об отъезде из Польши навсегда, и в принципе единственным аргументом против такого поступка, аргументом, который окончательно перевесил чашу весов и заставил остаться в ПНР, было как раз моё появление на свет. Перспективу начать всё с нуля на Западе с младенцем на руках, то есть уже очередную — после бегства из советского Львова — попытку начать жизнь заново он считал слишком рискованной...»<sup>[142]</sup>

И ещё: «Уже взрослым я стал задумываться о корреляции между моим появлением на свет с тенденцией, которая проявилась в том, что примерно в начале семидесятых отец стал своеобразно “сокращать” фабульные произведения; беллетристика начала резко уступать место рецензиям на несуществующие книги или предисловиям к ним. Я подозреваю, что такой сокращённый способ представления идеи книги с одновременным дистанцированием от неё не был продиктован лишь пресыщением фабулой или нетерпеливостью, которая отличала все начинания отца — и литературные, и жизненные. Поначалу я наивно и несколько нарцистично усматривал причины этого в моём появлении на свет, хотя и знал, что отец не занимался мною слишком в детстве (“У меня лично нет проблем с ребёнком, это Бася и мама по очереди спят рядом с ним”, — писал он в мае 1968 года Александру Сцибору-Рыльскому), красноречивым доказательством чего был тот факт, что когда я начал говорить, то какое-то время употреблял в основном женскую форму (была, сделала), хотя уже в трёхлетнем возрасте произносил по слогам название газеты, которую читал отец: “ПО-ЛИ-ТИ-КА”, так что, наверное, это он научил меня читать. И он всегда проявлял интерес к моей судьбе, и когда мне было пять лет, и когда мне было двадцать, хотя его забота и ограничивалась главным образом именно “беспокойством за меня”...»<sup>[143]</sup>

17 августа 1969 года на польском ТВ состоялся показ телефильма, снятого Анджеем Вайдой, — «Слоёный пирог». «Постановка была осуществлена прекрасным нашим режиссёром Анджеем Вайдой по моему сценарию, — рассказывал по этому поводу Станислав Лем корреспонденту журнала «Советское кино» Е. Семёнову. — Трудно подобрать адекватное русское название. Может, как “Винегрет”. Постановка касалась вопросов трансплантации. Речь шла о двух авиагонщиках, которые попадают в катастрофу, и хирурги составляют из них одного. Потом случается новая катастрофа, новая операция, куда-то исчезает во время этой операции даже любимая собака гонщика, а он время от времени вдруг начинает лаять. Может быть, органы собаки тоже были использованы при пересадке. И так постепенно человек перестаёт быть самим собой. Всё у него — чужое, заменённое, сконструированное на операционном столе. Разумеется, этот сценарий — гипербола, парадокс. Но разве современная наука не даёт права подумать о возможности существования такого парадокса?..»<sup>{144}</sup>

Осенью 1968 года вышел отдельным изданием сборник Станислава Лема «Рассказы о пилоте Пирксе», дополненный новой историей — «Дознание».

На этот раз Пирке отправляется в экспериментальный полёт на корабле «Голиаф» с командой, составленной как из людей, так и из роботов, внешне неотличимых от людей. Пирке не знает, кто из них кто. Чтобы разобраться, как поведут себя роботы в сложных условиях, он попадает в чрезвычайную ситуацию, во время которой один из пилотов гибнет, причём выясняется, что это робот, который отказался выполнять команду Пиркса. Рассказ интересен тем, что в нём остро поставлен вопрос об определении «человечности». В конце концов, именно человеческая нерешительность спасла экипаж от гибели...

*Глава шестая.*

**НЕ МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА**

В октябре 1969 года Станислав Лем в третий раз приезжает в Советский Союз.

Центральным событием этой поездки, несомненно, стала встреча писателя с режиссёром Андреем Тарковским, который как раз начал работать над экранизацией романа «Солярис».

«Сценарий вместе с Тарковским, — вспоминал критик и литературовед Лазарь Лазарев (1924–2010), — писал Фридрих Горенштейн, очень одарённый писатель, у которого тогда из всего созданного с большим трудом пробился к читателям только один рассказ — “Дом с башенкой”, его напечатала “Юность”. На этот очень сильно написанный рассказ тогда многие обратили внимание. Но больше Горенштейн был известен в кино — он окончил Высшие сценарные курсы, написал несколько сценариев, в том числе для нашего объединения, часть их была поставлена. К сожалению, надежды на публикацию у Горенштейна не было никакой, и он вынужден был уехать за рубеж — живёт теперь в Западном Берлине. Тарковский очень высоко ценил его талант, считал, что Горенштейн сумеет хорошо написать придуманное Андреем начало фильма — прощание перед полётом на Солярис героя с родителями, которых ему (даже если он благополучно возвратится из экспедиции) не суждено будет увидеть живыми. Прощание с Землёй, такой прекрасной, что от любви к ней должно перехватывать горло. Сцена эта, вводившая в экранизацию отсутствовавший в романе Станислава Лема мотив сыновней любви и бережного отношения человека к родной Земле, — одна из лучших и в сценарии, и в фильме...

Однако затея с экранизацией чуть не закончилась крахом уже на стадии создания сценария.

В Москву приехал по каким-то своим делам Лем.

Тарковский должен был — иначе это выглядело бы не только странно, но и подозрительно — с ним встретиться, лично договориться. Я пишу “должен был”, потому что, мне кажется, Андрей не очень жаждал этой встречи, какие-то у него были опасения, и предчувствия не обманули. Он попросил меня пойти вместе с ним к Лему. Фридриха мы решили не приглашать: если и Тарковский не всегда вёл себя достаточно дипломатично, то Горенштейн вообще мог служить живым олицетворением крайнего полюса антидипломатии. Он заводился с пол-оборота, нередко по

пустячному поводу, а иной раз и вовсе без повода — что-то почудилось, вот и реагировал очень бурно на то, что для пользы дела можно было оставить без внимания. Когда закончилась двухчасовая, очень трудная для нас с Тарковским беседа с Лемом и мы, выйдя из “Пекина”, одновременно, как по команде, громко выдохнули “уф!”, так переводят дух после тяжелой работы, — одна и та же мысль пришла нам в голову. “Представляю, что было бы, если бы с нами был Фридрих”, — сказал Андрей, и мы расхохотались...

Встреча с Лемом организовывалась через каких-то литераторов, причастных к миру научной фантастики, может быть, они не очень лестно отрекомендовали писателю Тарковского, допуская это, потому что встретил нас Лем недружелюбно и разговаривал почти всё время очень высокомерно. Имени Тарковского он прежде не слышал, что он за режиссёр — хороший или плохой — понятия не имел, фильмов не видел.

“Может быть, вы хотите посмотреть какой-нибудь из фильмов Тарковского?” — спросил я.

“Нет, — отрезал он, — у меня Нет для этого времени”.

Андрей, считая себя обязанным поделиться своими соображениями о том, как он представляет себе экранизацию “Соляриса”, допустил грубую тактическую ошибку — довольно много и с неуместным воодушевлением рассказывал он о тех эпизодах и мотивах, которых нет в романе и которые он хотел привнести в фильм. Лем слушал с мрачным лицом. Потом резко заметил, что в его романе есть всё, что нужно для фильма, и нет никакой нужды чем-то его дополнять, и вообще он совершенно не заинтересован в экранизации “Соляриса”. Я уже почти не сомневался, что всё идёт к тому, что он просто не разрешит делать фильм, но тут Лем немного смягчается: что же, если хотите, делайте, только он уверен, что, если перетолковывать и перекраивать роман, ничего путного не получится. Правда, не в его правилах что-нибудь запрещать: делайте, снимайте.

В этом снисходительном разрешении, которое мы получили под конец, прозвучало нескрываемое пренебрежение и к нам, как он, наверное, считал, полагавшим, что, выбрав “Солярис” для экранизации, мы себя должны были этим осчастливить, и вообще к кино, которое живёт за счёт литературы.

Тогда мне, а Тарковскому тем более было очень обидно слышать то, что говорил и как говорил Лем, мы были полны уважения к нему, нам нравился его роман, — неприязнь и резкость писателя казались нам ничем не заслуженными, несправедливыми. Но сейчас, когда прошло много времени, я думаю, что некоторые основания для раздражения и неприязни



у Лема могли быть. Почему он должен был верить, что режиссёр, которого он первый раз видит, который без малейшего почтения отнёсся к его очень знаменитой книге, да ещё и собирается что-то в ней менять, дописывать на свой лад, — сделает хороший фильм?»<sup>{145}</sup>

Лем об этой встрече тоже отзывался не очень хорошо.

«Из-за “Солярис” мы здорово поругались с Тарковским. Я просидел шесть недель в Москве, пока мы спорили о том, как делать фильм, потом я обозвал его дураком и уехал домой...»<sup>{146}</sup>

Правда, в интервью, данном журналу «Советское кино», писатель высказался более дипломатично.

«Хочу ещё раз заметить, — сказал он, — что самым важным для меня и в романе, и в фильме будет не техническое совершенство постановки, а громадные психологические и общественные сдвиги, которые приносит человеку процесс познания. Так или иначе — дело сделано, я вверил себя в руки кинематографистов, которые сами пишут сценарий по моему роману, потому что моим самым слабым местом всегда была именно драматургическая конструкция произведения...»<sup>{147}</sup>

Впрочем, позже, в одной из бесед со Станиславом Бересем, писатель опять оценивал фильм Тарковского строго.

«К этой инсценировке у меня принципиальные возражения.

Во-первых, я хотел бы увидеть планету Солярис, но, к сожалению, режиссёр не предоставил мне такой возможности, поскольку делал камерное произведение. А во-вторых, что я и сказал Тарковскому во время нашей ссоры, он вообще снял не “Солярис”, а “Преступление и наказание”. Ведь из фильма следует лишь то, что этот паскудный Кельвин доводит Хари до самоубийства, а потом его мучают угрызения совести, вдобавок усиливаемые её новым появлением; к тому же появление Хари сопровождается странными и непонятными обстоятельствами. Феномен очередных её появлений был для меня воплощением концепции, которую можно выводить чуть ли не от самого Канта. Ведь это *Ding an sich*, Непостижимое. Вещь в Себе. Другая Сторона, на которую никогда нельзя перебраться. При том, однако, что в моей прозе всё это было проявлено и соркестрировано совсем иначе.

И совершенно ужасным, — сказал Лем, — было то, что Тарковский ввёл в фильм родителей Кельвина и даже какуюто его тётю. Но, прежде всего, маму. А мама это же — *мать*, а мать — это *Россия, Родина, Земля*. Это меня совсем рассердило. Мы были как два коня, которые тянут воз в противоположные стороны...

Позже такая же история приключилась и со Стругацкими, когда Тарковский снял “Сталкер” на основе повести “Пикник на обочине” и сделал из него такой паштет, который никто не понимает, но он в самый раз печальный и понурый. Тарковский напоминает мне поручика эпохи Тургенева — он очень симпатичный и ужасно обаятельный, но в то же время всё видит по-своему и практически неуловим. Его никогда нельзя “догнать”, так как он всегда где-то в другом месте. Ну, он такой есть. Когда я это понял, то успокоился. Этого режиссёра нельзя переделать, и, прежде всего, ему ничего нельзя втолковать, потому что он в любом случае всё переделает “по-своему”.

В моей книге необычайно важной была сфера размышлений и познавательно-гносеологических проблем, которая крепко увязывалась с соляристической литературой и самой сущностью соляристики, но в фильме, к сожалению, все эти качества были основательно выхолощены. Судьбы людей на станции, которых в фильме мы видим лишь фрагментарно при очередных наездах камеры, — это вовсе никакой не экзистенциальный анекдот, а великий вопрос, касающийся позиции человека в космосе и т. д. У меня Кельвин решает остаться на планете без малейшей надежды, а Тарковский нарисовал сентиментальную картину, в которой появляется какой-то остров, а на нём домик. Когда я слышу о домике и острове, то из кожи вон лезу от раздражения. В общем, эмоциональный соус, в который Тарковский поместил моих героев, не говоря уже о том, что он полностью ампутировал написанный мною научный пейзаж и ввёл кучу странностей, — всё это для меня совершенно невыносимо...»[{148}](#)

А конец ноября 1969 года Станислав Лем провёл в Западном Берлине, откуда прислал Мрожеку весьма откровенное письмо (от 25 ноября).

«Я не мог тебе сообщить, что с 25. XI по 5. XII буду в Западном Берлине, потому что почту просматривают, а значит, и паспорт мой и выезд могли пойти ко всем чертям, но из-за того, что не уведомил тебя об этом, чувствую себя сейчас последним скотом. В Варшаве говорят, что тебе предлагали консульский паспорт, но ты его не принял<sup>[69]</sup>. Ничего нельзя посоветовать в такой ситуации, но, возможно, я на твоём (нынешнем) месте тоже не вернулся бы. Ситуация у нас ужасная! И всё прогнило, как никогда в пятидесятых годах, когда господствовал Святой, хоть и Чудовищный Порядок. Теперь же наблюдаются только Гниение, Смрад, Явное Лицемерие и Балаган, плюс повальное растрение общества. То, за что Берут<sup>[70]</sup> когда-то давал золотые часы, звания и ордена, сегодня делается за пару грошей. Литература играет уже даже не придворную роль, она играет роль просто дешёвой шлюхи.

Ты знаешь, я был три недели в Москве — там почти то же самое — и такая ориентация:

***сталинисты***

***ревизионизм < ———> неосталинизм***

***черносотенный***

***национализм***

***почти монархисты!***

Наука, учёные, студенты, *их личные письма* — всё у нас фальсифицировано, лицемерно, выдуманно. Нет, не подумай, я не пишу статью в антикоммунистический журнал, я говорю тебе о моих *личных* бедах...»<sup>{149}</sup>

Мрожек в ответ уточнил ситуацию с паспортом:

«Не предлагали мне никакого паспорта, ни консульского, никакого другого.

С той первой минуты, как мне отказались продлить срок действия моего паспорта и приказали вернуться в Польшу, я не имел и не имею с ними никакого контакта, и со мной никто не пробовал установить контакт, что мне на руку, ибо я бы отказался с ними общаться. Я слышал много слухов, — и таких, о которых ты пишешь, и подобных. Их настойчивость позволяет предположить, что таким образом власти пытаются переложить на меня ответственность за то, что они выбросили меня из Польши. Типичный случай, когда формируется общественное мнение о том, что вот кто-то сам подал в отставку, хотя его выгнали. Они поздно сообразили, что разыграли это плохо и глупо. Теперь пытаются исправить ситуацию. Но они сами дезориентированы. Смотри, ведь они привыкли к тому, что именно они могут раздавать *всё* и что каждый из нас от их *раздач* зависит, то есть каждый *должен* нуждаться в них, а уж они-то (партийные власти. — Г. П., В. Б.) и могут разрешать или не разрешать, в любом случае они *распоряжаются*. И они совершенно не приучены к тому, что можно их попросту послать в жопу в свободной, независимой от них системе. Они создали какуюто особенную свою искусственную вселенную и сами являются жертвой этой вселенной, сами своими делами ментально обусловлены и ограничены. И при этом у них в головах не уместается, что я мог так пренебречь и отбросить всё, благодаря чему “мне было хорошо” у них. Может быть, они думают, что я о чём-то жалею, что я зависим от чего-то, что находится в их силах и в их распоряжении. Они не способны вообразить ни иной жизни, ни иные ценности, кроме тех, которые создали, в которых сами живут. В этом их слабость по отношению ко мне и моя искренняя радость»<sup>{150}</sup>.

Лем и Мрожек активно переписываются в те дни.

«Моё присутствие в Западном Берлине, — объяснял Лем, — является довольно случайным результатом польсконемецкого флирта. Пригласили потому, что надо было пригласить какого-нибудь ещё не до конца расстрелянного типа из Польши. Хотя всё это было в высшей степени иррационально, самой существенной для принятия мною решения поехать

сюда была возможность написать тебе. Но это тоже иррационально, поскольку я могу, конечно, писать “всё”, но мало что могу сказать...»<sup>[151]</sup>

«Пребывание на родине, — писал Лем далее, — и внутренне не испоганенное бытие сегодня для нас вещи несовместимые. Только здесь я ощущаю, в какой степени я *там*, дома, являюсь вещью, и мысль о том, что мой сын унаследует от меня ошейник, поражает. Томек — это обычный гениальный ребёнок, и я покупаю ему машинки, космонавтов и прочие подштанники, которых нет у нас. Бася твёрдо намерена продолжать работать рентгенологом, хотя мудрецы подсчитали, что один полученный рентген равен одному утраченному дню...

Если говорить вообще, то жить в Стране (то есть в Польше. — Г. П., В. Б.) становится для меня *всё труднее*, и временами это похоже на поедание всё возрастающего количества гадких вещей, вкус которых при этом ещё следует хвалить.

Любой поиск хотя бы одного не до конца засранного места в системе похож на отчаянные попытки атеиста пробиться к Господу Богу. Нет ни места такого, ни надежды. Поэтому моё личное движение в пространстве мысли является, в сущности, бегством. Я написал книгу о теории литературы + литературные произведения + одну монографию о НФ и несколько вещей по-немецки о фантастике, — чтобы хотя бы на время, хотя бы лингвистически обособиться!»<sup>[152]</sup>

30 ноября Лем пишет Мрожеку ещё более откровенное письмо.

«Я живу здесь словно сведённый судорогой, как бы с задержкой дыхания под водой. Но как долго это может продолжаться? Участвовать во всём этом вранье — исключительно трудно. Я будто упакован в слои ваты. Смотрю польские показы мод, модели одежды, которые якобы можно приобрести в Польше, слышу болтовню польских VIP-ов, советского персонала посольства, одетых, понятно, в европейских магазинах, а ведь ещё 21 октября я был в Москве и видел несчастную, полусознанную из-за одурманивания нищету. И знаю, что она вовсе не обязательна, то есть её могло бы вовсе не быть, но никого бы это не затронуло, кроме раздутых Махейков<sup>[71]</sup> и пары забальзамированных бонз. Информационная дыра между Востоком и Западом растёт с чудовищной быстротой и неизбежностью. А разве первой обязанностью эмигранта не является представление каких-то правдивых свидетельств? Эх, если бы только правда на самом деле кого-то интересовала на Западе...

Об эмиграции из страны мы столько говорили в Клинах!

Это некоторый род поражения безнадёжностью, а вовсе не

привязанность к Вавелю, к Висле и вербам. Я познакомился здесь с Хербертом<sup>[72]</sup>, ещё с ним увижусь, и с каким-то молодым чешским писателем, собственно, оба они — эмигранты, хоть и с заграничными паспортами. Кстати, Херберт уговаривает меня приехать сюда с Басей и сыном на год — в качестве стипендиата боннского МИДа. Но что это даст, кроме покупок заграничного барахла и хождения в кино? Херберт чувствует себя выкорчеванным, он один, как собака. А чех — весьма неглупый — толкует о “мировом гражданстве”. У обоих, конечно, есть немцы, которые осыпают их поцелуями. Привязанность к отчизне — чепуха. Впрочем, когда мы в этом году в сентябре поехали по грибы в Бещады и заехали в Пшемысль (какая там мёртвая окрестность), — вдруг львовская рана под влиянием похожего пейзажа начала кровавить. Это было перед вылетом в Москву — я раньше подумывал о поездке во Львов, но потом был уже не в состоянии сделать это. Отойти от этих лугов и лесов, забыться (если не учитывать снов и похмельной изжоги) в работе, имея верных переводчиков, — наверняка можно! Почему нет? Тормозом является только страх. (Херберт пьёт, из него вылезит львовское славянство белых графов, он не выносит таксистов — я не хотел бы стать таким!) Материально — из-за больших тиражей — мы чувствуем себя хорошо, ребёнок засыпан игрушками. Я думаю, что ребёнка, конечно, следовало заводить несколько раньше (мне уже 48 лет!). И вообще любовь к сыну изнутри сильно искусана угрызениями совести: что с ним будет? Ведь враньё у нас начинается в шесть-семь лет, то есть со школы...

Однако намного хуже Польша сейчас для тех, кому в самом деле хочется что-то сделать в интеллектуальной области. Отовсюду изгнаны философия, наука, литература. Русским чего-то ещё хочется — на самом деле; а у нас — покорность, цинизм, приспособленчество. Приехали тут сейчас разные Вайды. Он сам — приехал на двадцать четыре часа, добрался до отеля, навьюченный полными торбами; я тебе не доношу на него, но ведь стыдно! (Я, впрочем, тоже купил Томеку кучу игрушек — почему нет?) Но быть экспортным товаром, как Пендерецкий<sup>[73]</sup>... чтобы только сидеть тут с заграничным паспортом?..»<sup>{153}</sup>

После возвращения Лема в Краков переписка с Мрожеком надолго прервалась.

А вот переводчику Виргилиусу Чепайтису Лем 29 декабря того же года написал совершенно другой «отчёт» о своём пребывании в Западном Берлине. Конечно, написан этот «отчёт» с юмором (все знали, что письма перлюстрируются). Но, читая его, испытываешь сложные чувства.

«Вы получили мою открытку из Западного Берлина с мерзким изображением, то есть с прекрасным изображением этого мерзкого местечка? Я посылал потом Вам ещё одну открытку, уже из Кракова. В Берлине капиталистические кровопийцы были ко мне нечеловечески милы, как всегда, когда хотят присвоить себе исключительные права, залапать, чтобы потом высосать до дна. Заплатили мне большие деньги; на них я купил себе автомобиль (для Томаша, детский), перочинным ножиком разобрал его в отеле, купил в этом проклятом городе самый большой чемодан и упаковал детали, а в Кракове собрал заново — я ведь был автомехаником во время войны! Пустые места между деталями автомобиля я заполнил туалетной бумагой розового, голубого, жёлтого и золотистого цвета — ну не *мерзость* ли? Хищные рыбы капиталистического мира приглашали меня на обеды. Суп из ласточкиных гнёзд, пулярка, старое божоле. Всё это я должен был есть и пить, хотя знал, что в чистом виде это — материализованная прибавочная стоимость, результат сдирания седьмых шкур с масс. Чтобы пустить мне пыль в глаза, эти бандиты заполнили магазины и универмаги разным дешёвым добром, поэтому, желая отыгаться за войну, за оккупацию, а особенно за то, что они сожгли Варшаву, я со своей стороны нагребил у них всё, что только смог. Много добра не увёз, конечно, потому что уже не такой крепкий, как в то время, когда работал механиком. Но всё-таки нахапал этих марципанов, этих швейцарских шоколадок, кальсон (кальсоны эти делают почему-то цветными: предрассветное небо, заходящее солнце, полная луна, пробивающаяся через серебряные облака; и тому подобное), этих чудовищных носков, рубашек и прочих вещей; а также познакомился с бандой тамошних интеллектуалов, купил чудовищно тяжёлый, оправленный в фальшивый золотой переплёт альбом репродукций Сальвадора Дали — 47 долларов! — ух! эх! Произведения Л. Виттгенштейна и ещё кое-что эти мошенники сами мне добавили и даже

влезли в купе поезда и насильно всучили бутылку французского бургундского. Негодяи! И вообще там ужасно. Там господствует жуткий секс. Там продают искусственные гениталии для женщин и мужчин, какие-то резинки, прутья, ручки для ласкания и щекотания, кремы *megapen* (он должен увеличить пенис), *meganoklit* (этот должен доставить приятность дамам, то есть жёнам поджигателей). Порнография страшная. Из научного интереса я приобрёл и то, и это, даже “Жюстину” маркиза де Сада, чтобы изучать их преступные вожделения, — ведь они издают всё это, чтобы заработать и одновременно отвлечь внимание народа от серьёзных вещей. Впрочем, чудовищные описания половых актов я подарил на память о пребывании в Западном Берлине своим двум родственникам. Они охотно взяли, чтобы узнать способы, которыми оперирует наш враг. Так что мне осталась только “Жюстина”, а в ней ничего такого уж нового нет, всё-таки она устарела. В целях обольщения разместили меня в номере люкс, в котором ванная выглядела точь-в-точь как в фильмах о миллионерах; давали специальный крем для умягчения членов, чтобы они были более эластичными для разврата; несознательная в классовом отношении обслуга так и скакала вокруг меня, даже противно. А один особенно безобразный акул пытался приобрести права на все мои книжки, выходящие на территории Германии, и клал мне 1000 долларов на стол, и поил меня, и приглашал, но я, чтобы его растоптать, потребовал значительно больше, пусть теперь размышляет, стоит ли так разоряться...»<sup>{154}</sup>



В 1969 году Станислав Лем получил премию Комитета по делам радио и телевидения за сценарий телевизионного фильма «Слоёный пирог» и в том же году диплом признания от министра иностранных дел — за большой вклад в распространение польской культуры за границей.

«В будущем году исполнится двадцать лет с тех пор, как я начал работать в области фантастики, — писал Лем в статье, опубликованной в советской «Литературной газете». — За это время мои взгляды на потенциальные возможности жанра претерпели определённую эволюцию. В пятидесятые годы я писал, если можно так сказать, стихийно, а позже взялся за теорию. Две мои последние книги — “Философия случая” и “Фантастика и футурология” — как раз посвящены всяким теоретико-литературным проблемам. Тут я уже высказываюсь не только как писатель, основывающийся на своём личном опыте, но и как теоретик...»

И добавлял:

«При всём тематическом и жанровом разнообразии англо-американской фантастики там очень заметно то, что я назвал бы “параличом социального воображения”. Там пока совершенно невозможны произведения типа “Трудно быть богом” или “Обитаемый остров” А. и Б. Стругацких. Вообще, когда англо-американские фантасты пишут об отдалённом будущем, у них проявляются только две крайности — либо они представляют будущее совершенно “чёрным”, либо совершенно “розовым”...»<sup>[155]</sup>

Книга «Фантастика и футурология», о которой упоминает писатель, вышла в свет осенью 1970 года. Для многих, знавших писателя, не было секретом, что вообще-то Станислав Лем, признанный во всём мире мастер научной фантастики, — эту самую научную фантастику, скажем так, недолюбливал.

Он давно пришёл к выводу, что в подавляющем большинстве произведения, подпадающие под определение *научная фантастика*, не выдерживают никакой критики. 62 тысячи книжных и почти девять тысяч страниц журнальных англоязычных публикаций было прочтено писателем, не зря в одном из интервью он жаловался, что вся эта макулатура заполнила подвал его дома — негде хранить картошку...

Ирония иронией, но двухтомная «Фантастика и футурология» основательно зацепила, даже обидела многих англо-американских авторов. Даже в Польше критик М. Кучевский озаглавил свою рецензию «Молотом по научной фантастике».

Конечно, Лем не собирался обижать американцев.

Более того, он сам был обескуражен результатами проведённого анализа.

Даже в самых лучших фантастических произведениях писатель обнаруживал нелогичности, примитивный подход к глубоким проблемам, прямое стремление «лакировать действительность». Именно с этих позиций он обрушил свой «молот» на американцев. И через много лет в беседе со Станиславом Бересем он срывался на крик: «Все эти фантастические миры фальсифицированы! У них там весь Космос фальшивый! Физические параметры фальшивые! И характеры! И политическая реальность! Всё от начала до конца фальсифицировано!»

Нет, конечно, Станислав Лем не был против выдумок.

Пожалуйста, выдумывайте что угодно, считал он, но если уж возникает оригинальная мысль, не гасите её тотчас собственным невежеством, старайтесь развивать её на соответствующем непротиворечивом фоне, обоснуйте поведение персонажей в придуманном вами мире. Особенно возмущал Лема тот факт, что в произведениях, появляющихся под грифом *научная фантастика*, зачастую даже не пахнет никаким *научным подходом* к проблемам, совершенно не используются новейшие научные исследования...

Первая часть «Фантастики и футурологии» — это, собственно, не теория фантастики, это теория литературы вообще. Станислав Лем всегда мыслил крупными категориями. В этом случае он подробно исследовал язык изученных им произведений, их мир. При этом писатель отталкивался не столько от традиционного литературоведения, сколько от параллельных научных дисциплин, широко используя положения семиотики, информатики, теории игр. Немало усилий пришлось приложить переводчикам Сергею Макарцеву и Евгению Вайсброту, чтобы работа Лема вышла, наконец, и на русском языке.

В специальной главе «Эпистемология фантастики» (эпистемология — теория познания, вряд ли фантасты знали этот термин) Лем рассмотрел именно познавательную ценность исследуемого им вида литературы, причём основательно прошёлся не только по фантастике, но и по футурологии.

Выводы Станислава Лема оказались неутешительными.

Для большинства читателей, наверное, самой интересной оказалась вторая часть книги, в которой Лем описал так называемые проблемные поля фантастики: катастрофы, роботов, космос, эротику и секс, идею сверхчеловека, эксперименты, утопии и футурологию. Ни одно высказанное положение Станислав Лем не оставил голословным. Ссылками пестрит весь текст. Указатель имён занимает почти девять страниц. А. Азимов, Дж. Баллард, Дж. Блиш, Х. Л. Борхес, Р. Брэдли, Ф. Дик, А. Кларк, Б. Одцисс, О. Стэплдон, Р. Хайнлайн... Лем не щадил никого, но разборы его не только удивляли и возмущали поклонников исследуемых им писателей — они открывали новые грани их творчества.

Понятно, что одному, даже столь выдающемуся исследователю, как Станислав Лем, было не под силу проанализировать *весь* массив мировой фантастики. В одном из примечаний он, например, указывал на то, как внушительно выглядел бы каталог технических изобретений, сделанных научной фантастикой.

В конце XX века в СССР попытку создания такого каталога предпринял писатель и инженер Генрих Альтшуллер. В «Регистре фантастических идей» (до сих пор, кстати, не опубликованном) он привёл десятки тысяч самых неожиданных фантастических изобретений.

Лем не требовал от писателей-фантастов удачных предсказаний, не

предлагал им заменить футурологов. Но по представлениям Лема, фантаст — это прежде всего проектировщик «иных» реальностей, иных миров. При этом описываемые модели не должны быть внутренне противоречивыми. Они обязаны отвечать строгой логике структурной связности, нести критические размышления о последствиях технологических, общественных, нравственных преобразований. Сейчас особенно ясно видно, что взгляды писателя на расслоение земных обществ по экономическому признаку, взгляды его на фантастические направления развития науки (генная инженерия, информационные технологии, биоконструирование) ничуть не умозрительны, что рассматриваемые им проблемы требуют участия в их решении самых широких кругов общества. К сожалению, мы часто либо отстаём от развития науки, либо не хотим замечать постоянно возникающих изменений. В итоге научная фантастика в массе своей довольствуется возможностью оставаться чисто развлекательным жанром.

«Мы не хотим быть мыслящим тростником, — сказал однажды Лем Станиславу Бересю. — Мы не хотим знать, какие неприятности нас ожидают. Нам всегда хочется быть где-нибудь в другом месте, потому что там... приятнее».

Одному из своих корреспондентов (письмо сохранилось в архиве) Лем писал:

«В этой монографии («Фантастика и футурология». — Г. П., В. Б.) я размышлял, является ли научная фантастика генератором разнообразия для футурологов. Ответ получился отрицательным, потому что в мыслительном отношении эта область не очень заполнена предсказаниями. Признаюсь, что первоначально я собирался писать дальше — что-то вроде “Футурологии и Фантастики”, то есть наоборот: сколько фантазирования содержится в футурологии и каковы её методологические основания, но написать это, видимо, не получится. То есть написать-то, конечно, можно, но как опубликовать?...»<sup>{156}</sup>

«Дело не в слабости автора, — писал М. Кучевский в своей рецензии, — а, скорее, в его добросовестности и честности, тем более что мы уже неоднократно имели возможность убедиться в глубокой эрудиции Станислава Лема. “Фантастика и футурология” — это систематизированный широкий поток информации, собранный воедино. Без него нам пришлось бы всё это выискивать в многочисленных, тематически разрозненных энциклопедиях. Замечания автора лаконичны и поражают меткостью и глубиной содержания. Я бы назвал их своего рода “золотыми мыслями” о важных актуальных проблемах, постоянно

волнующих нас. Это мысли-суждения, это мысли-мнения, с большинством из которых нельзя не согласиться»[\[157\]](#).

Летом 1970 года у Лема гостил его племянник Михась.

Обнаружив, что Михась пишет с ошибками, Лем решил срочно исправить этот недостаток. Каждый день он безжалостно вызывал мальчика в свой кабинет и заставлял писать диктанты. Тексты он придумывал сам. Случайно у Михасы сохранились старые записи, и в 2001 году он их опубликовал.

Диктанты стоили этого.

«Дантисты вырывают зубы клещами, а на их место вставляют, что под руку попадётся. Домов у дантистов не бывает, они живут в старых облезлых шкафах с перегородками. Перегородки сделаны из длинных и коротких бамбуковых кольев, дно шкафов устлано сухим бурьяном. Дантисты иногда болеют тифом, а некоторые страдают от плоскостопия. Они редко ездят верхом. Ковыряние в носу, рыболовство, браконьерство, игра на нервах, равно как и секретное усекновение ушей пациентам, которые не платят за пломбируемые зубы, являются излюбленными занятиями дантистов. Охотятся они редко, но при встрече с дичью душат её голыми руками».

«Жил-был невоспитанный паренёк, который не хотел учиться, а к тому же отличался умственной ленью и желудочной предприимчивостью. Сколько бы он ни опаздывал на обед, всегда придумывал новые оправдания. Творец, расстроенный таким неприличным поведением, совершил чудо, в результате которого исполнились все желания этого паренька. По случаю эпидемии проказы были закрыты все школы. Случился потоп, и вся залитая водой земля превратилась в один купальный бассейн. А поскольку в воде плавало много продовольственных продуктов, паренёк мог неустанно объедаться. Однако теперь он мечтал о том, чтобы обсохнуть, пойти в школу и не есть уже угрей, форель, мокрый хлеб и яйца альбатросов. Но неторопливый Господь держал его в этих трудных условиях девяносто лет. Лишь будучи старцем, сильно скрученным ревматизмом, опираясь на седую бороду, паренёк вылез на берег, где и увидел приготовленный для него гроб».

«В соответствии с новым законом, принятым министерством просвещения, вместо плохих оценок за орфографические ошибки школьная молодёжь будет направляться в концентрационные лагеря. Там будут проводиться специальные усложнённые диктанты о хлебе и воде.

Ошибочно написанные слова будут выжигать молодёжи на лбу калёным железом. В департаменте рассматривалась возможность повешения рецидивистов, но пока от этой мысли отказались. Комендант лагеря будет располагать богатым набором наказаний: власяницей, жёсткой постелью, подковными гвоздями, а также голодными львами, которые в соответствии с распоряжением министра будут неисправимым вырывать ноги из того места, в котором спина утрачивает своё благородное название. Предусматривается заключение в тюрьму на срок до сорока лет. После отсидки выпущенный сможет сдать экзамен на аттестат зрелости».

Иногда при написании диктантов присутствовали собаки.

Они поочерёдно сменялись в доме: немецкая овчарка Раджа, дворняжка Дикусь, такса Пегас, овчарка Бартек. Жила в доме и кошка — Смолюха. Кличка очень точно определяла её цвет. Как ни странно, писатель питал необъяснимую симпатию к паукам, а маленькому Томашу часто рассказывал сказки, которые сам и придумывал. По воспоминаниям сына, речь в сказках чаще всего шла о королевстве гномов, которые не только владели магией, но и были хорошо знакомы с техникой. Они летали на воздушных шарах, плавали в подводных лодках, воевали с драконами. Видимо, истории эти были столь же случайными, как и диктанты для Михася, но, к сожалению, не сохранились; Томек тогда ещё не умел писать.

Рабочий день Лема начинался обычно в четыре часа утра, иногда даже раньше. Работал он в кабинете, заставленном полками книг по всему периметру, на старенькой, видевшей виды пишущей машинке. Машинописные листы регулярно подвергались сжиганию на костре за домом, этим обычно занималась пани Барбара. Лем не хранил черновики изданных им книг, а также уничтожал все тексты, которые его по каким-либо причинам не устраивали.

Ассоциация исследователей научной фантастики (*Science Fiction Research Association*) была создана в США в октябре 1970 года. Она объединила прежде всего американских учёных, занимавшихся изучением научной фантастики в различных университетах, а также писателей-фантастов. Первым председателем ассоциации был избран Томас Д. Кларсон, который ещё в 1959 году основал академический журнал «Экстраполяция» («*Extrapolation*») — для тех же целей. Наличие учёной степени или преподавание в учебном заведении не было обязательным требованием для членства в ассоциации, поэтому её ряды постоянно расширялись за счёт активных исследователей и авторов, живших не только в США и Канаде.

В 1971 году в ассоциацию был принят и Станислав Лем.

Некоторые его статьи были к тому времени опубликованы на немецком языке.

Поначалу Лем принял самое активное участие в работе ассоциации, даже согласился быть соредактором журнала «*Science Fiction Studies*», но его интерес к теории жанра часто приобретал весьма причудливые формы, ставившие в тупик других исследователей.

«Сейчас я пишу “Абсолютную пустоту”, — сообщал писатель в 1969 году переводчику Виргилиусу Чепайтису. — Это рецензии на несуществующие книжки — *mirowaja wieszcz budiet, kaietsa...*»<sup>[158]</sup>

Новая книга вышла в свет в апреле 1971 года.

В неё вошло 16 рецензий на действительно *пока что не изданные, даже не существующие произведения*.

Все тексты книги автор делил на три категории.

Первая — пародии, подражания и передразнивания, вторая — черновые наброски тех романов, которые автор (читай: Станислав Лем. — Г. П., В. Б.) не смог или не захотел написать, наконец, третья — тексты, в которых писатель последовательно излагал свои неортодоксальные взгляды на отношения технологий и культуры, на противостояния теорий вероятности и случая (в рецензии на несуществующий труд «Новая Космогония» автор даже нарисовал революционную картину Вселенной — Игры разумов).

«Кстати, — писал Лем В. Капуцинскому (13 декабря 1972 года), — мой переводчик из ФРГ, большой педант, выловил некоторые ляпсусы в



“Абсолютной пустоте”. Два ляпа смешные. Например, профессор Коуска говорит, что мать за год до его собственного рождения зачала его сестру, — конечно же, она не могла быть беременной двумя разными детьми в таком коротком промежутке времени. А ещё я писал о генерале Самсонове — в 1915 году после падения крепости Пшемысль, а ведь Самсонов покончил жизнь самоубийством ещё после битвы под Танненбергом; пришлось заменить его в немецком издании на Денисова<sup>[74]</sup> из царского штаба. Сами теперь видите, какой этот Лем небрежный!..»<sup>{159}</sup>

И ещё — из письма (от 22 декабря 1972 года).

Возможно, оно было отправлено переводчику Томасу Хойсингтону.

«Вопрос о том, в какой мере мои собственные произведения состоят в родстве с *SF* (научной фантастикой. — Г. П., В. Б.), нельзя решить однозначно, поскольку это бывает по-разному, в зависимости от того, рассматривать мои ранние или более поздние тексты. Те, что написаны двадцать лет назад, действительно были крепко связаны с классическим канонem *SF*; впрочем, теперь именно это я считаю их наибольшей слабостью, поскольку пользовался слишком уж окаменевшим канонem. Затем я пытался этот канон сломать, обращаясь как к возможностям самого языка, так и к более высоким парадигмам, как, например, в книгах “Кибериада”, “Абсолютная пустота”, “Мнимая величина”. Концепция последних произведений всё более лингвистическая. Они не описывают никакой фиктивной действительности, а лишь некоторые фиктивные или попросту несуществующие тексты, представляющие литературу будущего времени — не только беллетристику, но также литературу философского, культурологического и естественнонаучного типа. Тем самым я всё-таки вышел за пределы ходячих стереотипов...»<sup>[160]</sup>

Все эти поиски, хлопоты, раздумья накладывались на быт.

«Тут на меня свалилось всякое, — жаловался Станислав Лем (19 июля 1971 года) Владиславу Капуцинскому. — Приехал к нам семнадцатилетний милый хлопец из США, племянник жены, ненадолго в Польшу. LOT<sup>[75]</sup> где-то потерял его багаж, мы набегались, пока нашли чемоданы, потом за ними пришлось ехать в Катовице, потому что ЮГ пальцем не шевельнул, а на следующий день по прибытии гостя у моей жены выскочил позвоночный диск, и десять дней она провела парализованная в постели, а когда я повёз хлопца до Ойцува на новом польском “фиате”, только что купленном, то столкнулся с какой-то “варшавой”, и лишь благодаря мощному заступничеству и взяткам удалось отремонтировать мой автомобиль через шесть дней, я уж не говорю, во что это мне обошлось, так как хоть в столкновении и не было моей вины, но та машина не была (!!!) застрахована, и требовать возврата издержек можно было только через судебное разбирательство.

Вдобавок ко всему у меня заболел коренной зуб, щека распухла от флюса, честно Вам признаюсь, я напугался — антибиотики, к этому ещё

кошмарный насморк, а тут двух наших соседей и близких друзей на вертолёте привезли с Бещад, где они пережили лобовое столкновение на “сиренке” с восьмитонным ЗИЛом. “Сиренка” в куски, у женщины сломано основание черепа, а у водителя “только” сотрясение мозга, трещина в кости скулы и перелом ноги; машины у нас как раз не было, зато гость в доме. Жена лежала со своим диском, я от веронала, аспирина, пирамидона света не видел, все замечательные друзья-врачи (коллеги жены) как раз в отпусках, одним словом, могила. Только теперь, чтобы не сглазить, из всего этого потихоньку выбираемся. Череп той пани скрепили, жена ходит, хотя по-прежнему на больничном, щека моя опала, машину отремонтировали, чемоданы нашли, гостя вожу и экранирую от недостатков ПНР, насколько могу, но, естественно, ни работать, ни даже отвечать на письма (хотя это уже менее важно) не могу. Отложил всё до осени, выступления отменил, и надо было только того ещё, что именно сейчас нам начали долбить стены, чтобы проложить газовые трубы, а когда они уже были проложены, оказалось, что у нас вообще нет дымоходов в ванной комнате, хотя на плане дома они нарисованы чёрным по белому, тем более что дом был построен много лет тому назад с газовой установкой, теперь эти трубы вынимают, дыры нужно затыкать, а всю установку укладывать как-то иначе, потому что я не разрешил трогать мою комнату. Как выяснилось, только через стену моей комнаты можно провести дымоходные каналы, а для этого надо развалить всю библиотеку, которая “навсегда” вогнана полками в стены — 4000 книг выносить, и всё это при госте в доме. Представляете?»

В том же письме Лем сообщал:

«Вчера получил приглашение от советской Академии наук на международную конференцию о космических цивилизациях в Бюракане (Армения) — на 5 сентября. Из Польши я единственный приглашённый, а там будет цвет мировой науки — Фейнманы, Саганы, Дайсон и т. п., и вообще я — единственный не профессор. Приглашение подписал Шкловский. Только сразу такой вот удар: просят, чтобы меня послал в Бюракан Президиум Польской Академии наук. Это как же я с таким приглашением пойду в Академию? Уж лучше промолчу, а русским pošлю дипломатичный отказ...»<sup>{161}</sup>

В сентябре 1971 года вышел сборник Лема — «Бессонница».

Впервые в книжном виде писатель представил сценарий «Слоёный пирог», по которому Анджей Вайда снял свой фильм. А ещё в сборнике был рассказ «Ананке», завершивший цикл «Рассказы о пилоте Пирксе». В рассказе этом командор (уже командор!) Пирке участвует в расследовании катастрофы космического транспорта на марсианском плато Агатодемон. Вся соль заключалась в том, что причиной катастрофы послужило расстройство личности {ананкастический синдром — чрезмерная склонность к сомнениям) человека, который проводил имитационные тесты компьютера, поставленного на транспорт. И ещё вошла в «Бессонницу» рецензия на несуществующую книгу Артура Добба «Не буду служить» — о персонетике, искусственном разведении разумных существ. Не осталась не замеченной читателями и очередная (как всегда, приятная для автора) добавка к «Кибериаде» — рассуждения о фелицитологии.

«Как-то сумеречной порой знаменитый конструктор Трурль пришёл к своему другу Клапауцию задумчивый и молчаливый; когда же приятель попробовал развеселить его последними кибернетическими анекдотами, неожиданно отозвался:

— Напрасно хмурое расположение моего духа пытаешься ты обратить во фривольное! Меня снедает открытие столь же печальное, сколь несомненное: я понял, что, проведя всю жизнь в неустанных трудах, ничего великого мы не свершили!

При этих словах он направил свой взор, исполненный отвращения и укора, на богатую коллекцию орденов, регалий и почётных дипломов в позолоченных рамках, развешанную по стенам Клапауциева кабинета.

— На каком основании ты выносишь приговор столь суровый?

— Сейчас растолкую. Мирили мы всякие враждующие королевства, снабжали монархов тренажёрами власти, строили машины-говоруны и машины для занятий охотничьих, одолевали коварных тиранов и разбойников галактических, что на нашу жизнь покушались, но всё это только нам одним доставляло утеху, поднимало нас в собственных глазах; между тем для Всеобщего Блага мы не сделали ничего! Все старания наши, имевшие целью усовершенствовать жизнь малых мира сего, не увенчались ни разу состоянием чудесного Совершенного Счастья. Вместо решений действительно идеальных мы чаще всего предлагали одни протезы,

суррогаты и полумеры и потому заслужили право на звание престиждитаторов онтологии, ловких софистов действия, но не Ликвидаторов Зла!

— Всякий раз, как я внимаю речам о программировании Всеобщего Счастья, у меня мороз проходит по коже, — ответил Клапауций. — Опомнись, Трурль! Разве не памятни тебе бесчисленные примеры такого рода попыток, которые в лучшем случае становились могилой честнейших намерений? Или ты успел позабыть о плачевной судьбе отшельника Добриция, пожелавшего осчастливить Космос при помощи препарата, именуемого альтруизином? Разве не знаешь ты, что можно хотя бы отчасти облегчать бремя житейских забот, вершить правосудие, приводить в порядок коптящие солнца, лить бальзам на колесики общественных механизмов, — но счастья никакой аппаратурой изготовить нельзя? О всеобщем его воцарении можно лишь мечтать сумеречной порой — вот как сейчас, можно лишь мысленно гнаться за идеалом, чудной картиной услаждать духовное зрение, — но на большее не способно и самое мудрое существо, приятель!

— Это только так говорится! — пробурчал Трурль.

— Впрочем, — добавил он чуть погодя, — осчастливить тех, кто существует издревле, к тому же способом кардинальным и потому тривиальным, быть может, и вправду задача неразрешимая. Но можно создать существа иные, запрограммированные с таким расчётом, чтобы им ничего, кроме счастья, не делалось. Представь себе только, каким изумительным монументом нашего с тобой конструкторства была бы сияющая где-то в небе планета, к которой премножество племён галактических с упованием возводили бы очи, восклицая: “Да! Поистине, счастье возможно, в виде неустанной гармонии, как доказал великий конструктор Трурль при некотором участии друга своего Клапауция, и свидетельство этого здравствует и процветает в пределах досягаемости нашего восхищённого взора!”

— Ты, полагаю, не сомневаешься, что о предмете, тобою затронутым, я уже размышлял не однажды, — признался Клапауций. — Так вот: он связан с серьёзнейшими проблемами. Урока, преподанного тебе попыткой Добриция, ты не забыл, как я вижу, и потому вознамерился осчастливить создания, каких ещё нет, другими словами, сотворить счастливых на пустом месте. Подумай, однако, можно ли осчастливить несуществующих? Сомневаюсь, и очень серьёзно. Сперва ты должен доказать, что состояние небытия во всех отношениях хуже состояния бытия, даже не слишком приятного; иначе фелицитологический эксперимент, идеей которого ты так

захвачен, пойдёт насмарку. К мириадам грешников, переполняющих Космос, ты добавил бы полчища новых, тобою созданных, — и что тогда?»

В итоге Трурль, проведя тысячи экспериментов с микроцивилизациями, приходит к выводу, что счастливым может быть лишь чистый синтезированный кретин. Определение же счастья, которое даёт Кереброн, учитель Трурля, годится лишь для того, чтобы окончательно сбить с панталыку бакалавра чёрной магии Магнуса Фёдоровича Редькина из сказки братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», который коллекционировал подобные дефиниции: «Счастье — это искривлённость, иначе экстенсор метапространства, отделяющего узел координатно интенциональных матриц от интенционального объекта, в граничных условиях, определяемых омега-корреляцией в альфа-размерном, то бишь, ясное дело, неметрическом континууме субсолнечных агрегатов, называемых также моими, то есть керебронowymi, супергруппами».

Кереброн, впрочем, успокоил Трурля.

«Ошибка твоя, — сказал он, — заключалась в том, что ты не знал — ни чего хочешь достичь, ни как это сделать. Это, во-первых. Во-вторых: устроить Вечное Счастье проще пареной репы, только кому оно нужно? Чтобы создать гедотрон, надлежит поступать иначе. Вернувшись домой, сними с полки XXXVI том “Полного собрания” моих сочинений и открой его на 621-й странице. Там ты найдёшь схему Экстатора — единственного из всех устройств, наделённых сознанием, которое ничему не служит. Только оно в 10 000 раз счастливее, чем Бромео, дорвавшийся до своей возлюбленной на балконе. Ибо, в знак уважения к Шекскиберу, за единицу измерения счастья я принял воспетые им балконные утехы и назвал их бромеями; ты же, не потрудившись хотя бы перелистать труды своего учителя, выдумал какие-то идиотские геды! Гвоздь в ботинке — хороша мера высших духовных радостей! Ну-ну... Так вот: Экстатор блаженствует абсолютно, благодаря насыщению за счёт многофазного сдвига в сенсуальном континууме, а проще сказать, благодаря автоэкстазу с положительной обратной связью. Чем больше он собою доволен, тем больше он собою доволен, и так до тех пор, пока потенциал не упрётся в ограничитель. А без ограничителя знаешь, что было бы? Не знаешь, опекун Мироздания? Раскачав потенциалы, машина пошла бы вразнос! Да, да, мой любезный невежда! Ибо замкнутый контур... Впрочем, к чему нам все эти лекции в полночь, да ещё из холодной могилы? Сам считаешь... Предполагаю, правда, что мои сочинения пылятся у тебя на самой дальней полке или, что представляется мне ещё более вероятным, после моих похорон распиханы по старым сундукам и ютятся в чулане. Так ведь?

Состряпав парочку финтифлюшек, ты возомнил себя первейшим пронырой в Метагалактике. А? Где ты держишь мои “Opera omnia”? Отвечай!

— В чулане... — пробормотал Трурль, что было ложью. Он давно уже свёз эти “Opera omnia” в Городскую Библиотеку.

К счастью, труп его наставника не мог этого знать, так что профессор, довольный своей проницательностью, продолжил уже почти благосклонно:

— Ну, ясно... Однако же мой гедотрон никому, ну, просто никому не нужен, ибо сама мысль о том, что межзвёздную пыль, планеты, спутники, звёзды, пульсары, квазары и прочее надо переделать в бесконечные шеренги Экстаторов, могла зародиться лишь в мозговых извилинах, завязанных топологическим узлом Мёбиуса и Клейна. То есть в извилинах, искривлённых по всем направлениям интеллекта. О, до чего же я долежался! Давно пора врезать в калитку могильной оградки английский замок и зацементировать аварийную кнопку надгробия! Таким же вот звонком твой приятель Клапауций вырвал меня из сладостных объятий смерти. Это было в прошлом году, а может, и позапрошлом, у меня ведь, сам понимаешь, нет ни календаря, ни часов, — и мне пришлось воскреснуть потому только, что мой самый выдающийся ученик никак не мог своим умом совладать с метаинформационной антиномией теоремы Аристоидеса. И я, прах среди праха, я, хладный труп, должен был прямо из могилы растолковывать ему вещи, которые он при желании нашёл бы в любом приличном учебнике континуально-топотропической инфинитезмалистики. О Боже, Боже! Какая жалость, что Тебя нет, а то бы ты задал перцу этому киберсыну!...»

Но подлинным украшением сборника стала повесть «Футурологический конгресс».

Знаменитый звёздный путешественник и исследователь Ийон Тихий прибывает на конгресс футурологов в город Костарикану. К сожалению, в результате беспорядков, возникших в городе, он сам и его коллеги подверглись сильному воздействию психотропных средств, которыми на самом деле полиция должна была успокоить толпу на улицах. В ужасном галлюциногенном сне Ийон Тихий попадает в далёкое будущее — в 2039 год, когда весь мир переменился. И правит этим новым миром — химия. С помощью самых различных препаратов люди могут запросто получить образование, профессию, поправить здоровье, улучшить настроение. В новом будущем даже язык кардинально изменился. Вот он — прекрасный новый мир! Живи и получай удовольствия! Но довольно скоро Ийон Тихий начинает подозревать, что вообще-то многое вокруг происходит как-то *не так*. И вот выясняется, что прекрасный новый мир — это всего лишь фантом, это всего лишь действие так называемых «масконов», то есть галлюциногенов, создающих виртуальную реальность.

Одновременно с футурологическим конгрессом в Костарикане проходит конференция молодых бунтарей группировки «Тигры» и конференция Ассоциации издателей освобождённой литературы.

Ситуация, как это ни странно, человеку из XX века очень знакомая.

«Едва я уселся в баре, как широкоплечий курчавобородый сосед (по его бороде я мог, не хуже чем по меню, прочесть, что он ел на прошлой неделе) сунул мне прямо в нос массивную, с окованным прикладом, двустволку и, радостно гогоча, осведомился, какого я мнения о его *папинтовке*. Я не понял, о чём это он, но предпочёл не показывать виду. Молчание — лучшая тактика при случайных знакомствах. И, правда, он тут же с готовностью объяснил, что этот скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом — идеальное оружие для охоты на Папу Римского».

Любопытно, что «Футурологический конгресс» написан был в 1970 году, а настоящее покушение на папу римского Иоанна Павла II (с которым Лем был знаком ещё по Кракову) состоялось 13 мая 1981 года, то есть через десять лет. Для «футуролога» Станислава Лема — успех несомненный.

«Сперва я решил, что передо мною маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время везде хватает. Но ничуть не



бывало! Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета — ибо его двустволка то и дело падала на пол, — он объяснил мне, что сам-то он истовый, правоверный католик; тем большей жертвой будет с его стороны эта операция (“операция П”, как он её называл). Нужно взбудоражить совесть планеты, а что взбудоражит её сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же самое, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком, только наоборот: не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем самым пример высочайшего самоотречения».

Картины, написанные Лемом, очень узнаваемы.

«Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии — произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы; здание дрогнуло, зазвенели оконные стёкла, но футурологи-оптимисты кричали, что это просто землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок (они пикетировали отель с самого начала конгресса) бросила в холл петарды. Меня разубедил ещё более сильный грохот и сотрясение; теперь уже можно было различить стаккато пулемётных очередей. Обманываться не приходилось: Костарикана вступила в стадию уличных боёв. Первыми сорвались с места журналисты — стрельба подействовала на них, как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить своё выступление, в общем-то, довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что, если ничего не изменится, через четыреста лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света...»

Да, будущее доверху наполнено странностями.

«Мы с профессором расчихались — защекотало в носу.

Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся — об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли прямо на глазах, набухали и распускались, белёсые, правда, как и положено подвальной растительности; я чувствовал: ещё немного — и начну плодоносить...»

«Астронавты», «Магелланово облако», «Возвращение со звёзд», даже «Непобедимый», даже «Солярис» Лема изначально предназначались для всех, — а вот новые книги писателя становились всё более и более непонятными. Уточним, впрочем, — для *массового* читателя. В новых книгах надо было разбираться, над ними следовало думать. Ну как, в самом деле, поклоннику «Астронавтов» осилить «Футурологический конгресс»?

«После обеда я усваивал любопытнейшую монографию “Интеллектрическая история”. Кто бы мог в моё время подумать, что цифровые машины, преодолев определённый порог разумности, потеряют надёжность, а всё потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это называется по-учёному — “правило Шапюлье” (или закон наименьшего сопротивления). Машина тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что ей прикажут. А смышлёная, она сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться. Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум — это внутренняя свобода. Вот откуда взялись все эти роботрясы и роботрутни, а также такое специфическое явление, как симкретинизм. Симкретин — это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались. Попутно я выяснил, что такое десимулы: они просто-напросто притворяются, будто не притворяются дефективными. А может, наоборот. Сразу не разберёшь. Лишь примитивный робот (примитивист) может быть роботягой; но придурист (придуривающийся робот) — отнюдь не придурок.

В таком афористическом стиле выдержана вся монография.

Электронный мусорщик — компостер. Будущий робофицер — компьонкер. Деревенский робот — цифранин, или цифрак. Корруппьютер — продажный робот, контрпьютер (*counter-puter*) — робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими; из-за скачков напряжения в сети, вызванных скандалами контрпьютеров, случались серьёзные электрогрозы и даже пожары. Робунт — взбунтовавшийся робот. А озвероботы (одичавшие роботы)! А их сражения — робитвы, электросечи! А суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвоботы — подводные роботы! А ещё ведь и автогулёны или автогуляки (*les robots des voyages*), и челоуенцы (андроиды), и ленистроны с их самобытным творчеством! История интеллектроники подробно повествует и о синтезе искомых

(искусственных насекомых); некоторые — например, програмухи — даже включались в боевой арсенал. Тайняк, он же внедрец, — робот, выдающий себя за человека, “внедряющийся” в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу, — явление, увы, позорное, но нередкое, — этих бедняг называют трупьем. Говорят, раньше их вывозили в резервации, для облавной охоты, но Общество защиты роботов добилось закона, запретившего подобное варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-самоубийцы — автоморты. Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим прогрессом, оттого и возможны столь печальные, даже трагические явления. Самое большее — изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет двадцать назад серию экономических и политических кризисов. Большой Автомахинатор, который в течение девяти лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато целыми кипами отправлял фальшивые отчёты, сводки и рапорты о выполнении плана, а контролёров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что, когда его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не окупался, так что его торпедировали. Зато пиратронов никогда не было; это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный по французской лицензии и занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве уполномоченного ГЛУПИНТа (Главного управления интеллектроники), вместо того чтобы осваивать Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютеренёром...» И всё такое прочее.

Из письма неизвестному адресату (от 16 ноября 1971 года): «Стрессы сегодня, конечно, сильнейшие, дорогой Пан. Но побойтесь Бога, во времена смертельных танцев, когда половина Европы была обречена на разные чёрные смерти, оспы, чумы, когда люди буквально сходили с ума, о чём свидетельствуют воспоминания тогдашних обитателей Европы, стрессы разве были слабее? Представление, что мы живём в наипаскуднейшем из всех возможных миров и времён, является заблуждением, фальсификацией перспективы по принципу “своя рубашка ближе к телу”. Причин пресыщенности, повышения порога восприимчивости к Произведениям — огромное количество, самых различных, и только разум всё ещё пытается поймать за хвост ту одну-единственную релевантную, — словно других одновременно быть не может. Пример: Запад — рост предложений, чисто количественный потоп, обескураживающее обилие, взаимное гашение сосуществующих звёзд, слишком много мод, слишком быстрая их смена, коммерциализация, прагматизация, падение цензурных барьеров; Восток — преобладание социотехнических методов полицейского типа, манипуляции сознанием, падение веры в автономию высших ценностей, лёгкость слома суверенных качеств духа...»

И далее:

«Мне кажется, многое всё же можно было бы сделать, если бы не толпы профессиональных преградителей и тормозов из полицейских кланов. Разум на Земле, как и раньше, преследуем, часто неумышленно, то есть даже не напрямую, а косвенно, что бывает результатом самых обычных, то есть очень распространённых политических конъюнктур. Не столько стрессовость времён приходит в столкновение с разумными намерениями, сколько внезапное вторжение новых информационных технологий. Всяческое дерьмо, кич, враньё — дешёвка ревёт из гигантских громкоговорителей эпохи, атакует глаза, мозги, ликвидирует зародыши самостоятельного мышления, и это, по разным причинам, и на Востоке, и на Западе получает вполне подобное в результативной параллельности развитие. Что здесь можно сделать? Я же не улучшатель-психопат, который носит за пазухой главный план спасения человечества. Я могу, что делаю, а делаю в аккурат то, что могу. И стараюсь делать как можно лучше, поскольку именно в качестве продукта нахожу награду для себя (“добродетель — твоя награда”). Панацеи, к сожалению, у меня нет,

образцов не знаю, рецептов не скрываю. А Вы, как мне видится, попали в какуюто яму, впали в депрессию. В принципе, то, что может интеллект, часто зависит от его оправы, от состояния, капризов и настроения нашего духа — таков наш механизм, всё ещё не исследованный»[{162}](#).

Из письма Рафаилу Нудельману (27 января 1971 года): «Что касается “Футурологического конгресса”, то целиком он составляет почти сто страниц, и сдаётся мне, что у него, кажется, нет никаких шансов на публикацию (в Советском Союзе. — Г. П., В. Б.). Поэтому его вам не высылаю...»

И далее: «В 50-е годы хотя бы можно было сориентироваться, что годится, а что нет, а теперь ни один дьявол не признается, почему какая-то невинная сказочная историйка вдруг оказывается “не того”...»

И опять Рафаилу Нудельману (13 февраля 1972 года): «Похоже на то, что центр тяжести моего воздействия понемногу всё-таки смещается на Запад, а в особенности в США, причём речь идёт не о море цветов, а скорее о довольно горячих спорах, вызванных моим творчеством, которое, как вы знаете, от типичной массовой НФ сильно отличается. А потому меня атакуют, между прочим, и как личность *красную*. Но я не смиряюсь, я довольно энергично огрызаюсь и даже контратакую, высказывая в интервью, статьях и т. п., написанных для западной прессы, разные свои острые суждения о некоторых тузах родом из США...»

И ещё из письма Майклу Канделю (1 августа 1972 года): «Продолжаю читать Тодорова<sup>[76]</sup> — “L'Introduction и фантастическую литературу” и морщусь от типичного академического кретинизма. Ни один из этих линнеевских классификаторов не в состоянии понять, что царство мёртвой или живой материи поддаётся классификационной сегментации с совершеннейшим равнодушием. А вот как только тот же теоретик пытается своими обобщениями накрыть человеческие произведения, словно бабочку сачком, так авторы из чувства противоречия тут же делают всё, что могут, чтобы схему эту разбить, уничтожить, развалить. Непокорность произведений проистекает из тех усилий, которые на языке Шопенгауэра называются индивидуализацией, то есть перетрансформированной *Mile*, которая становится видимой для *Vorstellung*<sup>[77]</sup>. Меня просто парализует мысль о необходимости дискутирования на этом уровне. Что же касается того, уверен ли я, что стоит тратить большие усилия на просвещение других... Ну, знаете, я и в этом уже не уверен... Я просто делаю то, что могу, и не потому, что верю в социально-положительную успешность такого рода занятий, моих или не моих, а потому, что ничего иного делать не умею...»

И далее: «Благодарю Вас за забавную вырезку о роботах. Балую меня, американское посольство заваливает меня газетой “New Yorker”, довольно нудной. Единственное, что меня там развлекает, — великолепие рекламы. Мир сегодняшней рекламы имеет собственную онтологию, да, это так! Там локализован рай нашей эпохи, пусть и недоступный. Эти туфли, эти аперитивы, эти автомобили. Престолы, Серафимы, Архангелы. И всё-таки “New Yorker” нуден до тошноты. У нас в таких случаях говорят, что американцев хлеб распирает, но у русских для этого есть ещё более меткая поговорка — *s iyru biesiatsia...*»<sup>[163](#)</sup>

В 1972 году Станислав Лем вошёл в состав комитета Польской академии наук «Польша 2000». Комитет этот был основан в 1969 году, правда, с 1989 года стал называться «Польша в XXI веке», а сейчас — «Польша 2000 Плюс».

Поначалу Лем воспринял работу в комитете с большим энтузиазмом.

«В Соединённых Штатах занимаются глобальной футурологией, касающейся будущего всего земного шара, — писал он. — Но их футурология весьма плоха. Наша концепция будущего строится совсем на других принципах. Планирование развития собственной страны, как это делаем мы, не только разумно, но необходимо. Своевременные предсказания будущего позволяют предпринять соответствующие предохранительные меры. Кстати, если уж Вы вспомнили моду на футурологию, то я хотел бы напомнить, что вот уже второй год читаю лекции для студентов факультета польской филологии Краковского Ягеллонского университета, и на лекции эти приходят не только молодые полонисты, но и астрономы, физики. Я называю курс своих лекций “общей теорией всего”, ибо затрагиваю в них и проблемы современной жизни, и предсказание будущего, и литературу...»<sup>[164]</sup>

Правда, кое-какие опасения у Лема были.

«Когда меня пригласили в Комитет “Польша 2000”, я уже на первом заседании попытался объяснить, что всё, что мы сможем сделать, видимо, останется неинтересным для политиков, а то, к чему политики так часто испытывают жгучий интерес, вряд ли мы сможем предсказать. Никто не пришёл от моих слов в восторг»<sup>[165]</sup>.

Скоро Лем убедился, что его работы в этом направлении и в самом деле не слишком востребованы. Когда, например, к нему обратился профессор Богдан Суходольский<sup>[78]</sup> с просьбой высказать свою точку зрения на формирование современного человека в Польской Народной Республике, Лем ответил ему длинным подробным письмом. В культуре у нас, писал он, положение дел даже хуже, чем в экономике. Срочно необходим доступ творческих людей к материалам, конфискованным цензурой.

Но правительство выводами комитета не заинтересовалось.

Официальных ответов или не было, или приходили ничего не значащие отписки.



А будущее, понятно, строится на реалиях.

Мир кипел. Всё в нём менялось каждую неделю.

В январе 1972 года в Гане произошёл военный переворот, гражданское правительство Кофи Бусиа было смещено, власть принял полковник Игнатиус Ачампонг. В феврале в Эквадоре к власти пришли военные во главе с бригадным генералом Гильермо Родригесом Ларой. 22 февраля произошёл переворот в Катаре. В тот же день — попытка переворота в Конго. В марте пришли сообщения о предотвращении попытки государственного переворота в Чили. На другой день вспыхнуло восстание офицеров в Сальвадоре. В марте кнессет Израиля принял резолюцию о «неоспоримости исторических прав еврейского народа на страну Израиль», что, конечно, тоже не добавило политической стабильности в регионе. Ни одна страна в мире, насильно разделённом «железным занавесом», больше не чувствовала себя защищённой. Это касалось и сверхдержав — США и СССР.

Одновременно совершаются крупные открытия в генетике, биологии, экономике, физике. Одна за другой организуются американские лунные экспедиции: «Аполлон-16» (астронавты Джон Янг, Чарлз Дьюк и Томас Маттингли), «Аполлон-17» (Юджин Сернан, Харрисон Шмитт и Рональд Эванс); на орбиту Земли выводятся станции «Салют» и «Мир» (СССР), «Скайлэб» (США), европейские и японские модули «Кламбус» и «Кибо». Но в это же время президент США Ричард Никсон отдаёт приказ о минировании входов в морские порты Вьетнама и нанесении серии бомбовых ударов по внутренним водным, железнодорожным и шоссейным коммуникациям страны. Уотергейтский скандал закончился отставкой президента Никсона, но войны это, конечно, не отменило.

А 5 сентября 1972 года весь мир был потрясён «мюнхенской бойней».

На этот раз жертвами палестинской террористической организации «Чёрный сентябрь» стали 11 израильских олимпийцев. Пятеро террористов были застрелены полицейскими в ходе неудачной операции по освобождению заложников, а трое схвачены, хотя позднее их освободили после захвата членами «Чёрного сентября» авиалайнера немецкой компании «Люфтганза». Впрочем, Голда Меир и Комитет обороны Израиля не захотели с этим смириться, и, выполняя тайный приказ, сотрудники МОССАДа (Ведомства разведки и специальных задач) выследили и

уничтожили всех ответственных за убийство израильских спортсменов...

Станислав Лем внимательно наблюдал за изменениями в мире.

Писателю, пережившему войну, несколько оккупации, потерявшему многих близких и друзей, новый миропорядок не казался добрым.

Из письма В. Капуцинскому (13 декабря 1972 года):

«О здоровье (моём) — кратко. Практически *nervus acusticus*<sup>[79]</sup> повреждён. Исследования показали, что исчезла не столько абсолютная сила моего слуха, сколько способность различения звуков речи от фонового шума — что на практике выглядит так, что я слышу произносимые слова, но не понимаю их. Слуховой аппарат при этом не очень помогает, поскольку усиливает “всё как есть”. Я в последнее время, правда, не обращал особенного внимания на уши, потому что никак не мог избавиться от бронхита, а вдобавок начались новые серьёзные атаки астмы; что удивительно, мне пришлось принимать таблетки и порошки, предназначенные для моего Томека! Ну, я принял какие-то миллионы пенициллина, и бронхит прошёл. Атаки астмы тоже стали реже и слабее, но совсем не проходят, потому что я курю, не могу не курить, потому что если не курю за машинкой, то вместо того, чтобы думать о писании, нервно начинаю ощупывать руками всё вокруг, разыскивая сигареты, зажигалку и т. п.

Впрочем, и это всё мелочи. Гораздо хуже для меня бессонница.

Не сама по себе, я ведь могу лежать и без сна, — но из-за бессонницы я не могу писать, потому что в голове сплошной туман. В последнее время стало несколько лучше, но подозреваю, что это произошло как бы “само по себе”, а не от какого-то лечения. Я ведь долго принимал барбитураты, понимая, что нельзя этого делать. “Mogaden” и “Phenergan” избавляли от астмы, я даже засыпал сначала, зато потом, как телёнок, вставал и кружил по дому, такой тупой, что не дай боже. Но, повторяю, всё это как-то вдруг прошло, и теперь я сплю свои шесть с половиной часов, чтобы утром добраться до пишущей машинки...»

И далее:

«Как у меня издавна водится, планировал я одну книгу, а написал совсем другую, под названием “Wielkość urojona”. По-польски это звучит исключительно хорошо, а вот по-русски, например, не очень, потому что надо решать, или это *mnimaja wieliczina*, или *mnimoje wieliczije*, в то время, как у нас оба значения заключены в одном слове; по-немецки тоже можно

сказать “Imaginäre Grösse”.

Вообще-то это антология Вступлений к Ничему, хотя и не совсем, потому что всё это теперь “сфутурологизировалось” и стержень книги составляет “Голем”, о котором я наверняка уже должен был когда-нибудь пану профессору писать; и этот Голем, с его инаугурационной лекцией о Человеке, стоил мне, скажу скромно, больше кровавого пота, чем я бы хотел. На него ушла пачка бумаги в 500 листов, а осталось 30 страниц машинописи, но зато это *имеется* в самом деле, и самый суровый мой критик (не какой-нибудь Калужинский, а моя жена) сказала, что написанное зияет каким-то чудовищным величием. Одним словом — *Intelligence Quotient* 600. Но над другими кусочками “Мнимой величины” я плачу и скрежещу зубами по-прежнему и уже вижу, что к сроку 1 января 1973 года не уложусь. Всего-то сто страниц, но когда в двух второстепенных предложениях я упоминаю о какой-нибудь вымышленной книге, например, о “Психоанализе палеонтологии”, то непременно должен хотя бы коротко показать её идейку. Короче, приходится ужасно ломать голову, и я рад был бы закончить “Мнимую величину”, но пока сделано лишь три четверти...»

И большая приписка к письму:

«Братья Стругацкие (не знаю, читали ли Вы этих Братьев) написали в этом году повесть “Пикник на обочине”, и знакомые из СССР прислали мне номера журнала, в котором это опубликовано. Прекрасно написано, дьявольски увлекательно, сенсационно. А смысл такой: прилетели некие космические хулиганы, устроили Пикник на Обочине, затем сели, улетели и оставили после себя некие “зоны посещения”, в которых полным-полно всяческого “хлама”. Но хлам этот — некие объекты, нарушающие все законы термодинамики и Ньютона, и вообще что только себе “пожелаете”. Концепция, как мне представляется, довольно нигилистическая, хуже того, даже какая-то плоская — “nu, znaczi, nie stiesnialis bratja po razumu, nachuliganili i ujechali”. Я тут по этому поводу даже соответствующее послание накатал, так как сегодня Братья — единственная авторская пара, с которой вообще стоит дискутировать».

И ещё одна приписка к письму:

«Издатели из США аккуратно присылают мне каждые десять дней пачку новых научно-фантастических книжек — и у меня нет слов! Я не в состоянии ни одной этой книжки прочитать, максимум 10–15 страниц, потом делается мне тошно, настолько это дурно и такие они все собой довольные. Я не знаю, читали Вы что-нибудь об Иоахиме Чайке, нет, ошибся, *Jonathan Seagull*. Какой-то тип, пилот по профессии, гуляя по

пляжу, услышал, как чайка к нему обратилась. И он написал книгу об этих откровениях, и заработал на ней миллионы. Тамошней публике всё это нравится, что же удивительного в том, что чудовищные бредни, которые я даже в постели перед сном не могу читать, в Америке сходят за научную фантастику...»[166](#)

Из писем Станислава Лема.

Владиславу Капуцинскому (от 24 апреля 1973 года):

«Новую книгу (“Мнимая величина”) сдал в январе в печать.

В том же месяце начал читать еженедельные лекции в Ягеллонском университете — о теории и практике научной фантастики, на факультете польской филологии. Не исключено, что продлю эти лекции и в следующем году. Очень много времени занимают иностранные дела. Я стал почётным членом *Science Fiction Writers of America*. Недавно был одиннадцать дней в Западном Берлине, сделал там серию докладов, интервью на ТВ и радио, встречался с читателями, с моим издателем, с переводчиками, с литературным агентом. Купил новый автомобиль, сорок футурологических томов, экземпляры немецкого издания “Абсолютной пустоты”, которая недавно вышла в ФРГ, подписал новые договоры и прибыл домой к праздникам. Как-то в этой суете сумел ещё написать небольшую работу, в которой изничтожил французского структуралиста Цветана Тодорова за его Теорию фантастики, и написал это на немецком языке, а потом перевёл на польский, чтобы напечатать у Я. Блоньского в журнале “Тексты”. А нужно ещё приготовить новые издания “Суммы” и “Философии случая” — и у нас, и в ФРГ, так что с этим тоже придётся возиться. Пока прячусь от нашей прессы, потому что все хотят видеть меня с утра до ночи.

А ещё я становлюсь известным в ГДР.

Выехал в 5.55 утра из Западного Берлина и, неправильно информированный, попытался проскочить в Восточный через так называемый *Checkpoint Charlie*. Там пропускают в основном иностранцев с правом проезда только внутри города. Тем не менее офицер на контроле разрешил мне проехать, потому что знал, кто я такой. В 6.15 я был на Александерплац. Воскресенье, везде пусто. Я остановился, чтобы спросить прохожего о дороге, ну он мне рассказал, что и как. А через 150 шагов меня остановил похожий на вермахтовца *Wachtmeister* Мюллер из *der DDR Polizei* в чёрных перчатках, потому что я нарушил правила (остановился там, где нельзя было останавливаться). Но, выяснив, кто я такой, издал несколько возгласов восхищения и, сняв перчатки, дружески пожал мне руку, заявив, что ему выпало исключительное счастье встретить своего любимого автора. То же самое произошло и на границе в Гёрлице...

“Кибериада” выходит в США — с обложкой и рисунками Мруза, что

очень меня радует. Появилось новое издание “Солярис” на английском, на обложке девица с голой попкой, ясное дело. “Солярис” выйдет и в Швеции, договор подписан. И ещё где-то. Состоялась сессия Комитета “Польша 2000”, на которую я не поехал, потому что у меня на это попросту не было сил. Сын мой находится под явным религиозным влиянием своей бабки; он пишет книжки, то есть скрепляет карточки и озаглавливает их — ПАПА, МАМА, БАПКА и вручает соответствующим особам.

А вот самые важные вещи, которые я привёз из Берлина:

- а) чернила, оставляющие пятна, которые через пару минут исчезают;
- б) яйцо, которое через некоторое время тоже исчезает;
- в) шнурок, который, если его перерезать, срывается;
- г) резиновый шар с ручкой, на котором сын мой скачет, как кенгуру, по всей квартире;

- д) самолётик, который мы запускали на Пасху на лугу;

- е) воздушные шары, которые пищат. Ну, и ещё пряник из марципана.

Знаю, что порчу ребёнка, но не могу этому противиться»<sup>{167}</sup>.

Виргилиусу Чепайтису (от 9 мая 1973 года):

«Был я в Германии. Беседовал с этими откормленными (да и сам я, к сожалению, довольно толстый), что не было бы ещё самым худшим, если бы не то, что я, поддавшись соблазну, купил автомобиль и на нём вернулся домой. И, желая раз и навсегда насытить демона моторизации, купил я на этот раз “мерседес” цвета майонеза. А чтобы как следует познать все те омерзительные приманки, на которые они там притягивают человека на погибель, привёз ещё множество всякой невозможной литературы. И так катался я по немецким землям, уж простите, имея в багажнике четыре мешка футурологии, симпатические чернила, которые оставляют пятна, которые быстро исчезают, а также массу других непотребных вещей, а в середине между ними лежали номера журнала “Playboy”.

Но материальные блага, как известно, счастливым человека не делают.

Рассудок от всего этого у меня несколько заплесневел, и ничего интересного пока в голову не приходит, а в футурологических книгах лишь хаос и шум, из которого ничего не вытекает. Правда, сын мой очень мною доволен, потому что я привёз ему кроме чернил ещё паровую машину и большой шар-мяч с ручкой, на котором можно скакать, как кенгуру, целый день.

Сам я не скачу: годы уже не те.

Вдобавок, и это, пожалуй, было единственное полезное дело: *выдали* мы Кшися Блоньского, — то есть свадьба была, а я в качестве водителя вёз его на “мерседесе” к венчанию, и то лишь мне мешало, что я нигде не мог

достать водительской кепки, такой, с лакированным козырьком и серебряным шнурком. Это лучше бы выглядело, чем обычный наряд. Потом до поздней ночи толпа веселилась в доме Блоньских, — шампанское прямо из Франции, так как специально на свадьбу прилетела француженка из Парижа: вот такие у них связи...»<sup>{168}</sup>



В апреле 1973 года Станислава Лема избрали почётным членом общества *Science Fiction Writers of America* («Научные фантасты Америки»).

Нельзя сказать, что Лем к этому времени был широко известен англоязычному читателю, — на английский были переведены только рассказы и роман «Солярис»; но уже готовились к публикации романы «Непобедимый» и «Рукопись, найденная в ванне», а Майкл Кандель упорно работал над переводом «Кибериады». Но этого оказалось достаточно, чтобы пригласить писателя в общество. Так что очень вовремя появились и его статьи «Роботы в научной фантастике», «Введение в структурный анализ НФ», «Секс в научной фантастике», «Unitas Oppositorum: Проза Хорхе Луиса Борхеса».

Сам Лем изначально не считал факт своего принятия в *SFWA* каким-то особенным достижением, по крайней мере Майклу Канделю 11 апреля 1973 года он писал совершенно откровенно: «Тут *SFWA* предложило мне членство на выбор — почётное или действительное, но это дело деликатное, потому что, на мой взгляд, это вообще-то клуб баранов». К тому же в *SFWA* далеко не все считали деятельность Станислава Лема в области фантастоведения такой уж замечательной. Филип Фармер, фантаст весьма популярный, отнёсся довольно скептически к его статьям, а ещё дальше пошёл Филип Дик (чьё творчество, кстати, сам Станислав Лем выделял из общего потока американской фантастики).

Именно Дик 2 сентября 1974 года направил в ФБР следующее послание:

«Пересылаю вам письмо профессора Дарко Сувина — в дополнение к документам, переданным вам ранее. Это первая моя встреча с профессором Сувином. Он, а с ним марксисты, о которых я уже сообщал — Питер Фиттинг, Фредрик Джеймсон и Франц Роттенштайнер, — являются официальными агентами польского писателя Станислава Лема на Западе. Письмо профессора Сувина свидетельствует о значительном влиянии публикуемых ими «Исследований научной фантастики». И дело не только в том, что все перечисленные мною лица являются марксистами, и даже не в том, что Фиттинг, Роттенштайнер и Сувин — иностранцы, сколько в том, что все они без исключения представляют собой звенья единой цепи передачи распоряжений от Станислава Лема, ведущего функционера

Коммунистической партии. Возможно, этот Станислав Лем является целым комитетом, а не просто отдельным лицом, поскольку пишет разными стилями, иногда демонстрирует знание иностранных языков, а иногда — нет; комитетом, созданным партией для активной манипуляции нашим общественным мнением. Критические и педагогические публикации Станислава Лема являются прямой угрозой всей сфере нашей научной фантастики и свободному обмену мнениями и идеями в ней. Вдобавок к этому Питер Фиттинг постоянно готовит книжные обзоры для журналов *Locus* и *Galaxy*. Таким образом, Коммунистическая партия реально влияет на издательства в США, которые публикуют большое количество контролируемой ею научной фантастики.

Ранее я уже отмечал очевидное влияние указанных людей на нашу профессиональную организацию — *Science Fiction Writers Of America*. Влияние это проявляется через публикации научных статей, критику книг и, возможно, через контроль присуждения премий и почётных званий. Правда, кампания, направленная на возвеличивание и утверждение Станислава Лема в качестве крупного писателя и критика, начинает терять почву. Сегодня считается, что творческие способности Станислава Лема были сильно переоценены, а его грубая, оскорбительная и глубоко невежественная критика американской научной фантастики зашла так далеко, что оттолкнула от него всех, кроме самых прямых приверженцев его партии. Для нашей сферы и её чаяний было бы печально, если бы большая часть критики и публикаций оказалась под контролем анонимной группы из Кракова (Польша)...»<sup>{169}</sup>

Комментируя историю с этим письмом, переводчик В. Язневич язвительно заметил:

«Если бы Филип Дик догадался взять первые буквы фамилий главных символов коммунизма — Сталина, Ленина, Энгельса и Маркса (по-английски *Stalin, Lenin, Engels, Marx*), то в результате получил бы *St. LEM*, что могло бы стать для него ещё одним, возможно, главным аргументом того, что этот самый Станислав Лем, несомненно, является агентом КГБ, причём целым его террористическим (идеологическим) комитетом, раз уж *St. LEM* это не имя-фамилия польского писателя-человека, а псевдоним-аббревиатура...»

Весь этот скандал вызвала небольшая статья Станислава Лема «Science Fiction: безнадёжный случай — с исключениями», опубликованная в журнале «SF Commentary» осенью 1973 года. Вышла она со следующим примечанием автора: «Данное эссе является переработанной главой (“Социология научной фантастики”) из моей книги “Фантастика и футурология”. Первоначальный текст я в нескольких местах обострил полемикой, а также обсуждением творчества Филипа Дика. Признаюсь, что сделал это, полагаясь на недостаточный материал. Поскольку из произведений Дика я знал тогда только его рассказы и “Мечтают ли андроиды об электрических овцах?”, то о других судил по отзывам, помещённым в фэнзинах. Это повлияло на мою оценку романов Дика. Я назвал Дика “лучшим Ван Вогтом”, а это не так. Типичная ошибка — полагаться на ситуацию, господствующую в критике *SF*. Каждая пятая или восьмая книга восхваляется там как “лучшее сочинение *SF* в мире”, а её создатель — как “величайший автор *SF*, какой когда-либо существовал”. При этом различия между текстами, весьма разными, всё время уменьшаются, иногда просто исчезают, так что, в конце концов, читатель рецензий действительно готов посчитать “Убик” чем-то чуть лучшим, чем “Мечтают ли андроиды об электрических овцах?” Разумеется, это не может служить оправданием моей ошибки, ибо чтение критических работ не может заменить чтения соответствующих книг. Впрочем, прочесть все публикации *SF* всё равно невозможно, поэтому приходится делать какой-то выбор...»<sup>[170]</sup>

В 1981 году в одном из своих интервью Лем уточнил:

«Изгнали меня за статью под названием “SF oder die verunglückte Phantasie”, которая была напечатана во “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, а затем переведена в Америке, при этом недоброжелательно переименована. Я, конечно, время от времени выступал с весьма резкой критикой американской (и не только) научной фантастики, но никогда не занимался критикой *ad personam*<sup>[80]</sup>, а в эту статью кто-то добавил личные колкости. Конечно, разыгрался скандал, в результате которого я получил прозвище “польский Солженицын”. Событие это стало последним явлением моей апостольской деятельности *in partibus infidelium*<sup>[81]</sup> в научной фантастике. Я слишком много энергии тратил на многочисленные статьи, а кроме того, осознал, наконец, бессмысленную бесполезность

всего этого предприятия...»

Статья Лема была опубликована на английском языке под названием «Looking Down on Science Fiction: A Novelist Choice for the World's Worst Writing» («Взгляд свысока на научную фантастику: писатель выбирает худшее из мировой литературы») в августе 1975 года в журнале «Atlas World Press Review» и перепечатана в октябре 1975 года — в «SFWA Forum». Название статьи придумал не автор, а переводчик. При этом по объёму перевод оказался чуть не на треть меньше оригинала и представлял собой «адаптацию» (так указала сама редакция), весьма тенденциозно искажавшую высказывания писателя.

Добавим, что после исключения Станислава Лема из почётных членов *SFWA* в знак протеста из ассоциации вышли такие известные фантасты, как Урсула Ле Гуин и Майкл Муркок. Позднее *SFWA* предложила Лему обычное членство, но это предложение он отклонил<sup>[\[171\]](#)</sup>.

22 июля 1973 года по случаю праздника возрождения Польши ежегодные премии министра культуры и искусства за выдающиеся достижения в области художественного творчества были присуждены писателям Каролю Буншу, Янушу Мейсснеру, Северине Шмаглевской и Станиславу Лему.

В октябре того же года вышел второй сборник «апокрифов» Лема: «Мнимая величина». Сборник составили предисловия к никогда не существовавшим книгам: «Некробии» (фотоальбом порнографических снимков, снятых в рентгеновских лучах), «Эрунтика» (о серии экспериментов над штаммами бактерий, которые могут предсказывать будущее), «История бит-литературы в пяти томах» (история книг, написанных компьютерами), «Экстелопедия Вестранда в 44 магнетоммах» (энциклопедия нового типа, в некотором роде — будущая Википедия), «Голем XIV» (беседы людей с суперкомпьютером, обладающим искусственным интеллектом), позже Лем дополнил эту часть лекциями Голема и издал отдельной книгой.

Из письма Майклу Канделю (11 апреля 1973 года):

«Дорогой Господин, хорошо, что “Голем”, наконец, добрался до Вас.

Отвечаю быстро, на высоких оборотах, так как только что вернулся из Берлина и ещё не вытряхнул из мозга следов *Western Way of Life*<sup>[82]</sup> (кажется, так нельзя говорить). Вы, несомненно, являетесь так называемым гениальным Читателем, и посвященные знают, что это более редкое (статистически) явление, чем обычный гениальный автор.

Действительно, я допустил некоторое злоупотребление, выковыривая “Лекцию Голема” из книги, в которой она является собственно последней её частью. Название “Мнимая величина” и различные мелькающие там предсказания должны были усилить иллюзию гениальности и нечеловеческого облика говорящего. А уж специальные три текста, предваряющие “Лекцию”, то есть “гражданское” вступление, написанное сотрудником МТИ<sup>[83]</sup>, “набожно-патриотическое” вступление, принадлежащее перу некоего отставного генерала (*US Army, ret.*), а также Памятка для лиц, впервые участвующих в беседах с Големом, позволяют подвергнуть сомнению однозначную достоверность того, что говорит сам Голем. Все эти элементы, также, как и фрагменты “Экстелопедии”, конечно, несколько снижают серьёзность указанной лекции; надежда,

предложенная слушателям в последней части сказанного, *подлежит* сомнению, то есть там содержится *ирония*, — о чём Вы всё-таки догадались, и это делает Вам честь. *Implicite*<sup>[84]</sup> Голем наводит на мысль, что человек будет похож *на него*, если сравняется с ним разумом; план “суперкомпьютеризации” *homo* не ироническим или просто не издевательским быть не может, поскольку речь идёт о “свободе самоизменения”, с пелёнок заражённой противоречиями (какая же это свобода, если к ней подталкивает техноцивилизационный градиент?). Поэтому риторику помпезного окончания просто необходимо было снизить, тем более что я не могу исключить вероятности того, что когда-нибудь скажу ещё что-нибудь этими металлическими устами...

Персонификация является чисто риторическим приёмом, по крайней мере, *prima facie*; теодицею Голема я набросал себе в черновике, может быть, я к ней ещё вернусь. Персонификация является результатом вторичной проекции (когда речь идёт о технологии Природы или Эволюции, невольно возникают телеономические воздействия, по крайней мере, в какой-то частице того, что такая “технология” означает). Если говорить коротко, то вот: Голем не является окончательным продуктом, он всего лишь стоит на лестнице разумов “немного выше”, чем люди, и нет никакой причины, по которой он не мог бы развиваться дальше. Все дальнейшие аппроксимации Абсолюта (всеведения) обречены на поражение, тем более явное, чем лучше будут удаваться очередные шаги-этапы. Поскольку на самом деле Бога нельзя реализовать технологически, то чем выше взберётся такой разум, тем яснее он должен понимать, что ведёт игру с проигрышным финалом. И тяжесть поражения будет прямо пропорциональна нарастающему Ненасыщению...»<sup>{172}</sup>

И ещё из письма Канделю (9 января 1975 года): «Неясным для меня остаётся, уже вне границ статьи, почему именно Вы столь явно отдаёте предпочтение текстам типа “Конгресса”, “Кибериады”, “Звёздных дневников” в ущерб текстам таким, как “Мнимая величина” (как читатель, конечно, а не как возможный переводчик). Мне кажется, в “Мнимой величине” я пошёл пусть на шаг, но дальше, чем в “Футурологическом конгрессе”. В “Величине” уже нет мира, представленного целиком, а есть только фрагменты сильно и умышленно опосредованных заявлений, из которых можно лишь представлять себе (домысливая, делая умозаключения), каким является внешний мир, существующий лишь в виде чистого подтекста. Такой шаг я считаю вполне логичным в эволюции моего писательства, почти необходимым, и потому был бы рад услышать здесь Ваши возражения, предупреждения, от которых Вы меня пока избавляете. Вот не надо так, правда. Упрёк, с которым я встретился на родине, правда, высказанный не так остро, гласит, что чем-то таким, как “Мнимая величина”, я попросту выхожу за пределы беллетристики, что это уже какие-то упражнения, допустим, из философии, или публицистики, или фантастической историософии (или хотя бы полуфантастической), а не литературные произведения. У меня же на это такой ответ: то, что вчера считалось трансцендентностью границ беллетристики, сегодня может быть уже интегральной частью художественной литературы, поскольку граница эта носит изменчивый характер, зависит от принятых условностей, и когда они изменяются, фантастическая философия или теология может стать именно “нормальной художественной литературой”.

А вот что Вы об этом думаете?»<sup>[173](#)</sup>

И неизвестному адресату (от 14 февраля 1975 года): «Уважаемая пани, вы обратились ко мне за советом — в вопросе эстетической оценки “Мнимой величины”. Но как автор я, конечно, не могу быть беспристрастным, поскольку не сумею отделить в этой книге то, что хотел написать, — от того, что получилось. Одно скажу. Я хотел написать вещь, похожую на некоторые ткани, которые меняют свой цвет в зависимости от того, под каким углом на них смотришь. Так что можно, конечно, рассматривать эту книжечку как шутку или даже серию шуток. Однако можно считать, что и в этих шутках таится щепотка серьёзности, что речь идёт о том, чтобы некий будущий мир (не тот, который когда-то *будет*, а такой, который *может быть*) представить не напрямую, заполняя его какими-то действиями, фабулами, героями, описывая их окружение и поступки, но в таком усреднении, которое дало бы, скажем, зеркальце, разбитое на мелкие осколки. В каждом из этих осколков отражался бы какой-то иной фрагмент окружающего мира, а некоторые даже деформировали бы настоящие пропорции.

Один советский критик написал мне в частном письме, что книга по композиции схожа с “Абсолютной пустотой”, но в “Мнимой величине” этот композиционный принцип наблюдается гораздо отчётливее. Это принцип, позаимствованный у музыкальной композиции, в которой некий мотив появляется сначала легко, фливно и как бы в результате капризного случая, а, повторяясь, набирает размах и полифоническое разнообразие. Поначалу речь идёт о делах как бы небольшого калибра, но из них вдруг возникает всё больший образ. Хотя критик этого не написал конкретно, но полагаю, что он думал о фигуре “мыслящей горы” — Големе, который сначала представлен у меня в манере абсурдного анекдота (в “Экстелопедии”), а потом как в театре перед торжественным представлением. Этот критик назвал предложенный мною принцип композиционным законом развивающейся спирали — якобы проблематика набирает дыхание, чтобы завершиться особенно мощным аккордом.

Что же касается “Абсолютной пустоты”, она в некотором смысле была подготовкой к “Мнимой величине”. Такой способ письма, когда поначалу как бы осуществляется “подготовка”, а потом разнузданное перо получает возможность творить настоящие “подвиги”, я уже применял (“Сказки роботов”, “Кибериада”). Но о сознательном применении композиционного



закона “развивающейся спирали” мне трудно говорить по отношению к “Абсолютной пустоте”. Скорее было так, что лишь *после* написания книги я заметил такую возможность и уже с таким подходом составлял очередные камешки мозаики.

Вы спрашиваете, является ли “Мнимая величина” насмешкой над критиками.

Если бы даже можно было смотреть на книгу под таким углом, это не было моим намерением, поскольку я не вижу серьёзного смысла в полемике, замаскированной под беллетристику. Вообще должен признаться, что критические голоса никогда не влияли на то, что я писал, и не думаю, чтобы так было в случае с “Мнимой величиной”. Я всегда писал то, что меня интересовало именно в данный период жизни. Не задумывался я и об особых эстетических достоинствах этой книги. Уже упоминавшийся критик особым коварством посчитал способ, которым я своё “Вступление ко всем вступлениям” отнёс к проблеме творения (якобы тут само творение является “вступлением к небытию”). А мне кажется, что я, вопреки всем заявлениям, содержащимся в этом вступлении, всё-таки дал, в конце концов, слово Голему. И это подтверждает моё участие в том, что Голем говорит...»[{174}](#)

В 1973 году режиссёр Марек Пестрак снял телефильм «Расследование».

Это, конечно, был прежде всего фильм ужасов. Знаменитые сыщики Скотленд-Ярда искали преступников, оскверняющих выкраденные из моргов трупы. Актёры Тадеуш Боровский, Эдмунд Феттинг и Ежи Пшибыльский сделали всё возможное, чтобы фильм смотрелся, и, в общем, им это удалось.

Особенно понравился фильм Томашу, сыну писателя.

«А ещё в столовой мы испытывали разные устройства, придуманные отцом, — вспоминал позже Томаш. — Например, несложное устройство — батарейка и звонок — вырабатывало электрический ток, бывший любопытных довольно ощутимо. Из-за небольшого напряжения (4,5 вольта) устройство никак не угрожало жизни, но удар был чувствительным. Поскольку отец считал делом чести проводить проверку своих изобретений на самых близких людях, причём неожиданно для них, — ловушку мы с ним устанавливали, используя большую сахарницу, которая прекрасно проводила ток, потому что была серебряная. Конечно, мы не знали заранее, кто в нашу ловушку попадётся, но это только придавало предприятию дополнительные эмоции, во всяком случае, нам так казалось. Сомнительная честь оказаться в числе невольных экспериментаторов однажды выпала свояченице отца. Робкие объяснения отца, что это “Томек сам сделал”, не помогли. Мне было около шести лет, и мать уверенно предположила, что конструирование устройств, использующих явление индукции, значительно превышало мои тогдашние умственные возможности. Когда был собран со стола рассыпавшийся сахар, а тётя пришла в себя, мать закрылась с отцом в ванной комнате — что со временем стало их частой практикой — и провела с ним беседу, о содержании которой я мог лишь догадываться. Кстати, из рассказов матери знаю, что в самом начале супружества отец имел привычку на все её нравоучительные речи отвечать одним словом: “Шляпа”, а иногда менял его на слово “Пакля”, после чего, как малое дитя, заливался смехом...»<sup>{175}</sup>

Из письма Майклу Канделю (от 18 января 1974 года): «Хотел бы сразу и совершенно открыто сказать, почему мне не очень хорошими представляются Ваши эмиграционные планы: я убеждён, что Вам не будет хорошо в Земле Обетованной. Мои предостережения не являются результатом каких-то высоко абстрактных рассуждений, а опираются на факты, ибо в апреле 1973-го я встречался в Западном Берлине с людьми, которые эмигрировали, а потом стали скитальцами — так их допекло пребывание в Израиле. Видимо, мы пока не можем осознать до конца, какое это странное государство, одновременно современное и в то же время фатально регрессирующее, поскольку его разрушает не только религиозность, но и ханжество. Когда кто-то находится внутри *permissive society*<sup>[85]</sup>, то может играть с концепциями самых разных вер, склоняться то к гуру, то к раввину и от обоих брать то, что в данный момент твоей душе угодно, но израильская ортодоксия не допускает самостоятельности. Там нет места люфту, столь необходимому для думающего человека. Израильская ортодоксия крепка до тупости, и сильнее всего достаётся там тому, кто хотел бы стать равным среди равных. Эмигранты, мечтающие лишь о том, чтобы покинуть страну, в которой им отказывают в равенстве, в которой они были гражданами второго сорта, наверное, смогут найти в Израиле место. Но те, кто вместо того, чтобы слепо присягать и слепо верить, жаждут интеллектуальной свободы, очень скоро сталкиваются с печальным разочарованием, когда образ жизни, кажущийся экзотическим ригоризмом, оказывается на самом деле некоторым родом муштры и подлежит беспощадному исполнению. Может быть, парадоксальное свойство человеческой натуры как раз в том и заключается, что всё, бывшее ранее привлекательным и соблазнительным, быстро становится неприятным, — когда оказывается принудительным. Большую часть собственного интеллектуального запаса Вы должны будете обречь в Израиле на неиспользование, потому что либеральные льготы там не действуют. И не столько из-за фронтовой ситуации, о которой Вы писали, сколько из-за дикой окаменелости, связанной одновременно и с религиозной, и политической, и интеллектуальной жизнью...

...Только что вернулся из краковского консульства США, куда меня пригласили на чашечку кофе, чтобы передать приглашение на конференцию по НФ в Нью-Йорке, с дополнительным “подарком”

федерального правительства — в виде гарантированного покрытия расходов (кроме проезда) двухнедельного пребывания в Штатах. Я отказался, поскольку уже связан приглашениями нескольких старинных немецких (западных) университетов на то же самое время, в мае. Отказался, признаюсь, с облегчением, которое не хочу скрывать от Вас. Прежде всего потому, что, бросив взгляд на список лиц, которые будут играть на нью-йоркской конференции первую скрипку, буквально задрожал, — ведь меня с ними ничто не связывает, а наоборот, всё — абсолютно всё — разделяет. То, что они делают, я считаю просто пустяшным, а то, чем живу я, их ничуть не волнует...

...Слухи о награде, которую вручает король Швеции, действительно время от времени связываются и с моим именем, и, честно говоря, я думаю, что если не сама награда, то кандидатура моя в течение нескольких ближайших лет вполне может стать возможной. Ещё и потому, признаюсь со свойственным мне цинизмом, что “смешиваться” со средой НФ мне никак не хочется. Уж такое всё там у них чудовищно глупое. Нечитаемость книг, которые мне по-прежнему пачками присылают... нет, даже говорить мне об этом не хочется... Так что, может, это и не цинизм с моей стороны, а попросту аллергия...

...Но вот если акции мои так поднимутся, что приглашения, которые направляет мне Дядя Сэм, распространятся и на мою жену, тогда отказаться мне будет трудно, — конечно, поедем. В конце концов, разве это не прекрасно — побыть вместе на другой стороне Лужи, которую все ещё называют Атлантикой?..»[{176}](#)

Впрочем, Станислав Лем так и не собрался в США. Из письма Рафаилу Нудельману (от 28 февраля 1974 года): «Получил от моих западных издателей второй том “Дневников” Бертрانا Рассела, охватывающий годы 1914–1944. Очень, очень мрачное чтение! Знаете ли вы (я, например, понятия не имел) о том, что Рассел, будучи уже всемирно известным, в 38–44 годах подвергался в США такому остракизму, что из всех учебных заведений его изгнали как заразу. Ему буквально не на что было жить, и если бы не стечение благоприятных обстоятельств, чёрт знает что бы случилось. А началось всё с того, что какая-то дама обвинила администрацию штата Нью-Йорк в том, что в американский университет приглашён “этот” Рассел — известный дегенерат, безбожник, атеист и т. д. Когда дело дошло до суда, Рассел не мог предстать там ни в каком качестве, потому что обвинялся собственно не он сам, а штат Нью-Йорк. Понятно, что администрация изо всех сил *хотела* проиграть процесс, чтобы избавиться от философа, с которым оказалось столько хлопот. И администрации это удалось. В обвинительном приговоре говорилось, между прочим, что Рассел пропагандировал не просто атеизм там и всё прочее, но ещё и нудизм, и порнографию, и вырожденчество, и гомосексуализм. А ведь Рассел при этом не мог даже протестовать. Он просто писал письма в “Нью-Йорк Тайме”, и время от времени сам получал письма от “добрых христиан”, оскорблённых его безбожием. Происходило это всё в первые годы Второй мировой войны и, заметьте, касалось одного из первых мыслителей Запада...»

И ещё из письма Канделю (от 22 марта 1974 года):

«Дорогой пан, я выступил на нашем ТВ в программе “ОДИН НА ОДИН”, построенной по образцу некоторых программ США. Это как бы перекрёстные вопросы. Мне построили там Луну с маленькими кратерами, среди которых стояло старое чёрное резное кресло с колонками — для меня и разбросаны были большие метеоритные глыбы для собеседников. Прошёл также показ “космической моды”, а в самом конце с неба съехали Красный Слон и Телефонная Трубка.

Эту программу — Первую — у нас смотрят все.

То есть вся Польша, а это более 4,5 миллиона телевизоров.

Смотрели (как я узнал) и продавцы в магазинах, и обслуживающий персонал на стоянках автомобилей, и столяры, и садовники. Передача понравилась, хотя никто из “малых мира сего” почти ничего не понял из предложенных вопросов и полученных ответов. Понравилось им всё это, скорее, по тому же принципу, по которому людям непонятная латинская месса нравится больше понятной польской. Красиво, разноцветно, а Луну ещё населяли всякие гигантские фигуры, взятые из “Кибериады”, то есть из рисунков Мруза. Из самых изощрённых вопросов я понял, что практически никто не воспринимает литературу в качестве литературы и что никакой разницы между чьим-то (например, моим) взглядом на мир, на будущее, — и между псевдовзглядом, представленным в каком-то литературном произведении, для нормального человека не существует...

...В свою очередь, от Доктора Роттенштайнера узнал, что недавно в “Publishers Weekly” была напечатана сокрушительная рецензия на “Футурологический конгресс” (*inept storyteller*<sup>[86]</sup> etc.). Роттенштайнера чрезвычайно удивила крайность позиций, которые занимают все, кто сталкивается с моими книгами. Это или восторженный приём (какой оказывала, например, моим книгам миссис Реди), или какая-то странная агрессивная нервозность, сильная неприязнь, злость, попытка отторжения, уничтожения, *тотального отрицания* всех моих текстов. Похоже на то, что если моя репутация всё же растёт, то не потому, что происходит обращение моих оппонентов в веру Станислава Лема, а скорее потому, что именно растущей репутации я обязан хору новых хвалебных голосов...

...В последнее время я всерьёз задумался — чисто умозрительно — об оптимально возможной тактике издания моих книг в Америке.

Прежний выбор (особенно “Кибериада”, “Непобедимый” да и “Расследование”), пожалуй, был нацелен на два направления сразу — на *succes de marche*<sup>[87]</sup> и на *succes d'estime*<sup>[88]</sup> (и деньги, и достоинства). Однако выполнимо ли это — *that is the question*<sup>[89]</sup>? Ведь нет пока ни рыночных, ни каких-то особых репутационных достижений! Видимо, то, что там издавалось, слишком похоже на тривиальную *SF* и одновременно мало похоже на излюбленную жвачку недоумков, которая нравится всем поголовно. В качестве альтернативы напрашивается перевод таких вещей, как “Мнимая величина”, “Маска”, “Абсолютная пустота”, но я и этого не рекомендую — сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому, что эти книги написаны с позиции некоего Авторитета (например, “Голем”), а значит, для тех, для кого я таким Авторитетом вовсе не являюсь, они прозвучат *раздражающе*. Во-вторых, на полное понимание таких текстов, как “Мнимая величина”, можно рассчитывать, только когда их читают люди, по профессии являющиеся рационалистами, то есть научными работниками, а позиция рационализма и науки сегодня в мире невысока. И, наконец, потому что эти книги не являются литературно-художественной ортодоксией модной нынче гетеродоксии. Ведь все новшества, вся авангардность тоже имеют свои моды, и сегодня востребована главным образом одна: тёмная, мутная, бездонная, невразумительная, закрученная и запутанная, такая, которая терзает читателя, оглушает его и этим якобы приносит наслаждение.

Эти мои размышления не являются слишком эгоцентричными, как могло бы показаться, потому что книги мои в них выступают лишь в качестве некоего датчика, ситуационного измерителя, демонстрирующего состояние дел. Конечно, я всегда прав, — как это мучительно! — и особенно прав, когда много лет провозглашаю, пропагандирую, объясняю (как хотя бы в “Философии случая”), что судьба любого литературного произведения часто имеет лотерейный, хаотический, случайный, молекулярно-броуновский *тип*, — и при этом мало кто остался столь *глухим* к моим тезисам и аргументам, как господа литературоведы. *Habent oculos et non vident*<sup>[90]</sup>. Они вообще не принимают к сведению этот тип механики в литературной культуре, так как он во всём противоречит познаниям, которые указанные господа всосали с молоком *Almae Matris*...

...Мышь обитает у нас на бельэтаже, и никак не можем мы от неё избавиться, потому что она хитрая и умеет обходить все ловушки, западни и капканы. Купили ещё себе, то есть ребёнку (то есть в итоге всё же себе) цветной телевизор и сейчас с интересом смотрим нуднейшие заседания

всяких комитетов. Да и понятно. Там такие интересные и насыщенные цвета... и прыщики на лбах... красивенькие, розовенькие... рубашки и галстуки у мужчин, кофточки у женщин... Вот такие наши деревенские развлечения, уж извините...

...Доктор Роттенштайнер просил дать ему Ваш адрес, что я и сделал.

Он добрый, но мучает меня и жестоко морочит мне голову всякими глупостями.

И он всё время рассылает мои книжки разным издательствам, специализирующимся *только* на *SF*, а когда их возвращают, упаковывает в новые конверты и высылает дальше — невозможный человек!..»[{177}](#)



Из письма Шимону Кобылинскому<sup>[91]</sup> (от 14 мая 1974 года): «Любезный пан Шимон, спешу сообщить Вам, что был в Германии.

Вчера вернулся, — после встречи с нашим добрым Тадевальдом<sup>[92]</sup>. И наш добрый Тадевальд дал мне номер журнала “OUI” с вашим рисунком, чтобы я передал Вам авторский экземпляр. На границе таможенник попытался журнал у меня отобрать, а с ним и другой номер того же “OUI”, только уже *мой*, который я приобрёл потому, что люблю смотреть, как разлагается Запад. Заодно таможенник забрал немецкий “Playboy” и “Playmen” — итальянский журнал, довольно нудный и неинтересный. Нудный потому, что разглядывать в нём нечего, а неинтересный потому, что я не знаю итальянского языка. Видя, что таможенник всё забирает и в этом весьма непреклонен, я настоятельно объяснил, какие последствия могут возникнуть, если он заберёт и тот “OUI”, который Вы своим рисунком облагородили. Но таможенник уже вошёл в транс исполнения служебных обязанностей и не мог, конечно, остановиться, поэтому всё моё забрал, а Ваш “OUI” всё-таки оставил, хоть и замешкался, — очень уж была такая хорошенькая попка на обложке.

Я не стал протестовать, а просто сел в машину и поехал домой.

А сегодня написал всякие кассационные письма. Кстати, Ваш “OUI” хранится в стальном сейфе (это у меня так написано — складно, хотя на самом деле он просто лежит на полке) и готов для передачи Вам днём и ночью (но не после 11 вечера). А почтой я боюсь его высылать, уж больно лакомый кусок для почтовиков! Может, вы пожелаете мне сообщить, каким образом можно передать Вам Вашу святую собственность? Может, с нарочным? Если вдруг попадётся приличный, то почему бы и нет? Только сначала надо проверить, не соврёт ли он потом, что его обокрали в поезде...»<sup>{178}</sup>

В сентябре 1974 года в двух номерах варшавского еженедельника «Культура» была напечатана новая повесть Станислава Лема «Маска».

Тремя годами раньше Лем писал художнику Даниэлю Мрузу:

«Во двор Трурля, робота-конструктора, с неба упали три ледяные глыбы, в каждой кто-то был, он разморозил этих Типов, отсюда возник “Рассказ Первого Размороженца, Второго и Третьего”».

Первым была Машина-Преследовательница, которую некий Гроль приказал Коронным Оружейникам построить и отправить, чтобы она убила некоего Конструктора, который изобрёл Идиотрон, или Быстромер, аппарат для измерения разумности. Машина эта — немного паук, немного робот, немного скорпион, немного танк, немного удав и ничего не умеет, только искать, выслеживать и преследовать, а в животе у неё динамит, и когда она настигнет преследуемого, то подрывает его вместе с собой. Однако за время долгого преследования всё переменилось, и она уже не хочет убивать, да и преследует больше по привычке.

Тем временем у Конструктора, который годами убегал и скрывался от Машины-Преследовательницы, кто-то голову открутил и украл (напоминаю, что все они — роботы). Конечно, Машина, узнав об этом, устремилась по следу злодея, который украл голову, намереваясь таким образом из палача преобразиться в спасительницу и освободительницу, хотя её и пожирала неуверенность, сможет ли она удержаться от взрыва, когда найдёт голову, ведь запрограммирована она всё же на казнь, а не на помощь. Гналась она за тем злодеем с головой по скалам, пропастям, водопадам аж до замка из больших валунов и последнюю ночь провела на крыше дома, сложенного из валунов, в котором находился злодей с головой. Утром она, как паук, спускается по стене, заглядывает в узенькое оконце и видит, как злодей (робот) разговаривает с головой, которая стоит на перевёрнутой вверх дном на столе каменной чаше...

Я думаю, что-нибудь в этом роде можно изобразить довольно мило.

Это напомнило мне Ваш известный рисунок к “Превращению” Кафки, когда Замза уже стал Червяком<sup>[93]</sup>... Но моя Машина-Преследовательница должна быть более жестокой и стальной с виду...»<sup>[179]</sup>

Замысел со всеми этими Размороженцами Лем впоследствии реализовал, а первую историю даже выделил в отдельную повесть.

Любопытно отметить, что к повести «Маска» Борис Стругацкий,

например, отнёсся скептически. В письме Борису Штерну (от 11 сентября 1976 года) он писал: «А “Маска” мне не шибко понравилась. Хотя из того, что последнее время у нас публикуется, это, несомненно, лучшее. Лем — это Лем! Но в сравнении с “Солярисом” и даже с “Непобедимым” это, безусловно, безделка (если не сказать — поделка)...»<sup>[180]</sup>

По каким-то причинам Стругацкий не смог (или не захотел) увидеть в «Маске» то, что будет занимать его самого через 20 лет. Ведь первая повесть С. Витицкого (псевдоним Бориса Стругацкого) «Поиск Предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики» будет посвящена той же проблеме...

Сам Станислав Лем в предисловии, обращенном к читателям журнала «Химия и жизнь» (в котором в России печаталась «Маска»), писал так:

«Вопрос, который поставлен в повести, можно сформулировать следующим образом: если искусственное существо сконструировано так, чтобы выполнять определённое задание, к которому принуждает его программа, введённая в его мозг, то может ли это существо полностью осознать своё назначение как вынужденное действие, обусловленное программой, и может ли оно взбунтоваться против этой программы?

Вопрос вполне практический, поскольку касается поведения кибернетических устройств, которые, несомненно, будут созданы людьми в будущем. И этот вопрос я решаю в духе указаний кибернетики, согласно которым любое устройство, способное к активным действиям по определённой программе, не в состоянии достигнуть полного самосознания в вопросах о том, с какой целью и с какими ограничениями оно может действовать. Если выразиться ещё точнее, то речь идёт о проблеме автоописи конечного автомата, то есть, пользуясь традиционным языком, — полного самопознания им своих психических процессов...»<sup>[181]</sup>

В октябре 1974 года Станислав Лем ещё раз побывал в Западной Германии.

Из Франкфурта он отправил Майклу Канделю пространное и откровенное письмо, снабдив его следующим предупреждением: «Прошу Вас считать всё здесь написанное конфиденциальным, то есть прошу Вас не использовать это всё публично со ссылками на личности, места и т. п. Мне очень хочется опять вернуться к вопросу жизни в тоталитарном государстве...»

И он вернулся. И в альманахе «Шаги в неизвестное» напечатал ещё одно замечательное «воспоминание» знаменитого звездопроходца Иона Тихого — «Профессор А. Доньда».

Небольшой (30 страниц), но очень насыщенный текст.

Профессор А. Доньда, вся жизнь которого до этого состояла из беспрестанного чередования случайностей и ошибок, совершает поистине гениальное открытие: предсказывает возможность превращения информации в *материю*!

Невероятно смешная история, невероятные нагромождения нелепиц, тем не менее во всём этом были отражены типичные реалии нашего времени, и в частности, судьба самого писателя. Вот, смотрите, как бы говорил Лем, вы не поверили профессору Доньде лишь потому, что заранее налепили на него ярлык шута, не прислушались к его предупреждениям, — и результатом стал откат всей нашей земной цивилизации на пещерный уровень. И точно так же вы не слушаете того, что говорю я (писатель Станислав Лем. — Г. П., В. Б.) лишь потому, что вы считаете меня фантастом, выдумщиком сказочек для детей.

Позже, в предисловии к сборнику «Мегабитовая бомба», Лем писал:

«Несчастливым и странным желанием судьбы стало то, что большинство из нафантазированного мною часто воплощается в реальности. В рассказе “Профессор А. Доньда” я позволил себе предсказать, что “бесконечно много информации может действовать непосредственно, без помощи каких-либо устройств”.

Об этом говорилось на семидесятой странице сборника.

А уже на следующей странице я написал: “Когда информация исчезает, появляется материя”. Результатом стало утверждение: “Bing Bang theory? Как возникла Вселенная? Ну да, в результате взрыва! А что взорвалось?”

Что мгновенно материализовалось? Информация материализовалась — согласно закону равновесия. Из информации возник Космос!”

Сам я в это не верил, но написал, ибо это можно было представить.

В моём рассказе из информации возникает Микрокосмосёнок, представляющий собой по законам нашей физики (на странице семьдесят седьмой) особую форму небытия, а именно небытие повсюду плотное, полностью ничего не пропускающее. Этот, как его называет герой рассказа, “космососунок” является вселенной, полностью похожей на нашу, то есть он уже содержит туманности, галактики, звёздные скопления, а может, даже планеты с зарождающейся на них жизнью. В заключение профессор говорит: “...теперь для книги философских течений я напишу последний недостающий раздел, а именно теорию бытия”. То есть речь пойдёт о рецепте космопроизводства.

Номер журнала “New Scientist” от 30 января 1999 года открывается статьёй известного физика Пола Дэвиса, который (правда, с вопросительным знаком) утверждает, что вселенная является проделкой первоначальной информации, причём материя — только что-то наподобие миража. Но этот учёный завершает свой текст вполне серьёзными (а не выдуманными мною двадцать с лишним лет назад не совсем серьёзными) словами: “Если информация действительно должна заменить материю как самая первейшая субстанция Космоса, то нас может ожидать большая награда. Одной из самых старых проблем бытия является его двойственность, возникающая между душой и материей. С современной точки зрения мозг (материя) рождает мысли (ментальную информацию). Никто не знает — как, но если материя является всего лишь формой организованной информации, то тогда и сознание уже не так таинственно, как нам казалось”.

Не верю в то, что плод моего фантазёрства явился результатом прикосновения к окончательной истине бытия, и также не верю в окончательную первородность концепции известного физика. Всё, наверное, намного тривиальнее и проще. Водоворот наших, то есть человеческих, идей действительно очень велик, но всегда имеет границу, поскольку всё-таки не является бесконечным. Его комбинаторная мощность, как мне кажется, должна подчиняться какой-то ещё одной, ещё неизвестной нам закономерности. Поэтому мысли, а также идеи, выскакивающие из варёва человеческого разума, наподобие горошин в кипящем гороховом супе, иногда друг с другом сталкиваются, как будто такая их встреча была чем-то predetermined. Ни английский физик не знал обо мне, ни я, до появления в этом году упомянутой выше работы,

ничего не знал о нём и о том, конечно, что мои предположения могут через четверть века войти в список важнейших гипотез из области точных наук!»[\[182\]](#)

## **Глава седьмая.**

### **ФИАСКО**

*Будьте грустны и прекрасны! Доброй ночи  
метеоров огненные очи! Вы ночами  
знойными летели без теней, как  
раскалённые метели и сводили нас с ума  
своим накалом. До свиданья придорожные  
сигналы вдаль манившие меня, как запах  
розы до свиданья, звёзды чистые, как  
слёзы открывавшие мне рощи и долины где  
в садах цветут немые бальзамины до  
свиданья, крылья авионов и крутые  
страсти Эдисонов фейерверки,  
нефтеносные фонтаны до свиданья  
стародавние обманы до свиданья метеоры  
в небе чистом до свиданья тени в  
отдаленье мгlistом тени времени,  
которым нет возврата тени сладкие что  
снились мне когда-то тень небес в глазах  
красавиц юных тень теней созвездий в  
струях лунных тени чувств, которым нет  
имён тени зыбкие, как полуночный звон  
тени бледные, как образы смертей тень  
дыханья неродившихся детей тени  
матерей, молящихся о сыне тени  
призраков, живущих на чужбине тени  
роскоши, что мучают вдову тени  
призраков, ютящихся в доме.*

*Будьте строги и прекрасны! В добрый час!  
Звездопады слёз и клятвы женских глаз, и  
любовь в горах, где сотни звёзд прямо в  
руки падают из гнёзд!*

*До свиданья! До свиданья! Так и быть!  
Снова буду я будильник заводить.  
Сколько здесь людей живёт вокруг,*

вот она поэзия, мой друг![\[94\]](#)

*Витезслав Незвал*



В конце 1973 года краковское Литературное издательство предложило писателю выпустить целую серию фантастических книг под общим девизом: «Станислав Лем рекомендует».

«Я согласился сотрудничать, — писал Лем Рафаилу Нудельману, — и выбрал, в частности, две последние повести Стругацких, а именно: “Малыш” и “Пикник на обочине”. И хотя ни одна из них не удовлетворяет меня в полной степени, это, без сомнения, незаурядные позиции, особенно в сопоставлении с тем потоком бессмыслицы и низкопробной чепухи, которую массово производят американцы и которую теперь, став почётным членом *Science Fiction Writers of America*, я постоянно получаю в огромном количестве. “Малыша” и “Пикник” я даже перечитал. У меня создалось впечатление, хотя, конечно, я могу ошибаться, что Стругацкие в некотором смысле идут протоптанными мною тропами, но делают это самостоятельно и умно, иначе говоря, за таких “учеников” несколько не стыдно. Но, несмотря на всё это, мне хотелось бы, чтобы они делали что-то своё суверенное, полностью независимое от меня.

Впрочем, этого я хотел бы и от всей мировой фантастики.

В серию я включил ещё француза Угрона<sup>[95]</sup>, затем Филипа Дика (“Убик”) и ещё ряд книг, о которых в своё время писал в “Фантастике и футурологии”, ну а сейчас пробую составить приличную антологию рассказов. Количественно на Западе выходит чудовищно много фантастических книг, но качественно всё это просто микроскопично...»

19 апреля — в письме тому же Нудельману:

«В принципе, я думал о большинстве тех западных авторов, которых Вы назвали мне в качестве кандидатов. Конечно, из Стругацких я могу дать в серии лишь то, что выходило отдельными книгами. Значит, “Тройку” нельзя и “Лебедей” нельзя. При этом “Тройку” я считаю превосходной, а вот “Лебедей” меня несколько утомили. Ваши замечания о Братьях, может быть, справедливы, но, может быть, и слишком суровы. Ведь главное — это иметь одну меру для всех на данном поле, конечно, по отношению к весу беллетристического посыла. Но если “Moon Is a Harsh Mistress”<sup>[96]</sup>, по Вашему, является хорошей вещью Хайнлайна (“Stranger in a Strange Land”<sup>[97]</sup> не знаю), то “Пикник” по определению не может быть “хуже”. “Луну” Хайнлайна здорово критиковали (ну, эта живьём перенесённая в космический век история американской ирреденты; странная “социология”;

антиисторизм и всё такое прочее). Мне “Луна”, в общем, понравилась, но не как литература, которую можно воспринимать всерьёз в полном измерении; — это как если бы сопоставлять Сенкевича с Толстым. Хорошо видно, что первый вполне приятный, гладкий, но всё-таки “не то”, “лёгкая красота”, так сказать, фальшивая наивная историософия. Впрочем, Хайнлайн — превосходный рассказчик, он с большой лёгкостью ведёт фабулу. А вот “Пикник”, если бы не проваливался в эпилоге и был бы менее “сплюснен” — в перипетиях героев — это могла быть изумительная вещь. И что бы там с Браннером ни совпадало, “Пикник” значительно лучше в художественном смысле. Стругацкие запали на “произвольность” и на желание придумать панацею, “спасение”, о котором Вы писали. Это очевидно. А “Трудно быть богом” если и задумывалось как некая полемика с “Эдемом”, то никакой полемики не получилось, потому что герой Стругацких ничего не добивается своим бунтом: ничем он не помог угнетаемым массам, девушку убили, а ему остались одни воспоминания. Кто в результате воспользовался тем, что он вышел за пределы игры, проводимой как чистое наблюдение?

И вообще полемика в этом случае должна вестись не в области моральных решений (вмешиваться — не вмешиваться), а в области гносеологии (то есть познаваема ли чужая культура). А никакой полемики нет. Ведь эти их (братьев Стругацких. — Г. П., В. Б.) инопланетные существа — люди до последнего атома. Просто люди. Обыкновенные люди. То есть задача (гносеологическая) была “решена” с помощью *circulus in defmiendo*<sup>[98]</sup>. Я (в «Эдеме». — Г. П., В. Б.) спрашивал, можно ли понять нечеловеческую историю, а они (в «Трудно быть богом». — Г. П., В. Б.) исходно заложили, что их история человеческая, то есть ничем существенным не отличается. Это меня удивляет. Может, Аркадий и не является орлом интеллекта, но Борис-то? Впрочем, как я назойливо писал в “Философии случая”, “социальная экология” произведения именно в *такой* степени определяет смыслы прочтения! Дилемма “вмешательства” на Западе, кажется, совершенно не была замечена, эту книгу отметили лишь за её “аллюзионизм”.

Как, впрочем, и “Обитаемый остров”»<sup>[183]</sup>.

И ещё о «Пикнике на обочине» (в письме Нудельману от 2 января 1975 года):

«В одном из своих предыдущих писем Вы заметили, что Стругацкие в своих произведениях склоняются к серьёзному поиску “рецепта избавления” и что такой рецепт, в частности, можно увидеть в окончании

“Пикника”. Я не обратил тогда внимания на этот фрагмент Вашего письма и снова вернулся к нему только сейчас, когда переписывался через океан с профессором Сувиным по теме всего творчества Стругацких, и саму повесть перечитал, изданную на польском. Но, как и при чтении русского оригинала, я ни на секунду не в состоянии всерьёз принять то, что роится в голове героя (того самого “сталкера”) в отношении “Золотого Шара”, а именно: будто этот шар на самом деле может “исполнять любые желания”. Я совершенно произвольно посчитал это очень жестокой насмешкой, вытекающей из непонимания людьми (всеми вообще) природы объектов, оставленных в “Зоне” неведомыми “пришельцами”. Неужели это было моей ошибкой, то есть неужели настоящим намерением Стругацких было желание серьёзного отношения к “Золотому Шару” — именно как к “аппарату, исполняющему желания”? Если смотреть с такой точки зрения, повесть сразу меняет смысл и структуру и превращается просто в научно-фантастическую версию очень старого мотива народных сказок, в котором герои разыскивают некий объект, наделяющий их чрезвычайной властью (например, — исполнением желаний), но по дороге к находке они, конечно, должны преодолеть серию сложных испытаний и препятствий. При таком вот “сказочно-структурном” подходе всё, что оставили в “зонах” космические пришельцы, оказывается всего лишь системой барьеров (иногда смертельно опасных), которые просто нужно осилить. Иначе говоря, прохождение людей к “Золотому Шару”, как к некоему исполняющему желания “аппарату”, авторы усложнили долгой серией испытаний, которые люди обязаны пройти. Однако повесть, если её *так* понимать, утрачивает познавательные ценности натуралистического типа (в понимании философии природы) и становится всего лишь сказочным произведением, наполненным неким аллегорическим содержанием.

Впрочем, не важно, как именно я прочёл эту повесть.

Важным мне представляется то, что именно намеревались показать нам авторы и что Вы, бывая с ними в контакте, можете сказать на эту тему. Я слышал от Вас, что первоначально, то есть в неопубликованной версии, окончание “Пикника” было будто бы совершенно *другим*. А Вы не можете мне подсказать, каким было то, первое, окончание? В конце концов, версия, к которой подталкивает меня Ваше мимолётное замечание о том, что финал “Пикника” действительно является попыткой показать “рецепт избавления”, попросту не уместается у меня в голове как версия, которую хоть на мгновение можно принять всерьёз. Этим я хочу сказать, что подобное замысловатое несходство того, что люди думают о “контакте с иной цивилизацией”, и того, что этот контакт представляет собой *de facto*,

— представляется мне вполне допустимой гипотезой на внелитературном пространстве. Другими словами, если не дословный ход событий повести, то хотя бы *тип* отношений между “пришельцами” и людьми, показанный в этом произведении, мог бы осуществиться в реальном мире. Зато совершенно невозможной, то есть выходящей за пределы правдоподобия представляется мне (в гипотетических размышлениях о “контакте”) концепция “устройства для исполнения желаний”, поскольку *ни в одну* натуралистическую версию мира эта концепция не укладывается. Ведь это же просто немного замаскированный “фантастической научностью” переход от гипотез, хотя бы микроскопически правдоподобных, к мышлению типично мифически-сказочному! Не больше...»

В серии вышли:

«Убик» Филипа К. Дика;  
«Необыкновенные истории» Стефана Грабиньского;  
«Рассказы антиквария о привидениях» Монтегю Родса Джеймса;  
«Пикник на обочине» и «Лес» (главы из повести «Улитка на склоне») братьев Стругацких.

Каждая книга серии «Станислав Лем рекомендует» сопровождалась пространным послесловием Лема с оригинальной трактовкой рассматриваемых произведений.

В этой же серии планировались книги Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы» и Альфреда Бестера «Звёзды — моё назначение». К сожалению (для судьбы всей серии), переводил роман Урсулы Ле Гуин Станислав Бараньчак [\[99\]](#), и издатели отказались выпускать книгу с участием опального поэта.

В знак протеста Лем разорвал сотрудничество с издательством.

Постоянное обращение к научным работам, к философии выработало у Лема особое отношение к языку.

«Вы правы, — писал он Канделю о своём отношении к неологизмам (9 января 1975 года), — когда утверждаете, что, по моему мнению, язык одновременно отражает *или* формирует мир человека. А лучше ли польский язык, чем английский, переносит ли он значительное обилие, скопление неологизмов — для меня самого этот вопрос до сих пор неясен. Когда я писал недавно новый рассказ для цикла “Кибериада”, то в такой степени размножил в нём всякие неологизмы, что пришлось при окончательном редактировании совершенно безжалостно их истреблять, именно потому, что текст стал невыносимо барокковым и это затрудняло чтение, а кроме того (как, скажем, в поэзии), меру нововведений всегда следует определять *сдержанно*; если эта мера превышена, отдельные, даже превосходные неологизмы (метафоры) имеют тенденцию затмевать (гасить семантически) эффект соседних!

Я бы добавил к этому ещё и следующее.

а) В зависимости от того, используются ли неологизмы в намерении квазиреалистической серьёзности описания мира, представленного в произведении, или же в намерении писать намеренно гротесково, это заранее решает, даже как бы предопределяет поведение автора в литературе, хотя совсем не так может быть в действительности. Склонность к шуткам в серьёзных делах свойственна, например, физикам. Недавно открытую частицу они называли “очарованной” совершенно обдуманно. Это, на мой взгляд, гораздо забавнее, чем, скажем, “strangeness” (“странность”) — в качестве некоего параметрического атрибута иных, ранее открытых частиц. Правда, то, что допустимо в действительности, не всегда разрешено в литературе.

б) Неологизмы должны вступать в резонанс — с существующей синтагматикой и парадигматикой языка — множеством различных способов. На многих, можно сказать, уровнях можно получить резонанс, создающий впечатление, что данное новое слово имеет право гражданства в языке. И тут можно грубо, даже топорно произвести дихотомию всего набора неологизмов, так что в одной подгруппе соберутся выражения, относящиеся скорее к сфере *детонации*, а в другой — скорее к *коннотации*. (В первом случае решающим оказывается существование реальных

явлений, объектов или понятий, что-либо выразительно обозначающих вне языка, в другом же случае главной является внутриязыковая, интраартикуляционная, “имманентно высказанная” роль неологизма.) Однако тем, что составляет наибольшее сопротивление при переводе, как я думаю, является то, что я назвал бы “лингвистической тональностью” всего конкретного произведения, *per analogiam* с тональностью в музыкальных произведениях. (Когда одно построено в *b-moll*, а другое — в *Cis-dur*.) Например, тональность “Консультации Трурля” целостна, то есть *gestalt-quality*<sup>[100]</sup>. Она *иная*, нежели в рассказе Трурля о Малапуции Хавосе. Это (ненамеренное) различие возникает, по моему мнению, от чисто эмоциональной напряжённости увлечения текстом, ибо интенсивность такого увлечения находит своё выражение в некоей “языковой разнузданности”, в дерзком подчинении всего осмысленно-звучащего заявления — намерению, патронирующему произведение (у меня, по крайней мере, именно так нарочито подчёркивается натиск ожесточённости, скажем). Может, заслуживает внимания поиск ответа на вопрос — в какой мере дозволительно неологизмам на разных уровнях (лексикографическом, грамматическом, фразеологическом, идиоматическом) приписывать серьёзные функции в тексте, *даже* исключительно гротесковом. Ведь гротесковость может быть защитой, камуфляжем в специфических условиях подцензурной публикации, хотя не может идти речь о том, чтобы всегда трактовать такой текст как шифр или как шелуху, которую следует содрать и отбросить, чтобы добраться до того, что “на самом деле” этот текст скрывает. В противоположность обычному шифру, литературный текст неотделим от своей “скрытой семантики”, и как обычно бывает в литературе, то, что “автор хотел сказать”, может оказаться, в сущности, чем-то совсем банальным, а новшеством и ценностью *per se* является именно способ высказывания...»<sup>[184]</sup>

Некоторое время спустя Станислав Лем продолжил начатый разговор.

«Ваше письмо объяснило мне, на сколь хрупком основании покоится любое соглашение, возникающее между людьми *через литературу*. Ведь если бы я был автором всех моих книг, за исключением “Кибериады” и “Звёздных дневников”, Вы наверняка не занялись бы моим творчеством так благодатно и так замечательно, как это произошло. При этом я думаю, что различий базовых суждений о литературе, в частности, хотя бы в её фантастическом ответвлении, между нами ещё больше, чем это, казалось бы, следовало из предложенной Вами раскладки моих произведений на четыре группы, потому что я уверен: при продолжении аналитического

разбора мы пришли бы к дальнейшим различиям. Так, например, поместив под микроскоп отдельные “путешествия” Ийона Тихого, мы установили бы (собственно, это уже произошло ранее в нашей переписке), что Вы отличаете и выделяете не те же самые путешествия, которые предпочитаю я. Так, например, путешествие, связанное с “теологическим” зарядом, Вас явно не устраивало, и Вы даже предлагали его исключить из сборника, в то время, как для меня оно являлось и является одним из самых метких и важных, наиболее точно отражающих мои исходные намерения. Ведь моё негативное отношение к отдельным собственным текстам, к таким, например, как “Расследование”, “Эдем” или “Возвращение со звёзд”, вытекает из ощущения расхождения первоначального намерения и его выполнения, то есть дисквалифицирует эти произведения за их несовершенство, за то, что они свернули на неправильный путь. Ну а там, где до подобной дисквалификации не доходит, я попросту считаю, что написал *то* и *так*, как “должно быть”. Дискуссия на тему “кто из нас здесь прав” лишена смысла, поскольку литература — это всегда исключительно *argumentum ad hominem*<sup>[101]</sup>, и это *argumentum*, все обоснования которого представляют собой лишь вторичную рационализацию (критическую). Существуют, как известно, книги, которые мы любим и уважаем, такие, которые любим, но не уважаем, такие, которые уважаем, но не любим, и, наконец, те, которые не любим и не уважаем. (Для меня к первой категории принадлежат книги — не все — Бертрانا Расселла; ко второй — Сименона, к третьей — Кафки, к четвёртой — книги типичной *science fiction*.)

То же касается и нашего отношения к людям, например, к женщинам!

Ведь можно считать, что некая женщина вполне *достойна* любви за её положительные качества души и тела, и одновременно осознавать, что ты её никогда не полюбишь. На вопрос *почему*, можно, наверное, ответить, — но это будет вторичная рационализация; первоначальным же остаётся влечение или отвращение. Добросовестный критик — это такой критик, который лишь то признаёт и хвалит от всего сердца, что одновременно и любит и уважает; конечно, нюансы между первым и вторым повсюду стараются стереть.

Ключ оценки моих собственных книг — это моё отношение к ним с позиции *читателя*. К “Кибериаде”, к “Звёздным дневникам”, а также к “Мнимой величине” и к “Абсолютной пустоте” я могу безболезненно возвращаться и обычно нахожу в этих текстах что-нибудь вполне удовлетворяющее меня, а потому и ощущаю желание узнать иные — *если бы они были* — книги такого типа. “Солярис” — особая вещь, её я больше уважаю, чем люблю, — даже корректировать не хочу! Фантазия, которую я



ценю, — это крылья, выносящие нас за пределы Познанного и Испытанного. Происходит ли такая трансценденция достигнутых границ в виде дискурса (“фиктивной онтологии”, “теологии”, “философии”, “лингвистики” *etc.*) или же в виде беллетристики (гротеска или “визионерской атаки”), имеет для меня чисто *тактическое* значение. Какова вершина, какие возникают препятствия при её штурме, такова и применяемая тактика, ничего сверх того. Это не значит, что я — предтеча, а Вы — традиционалист, что я выдвинулся куда-то там, а Вы остались позади. Нет, это означает лишь то, что я пишу и читаю только то, что меня занимает, что мне доставляет удовлетворение. Я ищу, в моём чисто субъективном ощущении, — *истины*. И тут правота уже на стороне тех, кто считает, что я, наращивая эрудицию и знание, тем самым затрудняю себе чисто беллетристическую работу в пределах ранее использованных канонов (“Кибериада”, “Солярис”), поскольку жажда оригинального, хотя бы *похожего* на правду отличия, подгоняет меня успешнее всех других используемых критериев естественности, например, композиционного, стилистического *etc.* Так, например, будучи подобен (духовно) профессору Хогарту из романа “Глас Господа”, я не очень привязан к сентиментально-мемуарным достоинствам в “Высоком замке”. Единственная часть этой книги, которая по-прежнему доставляет мне удовольствие как читателю, является глава, посвященная “удостоверенческому бытию” как метафоре-параболе, показывающей инициацию ребёнка в общественный быт, а одновременно и вхождение того же ребёнка в ту систему символических инструментов, благодаря которой он начинает участвовать в духовной жизни человечества. (Замечу, кстати, что Ваше предпочтение, например, “Голема” “Высокому замку”, остаётся для меня совершенно необъяснимым; именно это, как я думаю, и является той *differentia specifica*<sup>[102]</sup> наших индивидуальностей, которую можно было бы по-разному интерпретировать, но наверняка нельзя разгрызть и понять окончательно.)

Я чувствовал, с какой старательностью и осторожной деликатностью Вы подбирали слова, чтобы не задеть мою авторскую любовь, но этого не надо. Я, конечно, ничего не имею против того, чтобы мои книги стали бестселлерами, но принимать это во внимание и стараться *специально* написать бестселлер или вещь, адресованную элите, — нет, я так не могу. Во-первых, не умею, а во-вторых, не думаю, что даже если бы и умел *так* писать, то захотел бы удовлетворить принятым решением не себя, а кого-то *другого*. Считаю своей моральной писательской обязанностью признаваться в написании всех моих книг, хотя не считаю, что должен в



обязательном порядке соглашаться на переиздания того, что, по мнению издателя, *respective* требует книжный рынок. А уж принятие во внимание голосов критики, читателей, врагов, друзей, далёких и близких людей — вообще *не* входит в мой кодекс писательского поведения, уж не знаю, хорошо это или плохо. В этом смысле я даже не кипплинговский кот, который гуляет сам по себе; просто я хочу гулять там, где до меня ещё вообще никто не бывал, и меня изумляет то, что именно *изумляет*, а вовсе не сам по себе *след непроторённый*. Если я даже увижу такой никем ещё не проторённый след, то и тогда не ступлю туда ни на шаг, если только вся эта эскапада не очарует меня заранее...

Аргументы вроде тех, которые Вы самым добросовестным образом изложили, я, конечно, принимаю к сведению. Но речь идёт о таком типе аргументации, который убедил бы меня, что книги писателя X содержат ценности, которые я в качестве читателя не обнаружил, так как был внутренне слеп. Эта аргументация может убедить меня склониться к *уважению* некоего писателя X, но всё равно не заставит полюбить его книги, ибо, как я уже сказал, это очень разные вещи. Отношения с литературой отличаются особой духовной интимностью, своей неповторимостью — подобной отношениям, как уже было сказано, в эротике, то есть любви, которую мы питаем к женщине, вовсе не пропорциональна нашему знанию её достоинств. Царство тривиальной литературы стояло и стоит на том, что люди читают книги только потому, что это доставляет им удовольствие, и всё — баста! А вот высокие произведения люди больше признают выдающимися, нежели читают с радостью.

Как писатель, я делал много вещей *умеренных*.

Например, весь “Пирке” для меня — это литература добрая, гладкая, умелая, складная, но одновременно отошедшая от подлинности, которая только и создаёт возможность драмы. Пилот Пирке в лучшем случае — персонаж Джека Лондона, но не Джозефа Конрада, поскольку такие довольно скромные цели я ставил себе в то давнее время. Ну а потом к этому моему “харцерскому” Баден-Пауэлловскому герою я немножко привязался, — и люблю, хоть и не уважаю.

Конечно же, отмеченное различие наших оценок моего труда — вещь нужная и важная, поэтому моя благодарность Вам — не лживая; это был ценный опыт, за который ещё раз Вас благодарю»<sup>{185}</sup>.

В мае 1975 года Станислав Лем в очередной раз побывал в Западном Берлине.

Вернувшись, он с огорчением писал своему постоянному адресату Майклу Канделю:

«Вот уже несколько десятков лет в области научной фантастики в США под видом амброзии и нектара богов продаётся в основном г..., и читающая публика так уже вошла во вкус этого г..., что какому-то типу с азиатского Востока с подножия каких-то там Татранских гор не пристало быть самым умным. Чего ради из-за этого умника отказываться от любимого г...?..»<sup>[186]</sup>

И в письме Владиславу Капуцинскому (от 11 ноября 1975 года):

«Как и прежде, за пределами нашей страны наибольшим успехом мои книги пользуются в ФРГ, а также во Франции; трудности с поиском хороших переводчиков стали причиной того, что другие мои, теоретические, книги всё ещё там не вышли. (Анекдот: один переводчик в ФРГ взял 7000 марок у моего издателя на перевод “Суммы технологии” и... ничего не сделал.) В ГДР вышло на душу населения книг Станислава Лема гораздо больше, чем в Польше, а вот на территории английского языка, особенно в США, мои книги идут тяжело, поскольку очень отличаются от распространённых там образцов, о которых я уже высказывал своё мнение...

Сейчас я заканчиваю повесть со странным, может быть, названием — “Насморк”.

В какой-то степени она связана с моим давним “Расследованием”, но на сей раз история, надеюсь, получается логичная и эмпирически правильная — серия таинственных смертей, безуспешно расследуемых разными полициями, вызванная, кстати, полипрагмазией (случай, когда в результате одновременного попадания в наш организм определённых химических соединений возникают сильные галлюциногенные состояния). Героем книги является американский астронавт, а точнее, кандидат в астронавты, забракованный из-за аллергического насморка...

А вообще, как обычно, я делаю одновременно очень много разных вещей.

С начала ноября преподаю на факультете философии Ягеллонского университета у профессора Кудеровича “мою точку зрения” на избранные

вопросы из области теории познания. По просьбе американского издателя проектирую обложки к моим собственным книгам, в последнее время конкретно к «Звёздным дневникам». Лаборатория Искусственного Интеллекта в Стэнфорде, Калифорния, пригласила меня (проф. Маккарти) на конференцию, посвященную будущему машинного разума. Состояться она должна в марте 1975 года, но я отказался, потому что выезжаю куда-то — только если *должен* (*ars longa, vita brevis*<sup>[103]</sup>). Всё же лестно, потому что в Стэнфорде собираются исключительно учёные головы. Написал ещё несколько радиопостановок для баварского радио. Из краковского Литературного Издательства пришла корректура сборника рассказов “Маска”. А ещё навлёк на себя множество неприятностей, составляя серию “Станислав Лем рекомендует”, так как первый же американский автор — Ф. Дик, к сожалению, малость сумасшедший, опубликовал в американской прессе открытое письмо, в котором обозвал меня вором и мошенником, который якобы незаконно издал его книгу, а гонорар (в долларах) присвоил себе. Теперь краковское издательство вынуждено слать в США разные *dementi*<sup>[104]</sup>, копии договоров и т. п., потому что всё этот бедный человек в своём письме наврал, не думаю, кстати, что по злему умыслу, просто долго употреблял ЛСД. Ну и, естественно, многие обиделись на меня просто за то, что я не включил в серию их книги...

Что касается домашних дел, то сын Томаш, которому уже семь с половиной лет, ходит в первый класс, а с марта этого года учится играть на фортепиано и удивительно хорошо это у него получается; больше всего он рад тому, конечно, что Папа совершенно безграмотен в области нот.

Ещё у нас новый пёс, добрый дурачок Бартек, который в восемь месяцев весит 34 кг; очень сильный и прожорливый, но добрейшая скотина, только снова у нас большие проблемы с кормлением, потому что Бартек, конечно, не любит каши, а любит, видите ли, мясо...

Жена по-прежнему работает в рентгене.

В мае этого года были с ней в Берлине, сначала в Восточном, затем в Западном.

И там, и там у меня состоялись авторские встречи, и я заметил, что немцы, хоть и разделены стеной и строем, но очень похожи друг на друга мышлением. Потом в сентябре была такая маленькая конференция в австрийском Тироле, в Альпах, посвященная моему творчеству, но я хоть и собирался поехать, не поехал, потому что не сложилось. Зато написал большую часть книги “Повторения”, в которой есть *silva rerum*<sup>[105]</sup> — короткие и длинные рассказы, всего понемногу. Из прорывов (не моих, а

моих книг) последний — это издание на португальском языке в Бразилии. А в Испании генерала Франко вышел “Футурологический конгресс”, хотя издатель поначалу боялся тамошней цензуры. В Швеции “Солярис” пошла неожиданно хорошо, её купили публичные библиотеки; а в Финляндии, вроде бы тоже Скандинавской стране, этот роман идёт скверно. И никогда не поймёшь, почему происходит так или этак. В декабре, а точнее, под Новый год в ФРГ выйдет что-то вроде антологии критических работ, посвященных моему творчеству<sup>[106]</sup>, и самые большие трудности были с поиском для этой антологии именно польской критики, так как речь шла о целостных, синтетических разборах, а не о рецензиях на отдельные книги. А недавно в предисловии к советскому переизданию своих книг я прочитал, что Станислав Лем стал известен в СССР гораздо раньше, чем на своей родине, и это мне тоже удивительно. Впрочем, это лишний раз подтверждает тот тезис, что *nemopropheta in patria sua*<sup>[107]</sup>...

В последнее время читал очень плотно и умно написанную (на русском) книгу И. Шкловского об эволюции звёзд. Вообще должен сказать, что никак нельзя пожаловаться на избыток ценных научных и одновременно новых позиций в наших книжных магазинах.

Дома стало совсем тесно, и самое худшее — это пачки с авторскими экземплярами на очень экзотичных языках, так как непонятно, что со всем этим делать. Подвал уже забит до отказа, а на чердак класть неудобно и страшно (как бы потолок не провалился), вот и мучаемся. Ещё я постоянно разрываюсь между пишущей машинкой и великими проектами моего сына, потому что появилась у него великая страсть мастерить и изобретать, вот мы и строим и изобретаем с ним всякие интересные устройства. Сейчас принялись за электрический мотор, основанный на старой концепции катушки, всасывающей железный сердечник, по форме такой же, как паровая машина Уатта с балансиром. У Томаша есть разные интересные вещи (машина Уимсхерста, паровая машина), но сейчас он презирает всё, к чему сам рук не приложил, и я должен очень стараться, чтобы его не разочаровать: например, подтянулся в паянии...

Со здоровьем дела обстоят более-менее.

Зубов во рту стало меньше, зато начал расти живот.

Но за живот я взялся строго и безжалостно, недельными голодовками, — и в самом деле есть результаты. А вот сон перепутался, и часто не сплю даже в четвёртом часу (утра). По совету немецкой пословицы *am einer Not eine Tugend machen*<sup>[108]</sup> я начал в эти ранние часы писать, так как это для меня самое спокойное время. И так понемногу передвинул себе день, что

сейчас к девяти вечера уже падаю с ног... и часто иду спать в одно время с Томашем...»[{187}](#)

В письме, отправленном в мае 1976 года польскому писателю и сценаристу Александру Сцибору-Рыльскому, написавшему, кстати, сценарии для таких знаменитых фильмов Анджея Вайды, как «Человек из железа» и «Человек из мрамора», Лем жаловался:

«Может, я что-нибудь бы и написал новое, если бы переписка с читателями не съедала половину моей жизни. Разные типы со всего света присылают мне на оценку свои паштеты. Недавно какой-то негр из США прислал рукопись весом 4,2 килограмма, честное слово, а в марте какой-то немец из ГДР — такую же. А сегодня этот же немец прислал мне напоминание с укором, что я ему не отвечаю и не рецензирую его замечательные произведения. А то кто-то приезжает из Скавины и терзает меня, потому что пишет историю своей семьи. А ещё мне пишет куча всяких идиотов, которым кажется, что разные космические цивилизации что-то по ночам нашёптывают им интересное. А в апреле я был вынужден вежливо прогнать одну пани-режиссёра, которая хотела сделать “Лем-шоу” для нашего телевидения. Замечательное, брат, она придумала начало. Помнишь фильм, в котором товарищ Сталин в белом кителе поливает фруктовое деревце?<sup>[109]</sup> Ну вот. А в начале нашего шоу я должен был подвязывать яблоньку с помощью двух роботов. Такое шутовство казалось ей гениальным...»<sup>{188}</sup>

Обычно Лем старался держаться в стороне от проблем политических, но в 1976 году подписал протест против того, чтобы в Конституцию Польши был вписан некий новый пункт о «ведущей роли» ПОРП в жизни страны и о «вечной дружбе» с СССР.

К счастью, такого рода «диссидентство» не сказалось на судьбе писателя.

Более того, в том же году Станиславу Лему была присуждена Государственная премия ПНР 1-й степени — за литературное творчество.

Летом 1976 года Лем отправил жену и сына в курортный городок Устку на море.

У Томаша была астма, мальчика следовало подлечить. Лем часто практиковал такие выезды, сам же оставался дома, чтобы спокойно работать. Но на этот раз дела с самого начала не складывались, вдруг начались неполадки с мочевым пузырём и простатой. Срочную хирургическую операцию писателю провели в Катовице, потому что в Кракове не было соответствующего оборудования. А после возвращения, буквально через пару недель, начались осложнения: от неудачного укола отнялась правая рука, началось внутреннее кровотечение.

Понадобилось новое хирургическое вмешательство, опять в Катовице.

Междугородняя связь тогда была неудобная, сложная, часами приходилось ожидать соединения. Барбара ничего не знала, а когда дозванивалась до дома, сестра ей отвечала: «Да вот Сташек куда-то вышел». Но, в конце концов, Барбара узнала правду и решила вернуться. Билетов на поезд или на самолёт (лето, курортная зона) не было, Барбара нашла таксиста, который согласился везти её за 750 километров.

«Возвращение из эсхатологической зоны к ежедневным делам показалось мне странным, — писал Лем Канделю, — ибо там, несмотря на муки и кровь, царствуют *гигантские и окончательные* напряжения, там, по крайней мере, временно становится явной ценность жизни сама по себе, а тут — кучи всяких бумаг, писем, договоров, корректур, которые кажутся глупыми и ненужными пустяками...»<sup>{189}</sup>

В сентябре 1976 года вышел, наконец, новый роман — «Насморк».

В некотором смысле для писателя это был давний спор с самим собой.

Как и давний роман «Расследование», «Насморк» начинается с серии непонятных смертей, похожих и на убийство, и на самоубийство, на первый взгляд никак между собой не связанных. Но если в «Расследовании» автору не удалось дать рационального объяснения загадочным событиям, то в «Насморке» герой — бывший, точнее, несостоявшийся астронавт, — с загадкой справляется.

Сам писатель считал, что новый роман ему удался.

«Даже в категориях натурализма и наивной достоверности, — писал он, — это сделано гораздо лучше, чем когда-то в “Расследовании”...»

Действие происходит в Неаполе. Критики не раз дивились весьма обстоятельным и точным описаниям этого живописного итальянского города, ведь сам Лем в Неаполе до этого не бывал. Я, конечно, представлял себе Неаполитанский залив, признавался писатель позже, но в реальности он, конечно, оказался несколько другим, хотя залив, описанный мною по фотографиям, и залив реальный несколько не противоречили друг другу и так и жили во мне.

Но не залив формировал первые впечатления читателей.

«Новый аэропорт неофициально называют Лабиринтом, — включил своё воображение писатель, от лица главного героя, понятно. — Во время пробного пуска сыщики с хитроумно спрятанным оружием несколько недель бегали по эскалаторам, и никому из них якобы оружие пронести не удалось. Лабиринт действовал с апреля — без серьёзных инцидентов; пока вылавливали только людей со странными, хотя и невинными предметами, вроде детского револьвера или его силуэта, вырезанного из алюминиевой фольги. Одни эксперты утверждали, что это психологическая диверсия разочарованных террористов, другие — что это попытка установить, насколько хорошо действуют фильтры. Единственное происшествие произошло в день, когда я покидал Неаполь. Какой-то азиат, избличённый ультразвуком посередине Лабиринта на так называемом “мосту вздохов”, решил избавиться от настоящей бомбы. Он бросил её в зал, над которым расположен мост, но взрыв не причинил никакого вреда...

Моя “Алиталия” на час задерживалась, неясно было, примет нас Орли или аэропорт имени де Голля. Я решил переодеться, потому что в Париже



обещали тридцать градусов в тени. И поскольку не помнил, в каком чемодане у меня сетчатые рубашки, отправился к ванным комнатам с тележкой, на которой лежали все мои вещи, и долго блуждал по пандусам подземной части здания, пока какой-то раджа не показал мне дорогу. Не знаю, был ли он действительно раджей, хоть и носил зелёный тюрбан, скорее всего нет, слишком уж скверно говорил по-английски. На прогулку с тележкой я ухлопал столько времени, что душ принял наскоро, живо переделся в полотняный костюм, надел лёгкие туфли со шнуровкой и, сунув саквояж с мелочами в чемодан, поспешил к стойке регистрации...

Кондиционеры в зале регистрации барахлили, от них тянуло то холодом, то жаром, а у стойки на Париж дул какой-то особенно горячий ветер, и я, сняв куртку, набросил её на плечи. Каждый из нас получил “пропуск Ариадны” — пластиковый пенал для билета с вделанным в него электронным резонатором. Тут же за вертушкой прохода начинался эскалатор, такой узкий, что на него входили гуськом. Вначале едешь вверх, и там ступеньки превращаются в тротуар, бегущий над залом в ярком сиянии ламп дневного света, причём дна внизу не видно, оно скрыто во мраке. За “мостом вздохов” тротуар делает поворот и, снова превратившись в довольно крутую лестницу, пересекает тот же самый зал, который можно узнать лишь по ажурному потолку, потому что эскалатор с обеих сторон закрыт алюминиевыми щитами с изображениями мифологических сцен.

С концом этой дороги мне не суждено было познакомиться.

А идея этой дороги была проста: пенал пассажира, имеющего при себе нечто подозрительное, даёт об этом знать пронзительным писком. Заклеймённый пассажир убежать не может, потому что эскалатор слишком узок, а писк, разносящийся по всему залу, должен нагнать на него страху и заставить избавиться от оружия. В зале развешаны предостережения на двадцати языках: всякий, у кого будет обнаружено оружие или взрывчатка или кто попытается терроризировать пассажиров, поплатится жизнью. Смысл этих туманных угроз толковали по-разному. Я слышал даже о снайперах, якобы притаившихся за алюминиевыми щитами, хотя и не верил этому...

Рейс был чартерный, но нанятый “боинг” превзошёл потребности его нанимателей, и в кассах до самого отлёта продавали оставшиеся билеты. В переплёт попали те, кто, как и я, приобрёл билет в последнюю минуту. “Боинг” зафрахтовал какой-то консорциум банков, но мои соседи на лестнице мало походили на банкиров. Первой ступила на эскалатор старуха с тростью, затем блондинка с собачкой, за ней я, девочка и японец. Оглянувшись через плечо, я увидел, что стоявшие сзади мужчины тут же

уткнулись в газеты, но, решив не разворачивать свою “Геральд трибюн”, сунул её под подтяжки на плече, словно пилотку. Блондинка в вышитых жемчугом брючках, обтягивающих её так, что сзади угадывались очертания трусиков, держала на руках чучело собаки. Собака, как живая, то и дело моргала. Девочка с живыми глазками в своём белом платице походила на куколку. Японец, ненамного выше её, являл собой образ ревностного туриста. Казалось, он только что от знаменитого портного. На застёгнутом на все пуговицы клетчатом пиджаке скрещивались ремни транзистора, бинокля, большого фотоаппарата “Никон-5”; когда я оглянулся, он как раз расстёгивал футляр, словно собираясь запечатлеть чудеса Лабиринта.

Лестница перешла в тротуар, когда я услышал тревожный писк.

Писк этот исходил от японца. Девочка в испуге отшатнулась от него, прижимая к груди свой пенал с билетом, но японец и бровью не повёл, только увеличил громкость транзистора. Мы теперь плыли над огромным залом. По сторонам помоста блестели в лампах дневного света фигуры Ромула, Рема и Волчицы, а пенал японца был уже прямо душераздирающе. Дрожь пробежала по столпившимся пассажирам, хотя никто не произнёс ни звука. Японец добрую минуту стоял с каменным лицом в этом всё усиливающемся вое, только на лбу его проступили капельки пота. Потом, вырвав из кармана пенал, он стал ожесточённо с ним сражаться. Ни одна женщина не вскрикнула, мне же было любопытно, как японца выловят из нашей группы...

Когда “мост вздохов” кончился и тротуар поплыл к повороту, японец присел на корточки — внезапно и очень низко, словно провалился. Я не сразу понял, что он там делает, скорчившись. А он всего лишь выдернул из футляра и открыл свой фотоаппарат. Тротуар со всеми нами двигался ещё по прямой, но ступени начали подниматься: тротуар превращался в эскалатор, поскольку второй “мост вздохов” — это, по сути, лестница, наискосок возвращающаяся через большой зал. Выхватив из “Никона” искрящийся сахаристыми иголками цилиндр, который едва бы уместился у меня на ладони, японец выпрямился. Это была неметаллическая корундовая граната с игольчатой сварной оболочкой, без черенка. Японец обеими руками прижал к губам донышко гранаты, словно целуя её, и, лишь когда отнял гранату от лица, я понял, что он зубами вырвал чеку — она осталась у него во рту. Я рванул к гранате, но только коснулся её, потому что японец ударил меня башмаком в колено и резко подался назад, сбивая с ног стоящих за ним людей. Падая, я попал локтем девочке в лицо, меня занесло на перила, я ещё раз натолкнулся на девочку и, перемахнув через барьер, увлёк её за собой. Вдвоём мы полетели вниз из яркого света во

мрак. Я сильно ударился обо что-то поясницей. Газеты не писали, что находится на дне зала, под мостками, но подчёркивали, что взрыв бомбы не должен причинить людям вреда. В падении я постарался напрячь ноги, но вместо песка почувствовал нечто мягкое, податливое, влажное, оно расступилось подо мной, словно пена, а ниже находилась ледяная жидкость; и тут же меня до мозга костей потряс грохот взрыва. Девочку я потерял. Ноги увязли в топком иле, я погружался, отчаянно барахтаясь, пока усилием воли не заставил себя успокоиться. У меня было около минуты или даже чуть больше, чтобы выкарабкаться. Сперва думать, потом действовать! Бассейн своей формой должен был уменьшать кумуляцию ударной волны. Итак, не чаша, а скорей воронка, выложенная по дну вязкой массой, заполненная водой с толстым слоем пены на поверхности. Вместо того чтобы тщётно рваться вверх, я по-лягушачьи присел, нащупывая растопыренными пальцами дно. Справа оно поднималось. Загребая ладонями, словно лопатами, я пополз вправо, выдёргивая ноги из грязи, — это было невероятно трудно. Соскользнув с наклонной плоскости, снова стал загребать руками, подтягиваясь, как альпинист. Так и лез вверх, пока на лице не стали лопаться пузырьки пены, и, задышавшись, хватая ртом воздух, вынырнул, наконец, в полумрак...

Огляделся, высунув голову из колышущейся пены.

Девочки рядом не было. Тогда я вдохнул глубже и нырнул.

Глаз открыть я не мог, в воде была какая-то пакость, от которой глаза горели огнём.

Три раза я всплывал и нырял снова, теряя последние силы; от топкого дна нельзя было оттолкнуться, пришлось плавать над ним, чтобы снова не засосало. Я уже терял надежду, когда наткнулся на длинные волосы. От пены девочка стала скользкой, как рыба. Я схватил её за платье, но ткань лопнула. Сам не знаю, как выбрался с нею наверх. Помню какуюто возню, липкие пузыри, которые соскребал с лица, мерзкий металлический вкус воды, мои беззвучные проклятия, помню, как толкал девочку через борт воронки. Когда она оказалась за бортом, я не сразу вылез из воды, а свесился вниз, весь облепленный лопавшейся пеной. Сверху доносились человеческие вопли. Мне показалось, что моросит редкий тёплый дождь. Откуда здесь быть дождю? Задрал голову, я различил мост. Алюминиевые щиты свисали с него, скомканные, как тряпки, а пол просвечивал, словно сито. Я выбрался из воронки под этим странным непрекращающимся дождём и перекинул девочку через колено, лицом вниз. Её состояние оказалось лучше, чем я ожидал. Я стал массировать ей спину, чувствуя, как мерно вздымаются ребра. Девочка захлёбывалась и кашляла, но уже

дышала. Меня тоже подташнивало. Я помог себе пальцем. Стало легче, но всё ещё не хватало сил встать на ноги. Вой над нами перешёл в стоны и хрипение. Почему никто не приходит на помощь? Откуда-то доносился шум, что-то лязгало, словно пытались привести в движение застывший эскалатор...»

К сожалению, читателям 1970-х годов всё это было уже знакомо.

Началась эпоха активного терроризма: пресса, захлебываясь, выкладывала подробности каждой удачной или неудачной попытки. Ну а суть романа, так сказать, «химическое» его наполнение, восходила к давней работе Станислава Лема — «Сумма технологии». Именно в этом произведении он впервые пытался показать, как странно и трагично могут подействовать на человека случайные соотношения различных веществ, одновременно попавших в еду, или в лекарства, или в питьё; теперь, обладая огромным литературным и научным опытом, Станислав Лем распорядился давней своей идеей чрезвычайно изящно.

Некий канадский биолог обнаружил в каждой ткани людей, которые не лысеют, то же самое нуклеиновое соединение, что и у нелысеющей узконосой обезьяны. Эта субстанция, названная канадцем «обезьяньим гормоном», оказалась весьма эффективным средством против облысения. В Европе гормональную мазь стала выпускать специальная швейцарская фирма, причём швейцарцы видоизменили препарат, он стал более действенным, но и более восприимчивым к теплу. Под влиянием солнечных лучей гормон быстро менял химическую структуру и был способен при реакции с риталином (лекарственным средством из группы психостимуляторов) превращаться в типичный депрессант. Понятно, риталин присутствовал в крови у тех, кто его принимал, гормон же употреблялся наружно в виде мази, что облегчало проникновение лекарства через кожу в кровеносные сосуды. Чтобы произошло отравление с психотическим эффектом (а жертвы в романе погибали именно таким образом), требовалось втирать в кожу едва ли не 200 граммов гормональной мази в сутки и, соответственно, принимать максимальные дозы риталина.

Катализаторами, в миллион раз усиливавшими действие депрессанта, являлись соединения цианидов с серой — роданиды. Эти соединения содержались в миндале, они и придавали ему характерный горьковатый привкус. Кондитерские фабрики в Неаполе, выпускавшие жареный миндаль, страдали от засилья тараканов, для дезинфекции применяли препарат, содержащий серу. Частицы серы проникали в эмульсию, в которую погружали миндаль перед посадкой в печь, и как только

температура повышалась, цианиды миндаля, соединяясь с серой, претерпевали новые изменения. И т. д. и т. д. В итоге, *погибал тот, кто употреблял гормональную мазь ириталин, при этом принимал сероводородные ванны, а в придачу лакомился миндалём по-неаполитански.* К тому же роданиды катализировали реакцию, присутствуя в столь ничтожных количествах, что обнаружить их можно было только с помощью хроматографии. Причиной неосознанных самоубийств, расследуемых в романе, оказалось самое обычное лакомство.

«Кто не применял гормональную мазь, — начинает понимать герой, — тому не о чем было рассказать; кто её применял — погибал. Упаковку от швейцарской мази среди вещей погибших обычно не обнаруживали: мазь предписывалось хранить в холодильнике, что дома делать гораздо проще, чем в гостинице, и пожилые педанты предпочитали пользоваться услугами местных парикмахеров, а не возиться с мазью самим. Её применяли раз в десять дней, поэтому каждый из погибших только однажды мог проделать эту процедуру в Неаполе. И, наконец, все жертвы отличались физическим сходством, поскольку им присущи были сходные психические черты. Это были мужчины на пороге увядания, ещё с претензиями, ещё боровшиеся с надвигающейся старостью и вместе с тем скрывающие это. Кто переступил возрастной порог и, облысев как колено, отказался в шестьдесят лет от попыток сохранить моложавый вид, тот не искал чудодейственных средств, а кто лысел преждевременно, годам к тридцати, тому ревматизм не докучал настолько, чтобы начать бальнеологическое лечение. Итак, угроза нависла только над мужчинами, едва достигшими теневой черты...»

И далее в романе идёт диалог чисто лемовский.

«— Эта история — не столько знамение нашего времени, сколько провозвестник грядущего, его предзнаменование, пока ещё никому не понятное.

— А вам оно понятно?

— Мне кажется, я догадываюсь. Человечество настолько размножилось и уплотнилось, что на него начинают влиять законы, по которым существуют атомы. Каждый атом газа движется хаотически, но именно хаос рождает определённый порядок в виде постоянства давления, температуры, удельного веса и так далее. Ваш успех, достигнутый благодаря длинной цепи чрезвычайных совпадений, представляется парадоксальным. Но это вам только кажется. Вы возразите: мало было упасть с лестницы у Барта, вдохнуть серу вместо нюхательного табака, нужна была ещё рекогносцировка на улице Амели, чихание перед бурей, миндаль, купленный в подарок ребёнку, задержка вылетов в Рим,

переполненная гостиница, парикмахер — более того, гасконец, — чтобы началась цепная реакция...

— Ох, и это ещё не всё, — вставил я. — Если бы моё участие в освобождении Франции не кончилось трещиной крестца, то контузия, пожалуй, не дала бы о себе знать, и, следовательно, после происшествия в Риме я скоро пришёл бы в себя. Если бы я не попал на эскалатор рядом с террористом, моя фотография не появилась бы в “Пари-матч”, а не будь этого, я не добился бы номера в “Эр Франс”, поехал бы ночевать в Париж, и снова никакой развязки не происходит. Уже сама вероятность моего присутствия при покушении априори астрономически ничтожна. Я мог полететь другим самолётом, мог стоять ступенькой ниже. Всё это — чистейшее стечение обстоятельств».

Да, стечение обстоятельств — вот проблема, которую, по мнению героя, скоро придётся решать всем.

«Представьте стрельбище, где на мишени в полумиле от огневого рубежа наклеена почтовая марка. Обыкновенная десятисантиметровая марка с изображением Марианны. На её лбу остался след от мухи. Пусть теперь несколько снайперов откроют стрельбу. Они не попадут в эту точку хотя бы потому, что она не видна. Но пусть упражняется сотня стрелков, пусть они шпарят по невидимой марке целыми неделями. Совершенно ясно, что пуля одного из них, наконец, попадёт в цель. Попадёт не потому, что он феноменальный снайпер, а потому, что велась такая вот уплотнённая стрельба. Сейчас лето, и на стрельбище масса мух. Вероятность попадания в мушиный след мала. Вероятность одновременного попадания и в след, и в муху, подвернувшуюся под выстрел, ещё меньше. Вероятность же попадания в след и в трёх мух одной пулей одновременно будет уже, как вы выразились, астрономически ничтожна, однако уверяю вас, и такое стечение обстоятельств возможно, если стрельба будет продолжаться достаточно долго! Стрелок, с которым это произойдёт, будет ошеломлён не меньше вас. Здравый смысл здесь ни при чём. Произошло то, что я и предсказывал. Неаполитанскую загадку тоже породило стечение случайных обстоятельств, и опять же благодаря стечению случайных обстоятельств она была разгадана...»

Да, мы живём в мире всё более яростного сгущения самых случайных факторов.

Пространную цитату из романа «Насморк» мы привели для того, чтобы ещё раз показать необыкновенную прихотливость мыслей Станислава Лема, его удивительную вписанность в мир, в котором он жил. Он всегда отличался каким-то особенным вниманием к деталям, которые

мы зачастую считаем побочными, вынесенными за скобки жизни. Но для Станислава Лема это было не так. Он внимательно следил за новым «чумным» явлением, как огонь, охватывающим Европу.

Речь, понятно, о терроризме.

Время «потребовало» новых методов.

И эти новые методы не заставили себя ждать.

В 1969 году взрыв в сельскохозяйственном банке на Пьяцца Фонтана в Милане (Италия) унёс 17 жизней, около 100 человек были ранены. А далее всё покатилося как с горки. Агрессивные лозунги «Красных бригад» никем не остались не замеченными.

«За фашистскую диктатуру пролетариата!»

«Гитлер и Мао — едины в борьбе!»

Самым громким преступлением террористов того времени, несомненно, стало похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии и лидера ХДС Альдо Моро. Размах операции поразил спецслужбы: в ней были задействованы 60 человек — 12 автоматчиков, восемь водителей, отряд прикрытия из десяти человек и 30 лиц, охранявших различные тайники, в которых мог быть размещён похищенный. Вокзалы, аэропорты, торговые центры — всё отныне становилось опасным для любого человека.

«Каждый из нас получил “пропуск Ариадны” — пластиковый пенал».

Какой там «пропуск Ариадны»! Разве он что-нибудь меняет?

Там, где возможно всё, там уже ничто не имеет значения.

С апреля по октябрь 1977 года Станислав Лем находился в Западном Берлине по приглашению Академии искусств. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже: с балкончиком, кухней, ванной, с подземным гаражом. Удобно, просторно.

Но... Без пресловутого *но*, конечно, не обошлось.

Станиславу Лему в Западном Берлине почти не с кем было общаться.

Он читал лекции, давал интервью, работал над статьями, встречался с читателями, но в письмах всё чаще и чаще звучит эта жалоба: «Не с кем мне тут, в Западном Берлине, особенно разговаривать». И почти сразу: «Зато Восточный Берлин... С какой благодарной, внимательной, на лету всё схватывающей публикой я имел дело на вечере 30 апреля в Восточном Берлине!...»

Из письма Майклу Канделю (18 апреля 1977 года):

«Так получилось, что известность мне принесли вовсе не лучшие мои книги; самые оригинальные, такие как “Мнимая величина”, — практически обойдены. По крайней мере, критикой. Я не говорю, что так будет всегда. Наоборот, я считаю, что если я что-то нащупал из развивающихся, далекоидущих тенденций эпохи, то по мере того, как эти тенденции будут осуществляться, мои самые трудные книги будут терять свою “сложность”, правда, заодно и интеллектуальный блеск, поскольку то, что сейчас считается в них чуть ли не безумным, станет очередной банальностью.

“Земля вращается вокруг Солнца” — неслыханно оригинально, не правда ли?

Я бы вполне смог, наверное, состряпать какой-нибудь стандартный бестселлер. Блоньский, например, утверждает, что я бы “смог всё”, и, может, он прав. Но я-то знаю, что если бы даже был уверен в том, что “смогу”, то не стал бы этого делать, потому что мне это неинтересно. Речь идёт о том, что я не управляем снаружи. Но в то же время я, конечно, не мазохист, поэтому и не говорю, что мне якобы всё равно, читают меня или не читают, рецензируют меня осмысленно или без смысла, хорошо платят или плохо. Всё это не безразлично мне, но никак не влияет на моё поведение в литературе. Ведь не затем я написал свой “Насморк”, чтобы заработать на “лёгкой книжке”, — мне просто досаждала память о “Расследовании”. С годами я всё яснее видел, как можно эту книгу сделать лучше. Хотя, конечно, то, что я говорю, вовсе не претендует на ранг



кантовского суждения. И я не считаю, что всё то, чем я сам лично руководствуюсь, может быть или должно быть особенностью или обязанностью каждого писателя. В конце концов, это вопрос чисто психической конституции. Я делаю то, что меня интересует, и не забочусь о том, что и как заинтересует читателей и критиков. (Многих именно это и раздражает.) Разница между Востоком и Западом сейчас такова, что Запад в своей культуре терпим ко всему, так что, видимо, и *этого* Лема может потерпеть. Почему бы и нет, коли везде господствует “либеральность”? Плюрализм, конечно, лучше бетонных тюрем, НКВД, избиений, обманов на каждом шагу и медленного, но неуклонного предпочтения проходимцев внутренне честным людям...»[{190}](#)

Но избавиться от давления извне, конечно, невозможно.

5 января 1978 года Станислав Лем отправил письмо в отдел культуры ЦК ПОРП.

«Мне, — писал он, — писателю, книги которого вышли в 257 изданиях на 32 языках мира, естественно, приходится вести широкую переписку по издательским вопросам. Печально, но моя заграничная почта постоянно вскрывается, задерживается и прочитывается. Я всегда считал и считаю эти действия весьма бестактными (если тут годится такой эвфемизм), но готов был даже смириться с ними, но теперь они, к сожалению, практически парализовали мою деятельность...»

И далее писатель указывал на то, что многие письма до него попросту не доходят.

«В результате этих пропаж, — писал Лем, — я уже понёс существенные материальные утраты, но не это является самым важным, гораздо мучительнее для меня моральная сторона издевательств, которым я постоянно подвергаюсь. Полагаю, что пришло время сказать об этом. Я не намерен впредь так же молчаливо, как прежде, сносить указанные издеательства, тем более что сам никогда не давал для этого поводов. Я не намерен впредь тратить время на попытки восстановить постоянно рвущиеся деловые контакты с помощью телеграмм и телефона и не собираюсь прибегать ко лжи, объясняя заграничным представительствам и лицам, почему я не отвечаю на их письма и не выполняю взятые на себя обязательства. К тому же смысл этих издевательств мне совершенно непонятен, поскольку они совершенно не соответствуют ни моим, ни государственным интересам. Если речь идёт о том, чтобы сделать мою дальнейшую работу в стране совершенно невозможной и тем самым подтолкнуть меня к принятию некоторых необходимых шагов, то можно сказать, что до этого осталось немного...»<sup>{191}</sup>

Не дождавшись ответа из отдела культуры, Станислав Лем опять пишет на тот же адрес: «На моё письмо от 5 января текущего года вы мне, видимо, не захотели ответить. Если ваше молчание означает одобрение действий, в результате которых я попадаю в вынужденную ситуацию, из которой единственным выходом будет отъезд из страны, то могу лишь сказать, что вся ответственность за это ляжет на инициаторов данного бесславного предприятия...»

Всё-таки дела и на этот раз как-то устроились.

Переписка с границей восстановилась, до выезда из страны дело не дошло.

Но, читая письма Станислава Лема, невольно вспоминаешь запутанные и пустые хлопоты знаменитого звездoproходца Ийона Тихого на планете Энция («Осмотр на месте»), однажды потребовавшего от местных властей предоставить все нужные ему документы.

«В Институте тут же составили машинный толковый словарь обоих посланий. “Отстрепенуться” — отклониться, “в обличье” — от имени, “загвоздить” — заклеить и так далее. Но я даже не взял его в руки. Я требовал доступа к *источникам*. Это привело власти в некоторое замешательство. Из начальников отделов ни один не имел соответствующих полномочий, так что мы пошли в дирекцию. Там выяснилось, что имеет место такого рода служебная тонкость: Институт может предоставить мне *шихту*, но не источники, то есть оригиналы рапортов, документов, отчётов и т. п., из которых, посредством выдержек и резюме, собственно, изготавливается та самая *шихта*, поскольку все оригиналы хранятся в тайном архиве МИДа и сотрудники Института доступа туда не имеют. И это не предмет для дискуссий и споров; ни требовать, ни обсуждать, ни даже понимать тут нечего — просто именно так проходит линия разграничения между компетенцией Института и соответствующих управлений МИДа...»

В 1979 году роман «Насморк» был удостоен во Франции Большого приза детективной литературы. В Польше вышел фильм — по мотивам «Больницы Преображения» (режиссёр Эдвард Жебровский). В СССР сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных открыл астероид, которому дали имя — «Лем». Но 16 октября, к сожалению, умерла мать Лема — Сабина, это была горестная, настоящая потеря.

Белыми пальцами звуков  
 Тишины не поправишь.  
 Складываю из чёрных клавиш  
 Серебряное письмо.  
 С каждым звуком всё резче  
 Вижу твой свет далече,  
 Глаз на ветру твоих след.  
 В танце фигурки порхают,  
 Но басы заедают,  
 Звоночки сходят на нет.  
 Играю полёт акварелей,  
 Заброшенных кладбищ полынь  
 И вижу дорог полевую теплынь,  
 Мелодия — абрис твой белый.  
 Мне слышится голос твой.  
 Вечер в окнах голубое свёртывает,  
 Смешивая музыку с каждой большой звездой.  
 Как сквозь стену пройду сквозь аккорды  
 И встречу с тишиной и тобой [\[110\]](#).

Эти стихи были написаны Станиславом Лемом ещё в 1948 году, но полностью отвечали текущему моменту.

Многое менялось.

И менялось стремительно.

В июле 1980 года (после известного решения политбюро ЦК ПОРП и Совета министров о повышении цен на мясные продукты) на заводах Люблина начались массовые забастовки, а на судовой верфи им. Ленина в Гданьске возник мощный независимый профсоюз «Солидарность», возглавил который электрик с той же судовой верфи Лех Валенса.

Лех Валенса, сын плотника (что для многих тогда звучало символично), родился 29 сентября 1943 года на территории аннексированного Германией Приморского воеводства. Он рано занялся политикой и принимал самое активное участие в создании «Солидарности». Когда власть в Польше перешла в руки генерала Войцеха Ярузельского, он даже попал в тюрьму, где провёл почти год. Именно Лех Валенса играл главную роль в переговорах «Солидарности» с польским правительством и в 1990 году в результате свободных выборов сам стал президентом...

В августе 1981 года отдельным изданием вышел в Кракове дополненный «Голем XIV», но Станиславу Лему было уже ясно, что жить и работать в кипящей, бунтующей Польше становится опасно.

«Существовало множество рациональных причин выезда из Польши в 1983 году, которые отец называл в разных случаях, — вспоминал позже Томаш Лем. — Это — отсутствие доступа к мировой литературе, перлюстрация писем, невозможность получения необходимых для работы книг и документов (та самая *шихта*, о которой сам же Лем и писал. — Г. П., В. Б.), тоскливая пустота в магазинах, а после убийства Пшемька<sup>[111]</sup> — беспокойство обо мне и реальная возможность “шантажа через сына”; это ещё и постоянная цензура в культурной жизни, и то общее состояние, которое Киселевский определил как “диктатуру неучей”.

Все вышеперечисленные причины, как и ряд других, действительно повлияли на решение о выезде, однако самым сильным стимулом для отъезда был всё же военный опыт. Проживание с фальшивыми документами в переходящем из рук в руки Львове, подвал, из которого отец выносил когда-то окровавленные останки погибших, страх за родственников, оставшийся навсегда в душе страх смерти — всё это и привело к окончательному решению о выезде. К тому же отец глубоко

переживал введение военного положения в Польше.

Если бы существовала возможность, отец наверняка выехал бы уже 13 декабря 1981 года, — однако границу закрыли. Паспорт для выезда в *Wissenschaftskolleg*<sup>[112]</sup> после долгих процедур он получил только в 1982 году, благодаря чему двенадцать месяцев смог провести в Западном Берлине. Однако он не хотел оставлять в Польше жену и сына в роли заложников, не собирался одобрять поступки польских властей, которые обещали скорейшую отмену военного положения<sup>[113]</sup>, но постоянно при этом ужесточали уголовный кодекс, так что ничего существенно не менялось.

Конечно, план отца был рискованным. Он хорошо помнил о своём друге Мрожеке, который много лет жил в Италии с польским паспортом, постоянно вынужден был следить за каждым словом в своих интервью и всё-таки (после того, как прокомментировал в западной прессе ввод войск Варшавского договора в Чехословакию) на много лет потерял контакт с Польшей. Жизнь писателя, который по своей воле выезжает из-за “железного занавеса” за границу и добровольно затыкает себе рот, чтобы не порвать связей с близкими родственниками в стране, незавидна.

Формальным предлогом для выезда из Польши стало для отца приглашение Австрийского союза писателей. На степень беспокойства — удастся ли вывезти жену и сына — указывает тот факт, что после получения паспортов мы выехали из Польши незамедлительно. А поскольку у нас ещё не было австрийских виз, то выехали мы в Западный Берлин — единственное место в западном мире, куда жителям блока восточных стран был разрешён безвизовый доступ. Именно там мы ожидали австрийских виз, а когда через несколько месяцев получили, то из Берлина в Вену полетели самолётом, погрузив перед этим всё наше имущество, вместе с автомобилем, на поезд. А всё затем, чтобы по дороге не проезжать через территории социалистических государств, с помощью которых ПНР могла бы вспомнить о своих гражданах...»<sup>[192]</sup>

Конечно, Станислав Лем не был активным диссидентом, но и соглашателем его никак не назовёшь. В январе 1981 года в еженедельнике «Политика» он даже напечатал откровенную статью «Мой взгляд на литературу», написанную, кстати, по заказу совсем другой — главной польской партийной газеты «Трибуна люду». Однако редакция «Трибуна люду» от публикации отказалась: вот, дескать, нет у них к автору никаких претензий политического характера, просто объём статьи превышен. Трудно представить, чтобы, скажем, в СССР кто-то мог отказаться от

публикации в газете «Правда»...

Но в Польше всё быстро менялось.

В том числе и в отношении к Станиславу Лему.

По крайней мере, в 1982 году краковское Литературное издательство начало выпуск второго собрания сочинений писателя. Оно выходило с 1982 по 1989 год, то есть и во время эмиграции писателя. Всего вышло 16 томов.

В Советском Союзе отъезд Станислава Лема из Польши тоже не прошёл незамеченным. Один из авторов этой книги (Владимир Борисов. — Г. П.) в начале 1980-х годов пытался пристроить переводы «Профессора Доньды» и «Футурологического конгресса» в разных советских издательствах, но попытки оказались безуспешными. Только на волне начавшейся перестройки — с 1987 года — книги Станислава Лема снова начали публиковаться в СССР.

В августе 1982 года вышел новый роман Лема — «Осмотр на месте».

«Осмотр на месте», пожалуй, ярче всего иллюстрирует философские взгляды писателя: технологии являются совершенно независимой переменной любой развитой цивилизации. Знаменитый космический путешественник Ийон Тихий предпринимает ревизию своего четырнадцатого, скажем так, весьма противоречивого путешествия. Оказывается, в своё время из-за кратковременности пребывания на планете Энтеропия он совершенно не понял, что, собственно, там происходит. Может, ещё и потому, что Энтеропия оказалась всего лишь спутником основной планеты по названию Энция.

На Энцию Ийон Тихий теперь и прибыл в качестве посла Земли.

На планете этой существуют два государства — Курдляндия и Люзания.

Оба они сильно различаются — прежде всего своим подходом к технологиям.

В Курдляндии высокие технологии практически отсутствуют, а в Люзании всё, напротив, подчинено прогрессивным техническим новшествам. Даже атмосфера планеты насыщена микроскопическими «компьютерами» — *быстрыми* (в переводе К. Душенко — *шустрами*) или иначе — «вирусами добра», обладающими весьма высоким интеллектуальным потенциалом. В случае столкновения со сложными проблемами быстры (или шустры) способны объединяться в коллективный разум. Они постоянно находятся всюду и во всём — в атмосфере, в зданиях, в машинах, в организмах жителей, в их одежде, в продуктах. При нормальном течении событий быстры, конечно, незаметны и неощутимы. Главная их функция — обеспечивать безопасность обитателей Люзании. Если в люзанина летит камень, быстры мгновенно его отклонят или превратят в пыль. И так с любыми неприятными явлениями. Не случайно среда обитания Люзании называется этикосферой. Можно, оказывается, не меняя общественного устройства и общества в целом, не меняя каждую отдельную личность, дополнить действующие в мире физические законы ещё одним, этическим: «Не делай другому того, что ему будет неприятно». К сожалению, роман явно перенасыщен неологизмами и подробностями.

Несмотря на юмор, на откровенную иронию автора, на увлекательность его идей, некоторые страницы «Осмotra на месте» читать



всё-таки трудно, следует признать, что этот роман — *не для всех*.

Можно понять мучения Ийона Тихого, когда он погружается в местные документы.

«ЭНЦИЯ, люз. КИРМРЕГЦУДАС, курдл. КЁРДЕЛЛЕН-ПАДРАНГ, — читает знаменитый звездoproходец, — 7-я планета Гаммы Тельца (*Gamma Tauri*). 4 континента (Дидлантида, Тарактида, Цетландия, Маумазия), 2 грязеана, образовав, из разложившихся микрометеоритных осадков (БАМ), в результате промышленного загрязнения среды (БОМ), неизвестно как (МОСГ). Ок. 1000 подгрязевых гейзеров (гряйзеров), ошибочно (БАМ), справедливо (БОМ) принимавшихся первооткрывателями за реликтовых погрязов (тип *Immersionales*, отряд *Marmaeladinae*, семейство *Massaronicaea* клецковых). Один оргаст — органические стоки (БАМ), органоидная стекловина (БОМ), оргиастическая стервотина (БУМ), давно уже высох (МОСГ). Один синтеллит (искусственный спутник) — КОКАИН, или Космический Камуфляж для Инопланетян (БАМ), ЛСД, или Лже-Скансен Древнепланетный (БУМ), представляющий собой орбитально подвешенную часть территории Люзании (см.), переменного диаметра, ибо в действительности это Надувак (БАМ), Фата-моргана (БОМ), сам чёрт не поймёт (МОСГ). Климат умеренный, сильно подпорченный индустриализацией (БАМ), тайнодействующим оружием (БОМ), всегда такой был (БУМ). Планету населяет разумная раса (БАМ), две разумные расы (БОМ), зависит от точки зрения (МОСГ). Энциане — человекообразный вид (БАМ), их человекообразность — личиночная стадия метаморфозы, поскольку туземцы являются превращенцами и проходят периоды линьки от ПОЛОВИНЦА, через ПОЛТО-РАКА и ДВУСПОЛОВИННИКА, до СЛЕПНИКА-ОГРОМ-ЦА (БОМ), они лишь по-разному одеваются (БУМ), всё это легенды и мифы, смотри: “Политография рас Тельца”, изд. для служеб. польз., МИД 345/ 2аб/99 (БИМ). Данные БАМ получены от люзанцев, а БУМ, БОМ и БИМ — от курдляндцев, и потому несогласуемы (МОСГ)…»

Разумеется, это всего лишь *справка* из архива, но текст романа местами почти так же вязок, непрост. Впрочем, Ийон Тихий с поставленной перед ним задачей справляется и выясняет многое, ускользнувшее от его внимания в первом путешествии.

Кое-что при этом ему приходится решать чисто эмпирическим путём.

Вот описание одного такого удивительного эксперимента.

Ударьте меня, говорит Ийону Тихому его собеседник, гражданин Люзании.

«Он как-то даже чересчур охотно подставил лицо для удара, а я, ни

слова более не произнося, развернулся, стоя на слегка расставленных ногах, и они разъехались так внезапно, словно пол подо мной был из льда, да ещё полит маслом; как подкошенный я рухнул прямо к ногам люзанца. Он заботливо помог мне подняться, а я, распрямляясь, будто бы нечаянно двинул ему локтем в живот и тут же вскрикнул от боли: локоть ткнулся будто в бетон. Панцирь, что ли, был у него под одеждой? Нет — между отворотами пиджака я видел тонкую белую рубашку. Значит, дело было не в ней. Сделав вид, будто я и не думал ударять его под ложечку, я сел и принялся разглядывать подошвы туфель. Они вовсе не были скользкими. Самые что ни на есть обыкновенные кожаные подметки и рельефные резиновые каблуки — я предпочитаю такие, с ними походка пружинистее...»

Наверное, быстры (шустры) прячутся в подошвах, догадывается Ийон Тихий.

И не ошибается. Конечно, они в подошвах. И не только в подошвах, они — *езде*. Они действительно *езде*. Ни на долю секунды они не упускают разумных обитателей Энциии из виду, мало ли что может с ними случиться.

Значит, они непрерывно проникают вглубь нашего организма? — недоумевает Ийон Тихий. Не вредно ли это? Неужели быстры (шустры) постоянно находятся в нашем мозгу, в нашей крови? Нет, объясняют Тихому. Мозг, кровь, вообще наше тело для быстрого (шустров) — неприкосновенная территория, хотя, конечно, существуют некие особые антибактериальные шустры. Применять их, впрочем, могут только врачи.

Вы, пожалуй, сочтёте меня за дикаря, говорит своим собеседникам Ийон Тихий, но всё, что вы мне показываете, кажется мне слишком сложным.

И ему терпеливо объясняют.

Вот, видите, говорят, перед вами кусок простого песчаника.

Самого обыкновенного песчаника. Видите? Но разве он устроен «просто»?

Вы подумайте. Вы же образованный человек. Вы же знаете, что это не просто обломок камня, это — миллиарды и триллионы атомов. Свою макроскопическую форму кусок песчаника сохраняет лишь благодаря неустанному вращению электронных оболочек, стабилизируемых барьерами ядерных потенциалов, и ещё благодаря тому, что восемь тысяч разновидностей виртуальных квазичастиц удерживают от распада псевдокристаллическую решётку с её аномалиями. Если вы даже зашвырнёте куда-нибудь этот камешек, то его атомы, его силовые поля, его

электроны, находясь в постоянном движении, всё равно будут удерживать неизменную форму миллионы лет; и любой природный предмет есть результат бесчисленного множества подобных процессов. Ну а мы, люзанцы, научились делать нечто не менее (но и не более) сложное. При этом мы научились делать это *иначе*. Проведённая природой граница между вполне уничтожимыми и вовсе не уничтожимыми технологиями проходит чуть выше атомного уровня. Поэтому нам пришлось спуститься вниз — по шкале размеров — к частицам, из которых природа строит атомы, и уже из этих субатомных элементов конструировать то, что требуется *нам*.

И теперь мы производим твёрдые тела с любыми нужными нам свойствами. А их судьбой заведуют быстрые (шустры), которым мы перепоручили контроль...

В 1982 году Станислав Лем получил степень почётного доктора Вроцлавского политехнического института.

И всё-таки писатель оставил Польшу.

Из мрачной малоприспособленной для нормальной жизни Курдландии он решил перебраться в высокотехнологичную Люзанию — Австрию.

Ещё до отъезда, с ноября 1981-го по август 1982 года, Станислав Бересь начал записывать на магнитофон свои известные беседы с Лемом. Впервые они появились в печати в 1987 году, но даже тогда по цензурным соображениям из книги Бересь была удалена глава «Чёрная безысходность ситуации», в которой собеседники обсуждали текущее положение в стране. В те годы Станислав Лем был настроен по отношению к будущему довольно пессимистично, он считал, что в Польше уничтожена национальная культура, что стремительно, буквально на глазах, разваливается экономика.

На вопрос о том, верит ли писатель в перспективу нормальной жизни, Станислав Лем ответил: «На мой взгляд, это проблематично. Вспомните старый анекдот о еврее, который собирается эмигрировать, долго стоит перед глобусом, а потом спрашивает: а у вас нет другого глобуса? Польша, к сожалению, это не что-то такое, что легко можно свернуть и перенести в другое место. Ну а поскольку другого глобуса у нас нет, то нет и шансов на более подходящую действительность».

«Был 1983 год, — вспоминал Томаш Лем. — Утром в день отъезда отец умылся, оделся, достал из кармана бумажник, подошёл к мусорной корзине и начал методично выбрасывать банкноты — и по сто злотых, и по тысяче, может, там были и другие. Затем он столь же тщательно освободился от мелочи, которая со звяканьем полетела в ту же корзину. Увидев мою удивлённую мину, он объяснил, что злотые нам уже не понадобятся, поскольку мы никогда не вернёмся в Польшу. Я нажаловался на отца тёте — только тогда деньги вернулись, куда им положено. Родители традиционно (как бывало при их ссорах) закрылись в ванной комнате, где мать что-то объяснила отцу. Но когда он вышел, то не выглядел переубеждённым...»<sup>{193}</sup>

«Моя жена и сын отбивались от эмиграции руками и ногами, — рассказывал впоследствии сам Лем. — Я объяснял им, что в Польше у них не будет никаких жизненных шансов. Но они уступили мне только тогда, когда появилась реальная возможность поселиться в Австрии. К сожалению, в Австрии у нас были одни огорчения, ибо я почти не выходил от врачей, а везде царил страшная ксенофобия. Если кто-то был поляком, он не мог чувствовать себя в Австрии хорошо. Когда один журналист в Вене спросил меня, приехал ли я для того, чтобы наслаждаться сладкой жизнью при капитализме, у меня возникло острое желание разбить ему голову. Что за глупая болтовня! Конечно, мы снимали хороший домик на одну семью (может, не слишком большой, но для нас достаточный), в котором было несколько спален, две ванные, чудесное сливовое деревце в садике, но я платил за всё это — три тысячи долларов в месяц. Поскольку мы с таким хозяйством не справлялись, нам помогать приходили польки, которым мы платили в твёрдой валюте. Почти все они были пани с дипломами, но за границей убирали и вытирали пыль. Тяжело было вести дом. Когда я подсчитал, как долго может продлиться идилия, оказалось, что средств нам хватит только на пять лет жизни. Но, к счастью, позже на горизонте появился Горбачёв, и жена мне сказала: “Вот вновь Провидение заботится о тебе, как-нибудь и из этого выберемся”»<sup>{194}</sup>.

Жизнь в Австрии понемногу начала налаживаться.

Томаш пошёл в Американскую интернациональную школу.

Австрийские власти установили Станиславу Лему льготную налоговую ставку, с условием, однако, что он не будет работать. Конечно,

это условие писатель часто нарушал, настроение у него оставалось упадническим.

«В Австрии, — вспоминал Лем, — я спускался с одного операционного стола, чтобы почти сразу взобраться на другой. Я страдал от кровотечений, вызванных гипертрофией простаты, а австрийская медицина очень плохо это лечила. К счастью, через какое-то время оказалось, что существует препарат, благодаря которому я более или менее могу функционировать. Пять миллиграммов такого препарата ежедневно оказалось для меня достаточно. Но обострилось заболевание толстой кишки, поэтому доктор Шиссель вырезал у меня треть её, благодаря чему я вылечился... от сенного насморка. Когда, после всего этого, я вернулся домой, на улицу *Geneegasse*, я был так слаб, что жена поддерживала меня, когда я поднимался по ступенькам. Раньше я курил пачку “Salem” ежедневно, а после больниц не курил вообще...»<sup>[195]</sup>

Ещё в юности Лем познакомился (у Яна Юзефа Щепаньского) со священником Каролем Войтылой, будущим папой римским Иоанном Павлом II; они даже вместе колядовали. В начале 1970-х годов кардинал Войтыла приглашал писателя в Епископский дворец, там Лем произнёс речь о цивилизации будущего. В Вене Лем познакомился с ксёндзом Станиславом Ключом, которого связывало с великим понтификом близкое знакомство. Именно Ключ рассказал о телефонном разговоре, в котором он просил папу благословить семью Лемов и тот не отказал.

Станислав Лем уважительно относился к Иоанну Павлу II.

В октябре 1983 года он даже написал рассказ «Чёрное и белое».

«13 мая 1981 года, — описывал обстоятельства появления на свет этого необычного рассказа Павел Околовский, доктор философии, автор монографии о творчестве Станислава Лема, — в Риме произошло покушение на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Три пули прошили его тело, из-за чего он едва не погиб. Через какое-то время через “Радио Ватикана” Папа искренне простил своего палача; закулисы этого преступления так до сих пор и не раскрыты. А год спустя произошло новое покушение: 12 мая 1982 года в Португалии Иоанн Павел II был ранен священником, вооружённым ножом. В июне 1983 года состоялось паломничество Папы на родину, где было объявлено военное положение. В Кракове Кароль Войтыла произнёс запоминающиеся слова из Псалтыри: “Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною” (Пс. 22:4). В декабре того же года, когда рассказ Станислава Лема был уже написан, Папа посетил покушавшегося на его жизнь Али Агджу в тюрьме, повторив слова своего прощения. А в октябре следующего года на берегах Вислы было совершено убийство польского священника Ежи Попелушко, которое Станислав Лем, можно сказать, литературно предсказал. Последовательность упомянутых событий, их отличительная особенность — насилие — идеально соответствуют повествованию в “Чёрном и белом”. Станислав Лем был тогда (1982–1988) в эмиграции, сначала в Западном Берлине, а затем в Вене. И хотя в ноябре 1982 года умер агрессивный Леонид Брежнев, после его смерти противостояние между США и СССР продолжало оставаться чрезвычайным, по оценке Станислава Лема — почти манихейским<sup>[114]</sup>. Заметной стала политическая и патриотическая ангажированность польского писателя, до этого

считавшегося мизантропом. Он отправлял свои тексты в парижский польскоязычный ежемесячник “Культура”, а его душевное состояние было сродни духу Великой эмиграции 30-х годов XIX века, когда появились величайшие произведения польского романтизма (Адам Мицкевич, Фредерик Шопен). Стоит отметить, что в это же время у Станислава Лема проявился интерес к теории зла, о чём свидетельствует хотя бы эссе “Народоубийство”<sup>[196]</sup>, опубликованное в Польше в 1980 году, а также беседы со Станиславом Бересем, проходившие в первые месяцы военного положения...»<sup>[197]</sup>

Рассказ «Чёрное и белое» (описание трёх удавшихся покушений на одну и ту же персону) был опубликован в 1984 году в Германии в сборнике фантастических рассказов «Добро пожаловать в обезьянник»<sup>[115]</sup>.

Символика рассказа легко прочитывается, считал Павел Околовский.

Прежде всего, это сосуществование в нашем мире добра и зла, их таинственная диалектика. А фоном событий является поставленная стоиками и ими же впервые решённая проблема теодицеи<sup>[116]</sup>, а также связанной с ней привативной концепции зла<sup>[117]</sup>. Да, совершенный Бог допускает зло, но только потому, что оно само по себе служит гармонии мира. Представленные в рассказе события в пух и прах разбивают эту теорию древних. Зло у Лема — в первооснове, оно является бытием более ощутимым, чем каменные колонны, оно активно и бессмертно. Имея совесть, невозможно понять, как действия «чёрного» могут быть оправданы.

Обращает на себя внимание и явная однозначность текста, указывал в своей работе Павел Околовский. Зло является именно злом, а вовсе не заменителем его, таким как эгоизм, глупость или болезнь. В рассказе отсутствуют организаторы убийства, то есть заказчиком выступает сам исполнитель, поэтому мотивы его чисты, хотя они — мотивы чёрные. В этом беллетристика Станислава Лема вполне вписывалась в традиционное направление рациональной теологии или, если брать шире, — в метафизику всякого разумного существования.

Покровительствуют такой метафизике святые Августин и Ансельм, ведь это они в трактатах «О граде Божиим» и «О падении диавола» прямо отвечали на вопрос, почему падёт злой ангел: да исключительно потому, что он сам этого хочет.

Зло интеллектуально.

Оно разумно и предусмотрительно.

Зло, что ещё важнее, имеет свой особый характер — ведь все эти



последовательные покушения на папу кое-что значат. Символический крест в бинокле (который можно воспринимать как молчаливый взгляд Бога) только поддерживает усилия «чёрного». Папа в рассказе «Чёрное и белое» воплощает высшее добро. Смысл деятельности Церкви, во главе которой стоит папа, заключается в приближении Царствия Божиего, то есть в попытках спасти как можно большее количество людей. Прощение Али Агдже, за которым стоит как институциональный, так и личный авторитет, по сути, адресовано вовсе не «чёрному». Не разговаривают же с ДНК. Это просто жест, направленный всему сообществу — всем, у кого ещё есть шанс измениться. Церковь, вместе с эсхатологическим<sup>[118]</sup> служением, противостоит нравственному злу. В противном случае, писал Околовский, она теряет своё достоинство.

В 1985 году в Швеции вышел ещё один роман Станислава Лема, посвященный приключениям Ийона Тихого, — «Мир на Земле».

Действие романа происходит в нашем мире, только затянувшаяся гонка вооружений в нём давно перенесена с Земли на Луну. Там каждая крупная страна имеет свой собственный сектор, в котором искусственный интеллект безостановочно моделирует всё более и более совершенное вооружение, производит его и испытывает. Так говорят, так считают на Земле. Но что на самом деле происходит в этих секторах, неясно. Ходят даже слухи, что некие непонятные силы (может, тот же искусственный интеллект) готовятся к вторжению на Землю.

Вот Ийон Тихий и должен это выяснить.

Он и выясняет. И оказывается, что сектора разных стран давно уже начали на Луне свою собственную войну и практически уничтожили друг друга. Поверхность Луны сплошь покрыта странной пылью. Конечно, пыль всегда покрывала Луну, но природа этой пыли явно искусственного происхождения.

Конечно, Ийону Тихому, как всегда, везёт на необыкновенные приключения.

На этот раз каким-то совершенно непостижимым образом ему разделили мозг на две части, и каждая часть стала *самостоятельной личностью*. Ийон Тихий, автор записок, владеет левым полушарием. Понятно, что одновременно он является и тем Ийоном Тихим, который владеет правым полушарием, но всё равно это разные личности, и они не доверяют друг другу.

Всё же Тихому удаётся привезти на Землю загадочную пыль.

И вот тут-то выясняется, что никакая это не пыль, а финальная стадия эволюции лунных вооружений — она и на Земле продолжает размножаться, и ведёт активную борьбу с любыми остальными видами вооружения, а заодно уничтожает любое программное обеспечение. В результате, как ранее в рассказе «Профессор Доньда», человечество вновь оказывается отброшенным в самое начало механистической эры. «Примерно как после бесшумной атомной войны, в которой в распыл пошла вся инфраструктура, промышленная база, связь, банковское дело, автоматизация. Уцелели только самые простые механизмы, при этом ни одному человеку, даже мухе не нанесено было никакого вреда. Конечно,

происходило множество несчастных случаев, но из-за отсутствия связи никто ничего об этом толком не знал. Ведь и газеты давно уже не печатаются по способу Гутенберга. Редакции тоже хватила кондрашка. Даже не все приборы в автомобилях работают»[{198}](#).

Писатель внимательно следил за событиями в Польше.

Когда возникала возможность, он приезжал в Краков, но речи об окончательном возвращении, конечно, не шло. Он прочно вошёл в жизнь Австрии. В 1986 году Станиславу Лему была даже присуждена Государственная премия Австрии в области литературы. Денежное её наполнение составляло 200 тысяч австрийских шиллингов — неплохая помощь семье.

В 1986 году в немецком издательстве «Фишер» (Франкфурт-на-Майне) вышел роман «Фиаско» — последнее крупное произведение Станислава Лема, полное горечи и разочарований.

Действие первой главы отнесено к XXI веку: пилот Ангус Парвус ищет на Титане пропавшую группу, в которой, кстати, находится пилот Пирке. Но основное действие начинается лишь столетие спустя: на борт звездолёта «Эвридика» доставляют найденные на Титане замороженные останки. Даже удаётся оживить одного из найденных. Известно, что фамилия его начинается на букву «П», значит, это или Пирке, или Парвус. К сожалению, память счастливчика восстановить не удаётся, и уцелевший на Титане берёт себе псевдоним Марк Темпе.

«Эвридика» достигает звёздной системы Дзета Гарпии, на пятой планете которой, названной Квинтой, несомненно, существует высокоразвитая технологическая цивилизация: на орбитах вокруг планеты обращается чуть ли не миллион искусственных спутников. Обнаружены и следы масштабных инженерных работ — литосферные магнитопроводы в разветвлённой сети шахт, сеть термоядерных микросолнц и пр. и пр. Экипаж «Эвридики» начинает процедуру сигнального контакта, однако ответа не получает. После ряда исследований астронавты приходят к выводу, что планета, видимо, сильно пострадала в результате какой-то случившейся на ней технологической катастрофы.

Тем не менее цивилизация квинтян существует, и после многих усилий, предпринятых экипажем «Эвридики», эти загадочные разумные существа соглашаются принять посла землян. Быть послом добровольно вызвался Марк Темпе, тот самый счастливчик с Титана. Догадываясь об агрессивном нраве квинтян, земляне заранее предупреждают их о том, что в случае гибели посла модуль «Гермес», специально запущенный в атмосферу, окончательно разрушит остатки квинтянской цивилизации. А

послу землян — Марку Темпе — даётся категорический приказ: выйти на связь не позднее чем через два часа после посадки. Если этого не произойдёт, «Гермес» нанесёт удар по квинтянам.

Приземлившись, Марк Темпе нигде не обнаруживает хозяев планеты.

Более того, у него возникает впечатление, что никто на планете и не готовился к встрече с ним. Заинтересовавшись странными структурами, окружающими посадочную площадку, посол землян решает заняться ими, увлекается и... *забывает* выйти на связь! То есть на непонятное поведение квинтян наложился ещё и так называемый человеческий фактор. Это самые увлекательные и самые трагичные страницы романа.

«Ливень и ветер трепали над ним (над Марком Темпе. — Г. П., В. Б.) ячейки провисшей паутины. Он забрал из вездехода биосенсор и принялся водить его стволом по склону. Стрелка раз за разом выскакивала в красный сектор шкалы, возвращалась и снова билась в ограничитель, побуждаемая метаболизмом, свойственным не каким-нибудь микроскопическим существам или муравьям, а скорее уж китам или слонам, словно целые их стада расположились на истекающем водой склоне.

Осталось сорок семь минут до ста. Возвратиться в ракету и ждать?

Жалко времени, да и хотелось бы использовать эффект неожиданности.

С невыразимым ощущением того, что реальность оказалась менее правдоподобной, чем сон, он достал из контейнера устройство для прыжка на ту сторону преградившей ему путь расщелины. Надев на плечи управляемые сопла, воткнул в карман сапёрную лопатку, биосенсор в рюкзаке закинул за спину и, считая, что такая попытка не повредит, сначала воспользовался ракетницей, стреляющей тергалевым тросом. Прицелившись в нижнюю часть склона, выстрелил, поддерживая ракетницу левым локтем. Развернувшись со свистом, трос перелетел через ров, крюки вонзились в глину, но, когда он попробовал потянуть, размокший грунт подался при первом же рывке. Тогда он открыл клапан. Струя газа с шелестом подняла его в воздух — легко, как на тренировочном полигоне. Он пролетел над тёмным провалом с мутной водой, скопившейся на дне, и, уменьшая тягу, которая била его холодным вибрирующим выхлопом по ногам, опустился на выбранное место за одним из выступов, напомнившим ему, когда он над ним пролетал, огромный бесформенный каравай, испечённый из шершавого асбеста.

Ботинки разъехались на жидкой глине, но он сумел устоять.

Склон был здесь не слишком крут. Повсюду виднелись пузатые приземистые мазанки цвета пепла с более светлыми полосками там, где с

них стекали струйки воды. Как затерявшиеся во мгле хижины примитивного негритянского племени. Или кладбище с курганами. Вынув из рюкзака биосенсор, он направил его с расстояния одного шага в шершавую выпуклую стену. Стрелка затряслась у красного максимума, будто низковольтный прибор подключили к мощному генератору. Держа перед собой биосенсор с выдвинутым стволом, словно оружие, готовое к выстрелу, он обежал вокруг серо-скорлупчатого горба, выпирающего из глины, в которой его башмаки, хлюпая, оставляли глубокие следы, сразу наполнявшиеся мутной дождевой водой. Он двигался вверх по склону — от одной бесформенной буханки к другой. Их приплюснутые верхушки были в самый раз для существ размером с человека, но там не было вообще никаких входов, отверстий, смотровых щелей, амбразур. Это не могли быть ни бесформенные колпаки бункеров, ни трупы, погребённые в покрытых скорлупой могилах. Куда бы он ни направил датчик биосенсора, повсюду кипела жизнь.

Для сравнения он повернул ствол датчика на себя, в собственную грудь.

Стрелка сразу сдвинулась с предела на середину шкалы. Тогда он осторожно отложил прибор в сторону, выхватил сапёрную лопатку из набедренного кармана скафандра и, опустившись на колени, стал рыть податливую глину; остриё скрежетало о скорлупу, он ударял наугад, сквозь жижу, выбрасывая её взмахами лопатки. Вода быстро заполняла растущую яму, он сунул туда руку по самое плечо, насколько мог достать, пока ощупью не наткнулся на горизонтальное разветвление. Корневая система колонии грибов? Нет: толстые гладкие круглые трубы, и — что удивило его — не холодные и не горячие, а тёплые.

Запыхавшийся, измазанный глиной, он поднялся с колен и в сердцах ударил кулаком в волокнистую скорлупу. Она эластично подалась, хотя была достаточно твёрдой, и приняла прежнюю форму. Он опёрся на неё спиной. Сквозь дождь глядел на окружающие его холмики, сформованные с такой же неаккуратностью. Некоторые, придвинутые друг к другу, образовывали как бы крутые улочки, тянущиеся вверх по склону туда, где их поглощала мгла. Он вдруг вспомнил, что биосенсор работает в двух диапазонах: переключается на кислородный и бескислородный метаболизм. Кислородную разновидность живой материи он уже открыл. Подняв датчик, он отёр перчаткой глину, размазанную по стеклу шлема, переключил биосенсор на бескислородный метаболизм и поднёс к шершавой поверхности. Стрелка начала колебаться не слишком быстрой равномерной пульсацией. Кислородный обмен вместе с анаэробным?

Возможно ли такое?

Увязая в илстых потоках, под ливнем, он кидался от одного холма к другому. Может быть, в одних они спят, а в других бодрствуют? Словно желая пробудить спящих, он бил кулаками в шершавые вздутия, но пульс от этого не менялся. Он так забегался, что чуть не упал, зацепившись в одном из проходов за трос антенной растяжки, косо протянутой вверх, к невидимым в молочной мгле сетям огромной паутины. Хронометр неизвестно уже сколько времени предостерегал его, всё громче и громче повторяя тревожные сигналы. Оказывается, он и не заметил, как прошло сто двадцать минут. Как он мог так зазеваться? Что теперь делать? До ракеты он долетел бы за тричетыре минуты, но газа в баллоне оставалось максимум на двухсотметровый прыжок. Да хоть бы и на триста. К вездеходу? Но ехать туда больше шести миль, по меньшей мере четверть часа. Попробовать? А если “Гермес” ударит раньше и он, посланник Земли, погибнет здесь не как герой, а как последний идиот? Он потянулся за черенком лопатки — напрасно: карман был пуст. Он забыл лопатку, воткнутую возле выкопанной ямы. Где её теперь найдёшь в этом лабиринте?

Взяв обеими руками биосенсор, он ударил им в шершавую скорлупу.

Он бил и бил, пока скорлупа не лопнула; из пролома вырвалась желтоватая пыль, как из гриба-дождевика, и в глубокой трещине он увидел — нет, не глаза существ, скрывавшихся внутри, а монолитную поверхность с тысячами мелких пор — словно разрубленная пополам буханка с тягучим недопечённым тестом внутри. Он застыл, замахнувшись для следующего удара, и в этот момент небо над ним заполнилось страшным блеском...»

И это снова Станислав Лем — трагический, узнаваемый, мощный.

Тот самый Лем, которого мы запомнили с битв, происходивших когда-то на планете Регис III, с битв, в которых мёртвая, неуничтожимая, закристаллизованная биллионная туча вела нескончаемые схватки с бронированными гигантами, с атомными мамонтами из рода роботов. Но в годы, когда писался «Непобедимый», писатель всё-таки верил, всё-таки допускал возможность хоть какого-то контакта с инопланетянами, а теперь у него такой веры не было. Вся жизнь вокруг Станислава Лема, как и вокруг его современников, строилась так, что даже между собой они часто не могли установить настоящих контактов, не могли понять друг друга.

А теперь и небо Квинты заполнилось страшным блеском.

«Это “Гермес” открыл огонь по антенным мачтам за космодромом, навывлет пробил тучи. Дождь мгновенно прекратился, улетучиваясь белым кипятком, взошло лазерное солнце. Термический удар в широком радиусе

сорвал мглу и тучи с верхней части склона, покрытого, насколько мог видеть глаз, скоплением голых беззащитных бородавок, и, когда вознесённая к небу паутиная сеть вместе с антеннами, ломающимися в пламени, упала на него, он (Марк Темпе. — *Г. П., В. Б.*) понял, что увидел квинтян».



«...понял, что увидел квинтян».

Какая страшная, какая безжалостная концовка.

Какое трагическое, какое глубокое разочарование.

После публикации романа «Фиаско» Станислав Лем объявил, что не будет больше заниматься беллетристикой; и действительно в дальнейшем он ограничивал себя исключительно публицистикой или малыми формами.

***Глава восьмая.***  
**КРАКОВСКИЙ ОРАКУЛ**

В 1988 году Станислав Лем вернулся из Вены в Краков.

Здоровье и годы были уже не те, чтобы работать вдали от дома, да и события в Польше обнадеживали. Эпоха коммунизма, кажется, начала сдавать свои позиции. Генерал Войцех Ярузельский, последний коммунистический лидер Польши, ушёл из власти сразу после первых демократических выборов, проведённых в Польше в 1989 году. За время правления Ярузельского многие оппозиционеры попали в тюрьмы, был распущен Фронт единства нации, правда, некоторые реформы всё же были проведены. Восстановили Государственный трибунал, восстановили Верховную палату контроля, должности воевод и бурмистров, создали заново Конституционный суд, вместо Фронта единства народа действовало Патриотическое движение национального возрождения. В сентябре 1988 года в Варшаве начались (на правительственном уровне) встречи с Лехом Валенсой, лидером «Солидарности», а 5 февраля 1989 года был проведён исторический круглый стол, на котором прошли многие, как бы сейчас сказали, судьбоносные обсуждения.

Участие в заседаниях круглого стола принимали как члены действующего правительства, так и деятели «Солидарности» (в присутствии наблюдателей от костёлов и лютеранских обществ).

Стоит напомнить имена людей, кардинально изменивших течение событий в стране, повернувших её ход в ином направлении.

*Со стороны правительства в переговорах принимали участие:*

Чеслав Кищак — член политбюро ПОРП (с августа 1989 года — премьер-министр);

Станислав Чосек — член политбюро, секретарь ПОРП;

Владислав Бака — вице-премьер по экономике;

Марианн Ожеховский — член политбюро ПОРП, партийный куратор образования; Лешек Миллер — секретарь ПОРП по молодёжной политике и социальным вопросам (в 2001–2004 годах — премьер-министр);

Александр Квасьневский — председатель госкомитета по делам молодёжи и спорта (в 1995–2005 годах — президент Польши);

Альфред Миодович — председатель ВСПС;

Юзеф Олексы — министр по сотрудничеству с профсоюзами (в 1995–1996 годах — премьер-министр);

Гжегож Колодко — экономист;

Влодзимеж Чимошевич — агробизнесмен (в 1996–1997 годах — премьер-министр).

*Со стороны «Солидарности»:*

Лех Валенса — председатель профсоюза (в 1990–1995 годах — президент Польши);

Тадеуш Мазовецкий — лидер католической интеллигенции (в 1989–1991 годах — премьер-министр);

Збигнев Буяк — руководитель подпольных структур профсоюза;

Богдан Лис — активист гданьского забастовочного центра;

Владислав Фрасынюк — председатель вроцлавского профцентра;

Яцек Куронь, Адам Михник и Анджей Стельмаховский — эксперты профсоюза;

Бронислав Геремек — историк;

Ян Ольшевский — журналист (в 1991–1992 годах — премьер-министр);

Лех Качиньский — юрист (в 2005–2010 годах — президент Польши);

Ярослав Качиньский — юрист (в 2006–2007 годах — премьер-министр).

*И независимые наблюдатели:*

Алоизий Оршулик — епископ Седльце;

Бронислав Дебовский — настоятель костёла Святого Мартина;

Януш Нарзыньский — епископ евангелической (лютеранской) церкви в Польше.

Переговоры проходили трудно и не раз оказывались под угрозой срыва. Правительственная сторона с трудом шла на компромисс, а некоторые представители «Солидарности», напротив, считали чрезмерными даже те вполне разумные уступки, на которые соглашались Лех Валенса, Яцек Куронь и Адам Михник.

Всё же согласие было достигнуто, и 5 апреля 1989 года все документы были подписаны.

В соответствии с ними в стране:

учреждался институт президентства;

пост президента Польши на ближайшие шесть лет резервировался за генералом Войцехом Ярузельским (в руководстве ПОРП его заменил Мечислав Раковский);

учреждалась верхняя палата парламента — сенат;

при избрании нижней палаты — сейма — устанавливались заранее совместно определённые квоты.

Ко всему этому:

деятельность «Солидарности» и других самостоятельных профсоюзов признавалась легитимной;

29 декабря 1989 года в Конституцию ПНР было вписано прежнее историческое название государства — *Rzeczpospolita Polska* (Польская Республика; по-русски — Республика Польша).

Неудивительно, что на президентских выборах 1990 года Лех Валенса одержал убедительную и неоспоримую победу.

Лем внимательно следил за происходящим в Польше.

Возвращение на родину стало обдуманым решением, и он никогда в нём не раскаивался. Тем более что ещё в 1978 году Станислав Лем начал строить в Кракове новый, более удобный дом. За время пребывания Лемов в Австрии дом так и не был достроен, но теперь работы возобновились.

Общий присмотр за домами (за новым и старым) взяли на себя сестра пани Барбары и её женатый сын. Кстати, жена племянника оказалась архитектором, так что дом начал быстро принимать положенный ему вид. Просторная веранда, подвал и гараж, отдельная библиотека, отдельный кабинет. В пристройке к теплице стоял дизельный электрогенератор — на случай отключения электричества, что в те времена было не редкостью.

«Конечно, по возвращении родителей в Польшу не всё оказалось таким уж прекрасным, — вспоминал Томаш, сын писателя. — Иногда в подвале появлялась вода, иногда крыша протекала, электрогенератор не хотел запускаться. Двигатель электрогенератора был снят с рыбацкого бота, так что при его работе земля дрожала, а в соседней теплице от высокой температуры сохли бабушкины помидоры. Следует признать, что соседи проявляли тактичность и никогда не жаловались. Они догадывались, что отец питает какие-то особенные чувства к этому агрегату. А вот мать и её сестра не радовались шумному прибору. Они выросли при керосиновой лампе, поэтому говорили: “Керосиновая лампа создаёт уют и прекрасное настроение, зачем от этого отказываться?” Они прилагали все усилия к тому, чтобы отец не заметил очередного отсутствия электричества, но это не всегда удавалось. Узнав о случившемся, отец поспешно доставал заветный ключик, открывал пристройку к теплице и в помещении, напоминавшем внутренности “Наутилуса”, включал двигатель, громыхание которого сразу разносилось на сотни метров. А когда генератор был запущен, отец уединялся в кабинете, устраивался там в кресле с книжкой и — независимо от времени суток — включал настольную лампу. Каждые четверть часа он спускался в кухню, включал электродуховку и внимательно к ней присматривался. Непосвящённому такое поведение показалось бы странным, однако всё объяснялось просто. Из соображений экономии генератор следовало выключать, когда в сети появлялось обычное электричество, а по непонятным причинам именно кухня была единственным помещением в доме, куда ток от генератора не

поступал...»[{199}](#)

«Солидарность» сумела осуществить революцию мирным путём, без гражданской войны. Первым президентом новой Польши стал бывший электрик, бывший тюремный узник Лех Валенса. Всё это происходило на фоне стремительной перестройки, начатой в СССР. Правда, никто не ожидал, что она приведёт к распаду такого, казалось бы, могущественного государства.

«Это произошло неумышленно, — делился своими мыслями Станислав Лем (в беседах со Станиславом Бересем). — После серии неудачных опытов над старыми трупами в роли первых лиц — генсеком КПСС избрали Горбачёва, а тот неожиданно начал вынимать отдельные кирпичи из советской стены, пока всё вдруг не рухнуло. Когда однажды (много лет назад) президент Франции Жак Ширак разговаривал в Крыму с Леонидом Брежневым, он спросил его, нельзя ли немного ослабить гайки. Брежнев по-доброму объяснил: нельзя, иначе всё сразу завалится. Но вот пришёл Горбачёв и, пробуя немного стену выпрямить, вытянул один кирпич. Ну, тогда рухнула вся стена. По-моему, если бы у русских не было столь мощного ядерного наследия, оставшегося от Советов, сегодня в мировом масштабе с ними считались бы примерно как с нынешними словаками...»<sup>{200}</sup>



В 1980-х годах больше всего книг Станислава Лема переводилось в Германии, но в 1990-х первенство перехватила Россия. В 1992–1996 годах в Москве даже вышло первое собрание сочинений Лема — в издательстве «Текст»: десять основных и три дополнительных тома. Были переведены практически все крупные художественные произведения писателя, кроме второй и третьей частей романа «Неутраченное время», публиковать которые Лем запрещал.

От фантастики к этому времени Лем отказался.

«В 1989 году я принципиально перестал писать беллетристику, — рассказал он в одном из интервью начала 2000 года. — Конечно, у меня были наброски новых замыслов, но я решил, что эксплуатировать их в новой ситуации не стоит. Именно переход многих моих странных идей из области фантазмагии в реальность парадоксально помешал моим дальнейшим занятиям *Science Fiction*.

Поясню на примере.

Высаживая в саду саженец, свободно можно представить, как в результате многолетнего развития преобразуется саженец в дерево с развесистой кроной, как это дерево зацветает и со временем начинает плодоносить. Однако со мной случилось не так. Моё дерево действительно выросло и разрослось мощными ветвями, но подозрительными сейчас кажутся мне его соцветия, и яд сочится из его плодов.

Или другими словами: прежде я писал как бы в невесомости, свободно маневрировал любыми сюжетами, делая их безопасными или подслащая юмором, или даже вполне осознанно обходил ужасные подтверждения своих фантастических прогнозов и тем самым не чувствовал себя ответственным за какие-либо будущие людские сумасшествия, которые могут отпочковаться от моих домыслов. По сути, было во всём этом что-то от известной классической ситуации с учеником чернокнижника, вызывающим тайные тёмные силы...»

И из статьи 2001 года:

«Перестал я совсем писать фантастику, когда заметил, что некоторые идеи, казавшиеся мне исключительно фантастическими, стали вдруг, как бы сами собой, проявляться в реальности, — конечно, не в идентичном виде, но в подобном. И вот тогда я решил, что нужно сдерживать себя, ибо вдруг додумаюсь до чего-нибудь такого, что мне уже совершенно не

понравится...»

Зато теперь Лем вплотную занялся философией и публицистикой.

На этом (не столь уж неожиданном) поприще он быстро заслужил звание «краковского оракула», знающего всё и имеющего обо всём своё собственное мнение. В различных периодических изданиях писатель постоянно публиковал статьи и эссе на научно-технические, философские, литературные и политические темы, давал интервью. Знание иностранных языков, постоянное ознакомление с научными и научно-популярными журналами и книгами (английскими, немецкими, французскими и русскими), острый незаурядный ум позволяли писателю неизменно оставаться в курсе всех достижений современной науки и техники и даже предсказывать (предполагать) направление их развития.

В католическом еженедельнике «Tygodnik Powszechny», с которым он начал сотрудничать ещё в конце 1940-х годов, под специальной рубрикой «Мир по Лему» писатель выступал с размышлениями о событиях в политической и культурной жизни страны, не касаясь только (по специальной договорённости с редакцией) проблем религиозных.

Там было опубликовано более трёхсот статей.

В 1990–1992 годах Лем часто высказывался на литературные и философские темы в журналах «Teksty Drugie» и «Dekada Literacka», а в ежемесячнике «Odra» — с эссе и воспоминаниями под общим названием «Сильвические размышления».

Сильвические — это от латинского слова *silva*. Это может означать и *лес*, и *плантацию*, и *множество*, и *изобилие*. Сам Лем трактовал это слово коротко: *лес разных вещей*.

Многое интересовало писателя в этом «лесу».

Он соглашался, например, с Витгенштейном в том, что границы любого языка являются, в сущности, границами окружающего мира. Он был склонен считать постмодернизм регрессом любого языка. Он считал, что окружающая среда в целом стала более разумной, чем сам человек, имея в виду то, что мы теперь постоянно пользуемся множеством самых разных устройств, не имея при этом никакого понятия о том, как они устроены. «Вижу, вижу будущую электронную пещерную эпоху хакеров», — писал Лем. И признавался, что в те годы, когда писались его «Диалоги» и «Сумма технологии», он явно недооценивал темп и силу прироста знаний, и тем более некоторые «чёрные» негативные результаты их

использования. Не возникают ли где-то на горизонте мрачные призраки элоев и морлоков, призраки некоего «нового прекрасного мира»? — тревожился он.

Всё интересовало писателя.

И неясные места антропогенеза.

И некая смутная печаль перед неуклонно приближающимся концом света.

Нет, не в мистическом смысле, а в самом что ни на есть диалектическом: скажем, через несколько миллиардов лет Солнце ведь всё равно, хотим мы этого или нет, превратится в сверхновую звезду и сожжёт нашу планету.

А проблема лингвистических словарей и искусственного интеллекта?

Как получилось, что технологические процессы и, собственно, сама информация нынче так отягощены злом? И как решать демографические проблемы в странах, самых разных по культуре и по религиозным воззрениям? И как относиться к постоянно и резко увеличивающемуся количеству фиктивных гипотез в науке? Вот ведь даже литература уже теряет всякую связь с реальностью — не может безответственное умножение «гипотетических бытий» длиться вечно.

Возможно, считал Лем, именно XXI век станет веком битв поборников биотехники с её противниками.

«Один критик, кажется из Германии, как-то указал, что я занимаюсь “философией будущего”, — писал Станислав Лем в эссе, опубликованном в журнале «Одра». — Вот новости! Когда я писал об этом когда-то давным-давно, никто этого не видел, не хотел видеть, никто не захотел откликнуться, будто я писал на санскрите».

Сможем ли мы хоть чуточку улучшить мир? — спрашивал писатель.

Крови и убийства в нынешних книгах и на экранах телевизоров немерено. Телевидение бешеными темпами плодит орды идиотов и кретинов. Что это, садизм продюсеров или отражение реальности? И что происходит с нашей литературой? Нарастающая циклофрения, с определёнными признаками реактивного парапсихоза, с меланхолией, переходящей в депрессию? Эволюция длилась так долго, у неё было так много времени, что мы сейчас со всей нашей хвалёной химией и фармацевтикой выглядим весьма-весьма бледно. И замечал, как бы между делом: «Что-то неинтересно мне думать о влиянии сексуальных привязанностей Билла Клинтона на судьбы боснийцев и самих американцев. Вы спросите: а что меня интересует? Да стыдно сказать... Всякое интересует... Космос, например, SETI, коэффициент

интеллектуальности и всё такое прочее...»

И ещё: «Время идёт. Не люблю отвечать на письма. Старость, реклама, порно, современная музыка, бедолага советский космонавт, который полетел в космос из СССР, а куда оттуда возвращаться — непонятно. А теперь ещё Югославия...»

И делал из всего этого совершенно лемовский вывод:

«Человек разумный — статистически глуп».

В компьютерном ежемесячнике «PC Magazine» (польская редакция) в 1993–1998 годах Станислав Лем регулярно публиковал свои размышления по вопросам информационных технологий. В еженедельнике «Przekrój» в 2000–2002 годах под рубрикой «Ваше мнение, пан Лем?» — статьи на научно-популярные темы. В еженедельнике «Przegląd» — короткие размышления-отклики на текущие события политической жизни. А в «Gazeta Wyborcza» — обзоры событий каждой прошедшей недели.

Позже многие из этих эссе были изданы отдельными сборниками, такими как «Милые времена» (1995) и «Sex Wars» (1996).

О «Sex Wars» следует упомянуть отдельно.

В статьях, составивших этот сборник, писатель пытался разобраться в вопросах чрезвычайно быстрорастущего числа людей на Земле и одновременно — вымирания многих других биологических видов.

Вывод звучал парадоксально: прогресс ныне служит регрессу.

«Только сейчас я уточнил, — писал Лем, — что именно подразумевал О. Флехтхейм под термином “футурология”. Признаюсь, мне кажется странным, что я так долго, так подробно и так невежественно занимался тем, о чём почти не имел представления, — ведь “Диалоги” были написаны ещё при жизни Сталина. Почему я взялся за “Сумму технологии” — теперь тоже кажется мне странным. Наверное, потому, что мне всегда, во все времена, было любопытно — что может произойти в будущем? Можно сказать, тогда я был Робинзоном футурологии...»

А вот сборник «Придирки по мелочам» (1997) составили тексты, печатавшиеся в еженедельнике «Tygodnik Powszechny».

Здесь опять карусель иронических фактов, гипотез, предположений.

«В немецкой телепередаче я видел недавно живую мышь, на спине у которойросло человеческое ухо в натуральную величину». Ничего удивительного, писал Лем, что успехи генной инженерии затмевают даже политику. «Вот и здоровье Ельцина отошло на второй план по сравнению с клонированной овцой».

Иногда заметки писателя звучат раздражённо.

«Немецкий еженедельник “Die Woche” обратился ко мне с просьбой дать им статью о клонировании. Я ответил, что мне неохота молотить чепуху по всем этим модным поводам, — гораздо проще перепечатать отрывок из моей “Суммы технологии” и посмотреть, как нынешние научные открытия соотносятся с теми, которые я предвидел тридцать четыре года назад».

И ещё более резко в эссе «Тем, кто меня поправляет и поучает»:

«Наверное, я знал кое-что обо всём этом, если уже в 60-е годы писал книги, которые до сих пор издаются и переиздаются в разных странах (например, в Германии), — жаль только, что не в Польше».

И далее.

*О космосе:*

«Нестабильность движения малых планет в Солнечной системе и обнаружение миллиардов новых галактик — вот, на мой взгляд, основные события в астрономии в последние годы...»

*О Всемирной сети:*

«Интернет для меня — явление чисто технологического характера, добрая сторона которого гораздо шире и внимательнее рекламируется, чем другая, более мрачная сторона. А ведь там криминальные, политические, финансовые аферы, наконец, опасности, о которых мы даже и предположить не можем...»

«Интернет — это марксистская догма об уничтожении права частной собственности на информацию! Не могу себе представить чтение стихов любимого поэта, если для этого на подушку надо ставить монитор...»

*О чернобильских тучах:*

«Радиоактивное заражение — вот вырвавшийся из бутылки демон, и вряд ли возможно загнать его обратно...»

*Об информационных войнах:*

«Я очень обеспокоен тем, что сбывается так много невесёлых идей, когда-то мною высказанных и описанных. Читая сейчас об информационных войнах, вспомнил свой “Рассказ второго Размороженца”. Парадокс подобных войн прост: больше рискует тот, кто дальше других продвинулся в своём развитии...»

*О течении времени, о детстве, которое исчезает:*

«В книге “Исчезновение детства” Нил Постман подробно анализирует детство. В наше время этот — так называемый детский — период из жизни человека начинает выпадать: детей невозможно уберечь от всяческих мерзостей...»

*Об удобствах современной связи:*

«Сейчас нам часто говорят о том, как это замечательно, что мы можем практически в реальном времени общаться на больших расстояниях, но я уже не раз писал о том, что лично у меня это не вызывает никакого энтузиазма, так как я не могу понять, какое новое содержание получает такое общение. Шоры, в которых нас воспитывали, не только сдерживали, но и определяли жизненное направление...»

*И рядом почти случайное (но, конечно, не случайное) замечание:*

«Этот мир кажется мне плохим. Но чего в такой оценке больше: объективности или ощущения моей внезапно надвинувшейся старости?..»

*О парадоксах истории:*

«Если бы Гитлер не уничтожал евреев, возможно, Германия первой овладела бы атомным оружием...»

*О языках:*

«Языки — живые образования, они изменяются и эволюционируют. Есть языки, которые легко вбирают в себя чужие слова, и наоборот. Развитие цивилизации весьма существенно влияет на развитие языков...»

*И тут же рядом о политических реалиях:*

«Вряд ли найдётся государственная власть, которая с моральной точки зрения была бы безукоризненной...»

*И об исчезновении книжных магазинов:*

«Неплохо бы поддерживать государству современных авторов и прежде всего лавки и магазины, которые торгуют книгами. Я вот, например, уже старый человек. Мне трудно бегать по всему городу за книжками молодых, а хочется знать, что они там всё-таки пишут...»

*Наконец, о причудах (скажем так) редакторского отбора:*

«Вот вышла недавно новая польская энциклопедия. Но почему в ней нет статьи о единственном польском космонавте Мирославе



Гермашевском? И почему в ней нет статьи о гипнозе?...»

В 2010 году, уже после смерти писателя, в Варшаве вышла монография Павла Околовского, посвященная философским взглядам Лема: «Материя и ценности. Неолукрецианизм Станислава Лема».

Из названия видно, что Околовский, несомненно, считал философские взгляды Лема близкими к взглядам Лукреция; он и повествование строил в этом ключе, подробно разбирая сходство меж Лукрецием и Лемом в самых разных областях: космологии, эволюционизме, антропологии и многих других.

Вторая глава первой части монографии Околовского называлась «Главные философские идеи Лема: философия человека». Думается, есть смысл хотя бы коротко перечислить основные разделы этой главы. Читатель думающий продолжит размышления самостоятельно.

*Главный тезис: общественный детерминизм:*

— Технология является независимой переменной цивилизации (или общественного развития). Наука и культура управляются случайными процессами, вектор развития определяют технологии. Гомеостаз человечества может быть нарушен в случае появления новой разумной расы (автоэволюция человека или «некроэволюция» искусственного разума).

*Асимметрия добра и зла:*

— Добрые намерения всегда могут превратиться в злые, а злые всегда остаются злыми.

*Истребление культуры:*

— Обилие информации, распад верований, понятий и норм приводят к тому, что невозможно найти в океане информации настоящие ценности, а «поисковых систем смысла» не существует.

*Антропологический нативизм:*

— Человеческая натура (характер, темперамент, эмоциональность, интеллект) определяется генетически и не меняется на протяжении последних 100–160 тысяч лет.

*Антропологическое манихейство:*

— Имманентность зла человеческой натуры. Бескорыстные убийства и причинение страданий — исключительная специализация человека.

*Антропологический паулинизм и религиозность:*

— Человек, как общественное существо, способен противостоять злу

лишь в коллективе и никогда в одиночку.

*Натурализм:*

— Человеческий интеллект возник для того, чтобы мы могли познавать истину. Инструментом для такого познания служит язык.

Учеников в строгом смысле этого слова у Лема-философа нет.

Нет также продолжателей и эпигонов, поскольку его трудная и новаторская философия — *in statu nascendi*<sup>[119]</sup> — ещё не окрепла как система, то есть не вошла широко в культурное обращение. Однако частично мысль Лема уже проанализирована и преподаётся в университетах (Берндт Грефрат в Эссене, Павел Околовский в Варшаве).

В 1997 году имя Станислава Лема было внесено в список почётных граждан города Кракова. Несомненно, писатель это заслужил. В конце концов, многие читатели воспринимают Польшу прежде всего именно как страну Станислава Лема.

А в 1999 году вышел его сборник «Мегабитовая бомба».

«Антиматерии, — писал Лем в «Мегабитовой бомбе», — я боюсь меньше, чем Интернета. Засилье английского языка в Сети, обилие чисто развлекательных страниц (игры, порнография, сплетни), лёгкий доступ к любой информации для мафии, многочисленные компьютерные преступления, неконтролируемый информационный потоп, анонимность политического насилия, тотальное нарушение авторских прав, постоянные столкновения технологического прогресса с культурными и религиозными традициями...»

Ну и эскапизм компьютерных игр.

Сны и игры в Интернете — сравнимы ли эти понятия?

«В своё время, — писал Лем, — я позволял экспериментировать над собой, например, принимал псилобицин (аналог мескалина). Это тоже, можно сказать, “виртуальная реальность”». И далее: «Разум не может быть безвольным. Мы должны помнить о проблемах, которые могут ожидать нас в процессе создания искусственного интеллекта».

Вообще, рассуждал писатель, возможность существования искусственного интеллекта является, скорее, вопросом веры.

Отсюда главный вопрос: а что такое разум?

Все эти понятия — разум, разумность, интеллект — они ведь достаточно размыты. Что мы знаем, а чего не знаем? Кто ответит? Вот три образца для создания искусственного интеллекта: мозг человека, центральные нервные системы животных, «дерево жизни» Линнея. Но как возник, как менялся в процессе эволюции наш мозг? Возможен ли, скажем, интеллект без эмоций? И справедливо ли относиться к злу как к обратной изнанке технологического прогресса?

«Если говорить коротко, — писал Станислав Лем, — то *связь* сейчас — это практически всё, а вот *разум* — почти ничто. Как нам уберечься от шпионских и милитаристских вторжений в Сеть?»

Не правда ли, в дни Сноудена эти слова звучат как откровение?

А постоянное изменение научных парадигм? Вполне возможно, что

мы уже стоим на пороге создания аналога этикосферы — по принципу той, что была описана в романе «Осмотр на месте»? Каким будет, как себя проявит в недалёком будущем век истинной информатики? «Количество информации, одновременно доступной в разных системах, чрезвычайно велико, и оно постоянно увеличивается». При этом, отмечал Лем, получаемая нами информация чрезвычайно засорена глупостями и обманом. Налицо серьёзное снижение качества научно-популярных изданий, подмена истинной науки сенсационными сплетнями и вымыслами.

В последние годы жизни Станислав Лем (по его словам, иногда произносимым очень серьёзно) часто беседовал во сне с великими историческими личностями, с политическими лидерами, с величайшими представителями мировой науки, искусства, философии.

Мозг писателя работал постоянно.

Томаш Лем вспоминал, как отец за утренним столом, завтракая, подробно рассказывал о своих ночных разговорах с Владимиром Путиным, с Джорджем Бушем-младшим, с Ангелой Меркель, об острых дискуссиях с Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем, о спорах с Максом Планком о состоянии современной физики. Невольно вспоминается, как в романе «Осмотр на месте» знаменитый звездопроходец Ийон Тихий во время своих долгих космических перелётов так же вот коротал время в беседах с виртуальными моделями Бертрана Рассела, Карла Поппера, Пауля Фейерабенда, Уильяма Шекспира...

В 1994 году Станислав Лем был избран в Польскую академию знаний (*Polska Akademia Umiejtnosci*) — старейшую научную организацию Польши.

В 1996 году он награждён орденом Белого орла — высшей государственной наградой Польши;

8 декабря 1997 года Станиславу Лему присвоена степень почётного доктора Опольского университета;

30 июня 1998 года — Львовского государственного медицинского университета;

а 28 октября того же года — Ягеллонского университета (Краков).

Вышли новые собрания сочинений:

в двадцати пяти томах (1994–1997);

и почти сразу — в тридцати четырёх (1998–2005).

Кто-то из библиографов подсчитал, что за свою жизнь писатель издал 40 отдельных оригинальных книг, полторы тысячи статей, около 550 интервью. Работы его (и художественные и философские) переведены на 41 язык в пятидесяти странах, а общий тираж достиг тридцати пяти миллионов экземпляров. Из них на русском — 11 миллионов, на польском — 9, на немецком — 7,5, на чешском — более миллиона.

Именем Станислава Лема названы улицы — в Кракове и ещё в нескольких польских городах. Его имя присвоено известному Комплексу общеобразовательных школ в Коварах. А ещё — прекрасному Саду экспериментов в Кракове, в котором экспонируются устройства, конструкции и модели, демонстрирующие основные законы физики.

К сожалению, здоровье слабело, годы брали своё.

«У меня появилось какое-то неврологическое заболевание, — жаловался Лем Станиславу Бересю. — Оно привело к тому, что я не могу сам писать на машинке, потому что всё чаще не попадаю по клавишам, а на компьютере не умею. Поэтому сейчас у меня появился секретарь, компьютер, факс, сканер. Книжку “Мгновение” я полностью надиктовал моему секретарю...»

Действительно, в 1998 году Лем обратился к литературоведу Ежи Яжембскому, автору многочисленных работ о книгах писателя, с просьбой подыскать ему в помощь кого-нибудь из студентов-выпускников, и Яжембский порекомендовал Войцеха Земека.

Писатель и студент сработались.

С этих пор вся огромная официальная переписка Лема легла на Войцеха Земека.



«В какое необыкновенное время мы живём теперь!» — так назвал свои заметки журналист, литературный критик, переводчик и библиограф Владимир Борисов, один из авторов этой книги. 21 сентября 1999 года он побывал в Кракове у Станислава Лема, и, думается, уместно поместить его записи в этой главе. Не так уж много у нас подобных прямых свидетельств.

*«Станислав Лем: Как вы добрались до меня? Не имели больших трудностей?»*

*Владимир Борисов:* Нет-нет. Я по карте посмотрел, всё выяснил...

— Вы знаете, мы ведь на самой окраине города живём...

— Зато тут хорошо, тихо, надеюсь.

— Вы приехали из Москвы? -Нет.

— А откуда?

— Город Абакан.

— Ах, да, я знаю. Вы писали.

— Это Сибирь. Сибирская река Енисей.

— Да, понимаю... Тут ко мне как-то приехали, говорят: “Мы — из Санкт-Петербурга”. Я говорю: “Вы Санкт-Петербургом теперь называете тот город, который назывался Ленинград?” — “Ну да, это давно было, знаете ли”. Потом из Куйбышева звонят: “Хотим приехать, сделать фильм”. — “Пожалуйста”. А приезжают, говорят: “Мы из Самары”. Я говорю: “Как из Самары? А где же куйбышевцы?” — “Это мы и есть, говорят, только у нас название города изменилось”... В какое необыкновенное время мы живём теперь... Что творится в Москве, эти бомбы, эти взрывы, война с Кавказом. Очень неприятное время. Я бы сказал, что самым умным человеком Ельцин мне теперь уже не кажется. Я читаю, неохотно, но читаю про то, что вроде существует так называемая “семья” вокруг Ельцина... и что какие-то там миллионы, миллиарды долларов уходят куда-то в Швейцарию... А вчера, да вчера читал интервью, которое Лебедь<sup>[120]</sup> дал... Ну, он — сильный человек, но сидит далеко от Москвы, там живёт и говорит, что то, что творится сейчас в Москве, его пока не касается... Пока! Потом, значит, увидим, что будет... Ещё видел я вчера, знаете, ещё не похороны, а то, что вот Раиса Горбачёва умерла... Но такое впечатление, что это больше событие для Германии, чем для России. К Раисе Горбачёвой относятся холодно в России...

— Это была первая леди у нас...

Да, знаю. У меня есть спутниковое телевидение, но, к сожалению, программы с русского спутника я принимать не могу, только английские, немецкие. Двадцать пять программ. Говорят, что в Варшаве можно и с русского спутника принимать. А у нас это не идёт, нет. Вот Душенко присылает мне толстые журналы из Москвы. Для меня самое интересное сейчас не стихи и прочая беллетристика, а рассказы о том, что действительно было, тайно. Воспоминания Сахарова, других таких людей... Часто высказываются прямо противоположные мнения... Сейчас пишут о начале немецко-советской войны и почему Советский Союз имел сначала такие огромные проигрыши. И очень по-разному вспоминают разные люди, специалисты. А я читаю и не знаю, за кем правда... Вот, вы удивитесь, наверное, что я в последнее время читал... А я читал Симонова...

Солдат устал. Десятый день не спали,  
Десятый день шли первые бои.  
Когда солдат услышал на привале:  
«Друзья мои!»

Это ведь он о Сталине, с такой любовью, с сердцем...

Да, а Симонова я нашёл, когда искал книгу Пушкина. Ну, это самый большой поэт у вас, конечно. “Я вас любил...” Я знаю довольно много стихов. Я не учу наизусть, просто когда читаю и мне нравится, то — запоминаю.

— Пан Станислав, а вот сейчас, в новом издании собрания сочинений, там ваши стихи будут?

— Знаете, э... будут! Но это же самое начало, мне было двадцать два, ну, двадцать три года... Но будут... Знаете, издатели насчитали, что в собрании сочинений будет в общем сорок томов. Занимается этим польское издательство “Wydawnictwo literackie”, а Ежи Яжембский пишет послесловия... Это собрание будет издаваться лет пять, может шесть. Ну, конечно, я не доживу до конца, потому что они могут издавать лишь пять названий в год. Если сорок книг... Долго...<sup>[121]</sup> Надо выбрасывать то, что не имеет теперь смысла... такое, второстепенное... какие-то начинания... то, что я делал пятьдесят лет тому назад... Но, наверное, будут и стихи...

— А кто-нибудь пытался сосчитать, сколько книг Лема вышло в мире?

— Я об этом ничего не знаю. Ну, у меня вышло более тысячи иностранных изданий, общим числом, с переизданиями.

Я лично не в состоянии это всё отследить. Бог смиловился и прислал мне в помощь молодого человека, секретаря. Он теперь работает у меня несколько дней в неделю. Принимает телефонные звонки, факс, электронную почту... А выходит ещё довольно много пиратских изданий. Диких. Вот, скажем, в Белоруссии издали три мои книги, “Рассказы о Пирксе”. Какой-то белорус подошёл ко мне, когда я где-то подписывал книжки, и показал белорусский перевод “Солярис”. Вот я и узнал, что это так называемая “Мастацкая літаратура” в Минске издала. Секретарь взволновался, написал. Просил через польское посольство в Минске, чтобы они, сотрудники, обратились к этому, так сказать, к дикому издателю, но он... (*смеётся*). Он написал, что ему случившееся, конечно, неприятно, но он не был директором, когда эти книги издавались... Я говорю: “Ну по крайней мере, пришлите мне хотя бы авторские экземпляры!” — “Ну, это конечно!” — И так мы с ним всё время факсом, факсом. Факс — в одну сторону, потом в другую...<sup>[122]</sup> То же самое и с Украиной. Правда, Львовский государственный университет дал мне звание доктора *honoris causa*. Они приехали меня поздравить. Я говорю: “Это очень приятно. Вот только издают меня, а даже книги, экземпляров не присылают, ничего совершенно”. Они сказали: “Ну, мы постараемся”. Но ничего не сделали, конечно, ни экземпляров, ни книг, так что я не имею возможности узнать: где, кто меня издаёт. А отношения “автор — издатель”, конечно, должны основываться на честности. Честные люди должны быть с той и с другой стороны. А если кто-нибудь ворует... Я, например, знаю, что существуют итальянские издания, которые мне тоже никто не присылает. Понятно, кто издаёт таким образом, никогда ничего не пришлёт. Зачем ему это?.. Говорят, если книги не представляют никакой товарной ценности на рынке, значит, их никто не читает, не издаёт. А меня читают... издают... только не хотят присылать экземпляры... И не платят...

— Но в России-то сейчас...

— Да, вот издательство “Текст”... Поначалу они хорошо платили за собрание сочинений, а потом... Они остались должны мне более, я не знаю уже, сколько, четыре-пять тысяч долларов...

— Так и не заплатили?

— Не заплатили. Только писали: “Мы сожалеем” (*смеётся*). Сожаление — это хорошо, но деньги — лучше.

— Сейчас второе Ваше собрание выпускается — в издательстве “ЭКСМО-Пресс”.

— Да, “ЭКСМО”...

— Они платят?

— Скажем так, немножко... Я вам приведу такой пример: из немецкого журнала “Playboy” заказали мне рассказ. Ну, я написал, знаете, на пятнадцать страниц, не очень большой рассказ, но такой, который подходит им<sup>[123]</sup>. Они мне заплатили десять тысяч марок. А потом русский “Playboy” внезапно обратился. Я им ответил, точнее, не я, а мой секретарь ответил так: “Знаете, пану Станиславу Лему до такой степени кажется невероятным, чтобы голые русские женщины...” Я же помню советское время. И я помню, какие были у вас нравы... (*смеётся*). Хорошо, деньги — не очень важно... Ну, ладно. Они будут теперь издавать, переводить. Я говорил об этом с Душенко, но у них там есть собственный переводчик. Я передал свои агентские дела русские Корженевскому. Душенко сказал мне, что так будет лучше, Корженевский будет шевелиться, какие-то деньги выбивать... Ну, может, в будущем случится такое, а пока только остаётся надежда...

— Понятно.

— Но меня издают во многих странах, поэтому я всё равно не живу только на воде с хлебом. Раз уж ты известный писатель... Но есть, конечно, есть такие воры, что просто крадут...

— Мне Ежи Яжембский говорил, что даже с Роттенштайнером<sup>[124]</sup> у вас были по этому поводу недоразумения...

Какие там недоразумения! Ведь он, знаете... Он просто завышал себе процент, насчитывал мне фиктивные долги, а себе, значит, просто увеличивал суммы. И когда гонорары приходили к нему из Америки, из Франции, так он всё — себе. Я нашёл адвоката и подал в суд в Вене. И проиграл. Потом здешний, польский адвокат сказал мне, что невозможно выиграть в венском суде против австрийского гражданина. Я ещё остался должен за всё это. Ну, тогда мы с моим секретарём обратились ко всем издателям в разных странах, в Испании и в других, чтобы они мне просто пересылали деньги... Но бывает всё-таки, что время от времени кто-нибудь пересылает деньги Роттенштайнеру, тогда он просто берёт их себе... Но это ещё не всё... Сукин сын, он всё время твердил, что Лем — самый лучший писатель в жанре научной фантастики, а теперь пишет, что сильно ошибался. Он, оказывается, тридцать лет ошибался, а теперь у него глаза открылись... На мою низость... Она в том, видите ли, состоит, что я не хочу, чтобы он меня обворовывал... И ещё один нюанс... С переводчиками с польского на другой славянский язык, на русский, например, не такая огромная проблема, как, скажем, на какой-то финский или даже английский. В Англии, в Америке, во Франции практически девяносто

процентов переводчиков — это какие-то женщины-польки, которые женились на французах, англичанах и изучили язык. А у нас, когда переводят, скажем, с немецкого, с английского, это — первоклассные специалисты. И таким образом мне кажется, что наш язык... ну, мы сидим вроде как в яме... Для нас трамплин — это немецкий язык... У меня уже семь миллионов книг на немецком, а сколько в России — понятия не имею. Потому что, знаете, когда “Текст” начинал издавать моё собрание, — первый том, второй, третий были по двести тысяч экземпляров, потом восемьдесят тысяч, потом ещё меньше, а потом стал такой ужас... Знаете, есть у вас известный научно-популярный, очень хороший, по моему мнению, самый лучший научно-популярный журнал “Природа”. У него в советское время был тираж восемьдесят тысяч, а теперь так мало стало... И у нас, знаете, во время так называемого социализма вопрос о тираже практически не возникал. Вот только цензура... Нужно было перевалить цензуру, и тогда уже никто не спрашивал, сколько это стоит, потому что никто не знал, ни Министерство культуры, ни Центральный Комитет и так далее. Ну а теперь это выглядит по-другому. Издательств у нас, кажется, в Польше двести, может и больше. Но они так: живут в одной комнате — муж, жена, компьютер. Издадут несколько хороших книг — дело пойдёт, а если нет, так будет конец всему издательству. Так это выглядит. Были оптимисты, говорили: “Ну, это начало капитализма, а потом будет такая рыночная сила, что из маленьких издательств вырастут большие. Они все сольются”. Но не хочет никто сливаться...

— Да, никто не хочет. Наоборот, распадаются.

— Именно. Я так и не знаю, верно ли, но мне говорили, что очень известный такой международный издатель Бертельсман хотел в Москве построить, ну... целое отделение своё, чтобы самому издавать книги в России, но получил отпор со стороны русских, которые не хотели, чтобы была такая конкуренция... Ну, это я понимаю... Этот Бертельсман издаёт меня в Венгрии, в Чехословакии, даже в Польше издавал...

— Пан Станислав, вот Душенко передал для вас сборник афоризмов, которыми сейчас занимается. Видите, на обложке: “От царя Соломона до Станислава Лема”.

— О! Спасибо! У вас красиво издают. У меня собралась целая библиотека старых книг — и польских, и русских, которые были изданы за сорок лет существования социалистического строя. Бумаги хорошей не было, твёрдых переплётów не было, а всё-таки можно было издать книжку тиражом сто тысяч, пятьдесят... А теперь... Мою последнюю книжку, “Мегабитовая бомба”, продали одиннадцать тысяч и уже говорят —

бестселлер! Одиннадцать тысяч, какой же это бестселлер? Бестселлер — это в прошлом... Я не говорю, что там было очень хорошо, двадцать-тридцать лет тому назад, но не было и так, чтобы со всех сторон плохо...

— Я купил “Мегабитовую бомбу”, но ещё не успел прочесть...

— Ну, это было так... Никакой книги я писать не собирался, просто бывший редактор польского журнала “Personal Computers” обратился ко мне года три назад с вопросом, могу ли я написать эссе для него... Ну, я написал... Потом другое... Одно эссе в месяц. Двенадцать в год. Таким образом собралось. Но это не было специально продумано, запланировано, я просто писал...

— Так же и эссе из “Tygodnik powszechny” в сборнике “Дыры в целом”?

— Ну, это было, так сказать...

— Для широкой публики?

— Для народа, да... А специально насчёт Интернета... Нет, я к этому настроен довольно скептически...

— Я знаю. Статья “Cave Internetum”<sup>[125]</sup>.

— Да... А теперь в ближайший понедельник польское телевидение просит, чтобы я высказал своё мнение... Конечно, во всём мире существует теперь большое ускорение. И в космологии, и в информатике. Например, сперва говорили, что Интернет — это просто удобная вещь, и говорили очень много... Но нет пока никакого искусственного интеллекта. Есть пока провайдер, сервер, браузер и так далее и так далее... Но появится... Вот американцы пишут уже, как будет выглядеть будущая информационная война. Пишут, что это будет главное оружие...

— Вы знаете, это уже началось. Когда американцы начали бомбить Сербию...

— Знаю, да! Они так делали, что Сербия пускала свои ракеты туда, где не было никаких самолётов. Конечно, знаю. Я ведь, кроме “Природы”, читаю и научные журналы: “New Scientist”, “Scientific American”, ах, боже мой, “Science et vie”, “Wissenshaft”... Я знаю шесть языков... Все эти журналы покупаю или выписываю... Их такое огромное количество у меня там наверху, я не в состоянии всего прочесть, я только смотрю, есть ли что-нибудь, так сказать, сногшибательное, совершенно новое... А позавчера какой-то дурак, простите, прислал мне видеокассету, называется “Польские UFO”. Это получается, что существуют, значит, такие UFO, которые только над Польшей летают. Я это видео не буду смотреть. Думаю, прекрасно, что прислали, но всё-таки — дураки. Ну какие там польские UFO. Это бессмысленно... У меня и так огромная нагрузка... Особенно из России

пишут, но главным образом из Германии: “Пришлите нам ваши цветные фотографии с автографом”. И не одну фотографию, а две. Одну для того, кто просит, а вторая у него пойдёт на обмен. И так далее... Или присылают мне книжки. Одна совершенно сумасшедшая американка прислала огромный ящик, все мои издания в переплёте — двадцать пять книг. Это большой вес. Я должен был расписаться на всех. Потом фирма американская приехала, забрали обратно. Боже сохрани, чтобы такое повторялось. Я же не могу заниматься только этим... Приходят письма с просьбами. Иногда сердце дрогнет, я должен всё-таки дать кому-нибудь автограф, но не всем же. Я не киноактёр, не звезда какая-то. Кроме того, не то, что денег, а времени не хватает на работу. У меня начался семьдесят девятый год жизни, я не ребёнок какой-то... А то вдруг организовали международный съезд философов в Кракове. “Пан Станислав, вы обязательно должны там выступить”. — “Но я не философ”. — “А всё равно, у вас же есть философские работы”. Я сказал: “Хорошо”. На прошлой неделе приезжают за мной, везут в кинотеатр “Киев”, там семьсот мест и весь зал полон. И говорят, что я на английском языке должен объясняться. Я даже не знал, что существует такое количество понимающих английский язык людей в Кракове. Там были, конечно, и довольно известные международные, так сказать, светила. Ну, ладно... А то пришёл какой-то польский журналист на прошлой неделе с таким большим списком вопросов и, между прочим, говорит: “Почему у вас нет Нобелевской премии?” Я говорю: “Ну, Нобелевская премия — это не зависит от меня!” А он смотрит так, что вроде как мне просто не хочется стараться... А вот Сартр не хотел получать Нобелевскую премию, отказался... Но это другое дело... Нет, не надо мне никакой Нобелевки, нет... И не то мне сейчас тяжело, что я пока ещё жив, а то, что друзья умирают. Понимаете? Знаю, что Аркадий Стругацкий умер, Борис там один остался. Я где-то читал, что он пишет воспоминания личные, биографические...

— Не совсем. То, что он написал, называется “Комментарии к пройденному”. О том, как они с братом писали книги. Я регулярно общаюсь с Борисом Натановичем, и когда написал ему, что еду в Краков и постараюсь встретиться с вами, он просил передать вам привет.

— О, спасибо! А как с книжками Стругацких? Продаются?

— Да, конечно. Ситуация примерно такая же, как и с вашими книгами. Тиражи, правда, небольшие, но книги постоянно переиздаются.

— Я спрашиваю потому, что знаю, у Стругацких были трудности. Они были как бы немножко против советской власти...

— Нет, теперь у нас разрешено всё. Если хотите, я попрошу у Бориса Стругацкого файл с его воспоминаниями для вас. Могу распечатать прямо на бумаге или прислать файл.

— По факсу?

— Компьютером. Ведь у вас есть интернетовская связь.

— Только когда работает мой секретарь. Я лично не в состоянии этим пользоваться.

— Я могу прислать бумажный вариант.

— На каком? На русском?

— На русском.

— Не знаю... Можно ли прислать электронной почтой?.. Там вроде какие-то сложности с кодировками...

— Я попробую с вашим секретарём списаться, и мы определим, сможет он получить или нет. Но я могу и на бумаге распечатать. Эти воспоминания публиковались пока только в журнале, сокращённый вариант.

— Понимаю... Мне смешно, но с Корженевским я общаюсь исключительно на английском языке... Почему? Да он начал переписываться на английском, вот мы ему и отвечаем на английском...

— Корженевский сам переводит с английского. Он литературный агент многих американских фантастов.

— Я знаю...

— Может, у него делопроизводство поставлено на английском языке...

Вполне может и так быть. Моему секретарю это не мешает, а я... С компьютером я не в состоянии... У меня есть старая пишущая машинка, и хватит с меня. Писать много я не собираюсь, тем более ничего беллетристического. Другое дело, скажем, что-нибудь о философии, футурологическое... Сейчас вот думаю о книге. Она ещё не существует, только в моей голове кружится такая идея, чтобы продолжить “Сумму технологии”. Точнее, не совсем чтобы продолжить, а чтобы разобраться, что там было верно, а что было глупо. И как всё переменялось, знаете, вроде как такие ветви расходящиеся... Это может быть интересно, но я ещё не нашёл человека, с которым мог бы так работать, чтобы он меня спрашивал, а я бы отвечал. Потому что девяносто девять процентов всех людей, которых я знаю, это литераторы, критики, гуманитарии, в общем, они этими вопросами не очень занимаются, им это неинтересно, наверное...

— Пан Станислав, а ваш сын сейчас живёт в Америке?

— Нет. Но он жил в Америке, в Соединённых Штатах, окончил там



Принстонский университет, теперь вернулся, женился, у меня уже есть маленькая внучка, ей один год. Он прекрасно изучил английский язык, переводит книжки разные, главным образом — с английского. Мы вместе с ним довольно долго жили в Вене, поэтому он знает и немецкий язык...

— Я смотрю, в Польше продолжается засилье англо-американских переводов, польской фантастики почти не выходит.

— Да. К сожалению. А те книги, которые выходят в Польше и которым даже присуждается этот новый приз, кажется, называется “Nike”, мне как-то не нравятся... Знаете, если человек, как я, прошёл огонь, воду и медные трубы, все эти оккупации... немецкие и советские... Ну ладно... Значит, вы к нам приехали из Абакана и будете возвращаться в Абакан?

— Да.

— Вы должны ведь через Москву ехать?

— Да. Через Варшаву и через Москву.

— Вы бываете в Москве?

— Конечно, бываю изредка.

— Метро там ещё существует?

— Существует.

— Знаете, а у нас есть дирекция центральная в Варшаве... Но не существует ни одного километра метро, не в состоянии пока польское правительство осуществить этот проект... Знаете, как-то меня попросили написать что-нибудь на тему об отношениях немцев и поляков. Это было в девяносто третьем году. Я написал — то, сё. А закончил так: со временем соединённая Германия будет окружена нищими всего мира, а Польша станет протекторатом Ватикана, Рима, римского папы. И так оно и получилось в действительности. А какая-то дама из Польши, которая сидит в этом институте польском в Германии, написала: “Это пессимистические взгляды польского футуролога”. Да какие там пессимистические? Мне кажется, что это было вполне реалистичным и таким и остаётся... Сейчас хорошо издают. (*Берёт в руки книгу афоризмов.*) Значит, народ имеет деньги. Если бы не было денег, то и рыночный спрос был бы небольшим.

— Деньги есть, но мало. Многие работают одновременно на двух, на трёх работах.

— Да, это так. Западники этого не понимают. Они говорят: “Раз произошёл развал Советского Союза, а настоящего капитализма в России нет, вот деньги и удирают куда-то...” Но Россия, пусть уже и не такая огромная, как Советский Союз, но всё же большая...

— Да, большая. Далеко до вас добираться. Я пытался к вам приехать раньше, но меня не выпускали из Союза.

— Да. Теперь иначе. Теперь необходимы только три вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, деньги, в-третьих, деньги, и...

— И, в-четвёртых, тоже...»

Давным-давно, ещё в 1947 году, Станислав Лем написал стихи, которые вполне могут символизировать возведённый за прожитые им годы стройный философско-художественный собор.

1

Алый столбик в венчике бессмертника.

2

Вскрик красных кирпичей и цинковых горгулий:  
К себе потоки рос вернёт небесный улей.

3

Застыл златой перун в расщепленной лесине:  
Так вспыхивает крест на туче тёмно-синей.

4

Хор выдувает корпус корабля,  
Рвёт камни-якоря — твердь пеньем потрясётся.  
Покорный неф летит, уходит вниз земля —  
Плывёт ковчег даров, гремит в соборе солнце.

5

Ночь трудно отодрать от мощных стен. В орган  
Вполз мрак. Одна звезда глядит в органный створ.  
Отвес воздушный остекляет грань.  
Вновь солнце в небесах, и на земле собор<sup>[126]</sup>.

12 сентября 2001 года Станиславу Лему исполнилось 80 лет.

«По поводу юбилея, — вспоминал Виктор Язневич, — в Кракове на 11–16 сентября были запланированы “всемирные торжества” — “Cybernetic Party” для друзей и знакомых с многочисленными сюрпризами и концертом из любимых песен юбиляра. А ещё — демонстрация кинофильмов по произведениям Лема, развлекательные мероприятия на центральной Рыночной площади: переименование на один день главных улиц в честь героев произведений писателя, футбольный матч одновременно трёх команд-организаторов, марш двойников, гонка луноходов и всё такое прочее, а в завершение — встреча с читателями. К сожалению, известные события в США — террористические акты с большим количеством жертв — внесли свои коррективы в начавшиеся мероприятия («Сегодня мы все — американцы», — сказал в Лос-Анджелесе Рей Брэдбери. — Г. П., В. Б.). По решению официальных властей и организаторов развлекательная часть юбилея была отменена. Причём решение это принималось прямо по ходу “Cybernetic Party”, которое происходило именно 11 сентября и поэтому ограничилось только официальной частью и традиционным польским тостом “Sto lat!”, исполненным всеми присутствующими для юбиляра.

Сам Лем узнал о террористических актах уже после начала вечера.

“Думаю, что удастся идентифицировать принадлежность этих террористов, — сказал он. — Но спланировано хорошо. Опасаюсь, что это не конец, а только начало... не знаю чего...”

И ещё, через несколько дней на встрече с читателями:

“Так получилось, что когда был мой день рождения и уже шёл банкет, какая-то пани с радио спросила, что я могу сказать об этих событиях в Америке. “А что произошло?” — спросил я. “Там террористы разрушили небоскрёбы”. Я не поверил, я подумал, что это какая-то страшная шутка. А потом узнал, что многие люди в тот день думали, что происходящее — фрагмент какого-то фантастического фильма катастроф, а вовсе не действительность. Но такой фильм был бы в очень плохом вкусе, скажу я вам, в очень плохом вкусе...”<sup>[201]</sup>.

«Самым обидным разочарованием для таких натур, как моя, — сказал Станислав Лем в одной из бесед со Станиславом Бересем, — является осознание того, что мир, как это ни печально, по большей части состоит из сумасшедших и идиотов и что судьба нашего мира в значительной степени

зависит именно от сумасшедших и идиотов. Если бы человечество состояло исключительно из таких людей, то тогда и жить бы не стоило. К счастью, это не совсем так, но безумцы всё время ужасно мешают жить другим...»

Здоровье писателя ухудшалось.

Томаш Лем в книге «*Awantury na tle powszechnego ciężenia*», вышедшей в 2009 году в Кракове, с горечью рассказывал о ночных падениях писателя с лестницы, вызванных инсулиновым омрачением, о внезапных обмороках в ванной, о внутренних кровотечениях, вызванных чрезмерными дозами противоболевых уколов после случайного перелома ноги. Такие неприятности случались чаще всего в субботу вечером или по ночам, потому что Лем и в эти годы старался подниматься в третьем часу утра. Иногда состояние писателя оказывалось столь сложным, что реанимационные процедуры требовались уже во время перевозки в госпиталь; не всегда врачи были уверены, что довезут своего знаменитого пациента живым.

«Последняя такая поездка, когда у отца начали отказывать почки, а потом началось воспаление лёгких, — писал Томаш, — оказалась поначалу не столь драматичной, как прежние. Всё, в общем, проходило гораздо спокойнее, отец сам сел в машину, а ведь бывало, что его вносили туда на носилках под капельницей. К сожалению, после внезапного резкого ухудшения состояния здоровья надежд почти не оставалось. Современная медицина может долго держать больного в переходном состоянии — когда его и нельзя вылечить, и умирать не разрешено; в нашем случае такое состояние продолжалось несколько недель. Это были ужасные дни, они постоянно возвращаются ко мне в моих снах. И долго ещё меня мучила совесть, что я не смог избавить отца от страданий...»<sup>[202]</sup>

Станислав Лем скончался 27 марта 2006 года.

Отгремели для знаменитого писателя тяжёлые сражения на Земле, ушли в прошлое — оккупация, скитания, бесконечная работа, забылись чудовищные сражения на отдалённых планетах и звёздных системах, остались только тихие берёзы на Сальваторском кладбище Кракова, о которых Станислав Лем тоже писал ещё в юности — в 1947 году<sup>[127]</sup>.

Берёзы как следы упавших звёзд.  
Тьма в полукруг истыкана гвоздями  
Крестов белёсых. Быстрокрылый лес  
летит во мраке без конца и края  
И бьёт хребтом о твердь тугую туч,  
гнетущих взгляд своими плоскостями.  
Лишь голос иволги встревоженной звучит,  
о солнечных лучах напоминая.  
Огнём навеки заглушённый хор.  
Одна лишь только глина не забыла  
Подземные черты угасших губ.  
Медь с мятой прорастает на могилах.  
Цветы возносят равнодушный взор  
над оболочками ничьими уж давно.  
Куда ни ступишь — всюду смерть и тьма.  
Не знаю я, за что мне жить дано.

В 1998 году в эссе «Что мне удалось предсказать» Станислав Лем написал:

«Беллетристика принципиально ограничивает своё поле видения до отдельных личностей или относительно небольших групп людей, до их конфронтации или согласия с судьбой, заданной великой исторической минутой, в то время как большие мировые события, социальные движения и битвы становятся прежде всего фоном. Я — человек, который познал чрезвычайную изменчивость и хрупкость последовательно исключавших друг друга социальных систем: от убогой довоенной Польши через фазы советской, немецкой и опять советской оккупации до ПНР, до её выхода из-под советского протектората, терзаниями своей собственной психологии пренебрёг и старался концентрировать внимание как раз на том, как *technologicus genius temporis*<sup>[128]</sup> формирует человеческую судьбу. Я знаю, что вследствие этого (подсознательно принятого) решения я так отмежевался от гуманистической однородности литературы, что у меня образовались многие гибридные скрещивания, приносящие плоды, которые не имеют исключительного гражданства в беллетристике, так как изображённые события я отдал на муки жестокому непрестанному прогрессу. Я писал и нечто неудобоваримое, что может, к сожалению, взорваться в будущем, как мина с часовым механизмом. И могу сейчас сказать одно: *feci quod potui, faciant meliora potentes...*<sup>[129]</sup>»<sup>[203]</sup>



*Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО СМОГ; КТО СУМЕЕТ, ПУСТЬ СДЕЛАЕТ  
ЛУЧШЕ.*

Именно эта фраза выбита на надгробии писателя Станислава Лема.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ, ИЗОБРЕТЁННЫХ СТАНИСЛАВОМ ЛЕМОМ

*аврук* — любимое слово, боевой клич рода Селектритов, отважных и бесстрашных электрицарей, у коих в мозгах царила такая абсолютная пустота, что мышление их было чёрным, как беззвёздная ночь.

*алгебраин* — препарат для изучения математики.

*альтруизин* — психотрансмиссионный препарат, предназначенный для всех белковатых. Обеспечивает перенесение любых ощущений, эмоций и переживаний с того, кто непосредственно их ощущает, на всех остальных в радиусе до пятисот локтей. Действует по принципу телепатии, но не передаёт абсолютно никаких мыслей. На роботов и растения не действует.

*амнестан* и *мемнолизин* — средства, прочищающие память и воображение, с помощью которых можно легко избавиться от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний.

*антропаны* — обитатели землеподобной, или землеватой, планеты, которые занимаются в основном брыкованием, хлопотанием, выпендрянием и забочением, а всё это из страха перед бабярией, которая, по их вере, пребывает вне бытия и поджидает грешников.

*аутентал* — средство из группы былиногенных препаратов, служит для создания искусственных воспоминаний о том, чего на самом деле никогда не было. После дантина, например, человек глубоко убеждён, что именно он написал «Божественную комедию».

*бальдуры* и *бадубины* — благородные, совершенные в своей рыбности формы, в которые со временем обратятся все жители планеты Пинты, согласно учению об эволюции путём убеждения. На практике никто никогда не видел ни одного бальдура или бадубина, а когда попавший на Пинту Ийон Тихий расспрашивал о них жителей планеты, они обыкновенно погружались в воду, заглушая всё бульканьем.

*безработы* — роботы без определённых занятий, как правило, с удовольствием нанимаются на военную службу.

*бенигнаторы* (*добрины*; *умилители*) — психотропные средства, вызывающие у людей беспричинное ликование и благодушие (*альтруизин*, *бенефакторина*, *боноласкина*, *гедонидол*, *любинил*, *фелицитол*,

филантропин, эйфоризол, эмпатиан и др.). Действуют на людей тем сильнее, чем меньше они были подвержены естественным, врождённым благим побуждениям. См. также *биелогическая группа*.

*бесильня* — учреждение на планете Прокитии; представляет собой маленькую кабину, обитую пробковыми матами. Лицо, охваченное гневом или чувствующее злобу к кому-нибудь, входит в бесильню и даёт полную волю своим чувствам.

*бетризация* — процедура химического воздействия на развивающиеся лобные части головного мозга высших животных, приводящая к снижению агрессивного влечения и исчезновению положительных эмоций от актов агрессии. Массовое распространение бетризации привело к созданию человеческой цивилизации, лишённой страха, насилия и войн. Побочным эффектом бетризации стала утрата людьми склонности к риску.

*биелогическая (битологичная) группа* — психотропные вещества, побуждающие человека бить и таранить всё подряд, вплоть до неодушевлённых предметов (агрессий, амокомин, врубинал, депрессии, зубодробин, садистизин, флагеллина, фрустрандол, фуриазол и др.). См. также *бенигнаторы*.

*биотическая инженерия* — технология производства синтетических зародышей, из которых можно вырастить любой необходимый объект.

*блаженный созерцатель бытия* — первый прототип машины, созданной конструктором Трурлем для достижения Общего и Совершенного Счастья. В дальнейшем Трурль сконструировал целое сообщество счастливых созданий, руководствуясь формулой: «Значит: *primo* — весёлые, *secundo* — доброжелательные, *tertio* — скачут, *quarto* — румяные, *quinto* — чудесно им, *sexto* — заботливые».

*бледнотик (гомос антропос)* — существа, к которым принадлежит гомос антропос, зовутся тряскими. Таковы силиконцы и протеиды; первые — консистенции более плотной, и зовут их черствяками, или студенышами; вторые пожиже, у разных авторов носят разные имена, как то: липуны, или липачи — у Полломедера, склизнявцы, или клееватые — у Трицефалоса Арборубского, наконец, Аналицимандр Медянец прозвал их клееглазыми хляботрясами.

В мифологии электроботов бледнотикам отведена важнейшая роль: по одной из версий, именно эти несуразные создания сделали первые примитивные машины, которые затем, эволюционируя, дали начало могущественной цивилизации роботов. Правда, профессор Вендеттий Ульторик Аминиус, создатель всемогущей воскресистики, придерживается теории самозарождения машинной жизни из Мрака

Темнющего и Магнетичности и напрочь отвергает само существование бледнотиков.

Хлориан Теоретий Ляпостол: «И тотчас же сел я писать сочинение “Об Эволюции Разума как Двухтактного Феномена”. Ибо, как я там доказал, круговой цепью связаны бледнотики с роботами. Сперва, от слипания слизистой грязи на морском берегу, возникают создания клейкие и белёсые, отсюда и прозвище их — альбуменсы. Столетия спустя они постигают, как дух в машину вдохнуть, и делают себе из Автоматов слуг подневольных. Однако через какое-то время, обратным ходом вещей, Автоматы, сбросивши клейкое иго, начинают устраивать опыты — не удастся ли случаем в кисель сознание вдохнуть? — и, попробовав на белке, достигают успеха. Но синтетические бледнотики спустя миллион лет снова за железо берутся; так и идёт оно коловоротом, попеременно и без конца; как видишь, тем самым я разрешил извечный спор о том, что было раньше — робот или бледнотик?»

Описания бледнотиков у разных авторов существенно различаются, но все они сходятся в одном: более отвратительных, зловредных и коварных существ мир не видел.

Курт Воннегут считал, что Станиславу Лему удалось создать самое неприятное описание человеческого существа во всей мировой литературе.

*бомбы (болбы)* — бомбы Умиротворения и Благочиния или Бомбы Любви к Ближнему; взрывные устройства, начинённые аэрозолем с бенIGNаторами, в качестве которых используются, например, двуодурь благотворина, двукротек добрухана, суперласкин или супермилин с фелицитолом.

*бустория (будистика)* — наука о будущем, аналог истории. В отличие от футурологии она не занимается прогнозами, а теоретически исследует грядущее. См. также *лингвистическая прогностика*.

*быстры (шустры)* — микроскопические логические элементы, в огромном количестве распылённые в атмосфере Люзании на планете Энции, образующие собой этикосферу. При необходимости могут собираться в большие группы для повышения своей вычислительной мощности. Обеспечивают основные законы этикосферы, выполняя функции ремонтно-спасательной службы цивилизации.

*внушилки* — психимикаты, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психимические средства.

*вонакс* — средство против ржавенствия, ржавок, ржанок, ржамок, ржабок и ржути. На Карелирии можно приобрести повсюдно.

*воплянка (крикогон)* — трава на планете Протостенезе, издающая на

восходе солнца протяжный крик. Используется как кухонная приправа, а также вместо будильника.

*всемогутор (онтогениус)* — сконструированное Клапауцием устройство, способное моделировать всё сущее, с целью получения ответов о том, как достичь Наивысшей Ступени Развития. Беседа конструктора с машиной завершилась получением рецепта *альтруизина*.

*выйник (воец, помешотка)* — представитель фауны на планете Стредогения, который, чтобы спасти себя и своё потомство от убийственного шума и гама, которым наполнили лес бесчисленные радиоприёмники туристов, создал в ходе естественного отбора вид, заглушающий чересчур громкие передачи, в особенности джазовые. Электрические органы выйника излучают радиоволны по принципу супергетеродина. Вид необходимо срочно взять под охрану.

*гастронавтика (гастрономия)* — искусство обработки покойных животных для употребления в пищу у бледнотиков. С астрономией ничего общего не имеет.

*гастронавтика (гастрономическая инженерия)* — техническая дисциплина, использующая продукты для изготовления самых разных элементов космических кораблей: шоколадно-плиточная облицовка кают, слоёные конденсаторы, макаронная изоляция, окна из бронированных леденцов, сырокопчёные буксирные тросы, штрудельные простыни, гречнево-вермишельный привод и т. п. См. также *каннибализация ракет*.

*гениалиты* — мыслители, начавшие в XXIX веке на планете Дихтонии эпоху Возрождения, предложив всех сделать мудрецами. При этом общество огениальнивалось по экспоненте и волны умудрения обегали планету.

*ГИПРОТЕПС* — Главный институт проектирования тела и психики на планете Дихтонии, был создан для предотвращения телесной анархии и научного проектирования новых тел для обитателей планеты.

*гламбус* — общественный транспорт на планете Энтеропия. Палеонтолог Н. С. Шевырёва в 1972 году описала вымерший вид древних грызунов ардинопис гламбус (*ardynomys glambus*).

*глотека* — книжный магазин, в котором продают таблетки информационного вещества, покрытые глазурью.

*гмазь (дмесь)* — вещество, используемое цивилизацией ардритов на планете Энтеропия для быстрой постройки зданий: смолистая рубиново-светящаяся субстанция, которая при закачивании в неё воздуха превращается в нужное строение со всеми необходимыми коммуникациями. Чашечные гмазники (пневмоскрёбы) достигают 130

этажей.

*голкондрина для дюмбания (для поклябывания)* — загадочное образование (аппарат, существо?), используемое энэсэрцами исключительно для личного пользования.

*горедумка разумная* — дальняя родственница картофеля. В результате мутации у горедумки вместо обычных мучнистых клубней иногда образуются небольшие мозгушки. Эта её разновидность, горедумка безумная, вырастая, начинает испытывать чувство тревоги; она выкапывается, уходит в леса и там предаётся одиноким раздумьям. Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит, и кончает жизнь самоубийством, проникшись горечью бытия.

*грындельня* — спортивная площадка на планете Карелирии, на которой бесподобцы играют в свою разновидность футбола со свинцовым ядром (грынделем) вместо мяча.

*гульбоны и шлямсы* — изобретённые конструкторами ГИПРОТЕПСа на планете Дихтонии новые центры экстатических ощущений, по сравнению с которыми прежние улады желудка или пола сравнимы с глупым ковырянием в носу.

*двузадисты* — подпольщики на Дихтонии, утверждавшие, будто разум дан для того, чтобы было чем понять, что нужно от него поскорее избавиться, ведь именно он — виновник всех исторических бедствий. Голову они заменяли тем, в чём принято видеть её противоположность, ибо считали её лишней, вредной и крайне банальной.

*дегаллюцины* — новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется.

*дегенералы* — государственные звания Маньяго и Спазмофила — воевод короля Парализия, властителя Эпилепонта и Патогении.

*десимул* — робот, притворяющийся, будто он не притворяется дефективным.

*десимулянт* — объект, притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет.

*деташки* — добавочные, пристежные органы (руки, ноги, головы и т. д.). Органы эти мало на что годятся, но и для них находится дело — поддержать что-нибудь, открыть двери, почесать между лопатками. Вторая голова, например, может вести самостоятельный телефонный разговор.

*детомёты* — сверхмощные метательные приспособления, разработанные конструктором Трурлем и предназначенные для бомбардировки неприятеля младенцами с целью разрушения экономики и быстрого одержания победы.

*дзен-окись буддина* — один из многочисленных вероукрепляющих и душеутоляющих эсхатопрепаратов.

*дракология* — общая Теория Драконов, изучаемая в Высшей Школе Небытия. Гениальный Кереброн установил, что не существуют драконы трёх типов: нулевые, мнимые и отрицательные. Ученики Кереброна, дракологи Трурль и Клапауций, создали вероятностную дракологию, в основе которой лежит формула полной невероятности.

*жамбры (скриплы)* — органы для усвоения аммиака у обитателей огненной планеты, которую исследовал профессор Тарантога.

*женотрон* — созданный конструктором Трурлем аппарат — приспособление, употребляемое для обезлюбливания как в роли тренажёра, так и тотального эротора с обратной связью. Тот, кто находился внутри аппарата, в один миг мог изведать прелести, чары, ласки-сказки, нежный шёпот и охивздохи, присущие сразу всему прекрасному полу космоса. Женотрон имел выходную мощность в сорок мегамуров, причём эффективная отдача в спектре проникающей сладострастности достигала девяноста шести процентов, эмиссия же страсти насчитывала шесть килолюбов на один дистанционно управляемый поцелуй. Кроме того, женотрон был снабжён обратным поглотителем безумия, каскадным внимательнообнимательным усилителем и автоматом «первого взгляда», поелику Трурль стоял на точке зрения доктора Афродонта, создавшего теорию неожиданностного поля влюбления. Эта чудесная конструкция имела ещё разные вспомогательные приспособления — быстроходную флиртовальню, редуктор кокетонов и комплект ласкальчиков и ласкалиц; снаружи, в специальной стеклянной будке, виднелись огромные циферблаты приборов, с помощью которых можно было следить за ходом операции по обезлюбливанию. Как показывали подсчёты, женотрон давал устойчивые положительные результаты в девяноста восьми случаях любовной суперфиксации из ста.

*жирократ, жирократия* — позаимствованное из сленга общепринятое обозначение взяточника (дать взятку — «подмазать»; подмазывают обычно жиром, отсюда жирократия, то есть коррупция).

*задисты (омерзенцы)* — оппозиционеры и бунтари на Дихтении в ХХХ веке во время диктаторской власти Дзомбера Глаубона. Отказались от головы, переместив мозг вниз, чтобы на мир он смотрел пупочным глазом и ещё одним, размещённым сзади, немного пониже.

*зазвездение* — уголовное наказание, которым караются нарушители противозачаточной статьи Хартии Объединённых Планет за оплодотворение бесплодных по природе планет в соответствии с разделом

«О планетарном беспутстве» Международного Уголовного Кодекса.

*звукоед-матюгалец* (*отзовник нахалюг; эхон дерзивый*) — обитатель Эдоноксии, который черпает жизненную энергию из звуков. Раньше он использовал для этого гром, а теперь переключился на туристов, каждый из которых считает долгом попотчевать его набором самых гнусных ругательств. При этом он на глазах у них разрастается под потоком матерщины, но причиной тому энергия звуковых колебаний, а не омерзительное содержание слов, которые выкрикивают вошедшие в раж туристы.

*змеематрица* — устройство для увеличения вероятности появления драконов вплоть до виртуализации, конкретизации и зримой тотализации. Подскабливание матрицы приводит к увеличению вероятности перехода виртуального змея в бешеного василиска. Аннулировать матрицу можно аннигиляционным ретрокреатором.

*зоодизайнеры* — специалисты по реанимализации природы, основной задачей которых является гармоничное сочетание новых созданных животных со специально подобранной природной средой.

*зооцид* — форма эволюции в виде массовой обжираловки, когда сильные за обе щёки уплетают тех, кто послабее.

См. также *паразитизм*.

*зудиола* — кассетный аппарат для демонстрации осязательного искусства: «Я включил кассетный аппарат, стоящий на столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек и облепил меня с головы до ног; изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудиола, а я по неведению включил “Пруритальное скерцо” Уаскотиана».

*интеллекtronика* — наука о кибернетическом усилении интеллекта, об информационных технологиях, о выращивании информации, о кибернетическом управлении обществом, об искусственном разуме, о религиозно-метафизическом содержании проблем, связанных с искусственным интеллектом.

*интеристика* — научное направление, занимающееся исследованием стыков всех дисциплин; разработано профессором А. Доньдой.

*интерферент* — временное гибридное существо, появляющееся при интерференции программ ревидения. После выключения аппарата время их существования доходит до трёх минут.

*инфантерея* — лотерея, выигрышами в которой являются лицензии на рождение ребёнка.

*каннибализация ракет* — изготовление из прессованных пищевых



концентратов (гречки, тапиоки, бобовых и т. д.) ракетных переборок, загоронок и ракетной мебели в целях экономии материала и места.

*кибералиссимус* — высшее воинское звание у роботов.

*компостер* — электронный мусорщик.

*контрпьютер* — робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими. Из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случаются электрогрозы и даже пожары.

*КОСТОПРАВ* — Комитет по стандартизации органо-психических разработок и выкроек на планете Дихтонии.

*курдли* — гигантские животные (длиной в несколько сотен метров) с планеты Энция, внутри которых живут граждане Курдландии. В древние времена курдли использовались для защиты от метеоритов во время *хмеп*.

Описаны также в подражаниях Лему: В. Третьяков «В гостях у курдль», В. Евстигнеев «Как курдль сепульку наставлял».

*леммипарды* — проектные образцы фантастической зоологии, представляющие собой гибрид лемминга и леопарда.

*лингвистическая прогностика* — наука, изучающая будущее, исходя из трансформационных возможностей языка. Исследуя этапы будущей эволюции языка, бусторик определяют, какие открытия, перемены, революции в нравах этот язык мог бы когда-нибудь отразить. Исследования проводятся на больших компьютерах с использованием квантованной синтагматически-парадигматической вариативности языка.

*ловкодав (киберняга)* — специальный робот для сыскных действий, с помощью которого Матриций Перфорат безуспешно пытался найти следы бледнотика.

*лопотуй голомозый* — начало первого торжественного стиха Электрувера Трурля:

Лопотуй голомозый, да бундет гривчато

В кочь турмельной бычахе, что коздрой уснит,

Окошел бы назакрыч, высвиря глазята,

А порсаки корсливые вычат намрыд!

*люминодрамонты* — проектные образцы фантастической зоологии, представляющие собой гибрид светляка, дракона о семи головах и мамонта.

*лютяга чуднистая (жесточиния причудливая; свирепка чуднивая)* — растение на Дердимоне. Расцветает изумительными цветами, но не следует поддаваться искушению сорвать их, поскольку это растение живёт в тесном симбиозе со скородавкой-булыжницей (она же — размножейка каменюля), деревом, на котором произрастают плоды величиной с тыкву, но рогатые. Достаточно сорвать один цветок, чтобы на голову неосторожного

собирателя обрушился град твёрдых, как булыжник, плодов. Ни лютяга, ни булыжница не делают умерщвлённому ничего плохого, довольствуясь естественными последствиями его кончины, то есть утучнением почвы в месте своего обитания.

*масконы* — галлюциногены, создающие виртуальную реальность, в которой настоящая действительность маскируется и приукрашивается. Различные противоядия от галлюциногенов соответствуют разным степеням допуска к истине (разным уровням правдивости).

*мерзяги (здрыги)* — род устриц, употребляемых в качестве одежды на планете Андригоне.

*мимойды* — образования океана на планете Солярис, занимающие большие пространства, обладающие удивительным свойством: склонностью подражать окружающим формам, независимо от того, где эти формы расположены — близко или далеко. Мимойд воспроизводит буквально всё, что находится на расстоянии, не превышающем восьми-девяти миль, при этом воспроизводимый объект может искажаться, упрощаться или усложняться. На живые организмы мимойд не реагирует.

*монархолиз* — в соответствии с замыслом Хитриана-кибернера распутный сон «Мона Лиза», в котором открывается бесконечность женского рода, на самом деле является дьявольским порождением от слова «монархолиз», то есть «растворение монаршьё» в лабиринтах иллюзий-сновидений.

*мудролюб (мыслянт)* — почётное звание Хлориана Теоретия, двухимённого Ляпостола, автора «Писаний» об энэсэрцах, существах, достигших Наивысшей Ступени Развития.

*муркви и пчмы (баблохи и муравки)* — можно лишь догадываться о высоких эстетических достоинствах этих существ (или предметов), потому что они были уничтожены машиной конструктора Трурля, которая умела делать всё на букву «Н». Виной тому оказался конструктор Клапауций, который приказал машине сделать Ничто. В результате исчезло множество совершенно замечательных предметов: камбузели, сжималки, вытряски, грызмаки, рифмонды, трепловки, горошаны, кломпы, филидроны, замры, гаральницы и всё такое прочее. Восстановить их не удалось.

*мусороздание (всехламная)* — новая космологическая теория (порождённая лингвистической футурологией), согласно которой звёзды являются космическими кострами искусственного происхождения, где сжигается мусор — всяческие отходы жизнедеятельности цивилизаций.

*мутанг* — человек, который благодаря программированной мутации мастерски исполняет аргентинское танго (один из главных персонажей

спектакля «Лежанка мутанга»).

*мывь* — понятие, с помощью которого профессор Троттельрайнер демонстрирует Ийону Тихому возможности лингвистической футурологии: «Я — явь. Ты — тывь. Мы — мывь. Речь идёт о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, во-первых. Во-вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности».

*надуванец (надуванка)* — искусственный партнёр для любовных игр. Выпускается двух типов: кассетные и развращёнки.

*некросфера* — квазиорганизм кристаллических микрообразований на планете Регис-III, способный, при необходимости, объединяться в единое целое для решения сложных задач. Предположительно возник в результате эволюции инопланетных роботов.

*нечудь* — чародей-разбойник, известный под именем Неведомей, проживающий в Пустыне Кромешной и описанный в старинной книге небылиц. Пропитание обеспечивает грабежом караванов.

*ногизм* — новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого *homo sapiens monopedes*. Переход к человеку одноногому связан с тем, что ходьба становится анахронизмом, а свободного места всё меньше и меньше. Ногистами являются такие знаменитости, как профессора Хацелькляцер и Фешбин.

*обессмертор (перпетуальня)* — агрегат, изобретённый Браггером Физзом на планете Дихтонии, обеспечивает охрану организма, восстанавливая теряемую клетками информацию.

*общекотовичарохристофорная хрящетворобка* — первая импровизация Электрувера Трурля в лирической поэзии.

*озверобот* — одичавший робот.

*оптисемисты* — философское течение на планете Дихтонии, последователи которого считают, что кризисы активизируют, цементируют, высвобождают творческую энергию, укрепляют волю к борьбе и сплачивают духовно и материально. Таким образом, оптисемисты черпают оптимизм из пессимистической оценки настоящего.

*оргаст (сцьорг)* — достопримечательность Энтеропии с уникальной сумбуральной флорой и фауной (в частности, в искусственных оргастбищах пасутся курдди). Единственный его аналог в нашей Галактике — алы в бездревных джунглях Юпитера. Как показали исследования профессора Тарантоги, жизнь на Энтеропии зародилась в пределах оргаста, из бальбазиловых залежей. В связи с массовой застройкой суши и вод следует считаться с возможностью скорого исчезновения остатков оргаста.

Подпадая под параграф 6-й конвенции об охране планетных древностей, оргаст подлежит охране; в особенности запрещено топотать его втёмную.

*отрезвин* — запрещённый препарат, частично нейтрализующий действие масконов.

*охмурянец бродяжный (обманек шельмоватый; путальник прохвостный)* — существо, видом напоминающее трухлявый пенёк. Застывает на горной тропе, стоя на задних лапах в виде дорожного указателя, и тем заводит прохожих на бездорожье, а когда они падают в пропасть, спускается вниз, чтобы перекусить.

*очухан* — сильнейшее противопсихимическое средство из группы отрезвинов, нитропакостная производная омерзина.

*паразитизм* — форма эволюции в виде сговора слабейших, которые по хитрости своей берутся за тех, кто сильнее их, изнутри. См. также *зооцид*.

*парастатика* — гравитационная техника, результатом которой стало обеспечение безопасности любого транспорта. Поглощение и преобразование высвобождающейся энергии может использоваться для создания благоприятных условий для экипажа при движении с большими ускорениями, при столкновении поездов, падении самолётов, в ракетной технике.

*перегринатор (странствователь)* — аппарат для перемещения в пространстве, изобретённый профессором Тарантогой. Перегринатор изгибает трёхмерное пространство таким образом, чтобы в четвёртом измерении совместить исходный пункт путешествия с намеченным и обеспечить пребывание путешественников на других планетах, не выходя из дома.

*питекантробот* — переходное звено Естественной Эволюции от мультистатов и омнистатов к автоматусу сапиенсу в соответствии с историей сотворения мира от профессора обеих материй противоположного знака Вендеттия Ульторика Аминуса.

*полоумник чудодюный (monstroteratum furiosum)* — в соответствии с «Галактической монстрологией» Граммплюсса и Гзеемса таково настоящее биологическое название редкостного экземпляра с почти лысым телом, наблюдавшегося Граммплюссом в самом тёмном закоулке нашей Галактики, который называет себя *homo sapiens*. В соответствии с общепринятой систематикой этот вид относится к семейству *horrorissimae* (квазиморды), отряду *lasciviaceae* (омерзенцы, или блуднецы), подтипу *antisapientinales* (противоразумники), типу *aberrantia* (извращенцы).

*прогнозиты* — религиозный орден на планете Дихтонии, основанный Собором 2542 года для футурологических исследований в области веры,

ибо предвосхищение дальнейших её судеб становилось неотложной задачей, вызванной аморальностью новых биотехнологий.

*прокрустика* — селекция, торможение и блокировка информации в изолированных социальных группах. Теория динамики таких групп планирует тип действий, конфликтов и взаимных притяжений в группах; функции распределены так, чтобы образовались своеобразное равновесие, обмен, циркуляция гнева, ненависти, чтобы эти чувства спаивали членов группы и одновременно они не могли бы найти общего языка с кем-нибудь вне группы.

*псицивилизация* — цивилизация, перешедшая на массовое использование психимических средств.

*размороженец* — человек или робот, который был много лет назад заморожен, а затем разморожен.

*реанимализация* — воссоздание диких животных взамен вымерших в будущем, а также проектирование новых животных.

*ревизор (действизор)* — аналог телевизора в будущем: какие-то люди (а также собаки, львы, пейзажи, планеты) теснятся в углу комнаты, овеянные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных.

*ревитарий (воскресильня)* — поселение для акклиматизации размороженцев.

*робунт* — взбунтовавшийся робот.

*сварнетика* — подраздел интеристики, который занимается исследованием пограничья рационализма и иррационализма, стохастическая проверка автоматизированных правил наведения злых чар (англ. *Stochastic Verification of Automatized Rules of Negative Enchantment*). Разработана профессором А. Доньдой.

*сепульки* — важный элемент цивилизации ардритов с планеты Энтеропия, впервые описанный в «Путешествии четырнадцатом» Ййона Тихого. Прекрасный пример метафоры порочного замкнутого круга: сепульки — сепулькирии — сепуление, когда определение понятий через родственные слова создаёт видимость объяснения, но на самом деле ясное понимание сути явления отсутствует. В одном из своих последних интервью Лем ответил: «Как я уже многократно разъяснял, сепульки (*sepulki*) очень похожи на муркви (*murkwie*), а своей цветовой гаммой напоминают мягкие пчмы (*pctmy lagodne*). Разумеется, их практическая функция другая, но думаю, Вам, как человеку взрослому, мне не нужно это объяснять». В этом ответе использованы термины из рассказа «Как уцелела Вселенная» (в русском переводе — муравки и баблехи).

В 1968 году советский палеоэнтомолог А. П. Расницын описал новых

ископаемых насекомых из юрского местонахождения Каратау, которым дал имена сепулька удивительная (*sepulca mirabilis*) и сепуления свистящая (*sepulenia syrica*), вошедших в семейство сепульковых (*sepulcidae*). А Н. С. Шевырёва в 1972 году описала вымерший вид древних грызунов сепулькомис эборетус (*sepulkomys eboretus*). См. также *эборет*.

*симкретин* — искусственный идиот: компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались.

*симулянт* — несуществующий объект, который прикидывается существующим.

*смраднячка поганочная* (*вонючка мерзостная; зловонна гнусница*) — наиболее энергичные особи этого существа способны вырабатывать пять тысяч смрадов (единица зловония) в секунду. Однако смраднячка ведёт себя так лишь тогда, когда её фотографируют.

*сталеглазые* — обитатели планеты под белым солнцем за зелёной звездой, которые жили счастливо, радовались, ничего не боялись: ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни чёрных дней, ни белых ночей, ни материи, ни антиматерии, потому что была у них машина машин, вся изукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная; жили они в ней, и на ней, и под ней, и над ней, ибо, кроме неё, не имели ничего: сперва атомы скопили, потом из них машину слепили, а если какой атом не подходил, то в переделку угодил — и всё шло хорошо.

*сукин кибер* (*бронегад, заржавей,, вредороб*) — типичные отрицательные и ругательные характеристики недостойных роботов.

*тайняк* (*внедрец*) — робот, выдающий себя за человека, «внедряющийся» в общество людей.

*танконы, кадавроны, бомбоны* — секретные психимические препараты, стоящие на вооружении химиократии. При распылении над мятежной страной вызывают галлюцинации десантной высадки.

*телескот-змееножец* — приспособившееся к питанию туристами существо, которое располагается в живописных уголках, расставив три свои тонкие и длинные конечности в виде треноги, расширяющийся тубус хвоста нацеливает в окрестный пейзаж, а при помощи слюны, заполняющей его ротовое отверстие, имитирует линзу подзорной трубы, как бы приглашая в неё заглянуть, что кончается весьма неприятно для неосторожного путника.

*темпористика* — прикладная наука, направленная на исправление истории. В ОТК (Отделе технологии календаря) проекта ТЕОГИПГИП были предусмотрены подотделы дисперсионной и ударно-квантовой

темпористики.

*ТЕОГИПГИП* — Телехронная оптимизация главнейших исторических процессов гиперпьютером — проект регулирования, очищения, исправления, спрямления и улучшения всеобщей истории в соответствии с принципами гуманизма, рационализма и привлекательного дизайна. Осуществлялся в XXVII веке. Генеральным директором был избран Ийон Тихий. После неудачного регулирования Тихий был устранён из проекта и был вынужден вернуться в прошлое, чтобы предложить самому себе из другого времени возглавить проект.

*тихологи* — специалисты, изучающие наследие Ийона Тихого. Видными тихологами являются Астрал Стерну Тарантога, профессор космической зоологии Фомальгаутского университета, доктора Е. М. Сянка, О. Дж. Барберрис, С. Гопфштоссер, А. У. Хлебёц, В. У. Каламарайдысова и другие представители объединённых институтов описательной, сравнительной и прогностической тихологии и тихографии, редакции ежеквартальника «Тихиана», а также особого футурологического подразделения, в котором при помощи так называемых самоисполняющихся прогнозов изучаются и те путешествия И. Тихого, которых он не совершал и совершать не намеревался.

*топлец булькатый* — ценный представитель фауны на планете Стредогения, которому угрожает полное исчезновение.

*трионы* — кристаллические устройства записи информации, на основе которых была создана Центральная трионовая библиотека, где хранятся все плоды умственной деятельности человека: тексты, звуки, изображения, чертежи, запахи и т. п. Благодаря единой сети связи информация из Центральной трионовой библиотеки доступна любому жителю Солнечной системы.

*трынтраванил* — препарат для успокоения.

*тывь* — см. *мывь*.

*улучшальня* — телотворительный салон, в котором можно по желанию изменять рост, пропорции, формы тела.

*утератор* — искусственная матка, используемая для оплодотворения яйцеклетки при технологическом эмбриогенезе.

*фантоматика* — область знания, посвященная проблеме создания искусственной действительности (виртуальной реальности), во всех отношениях подобной подлинной и совершенно от неё неотличимой. В основе фантоматики лежит возможность воздействия на органы чувств человека, результатом которого являются ощущения, идентичные настоящим. Это достигается непосредственным формированием

необходимых сигналов в мозгу человека с помощью электрических импульсов или химических веществ при гарантии устойчивой обратной связи, обеспечивающей изменение раздражающих воздействий.

*фантофантомы* — фантомы второго порядка, когда кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает — или наоборот.

*фармакократия* — форма правления, при которой власть осуществляется при помощи психимических средств.

*фуфырь (жутка; щересть)* — предмет, необходимый для приобретения *сепульки* при отсутствии жены в магазине.

*хамант (хамак)* — робот-хулиган, деградировавший вследствие врождённых дефектов или дурного обращения.

*химиократия* — власть с использованием масконов — галлюциногенов, искажающих реальность.

*хмеп (смег; спотык)* — период обильных метеоритных дождей на планете Энтеропия.

*хрониция* — тайная служба, созданная Ийоном Тихим в проекте *ТЕОГИПГИП* для борьбы с хулиганами, адептами «дикого» хронотуризма, излюбленного занятия молодёжи, лишённой моральных устоев. Сотрудники службы — хроничейские.

*хронобус, хроноцикл, хронопед (временлаз)* — машина времени, которую Ийон Тихий использовал для регулирования Истории.

*хронодесантники (хроношютисты; часоскоки)* — специальные подразделения, используемые в случае непредвиденных и угрожающих ситуаций, созданные Ийоном Тихим во время руководства *ТЕОГИПГИПом*.

*хроноклазмы* — катастрофы (ядовитая атмосфера на Венере, ледниковый период в плейстоцене, ящероцид и пр.), вызванные непродуманной деятельностью отдельных исполнителей проекта *ТЕОГИПГИП*.

*щфранин (цифрак)* — деревенский робот.

*шкварк* — новая элементарная частица. Небольшая, чуть пригоревшая.

*эборет* — общественный транспорт ардритов с планеты Энтеропия, описанный в «Путешествии четырнадцатом» Ийона Тихого. Палеонтолог Н. С. Шевырёва в 1972 году описала вымерший вид древних грызунов сепулькомис эборетус (*sepulkomys eboretus*).

*экстелопедия* — Экстраполяционная телеономическая энциклопедия в отличие от традиционных энциклопедий, не успевающих за ускоряющимся развитием земной цивилизации, состоит из статей о будущих событиях и явлениях, сгенерированных компьютером с помощью определённых



футурологических методов. Также обеспечивает возможность корректировки статей в реальном времени.

*эктоки* — обитатели Люзании на планете Энции, ставшие бессмертными после замены живой плоти быстрами.

*эктофикация* — процесс достижения бессмертия с помощью быстрого. В организм вводятся быстры, запрограммированные так, что они проникают во все ткани, сопутствуя молекулярным процессам жизни. Эти быстры построены из субатомных частиц, то есть они мельче мельчайших вирусов. На начальной стадии эктофикации быстры не работают, а лишь обучаются своей будущей работе, считывая все информационные явления, из которых состоит жизнь. Насытившиеся информацией быстры начинают брать на себя функции живых частиц протоплазмы. Триллионы быстрых организуются в невидимый субатомный скелет, при этом организм сохраняет свой облик, форму и функции.

*электродинамическая гигантофилия* — болезнь кибернетического разума, заключающаяся в неудержимом стремлении к росту. Наиболее характерный пример — история с большим корабельным мозгом «Панкратиуса», который накоротко замкнулся на другие бортовые мозги, опустошил склад запасных частей, высадил экипаж на скалистую Мирозену, а сам нырнул в океан Алантропии и провозгласил себя патриархом тамошних ящеров.

*электрувер* (электрибальд, электробард) — электропоэт, сконструированный и запрограммированный конструктором Трурлем, позже преобразованный в лирический двигатель скопления переменных звёзд.

*электрыцарь* — почётный титул среди роботов, нравственный и эстетический идеал воина.

*эмбриогенез* — использование искусственного оплодотворения для получения новых живых особей в промышленных масштабах.

*энэсэрцы* — обитатели планеты, предсказанной Трупусом Бредониусом и Хлорианом Теоретием Ляпостолом, достигшие Наивысшей Ступени Развития и создавшие Наивысшую Цивилизацию Мироздания. Эта цивилизация состоит из пары сотен существ, не людей и не роботов, валяющихся среди хлама и мусора на бриллиантовых думках, под алмазными одеялами в пустыне и не занятых ничем, кроме потирания и почёсывания.

*эроцикл* — специальное приспособление для эротических развлечений, широко известное по криминальной драме «С надуванкой на эроцикле».

*эскаланты* — люди, которые принимают всё большие порции психимикатов, вместо того чтобы творить по-настоящему.

*эсхатологический анестезиолог* — представитель власти, прибегающий к маскированию действительности и оправдывающий свои действия заботой о массах: «Мы даём наркоз цивилизации, иначе она сама себе опротивела бы».

*эсхатопрепараты* — психимические средства для вероукрепления и душеутоления: фарморалин, грехогон, абсолюцид, сакросанктол, аллахол, исламин, дзен-окись будцина, мистициновый нирваний, теоконтактол, некринная мазь, воскресин на сахаре и т. п.

*этикосфера* — государственное устройство и одновременно совершенный механизм, служащий жителям Люзании на планете Энции. Этикосфера осуществляется с помощью быстрого — микроскопических частиц, обладающих интеллектом, которые на субатомном уровне модифицируют свойства материи. В облагороженной быстрами среде обитания нельзя никого ни к чему принудить, так же как нельзя принудить электроны перестать кружить вокруг атомных ядер. В ней всё живое неуничтожимо, как неуничтожимы материя и энергия. Основные заповеди этикосферы: «Никто не может быть лишён свободы»; «Если жертв избежать нельзя, их должно быть как можно меньше»; «Никто не может заболеть».

*ящероцид (звероцид)* — исчезновение звероящеров в период мезозоя вследствие реализации недоработанной идеи преобразования энергии, высвобождающейся при хроноклазмах, в чистое излучение. См. *ТЕОГИПГИП*.

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА СТАНИСЛАВА ЛЕМА

1921, 12 сентября — в семье врача-ларинголога Самуэля Лема и Сабины Лем (урождённой Волльнер) во Львове (ныне — Украина) родился будущий писатель Станислав Лем.

1931 — окончил начальную школу им. С. Жулкевского.

1939, начало лета — сдал экзамен на аттестат зрелости во 2-й Государственной гимназии им. Кароля Шайнохи.

Лето — поступил в медицинский институт. / сентября — в 4 часа 45 минут германский линкор «Шлезвиг-Гольштейн» обстрелял польскую военно-морскую базу Вестерплатте в свободном городе Данциге. Это событие считается началом Второй мировой войны.

19 сентября — город Львов заняли советские войска.

1941, 30 июня — город Львов заняли немецкие войска.

1941–1944 — работая в автомастерской, Станислав Лем ночами пишет свою первую фантастическую повесть «Человек с Марса».

1944, 27 июля — город Львов заняли советские войска.

Осень — Станислав Лем продолжил прерванную учёбу во Львовском медицинском институте.

1946 — семья репатрируется в Польшу и поселяется в Кракове, где (по настоянию отца) Станислав Лем поступает на медицинский факультет Ягеллонского университета.

Лето — первые публикации в периодике (стихи, рецензии, повесть «Человек с Марса»).

1947 — в доме своего друга Ромека Хуссарского Станислав Лем знакомится со студенткой Барбарой Лесьняк.

1948 — чтобы не быть призванным (бессрочно) в армию в качестве военного врача, Станислав Лем решил не сдавать последние экзамены.

Сентябрь — закончил роман «Больница Преображения».

1948–1950 — работал младшим научным сотрудником Науковедческого лектория доктора философии М. Хойновского, писал рецензии на новые научные книги, сотрудничал с журналом «Жизнь науки».

1950 — встреча в Закопане с Ежи Паньским, директором издательства «Читательник», предложившим Станиславу Лему написать научно-

фантастический роман для молодёжи.

*1951, май* — написан роман «Астронавты».

*Лето* — написана сатирическая драма «Низкопоклонство», опубликованная только после смерти писателя. В театрах Ополе, Лодзи и Щецина прошла пьеса С. Лема и Р. Хуссарского «Яхта “Парадиз”».

*23 ноября* — в Кракове вышел первый научно-фантастический роман Станислава Лема «Астронавты».

*1952–1955* — активно сотрудничал с газетой «Новая культура», писал научно-популярные эссе; к этой деятельности писатель периодически возвращался и позднее, работая на такие издания, как «События» (1956), «Литературная газета» (1962), австрийский журнал «Quarber Merkur» (1967), австрийский журнал «Science-Fiction Commentary».

*1953, 29 августа* — женится на Барбаре Лесьняк.

*1953–1954* — в журнале «Przekrój» напечатан научно-фантастический роман «Магелланово облако».

*1953, 27 декабря* — в еженедельнике «Литературная жизнь» под названием «Галактические истории. Из приключений знаменитого звездопроходца Ийона Тихого. Путешествие двадцать третье» (в дальнейших изданиях — двадцать четвёртое) опубликована первая история из «Звёздных дневников».

*1954, 5 января* — умер отец Станислава Лема — Самуэль Лем.

*1955* — опубликована трилогия «Неутраченное время». Станислав Лем награждён польским «Золотым крестом Заслуги».

*Лето* — вышел в свет научно-фантастический роман «Магелланово облако».

*1956* — путешествие в Скандинавию (Осло, Берген, Копенгаген).

*Октябрь* — восстание в Венгрии, показавшее непрочность европейской системы, построенной союзниками в итоге Второй мировой войны. *Ноябрь* — написаны «Диалоги».

*1957* — Станислав Лем награждён литературной премией города Кракова за трилогию «Неутраченное время» и другие творческие достижения.

*1958, август — ноябрь* — в журнале «Przekrój» напечатан роман «Расследование». В газете «Рабочая трибуна» — научно-фантастический роман «Эдем». Увлечение статистическими методами. «Существует только статистика. Человек разумный есть человек статистический, — писал Станислав Лем в романе «Расследование». — Родится ли ребёнок красивым или уродом? Будет ли он получать наслаждение от музыки? Заболеет ли раком? Всё это определяется игрой в кости. Статистика стоит на пороге

нашего зачатия, она вытягивает жребий конгломерата генов, творящих наши тела, она разыгрывает нашу смерть. Встречу с женщиной, которую я люблю, продолжительность моей жизни — всё решает нормальный статистический распорядок. Может быть, он даже решит, что я обрету бессмертие. Ведь кому-то достанется бессмертие, как достаются красота или уродство? Но поскольку нет однозначного хода событий и отчаяние, красота, радость, уродство — всего лишь продукт статистики, то она и определяет наше познание».

1959 — Станислав Лем награждён Крестом офицерского ордена Возрождения Польши.

*Март* — вышел в свет сборник «Вторжение с Альдебарана», в котором публикуются первые рассказы о пилоте Пирксе.

*Лето* — написан роман «Солярис» (без последней главы).

1960, *начало* — с писательской делегацией выезжал в ГДР и ЧССР. Во время съёмок фильма «Безмолвная звезда» (по мотивам романа «Астронавты») впервые побывал в Западном Берлине.

*Июнь* — закончен после годичного перерыва роман «Солярис».

*Осень* — в сотрудничестве с композитором Кшиштофом Майером работал над созданием оперы на сюжет «Кибериады» и «Сказок роботов».

В ГДР на экраны вышел фильм «Безмолвная звезда» (режиссёр Курт Метциг).

1961, *октябрь* — путешествие в Югославию.

*Ноябрь* — опубликован роман «Возвращение со звёзд». По сценарию Станислава Лема снят анимационный фильм «Экскурсия в космос» (режиссёр Кшиштоф Дембовский). *Осень* — вышел в свет роман «Рукопись, найденная в ванне». Позже Станислав Лем не раз говорил, что был вынужден снабдить книгу предисловием, в котором место действия фиктивно переносилось в Америку, — в противном случае роман был бы не издан по цензурным соображениям.

1962, *январь* — увидел свет сборник статей «Выход на орбиту». В эти годы начался глубокий интерес Станислава Лема к футурологии, хотя сам термин «футурология» вошёл в научный обиход гораздо позже. «Начиная заниматься тем, “что ещё возможно”, — признавался писатель, — ни о какой “футурологии” я тогда, конечно, не знал. Не знал даже самого этого термина, придуманного в 1943 году О. Флехтхеймом, не знал и того, что сам Флехтхейм делил придуманную им “футурологию” на три части: прогностику, теорию планирования и философию будущего. Так что я вполне самостоятельно пробовал силы во всех этих разновидностях».

*Октябрь* — первая поездка в Советский Союз. По сценарию

Станислава Лема в Польше снят анимационный фильм «Необитаемая планета» (режиссёр Кшиштоф Дембовский).

1962–1963 — в варшавском еженедельнике «Przegląd Kulturalny» напечатана «Сумма технологии».

1963 — по рассказу Станислава Лема «Друг» в Польше снят художественный короткометражный фильм (режиссёры Марек Новицкий и Ежи Ставицкий).

Июнь — написан научно-фантастический роман «Непобедимый». Основная идея романа тесно связана с размышлениями, изложенными писателем в другой его знаменитой работе — «Сумма технологии». Писателя чрезвычайно занимало явное противоречие: почему в процессе эволюции простые и надёжные решения (бактерии, фотосинтез у растений) меняются на более сложные, не столь совершенные (многоклеточные организмы, пищеварение для обеспечения энергией)? И почему протобактерии, имевшие на Земле все условия для своего благополучного и долгого существования, всё-таки уступили своё место менее приспособленным существам?

Август — в еженедельнике «Литературная жизнь» опубликована «Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась» — первая история из цикла «Кибериада». «Новшеством, свойственным “Кибериаде”, — писал позже Станислав Лем своему американскому переводчику Майклу Канделю, — является введение в пространство парадигматики (той, которая составляет так называемые форманты), скрещения сказки и науки...» Сентябрь — поездка в Грецию. По мотивам научно-фантастического романа Станислава Лема «Магелланово облако» в Чехословакии снят фильм «Икар-1» (режиссёр Индржих Полак). Декабрь — в «Белостоцкой газете» отдельными главами печатается научно-фантастический роман «Непобедимый».

1964, июль — выходит сборник «Сказки роботов».

12 декабря — в редакции «Studiów Filozoficznych» прошло обсуждение книги Станислава Лема «Сумма технологии». В Польше снят телеспектакль по пьесе Станислава Лема «Чёрная комната профессора Тарантоги».

1965, июнь — написан «Высокий замок».

Август — в краковском Литературном издательстве начинает выходить первое собрание сочинений Лема.

5–9 сентября — участие в симпозиуме, посвященном Карелу Чапеку в Марианских Лазнях (Чехословакия).

Октябрь — ноябрь — вторая поездка в Советский Союз (Ленинград,

Москва, Харьков).

*Осень* — Станислав Лем награждён литературной премией II степени министра культуры и искусства — за творчество в целом.

1966, *май* — выходит «Высокий замок». *Май* — путешествие в Югославию.

1967, *август* — закончена «Философия случая». Работая над книгой, Станислав Лем писал своему другу Славомиру Мрожеку: «Подозреваю, что существует множество великолепных книг, философских трактатов, глубоких интеллектуальных открытий и т. п., очень хорошо спрятанных, скрытых в печатном море, которое давно уже нас затопило, и нет никакого способа добраться до них, кроме как случайно...» И позже (2 мая 1967 года), когда работа над книгой была в самом разгаре: «То, что меня пугало, страшило, то, что я описывал в первом издании “Суммы технологии” как бедствие будущего, как некий потоп информации, становится фактом. Мир распадается на информационные анклав. Но и этим дело не кончится. Всё меньше читается из того, что имеется для чтения. В абсолютных цифрах, кто знает, может, и больше, но уровень критериев не повышается, это страшно, это на самом деле лавина, в которой сгинет крошечный мизер лучших вещей, всё заполняется волнами бумажной швали. И то же самое происходит в кино, в художественных галереях, критерии слабнут, размякают, куда-то расползаются, появляются критики-специалисты и сразу же — критики критиков-специалистов...»

*Декабрь* — написан научно-фантастический роман «Глас Господа». 1968 — в СССР снят фильм по роману «Солярис» (режиссёр Борис Ниренбург).

14 *марта* — У Станислава и Барбары родился сын Томаш.

*Лето* — выходят книги «Глас Господа» и «Философия случая». В Польше снят телефильм «Слоёный пирог» (режиссёр Анджей Вайда). *Осень* — Станислав Лем награждён премией журнала «Проблемы».

1969, *сентябрь* — написана «Фантастика и футурология».

*Ноябрь* — *декабрь* — поездка в Западный Берлин. Станислав Лем награждён премией Комитета по делам радио и телевидения за сценарий телефильма «Слоёный пирог».

*Осень* — Станислав Лем награждён дипломом признания — за вклад в распространение польской культуры за границей. В Красноярском театре им. Ленинского комсомола поставлен спектакль «Путешествия профессора Тарантоги» (режиссёр В. Петров-Саввич).

1970, *ноябрь* — написана повесть «Футурологический конгресс».

1971 — Станислав Лем принят в *Science Fiction Research Association*.

*Апрель* — выходит сборник «Абсолютная пустота».

*Осень* — Станислав Лем награждён Командорским крестом ордена Возрождения Польши.

*Декабрь* — в Польше снят телеспектакль «Странный гость профессора Тарантоги» (режиссёр Т. Воронкевич).

1972 — Станислав Лем награждён премией «Литературного ежемесячни-

ка» за монографию «Фантастика и футурология». В СССР снят фильм по роману «Солярис» (режиссёр Андрей Тарковский).

В Венгрии снят пятисерийный телефильм «Приключения пилота Пиркса» (режиссёр Андраш Райнаи).

1973, *январь* — Станислав Лем начал читать лекции о теории и практике научной фантастики на факультете польской филологии Ягеллонского университета.

*Апрель* — избран почётным членом *Science Fiction Writers of America*. *Октябрь* — выходит сборник «Мнимая величина». В Польше снят телефильм «Расследование» (режиссёр Марек Пестрак).

1974, *июнь* — написана повесть «Маска».

2 *сентября* — американский писатель Филип К. Дик пишет в ФБР письмо о «грубой, оскорбительной и глубоко невежественной критике американской НФ», которую ведёт «функционер Партии» Станислав Лем.

*Октябрь* — поездка в Федеративную Республику Германии.

*Декабрь* — в альманахе «Шаги в неизвестное» печатается повесть «Профессор А. Доньда».

1975 — краковское «Wydawnictwo Literackie» начинает выпускать серию «Станислав Лем рекомендует». Вышли четыре книги: Филип К. Дик «Убик», Стефан Грабиньский «Необыкновенные истории», Монтегю Роде Джеймс «Рассказы антиквария о привидениях», Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине», «Лес» («лесные» главы «Улитки на склоне»). В этой же серии планировались книги Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы» (позже вышла с послесловием Станислава Лема, но вне серии) и Альфреда Бестера «Звёзды — моё назначение». *Ноябрь* — написан роман «Насморк».

1976, *февраль* — Станислав Лем исключён из *Science Fiction Writers of America* за критические публикации о западной фантастике.

*Лето* — Станислав Лем восстанавливается после перенесённой им сложной хирургической операции. Награждён Государственной премией ПНР I степени за литературное творчество. Удостоен Гран-при за 1974–1976 годы на европейском конгрессе по научной фантастике в Познани.



1977, апрель — октябрь — поездка в Западный Берлин.

В ГДР снят телеспектакль «Верный робот» (режиссёр Йенс-Петер Пролль).

1978, январь — резкие письма в отдел культуры ЦК ПОРП. Станислав Лем протестует против перлюстрации его писем и вмешательства в деловую переписку. «Мне, — писал он, — писателю, книги которого вышли в 257 изданиях на 32 языках мира, приходится вести широкую переписку по издательским вопросам. Печально, но моя заграничная почта постоянно вскрывается, задерживается и прочитывается. Я всегда считал и считаю эти действия весьма бестактными (если тут годится такой эвфемизм), но готов был даже смириться с ними, но теперь эти действия практически парализовали всю мою деятельность...»

В Воронежском театре юного зрителя поставлен спектакль «Петля» по рассказу «Дознание» (режиссёры В. Сисикин и В. Бугров). Во Франции по мотивам романа «Расследование» снят телефильм «Весёлая деревня» (режиссёр Этьен Перье). Снят совместный польско-советский фильм «Дознание пилота Пиркса» (режиссёр Марек Пестрак).

1979 — Станислав Лем награждён во Франции Большим призом детективной литературы — за роман «Насморк».

В Польше снят фильм по роману Станислава Лема «Больница Преображения» (режиссёр Эдуард Жебровский). В ГДР снят телефильм «Профессор Тарантога и его странный гость».

22 сентября — астероиду, открытому сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных, предложено дать название «Лем».

16 октября — умерла мать Станислава Лема — Сабина.

1980 — в Тюмени по рассказам Станислава Лема поставлен спектакль «Кибериада».

Лето — после решения политбюро ЦК ПОРП и Совета министров о повышении цен на мясные продукты — на заводах Люблина начались массовые забастовки, а на судоверфи им. Ленина в Гданьске создан независимый профсоюз «Солидарность».

1981, март — написан роман «Осмотр на месте».

13 декабря — в Польше введено военное положение.

1982–1983 — Станислав Лем уезжает в Западный Берлин. «Моя жена и сын отбивались от эмиграции руками и ногами. Я объяснял им, что в Польше у них не будет никаких жизненных шансов, но они уступили только тогда, когда появилась реальная возможность поселиться в Австрии. К сожалению, там у нас были одни огорчения, ибо я почти не выходил от

врачей, а везде царила страшная ксенофобия. Если кто-то был поляком, он не мог чувствовать себя в Австрии хорошо. Когда один журналист в Вене спросил меня, приехал ли я для того, чтобы наслаждаться сладкой жизнью при капитализме, у меня возникло острое желание разбить ему голову».

1982 — краковское Литературное издательство начало выпуск второго собрания сочинений писателя. Оно выходило с 1982 по 1989 год, всего вышло 16 томов. Станиславу Лему присвоена степень почётного доктора Вроцлавского политехнического института.

Август — выходит в свет роман «Осмотр на месте».

1983–1988 — пребывание в Вене.

1984, май — написан научно-фантастический роман «Мир на Земле».

1986 — Станислав Лем награждён Государственной премией Австрии по литературе.

Напечатан последний научно-фантастический роман Станислава Лема «Фиаско». После этой публикации Станислав Лем объявил, что не будет больше заниматься беллетристикой. И действительно, в дальнейшем он ограничивал себя исключительно публицистикой или малыми формами. Опера К. Майера «Кибериада» поставлена в Вуппертале (ФРГ).

1987 — английский театр танца поставил синтетический спектакль «Солярис» (режиссёр Дэвид Гласе), в котором актёры танцуют, разыгрывают пантомимы, ведут диалоги и поют.

Ленинградский театр драмы и комедии поставил спектакль «Солярис» (режиссёр В. Голиков).

1988, ноябрь — возвращение из эмиграции в Краков.

Венская театральная труппа «Нарренкастль» поставила по «Футурологическому конгрессу» одноимённый спектакль.

1989 — по роману «Рукопись, найденная в ванне» поставлен театральный

спектакль «Здание» в Елене-Гуре (режиссёр Богдан Рудницкий).

29 декабря — в Конституцию ПНР вписано прежнее историческое название государства — *Rzeczpospolita Polska* (Республика Польша).

1990 — режиссёр Адам Устинович снял для Би-би-си документальный фильм о Станиславе Леме — «Случайность и упорядоченность».

В Днепропетровском государственном театре оперы и балета поставлен фантастический балет в двух действиях по мотивам романа «Солярис» (композитор С. Жуков, авторы либретто В. Фетисов, А. Соколов).

Под названием «Бутерброд» по мотивам киносценария «Слоёный пирог» снят телефильм Санкт-Петербургским телевидением (режиссёр П.

Штейн).

В СССР снят шестисерийный телеспектакль «Возвращение со звёзд» (режиссёр Валерий Обогрелов).

1991 — Станислав Лем награждён Литературной премией им. Франца Кафки (Австрия).

1994 — избран почётным членом Польской академии знаний.

1995 — Международный центр по малым планетам официально утвердил за астероидом 3836 (1979 SR9), открытым 22 сентября 1979 года сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных, название «Lem».

1996 — разрыв отношений с литературным агентом Францем Роттенштайнером.

Станислав Лем награждён орденом Белого орла. Снят документальный фильм «Станислав Лем» (режиссёр Томаш Каминьский).

1997 — Станислав Лем избран почётным гражданином города Кракова.

8 декабря — Станиславу Лему присвоена степень почётного доктора Опольского университета.

1998 — награждён премией Банковского фонда культуры им. Кшиштофа Кесьлёвского.

30 июня — присвоена степень почётного доктора Львовского государственного медицинского университета.

28 октября — присвоена степень почётного доктора Ягеллонского университета.

2001 — в связи с восьмидесятилетием Станислав Лем награждён Золотым

жезлом Фонда польской культуры.

2002 — в США экранизирован роман «Солярис» (режиссёр Стивен Содерберг).

Выходит книга «Письма, или Соппротивление материи». Отдельным изданием выходят беседы Станислава Береса со Станиславом Лемом «Так говорил... Лем».

2003 — в Кракове опубликована книга статей «Мой взгляд на литературу».

2004 — выходит книга публицистики «Короткие замыкания».

2005 — Станислав Лем награждён золотой медалью «За заслуги в культуре». 2006, 27 марта — в результате тяжёлой болезни скончался знаменитый

польский писатель Станислав Лем. Похоронен на Сальваторском кладбище Кракова. На надгробии высечены слова: «Я сделал всё, что смог; кто сумеет, пусть сделает лучше».

# БИБЛИОГРАФИЯ

## СОЧИНЕНИЯ СТАНИСЛАВА ЛЕМА

Собрания сочинений

Dzieła wybrane. T. 1–28. Kraków: Wyd. Literackie, 1965–1978.

Dzieła. T. 1–16. Kraków: Wyd. Literackie, 1982–1989.

Dzieła zebrane. T. 1–25. Wkrszawa: Interart, 1994–1997.

Dzieła Zebrane Stanisława Lema. T. 1–34. Kraków: Wyd. Literackie, 1998–2005.

Dzieła. T. 1–33. Warszawa: Agora SA, 2008–2010.

Книги (первые издания)

Astronauci. Warszawa: Czytelnik, 1951. (*Астронавты.*)

*Jacht «Paradise».* Wkrszawa: Czytelnik, 1951. (*Яхта «Парадиз»;* совместно с Романом Хуссарским.)

Sezam i inne opowiadania. Warszawa: Iskry, 1954. (*Сезам и другие рассказы.*)

Obłok Magellana. Warszawa: Iskry, 1955. (*Магелланово облако.*)

Czas nieutracony. Cz. 1–3. Kraków: Wyd. Literackie, 1955. (*Неутраченное время.*)

Dialogi. Kraków: Wyd. Literackie, 1957. (*Диалоги.*)

Dzienniki gwiazdowe. Warszawa: Iskry, 1957. (*Звёздные дневники.*)

Eden. Warszawa: Iskry, 1959. (*Эдем.*)

Inwazja z Aldebarana. Krakow: Wyd. Literackie, 1959. (*Вторжение с Альдебарана.*)

Śledztwo. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959. (*Расследование.*)

Powrót z gwiazd. Wkrszawa: Czytelnik, 1961. (*Возвращение со звёзд.*)

Księga robotów. Wkrszawa: Iskry, 1961. (*Книга роботов.*)

Pamiętnik znaleziony w wannie. Kraków: Wyd. Literackie, 1961. (*Рукопись, найденная в ванне.*)

Solaris. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. (*Солярис.*)

Wfejscie na orbitę. Kraków: Wyd. Literackie, 1962. (*Выход на орбиту.*)

Noc księżycowa. Kraków: Wyd. Literackie, 1963. (*Лунная ночь.*)

Niezwyciężony i inne opowiadania. Wkrezawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964. (*Непобедимый» и другие рассказы.*)

Bajki robotów. Kraków: Wyd. Literackie, 1964. (*Сказки роботов.*)

Summa technologiae. Kraków: Wyd. Literackie, 1964. (*Сумма технологий.*)

Cyberiada. Kraków: Wyd. Literackie, 1965. (*Кибериада.*)

Polowanie. Kraków: Wyd. Literackie, 1965. (*Охота.*)

Wysoki Zamek. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966. (*Высокий замок.*)

Dzienniki gwiazdowe. Kraków: Wyd. Literackie, 1966. (*Звёздные дневники.*)

Ratujmy kosmos i inne opowiadania. Kraków: Wyd. Literackie, 1966. (*«Спасём космос» и другие рассказы.*)

Cyberiada. Kraków: Wyd. Literackie, 1967. (*Кибериада.*)

Głos Pana. Warszawa: Czytelnik, 1968. (*Глас Господа.*)

Opowieści o pilocie Pirxie. Kraków: Wyd. Literackie, 1968. (*Рассказы о пилоте Пирксе.*)

Filozofia przypadku: Literatura w świetle empirii. Warszawa: Czytelnik, 1968. (*Философия случая: Литература в свете эмпирии.*)

Opowiadania. Kraków: Wyd. Literackie, 1969. (*Рассказы.*)

Fantastyka i futurologia. T. 1–2. Kraków: Wyd. Literackie, 1970. (*Фантастика и футурология.*)

Doskonała próżnia. Włocławek: Czytelnik, 1971. (*Абсолютная пустота.*)

Bezsennosc. Kraków: Wyd. Literackie, 1971. (*Бессонница.*)

Opowiadania wybrane. Kraków: Wyd. Literackie, 1973. (*Избранные рассказы.*)

Wielkość urojona. Kraków: Wyd. Literackie, 1973. (*Мнимая величина.*)

Rozprawy i szkice. Kraków: Wyd. Literackie, 1975. (*Трактаты и очерки.*)

Maska. Kraków: Wyd. Literackie, 1976. (*Маска.*)

Katar. Kraków: Wyd. Literackie, 1976. (*Насморк.*)

Powtórka. Warszawa: Iskry, 1979. (*Повторение.*)

GOLEM XIV. Kraków: Wyd. Literackie, 1981. (*Голем XIV.*)

Wizja lokalna. Kraków: Wyd. Literackie, 1982. (*Осмотр на месте.*)

Kongres futurologiczny; Maska. Kraków: Wyd. Literackie, 1983. (*Футурологический конгресс; Маска.*)

Prowokacja. Kraków; Wrocław: Wyd. Literackie, 1984. (*Провокация.*)

Biblioteka XXI wieku. Kraków: Wyd. Literackie, 1986. (*Библиотека XXI века.*)

Fiasko. Kraków: Wyd. Literackie, 1987. (*Фиаско.*)

Pokój na ziemi. Kraków: Wyd. Literackie, 1987. (*Мир на Земле.*)

Bereś S. Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków: Wyd. Literackie, 1987. (*Бересь С. Беседы со Станиславом Лемом.*)

- Ciemność i pleśń. Kraków: Wyd. Literackie, 1988. (*Темнота и плесень.*)
- Człowiek z Marsa. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1994. (*Человек с Марса.*)
- Lube czasy. Kraków: Znak, 1995. (*Милые времена.*)
- Sex W&rs. Wforszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1996. (*Секс-войны.*)
- Tajemnica chińskiego pokoju. Kraków: Universitas, 1996. (*Тайна китайской комнаты.*)
- Zagadka. T. 1–2. Warszawa: Interart, 1996. (*Загадка.*)
- Dziury w całym. Kraków: Znak, 1997. (*Придирки по мелочам.*)
- Apokryfy. Kraków: Znak, 1998. (*Апокрифы.*)
- Bomba megabitowa. Kraków: Wyd. Literackie, 1999. (*Мегабитовая бомба.*)
- Okamgnienie. Kraków: Wyd. Literackie, 2000. (*Мгновение.*)
- Przekładaniec. Kraków: Wyd. Literackie, 2000. (*Слоёный пирог.*)
- Świat na krawędzi / Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. Kraków: Wyd. Literackie, 2000. (*Мир на грани.*)
- Fantastyczny LEM: Opowiadania wybrane przez czytelników. Kraków: Wyd. Literackie, 2001. (*Фантастический ЛЕМ.*)
- Listy albo opór materii. Kraków: Wyd. Literackie, 2002. (*Письма, или Сопротивление материи.*)
- Bereś S. Tako rzecze... Lem. Kraków: Wyd. Literackie, 2002. (*Бересь С. Так говорил... Лем.*)
- DyLEMaty. Kraków: Wyd. Literackie, 2003. (*ДиЛЕМмы.*)
- Mój pogląd na literaturę. Kraków: Wyd. Literackie, 2003. (*Мой взгляд на литературу.*)
- Moloch. Kraków: Wyd. Literackie, 2003. (*Молох.*)
- Krótkie zwarcia. Kraków: Wyd. Literackie, 2004. (*Короткие замыкания.*)
- Rasa drapieżców. Kraków: Wyd. Literackie, 2006. (*Раса хищников.*)
- Sknocony kryminał. Warszawa: Agora SA, 2009. (*Испорченный детектив.*)
- Listy. Stanisław Lem — Sławomir Mrożek. 1956–1978. Kraków: Wyd. Literackie, 2011. (*Письма.*)
- Sława i Fortuna. Listy do Michaela Kandla 1972–1987. Kraków: Wyd. Literackie, 2013. (*Слава и Фортуна.*)
- ЛИТЕРАТУРА О СТАНИСЛАВЕ ЛЕМЕ**
- Balcerzak E. Stanisław Lem. MNkrszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
- Krywak P. Stanisław Lem. 'Warszawa; Kraków: Państwowe Wyd.

Naukowe, 1974.

Über Stanisław Lem. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1981.

Stoff A. Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa; Toruń: Państwowe Wyd. Naukowe, 1983.

Workshop mit Stanisław Lem. Informations-und Kommunikationsstrukturen der Zukunft. München: Wilhelm Fink Verlag, 1983.

Ziegfeld R. E. Stanisław Lem. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1985.

Jarzębski J. Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanisław Lems. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1986.

Lem w oczach krytyki światowej. Kraków: Wyd. Literackie, 1989.

Madison Davis J. Stanisław Lem. A Reader's Guide. San Bernardino & Mercer Island: Starmont House, 1990.

Stoff A. Lem i inni. Szkice o polskiej science fiction. Bydgoszcz: Pomorze, 1990.

Handke R. Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

Звёздные дневники: Специальное издание к семидесятилетию Станислава Лема. М.: ЦСП «Восхождение»; Изд. фирма «Скрижаль-С», 1991.

Krywak P. Fantastyka Lema: droga do «Fiaska». Kraków: Wyd. Naukowe WSP, 1994.

Борисов В., Гаков Вл. Станислав Лем // Энциклопедия фантастики. Минск: ИКО «Галаксиас», 1995.

Smuszkiewicz A. Stanisław Lem. Poznań: Dom Wydawniczy «Rebis», 1995.  
Grafrath B. Lems «Golem». Parerga und Paralipomena. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1996.

Szpakowska M. Dyskusje ze Stanisławem Lemem. Warszawa: Wyd. «Open», 1996.

Grafrath B. Es fällt nicht leicht, ein Gott zu sein. Ethik für Weltenschöpfer von Leibniz bis Lem. München: C. H. Beck, 1998.

Leś Mariusz M. Stanisław Lem wobec utopii. Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1998.

Arndt H. Stanisław Lems Prognose des Epochenendes. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000.

Грицанов А. Станислав Лем; Солярис // Всемирная энциклопедия: Философия XX век. М.: АСТ; Минск: Харвест; Современный литератор, 2002.



*Pięta I.* Problemy intertekstualnego obrazowania w wybranych powieściach fantastyczno-naukowych Stanisława Lema. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2002.

*Acta Lemiana Monashiensis: Special Lem Edition of Acta Polonica Monashiensis.* Vbl. 2. Num. 2. Victoria: Leros Press, 2003.

*Domaciuk I.* Nazwy własne w prozie Stanisława Lema. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

*Jarzębski J.* Wszechświat Lema. Kraków: Wyd. Literackie, 2003.

*Rzeszotnik J.* Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem. Zur Rekonstruktion von Stanisław Lems Autoren- und Werkbild im deutschen Sprachraum anhand und Fallbeispielen. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Stanisław Lem — pisarz, myśliciel, człowiek. Kraków: Wyd. Literackie, 2003. *Dajnowski M.* Groteska w twórczości Stanisława Lema. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005.

Polska literatura fantastyczna. Interpretacje. Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

The Art and Science of Stanisław Lem. Montreal & Kingston: McGillQueen's University Press, 2006.

*Борисов В.* Голос жителя Земли // Новое литературное обозрение. 2006. № 82.

*Каганская М.* Пан Станислав // Новое литературное обозрение. 2006. №82.

*Krajewska M.* Polsko-rosyjski słownik Lemowych neologizmów. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2006.

*Oramus M.* Bogowie Lema. Przeźmierowo: Kurpisz S. A.; Zakrzewo: Replika, 2006.

*Płaza M.* O poznaniu w twórczości Stanisława Lema. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

*Stiller R.* Lemie! po co umarłeś? Opowieść w reminiscencjach. Kraków: visa-vis / Etiuda, 2006.

*Orliński W.* Co to są sepulki? Wfezystko o Lemie. Kraków: Znak, 2007. *Majewski P.* Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. Kraków: Wyd. Literackie, 2009.

Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni. Bez Porównania. Czasopismo Komparatystyczne (Kraków). 2009. Nr. 1(7).

*Michera W.* Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.

*Okołowski P.* Materia i wartości. Nieoiukrecjanizm Stanisława Lema. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Wterszawskiego, 2010

*Kajtoch W.* O prozie i poezji: Wybór szkiców i esejów z lat 1980–2010. Częstochowa: Wyd. Literackie «Li-TWA», 2011.

*Lemistry: A Celebration of the Wfork of Stanisław Lem.* London: Comma Press, 2011.

*Bwagwa H.* The New Lemianizm: An Overview. Nairobi: Godfrey & Son, 2238.

*Kobayashi A.* Lem the Writer. Brasilia: The Interworld UP, 2238.

*Virelli H.* A Critical History of Lem Scholarship in the Bio Years, 2140–2160. Sidney: Xerox, 2238.

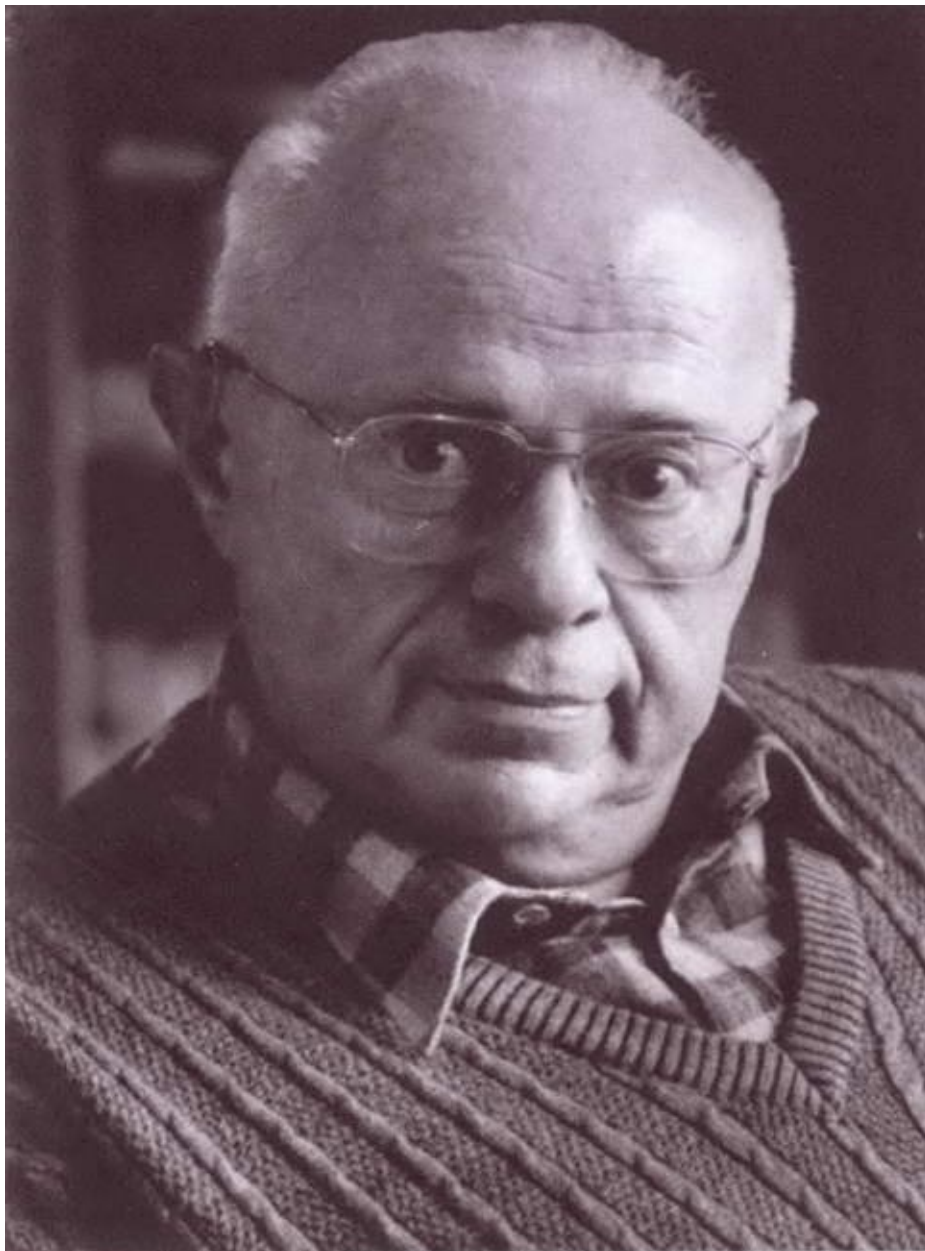
\*

*Авторы глубоко благодарны всем, кто помогал в работе над этой книгой, а в особенности — Барбаре Лем, Томашу Лему, Войцеху Земеку, Войцеху Кайтоху, Александру Лукашину, Виктору Язневичу.*

*В книге использованы фотографии из архивов семьи Станислава Лема, Владимира Борисова, Константина Душенко, Сергея Леончика, Франца Роттеништайнера, Виктора Язневича.*

*Цитаты из книг Станислава Лема приводятся в переводах Зинаиды Бобырь, Владимира Борисова, Дмитрия Брускина, Евгения Вайсброта, Ариадны Громовой, Галины Гудимовой, Константина Душенко, Вячеслава Куприянова, Сергея Ларина, Бориса Марковского, Рафаила Нудельмана, Веры Перельман, Ольги Салнит, Бориса Старостина, Леона Тоома, Виргилиуса Чепайтиса, Владимира Штокмана, Аркадия Штыпеля, Виктора Язневича, Л. Яковлева.*

## ИЛЮСТРАЦИИ



Stasiek Lem



*Сташек Лем. 1925 г.*



*Станислав Лем. 1934 г.*

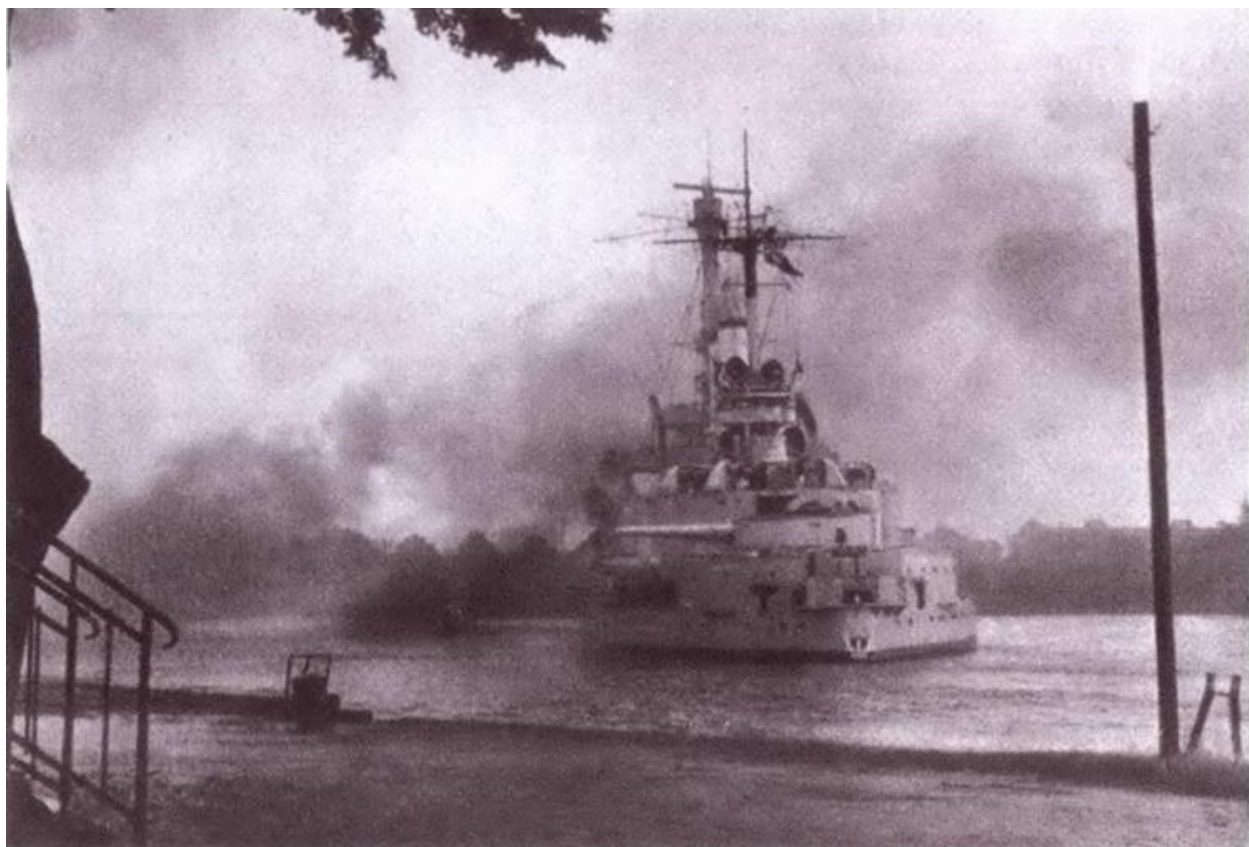


*Дом во Львове на улице Богдана Лепкого, 4, где, согласно автобиографии Лема «Высокий замок», он жил в детстве*



*Здание 2-й гимназии во Львове. Рядом пороховая башня*





*Немецкий броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» обстреливает польский военно-транзитный склад в Вестерплатте. 1 сентября 1939 г.*





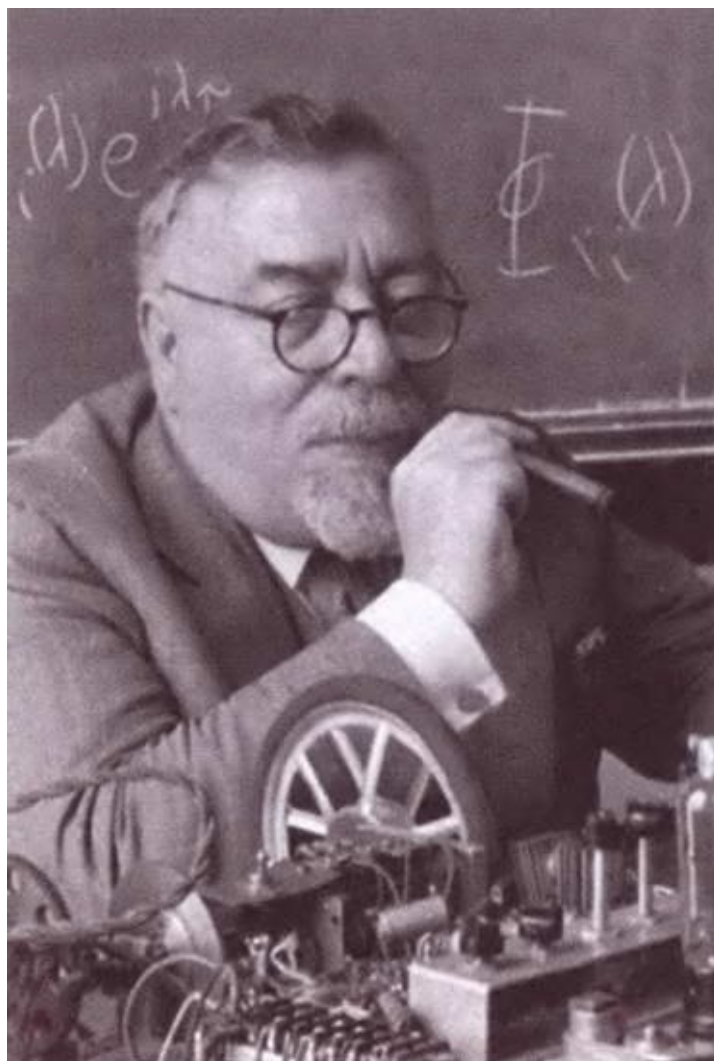
*Население Львова приветствует войска Красной армии, вступившие в город. 1939 г.*



*Перевозка узников львовского гетто на трамвае к месту расстрела. 1942 г.*



*Советские войска ведут бой на улицах Львова. Июль 1944 г.*



*Норберт Винер*





*Вислава Шимборская*



*Здание Collegium Novum Ягеллонского университета в Кракове*



*Духи «Chanel № 5»*



*Станислав Лем. 1947 г.*

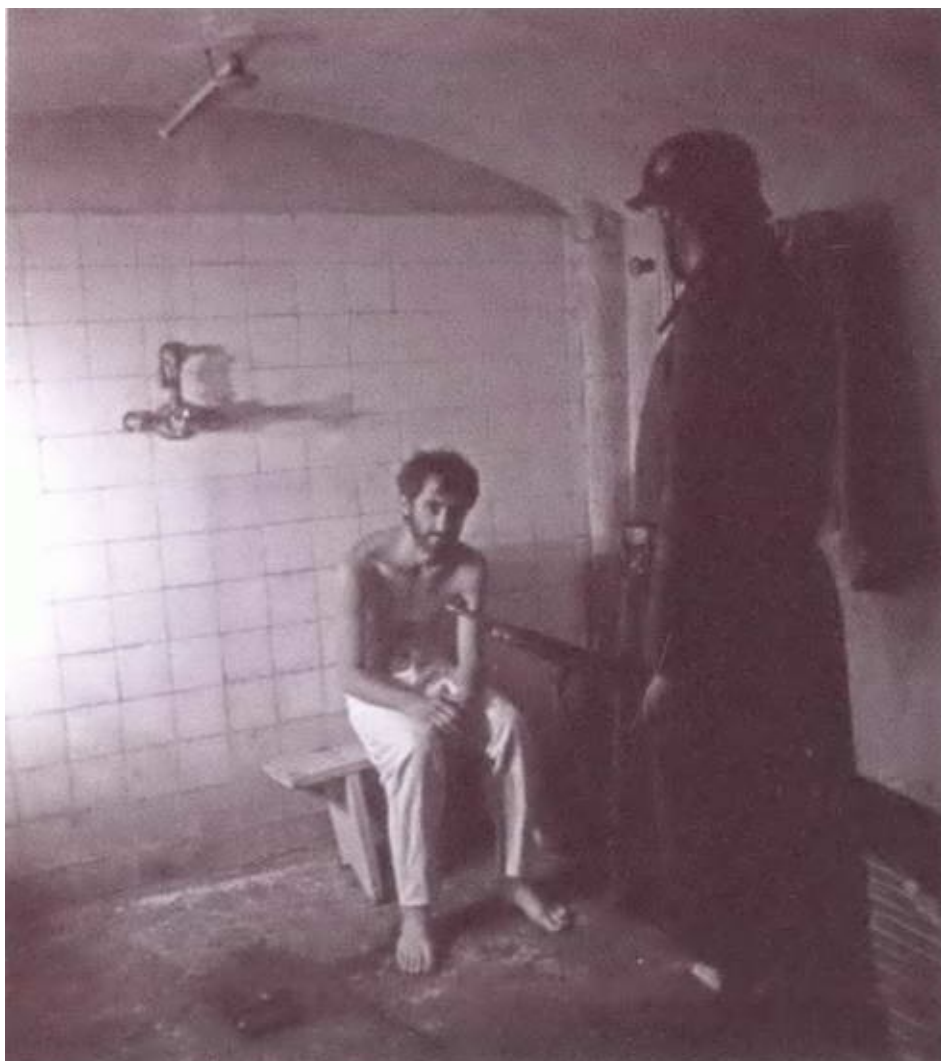




*Барбара Лесьняк с овчаркой по кличке Раджа. 1954 г.*



*Иллюстрация к роману С. Лема «Магелланово облако». Л.Дурасов. 1960 г.*



*Пётр Шулькин в фильме Э. Жебровского «Больница Преображения». 1978 г.*



*«Мы требуем хлеба!» Демонстрация в Познани. 1956 г.*





*Венгерское восстание 1956 года*



*Деутелы. Иллюстрация к роману С. Лема «Эдем». А. Андреев*



*Брат № 1 Пол Пот и брат № 3 Иенг Сари*



*Кадр из фильма К. Метцига «Безмолвная звезда». 1960 г.*





*Кадр из фильма М. Пестрака «Расследование». 1973 г.*

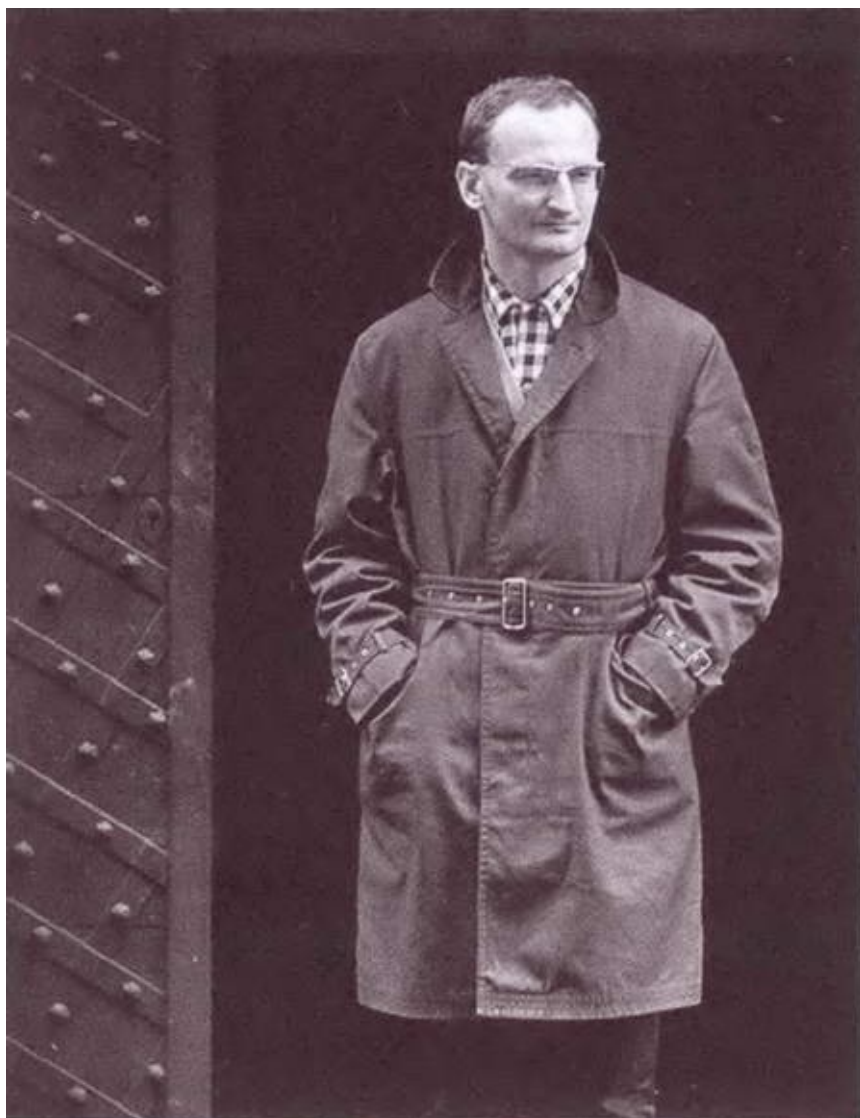


*«Золотой крест Заслуги»*

*Орден Возрождения Польши 4-го класса (Офицерский крест)*



*Станислав Лем у своего автомобиля «Wartburg 311». 1962 г.*

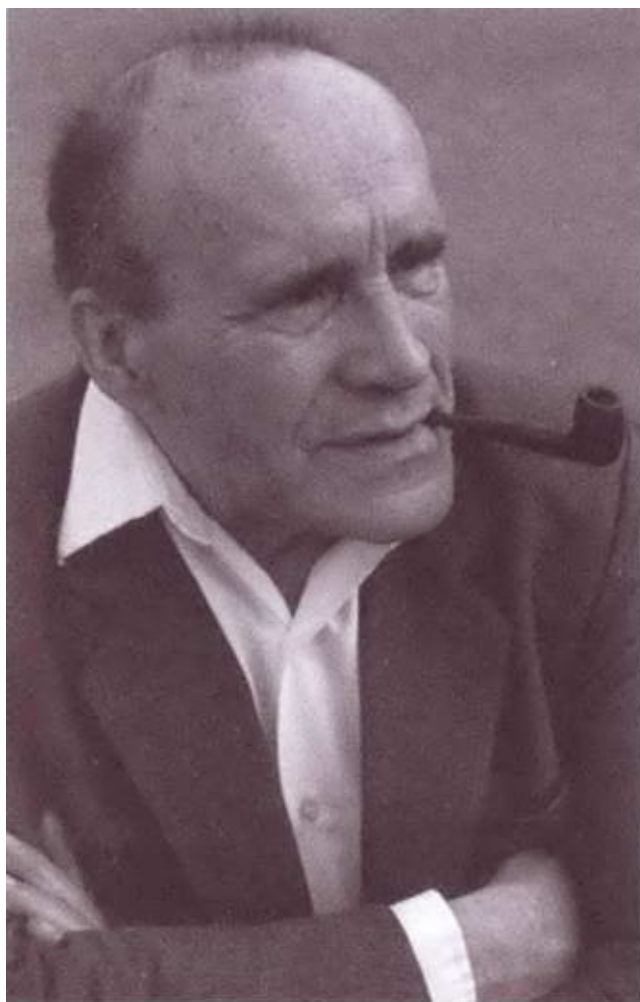


*Славомир Мрожек. Фото В. Плевинского. 17 июня 1960 г.*





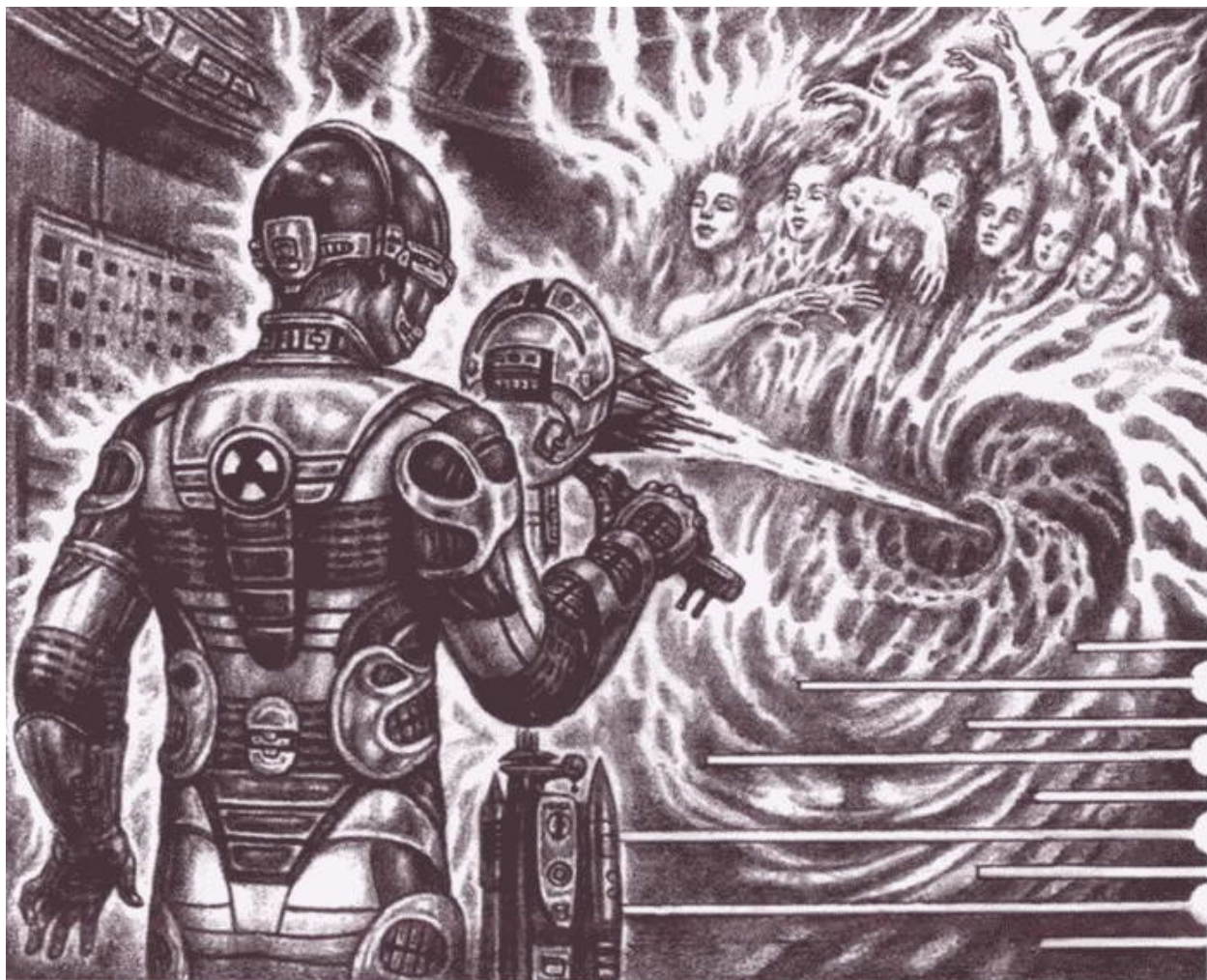
*Прага. 1950-е гг.*



*Ян Юзеф Щепаньский. 1989 г.*



*Ян Блоньский*

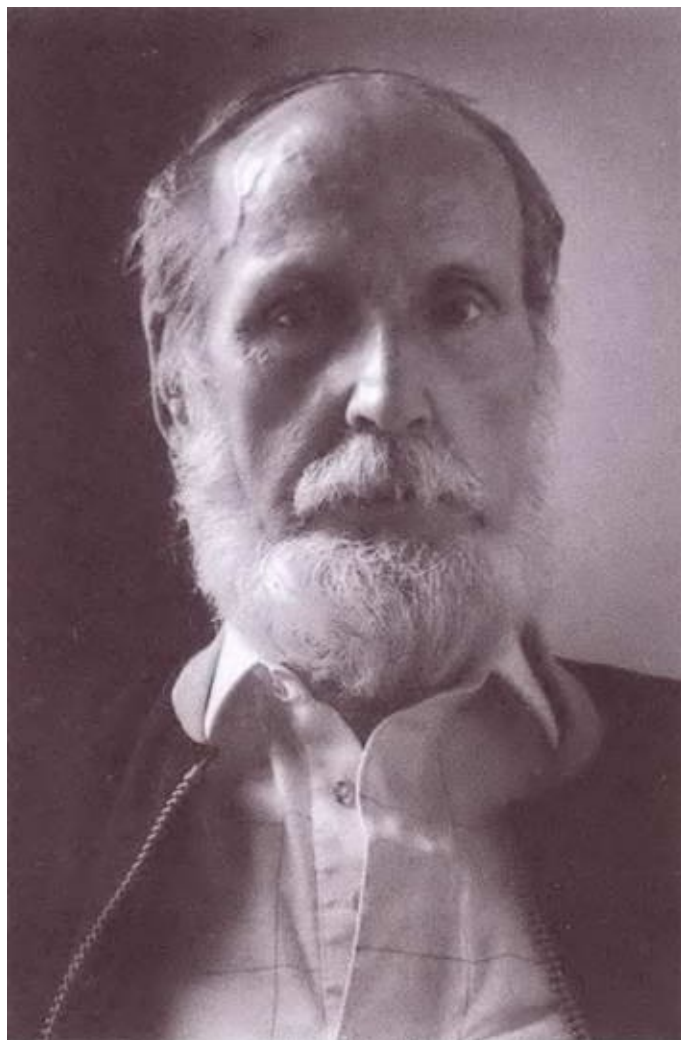


*Иллюстрация к роману С. Лема «Солярис». А.А. Ликучёв*

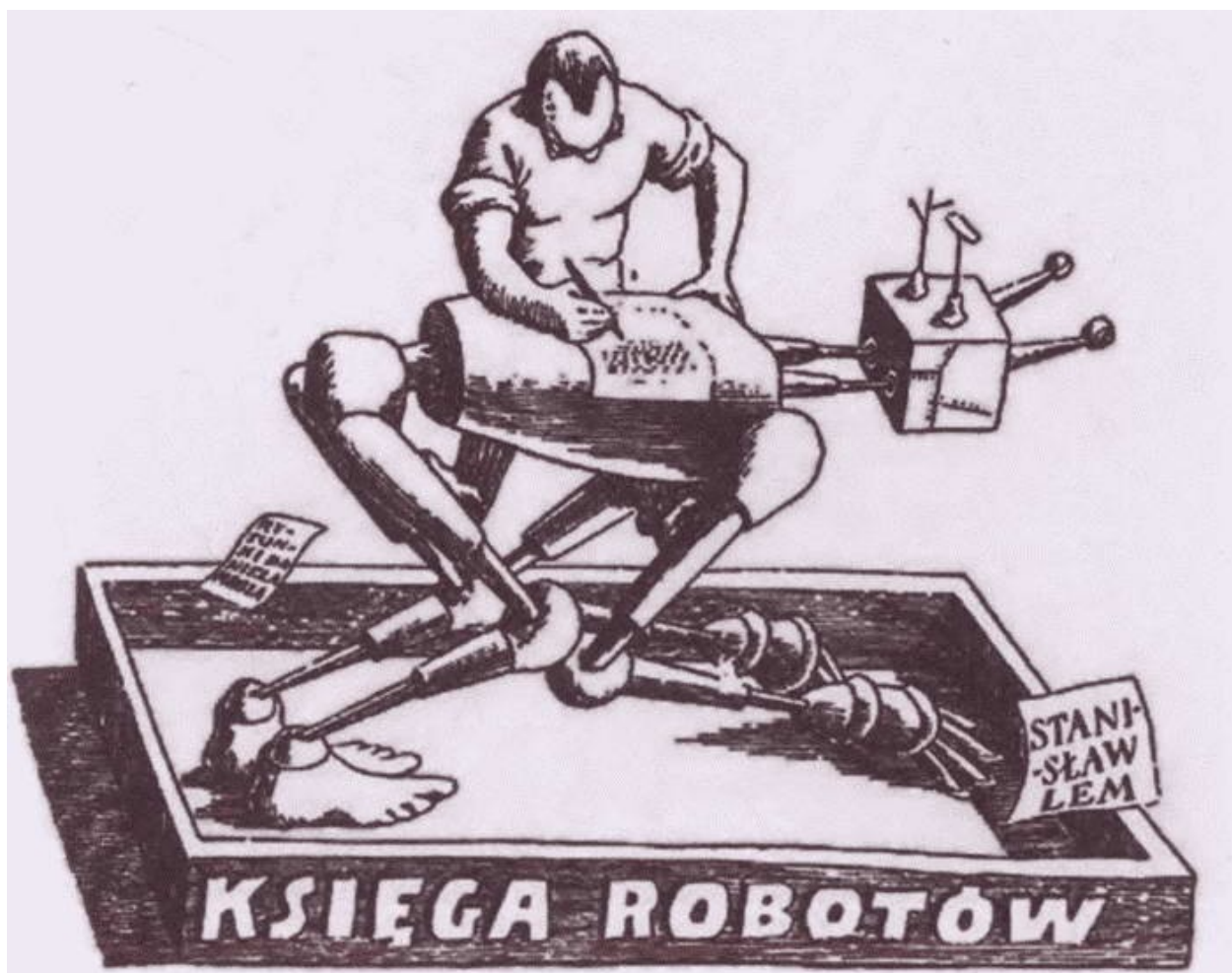




*Урсула Ле Гуин*



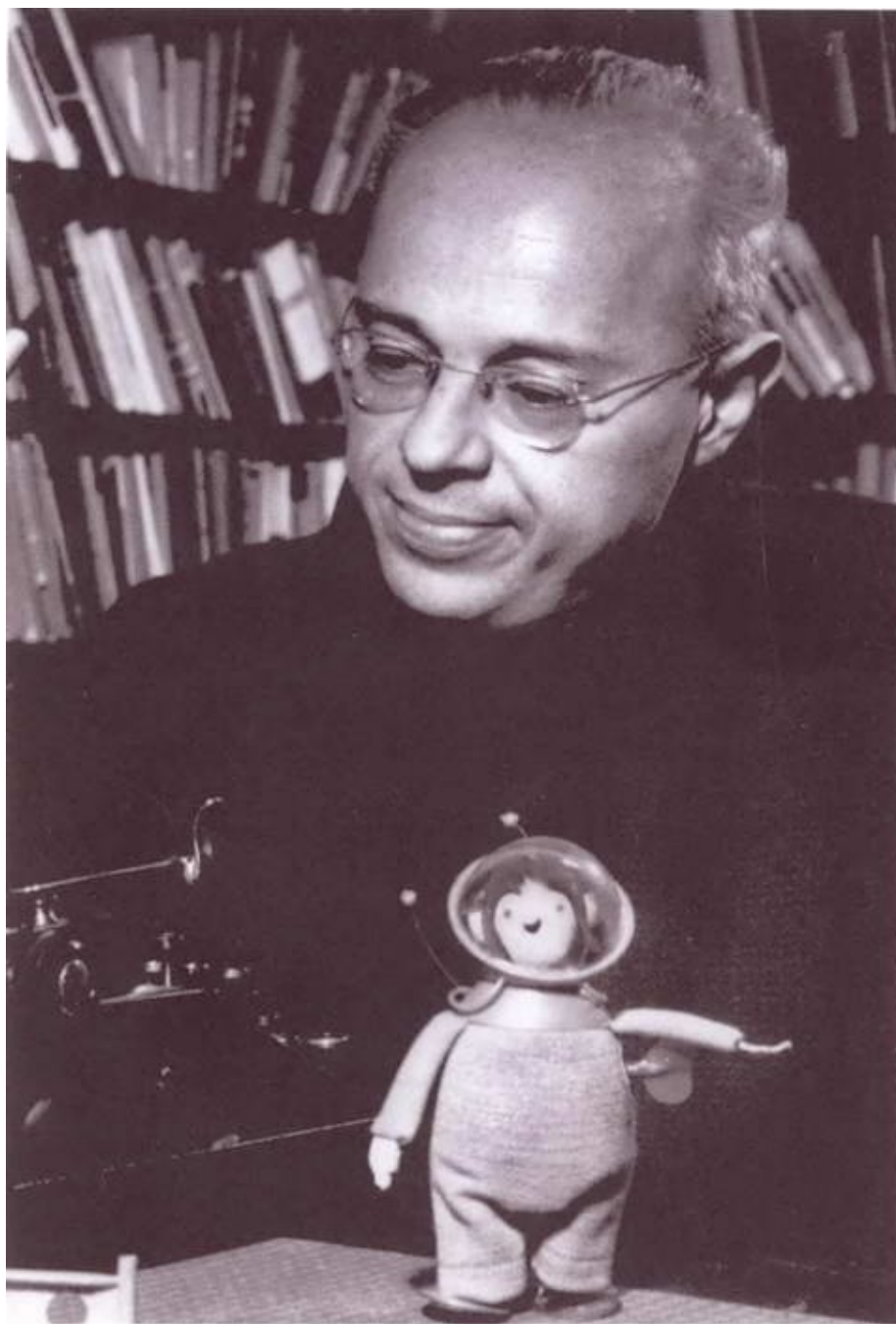
*Даниэль Мруз. 1990 г .*



Титульный лист «Книги роботов» С. Лема. Д. Мруз. 1961 г.



*Иллюстрация к «Звёздным дневникам» С. Лема. И. Семёнов. 1955 г.*



*Станислав Лем. 1966 г.*





*Иосиф Самуилович Шкловский*



*Станислав Лем. Москва. 1962 г.*



*Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга (ГАИШ). 1950-е гг.*





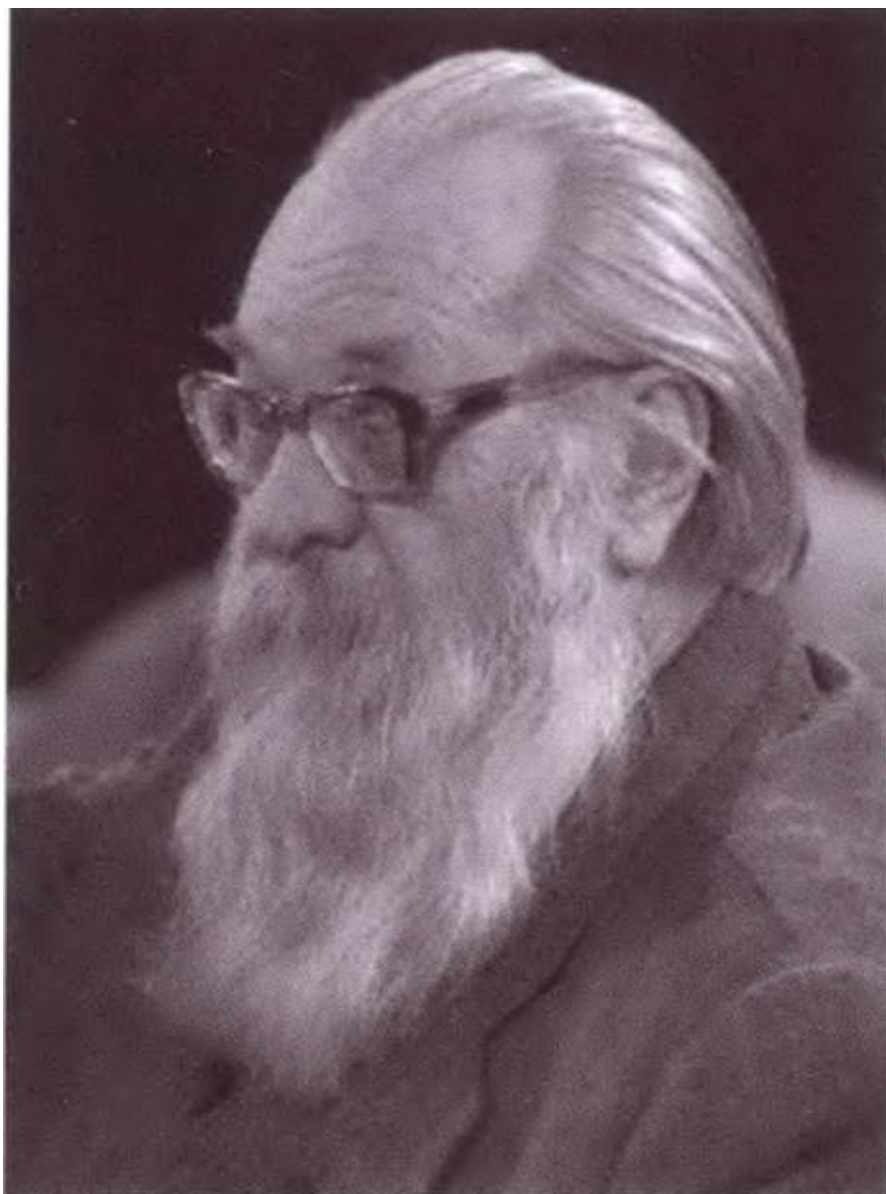
*Аркадий и Борис Стругацкие. Москва. 1983 г. Фото Н. Г. Кочнева*



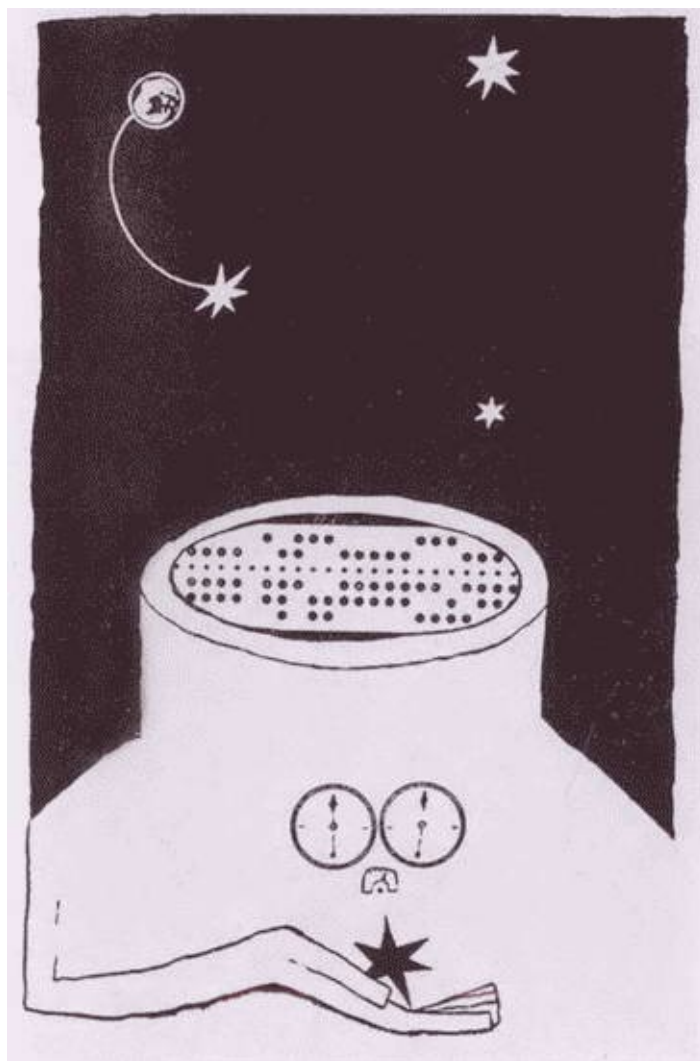
*Дубровник*



*Хелена Эйльштейн*



*Шимон Кобылинский*



*Иллюстрация к «Сказкам роботов» С. Лема. Ш. Кобылинский. 1964 г.*



*Вацлав Мейбаум*



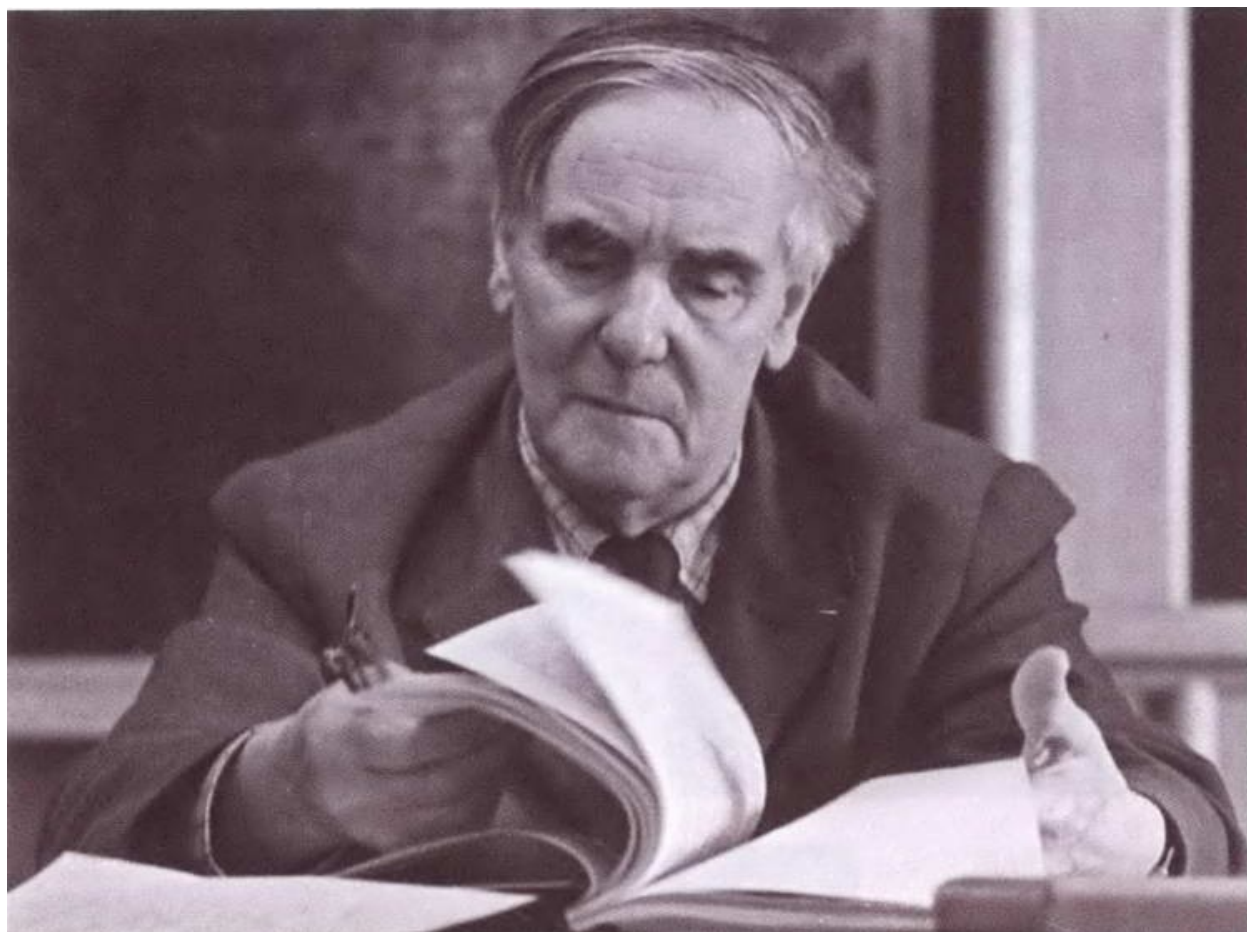


*Юзеф Гурвиц. 1960 г.*

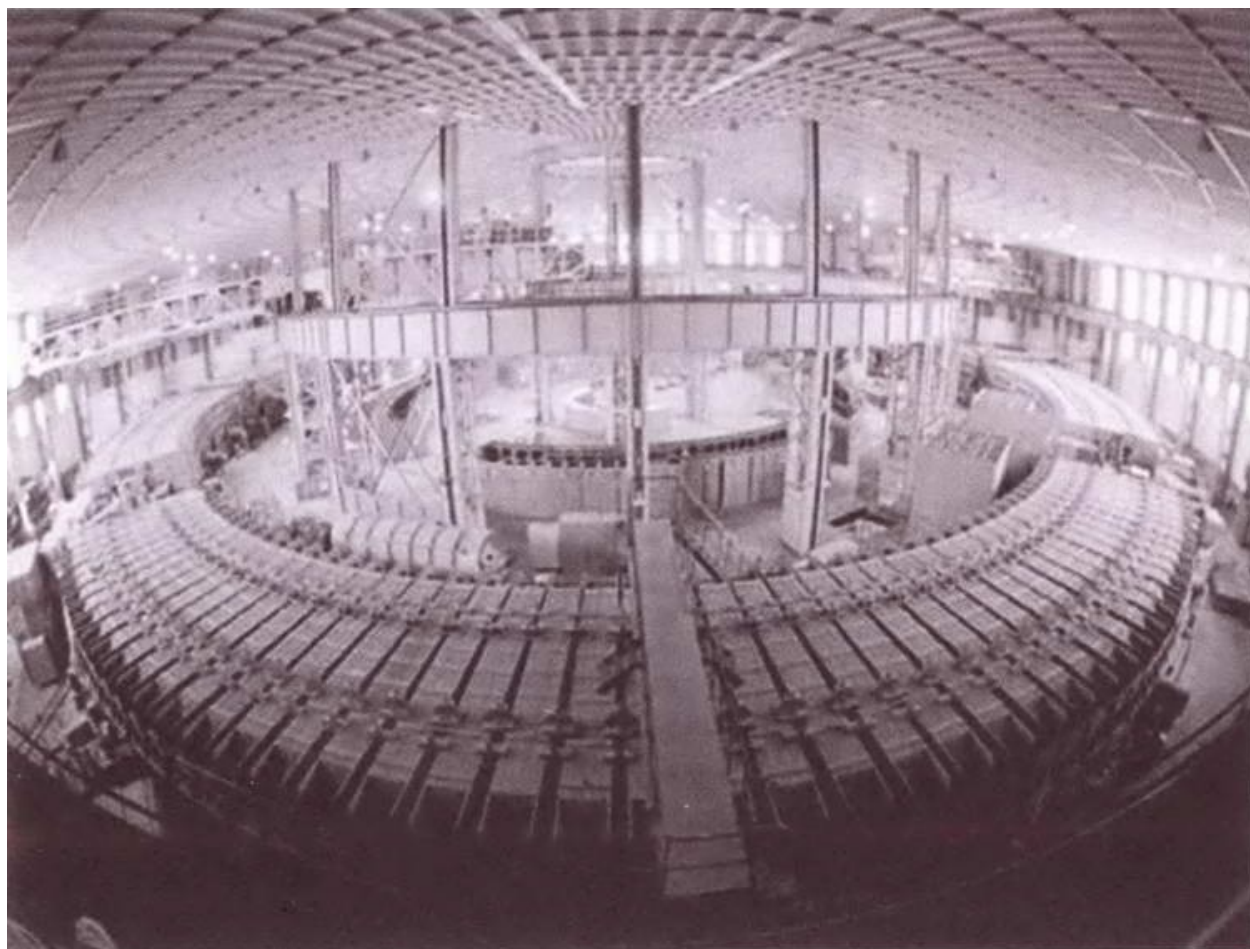


Париж. Ожидание. 1960 г.





*Пётр Леонидович Капица*



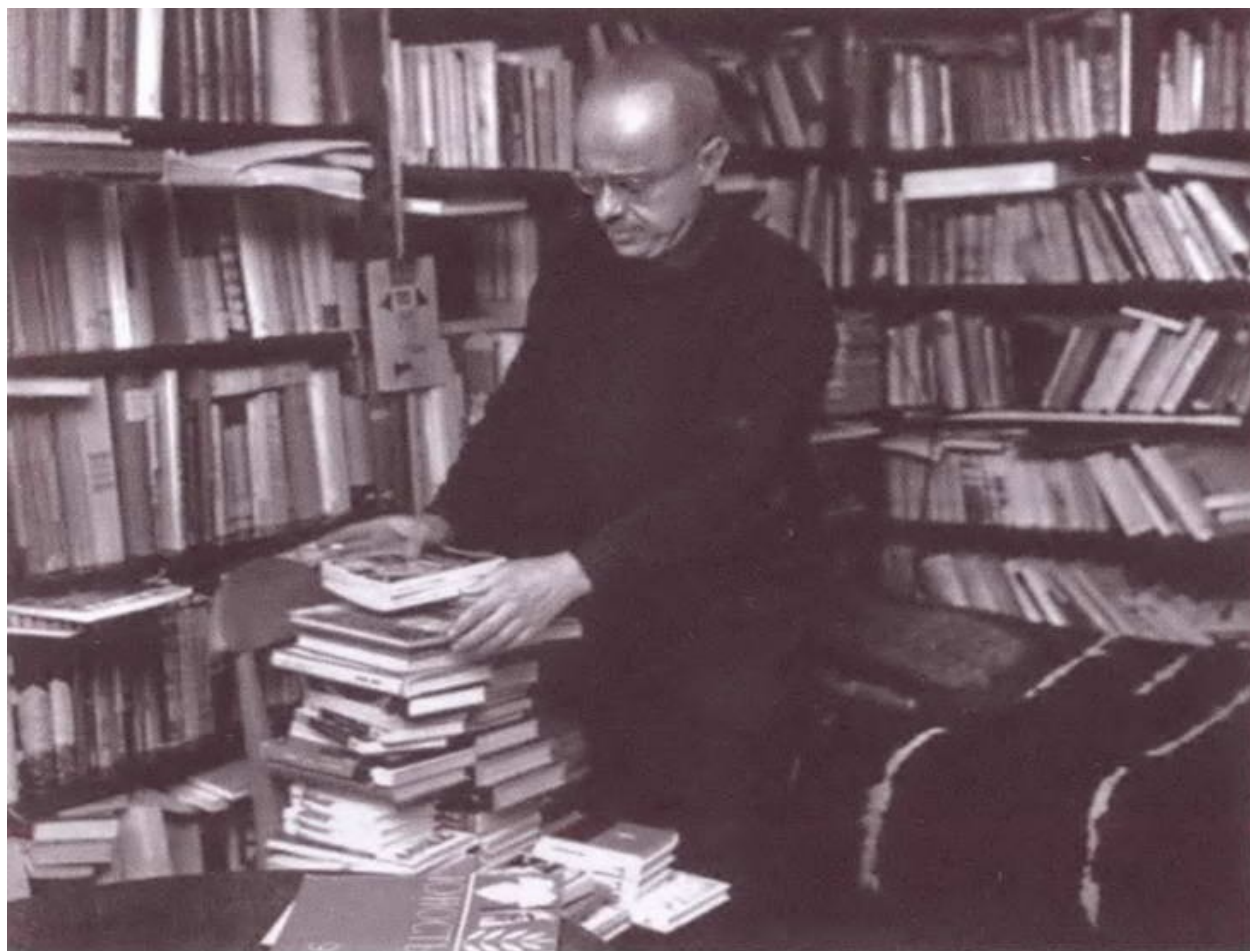
*Синхрофазотрон. Объединённый институт ядерных исследований. Дубна*



*Космонавт Густав Борис Борисович Егоров*



*Иоганнович Наан*



*Станислав Лем в своей библиотеке. 1970 г.*



*Евгений Львович Войскунский*



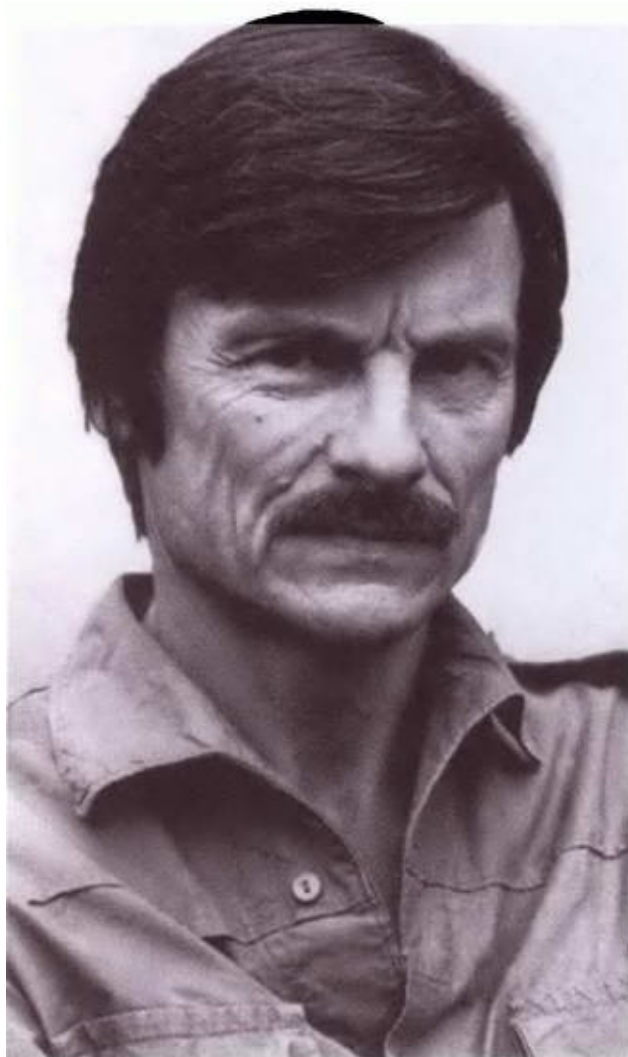
*Ариадна Григорьевна Громова*





*Гостиница «Пекин»*





*Андрей Арсеньевич Тарковский*



*Фридрих Наумович Горенштейн*



*Донатас Банионис и Наталья Бондарчук в фильме А. Тарковского «Солярис». 1972 г.*



*Лунная поверхность, сфотографированная экипажем «Аполлона-8». 1968 г.*



*Советские танки на улице Праги. 1968 г.*





*Сташек и Томек в кабинете. 1973 г.*

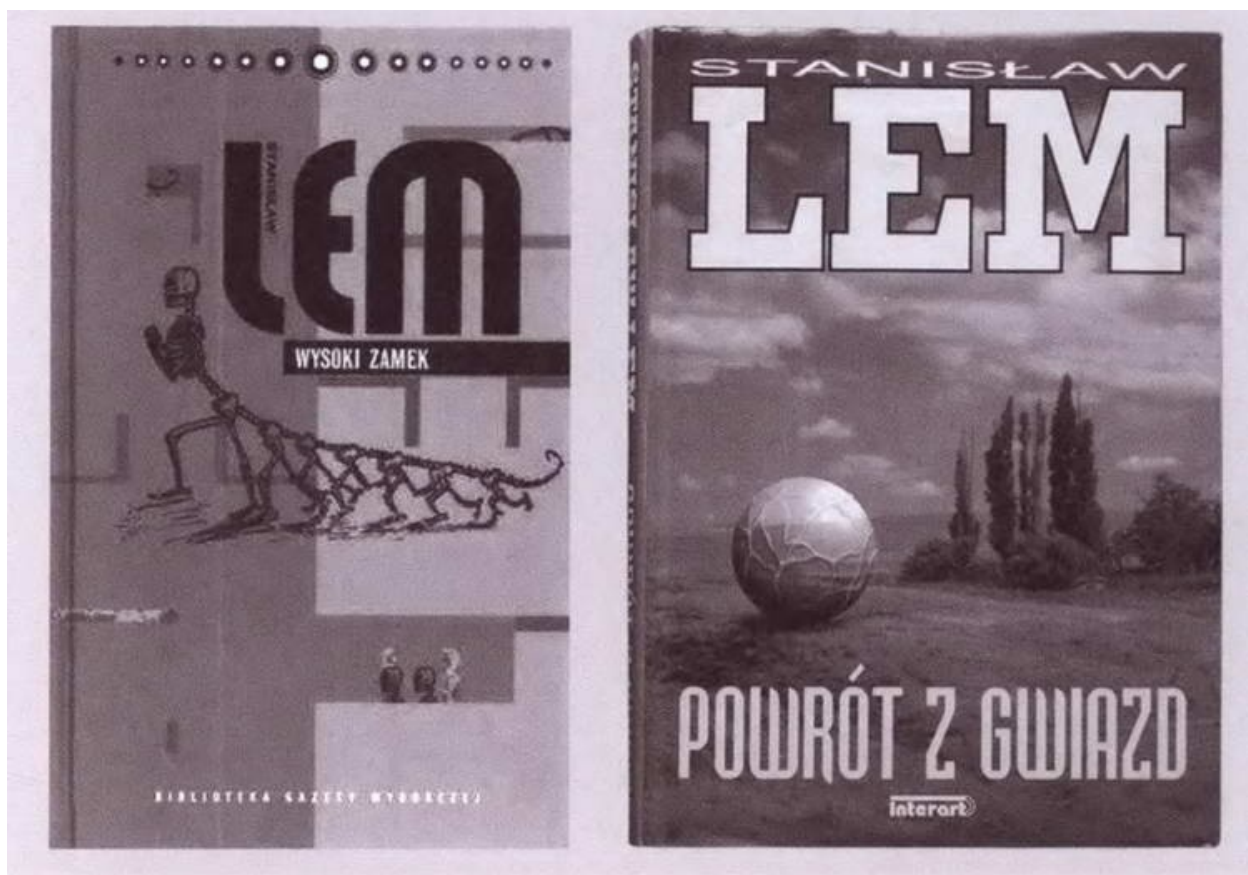


*Генерал Войцех Ярузельский объявляет военное положение в Польше. 13 декабря 1981 г.*

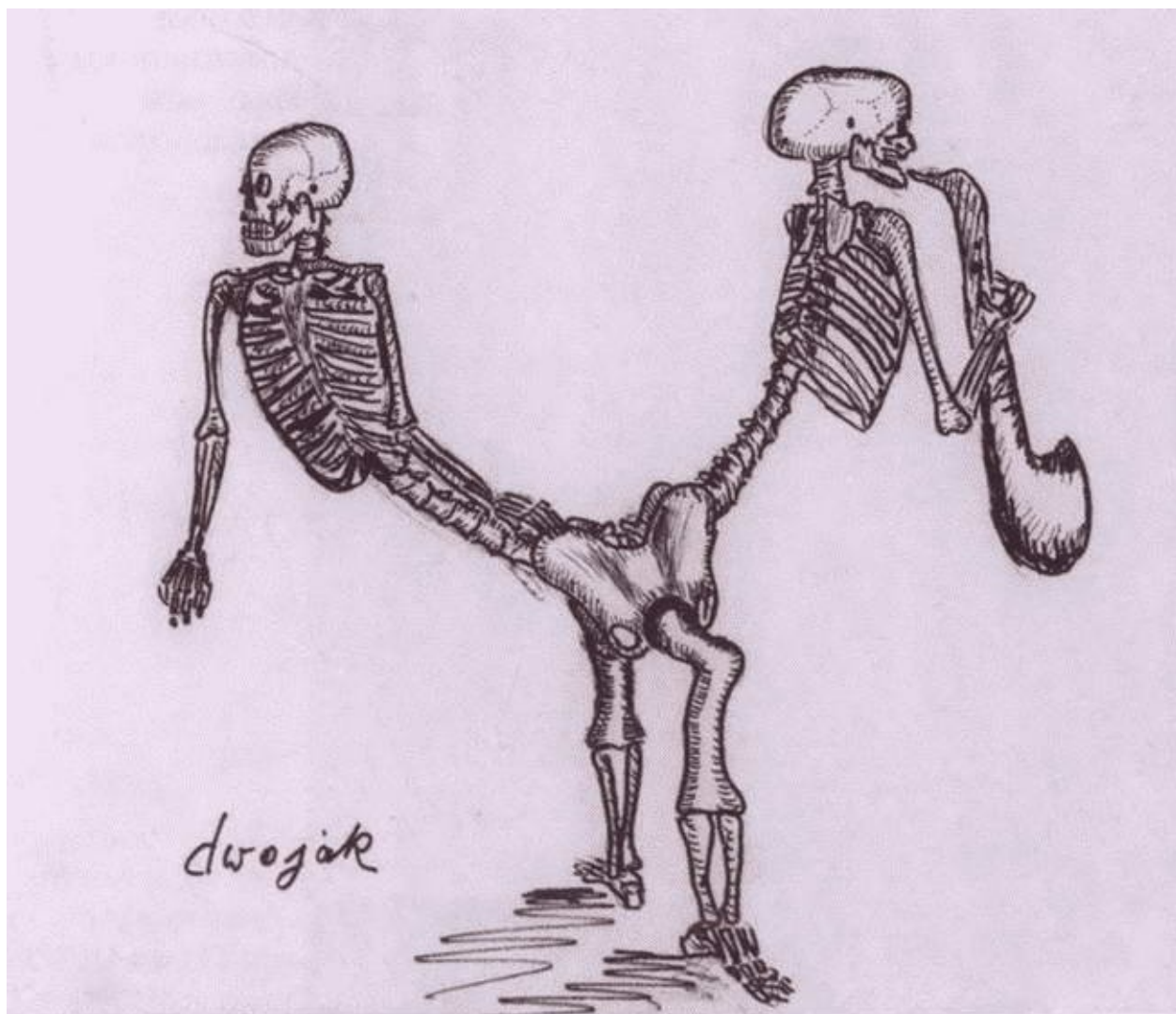


*Леха Валенсу несут на плечах после подписания соглашения между Межзаводским забастовочным комитетом и правительственной делегацией. Польша. Гданьск. 30 августа 1980*





*Обложки книг С. Лема «Высокий замок» и «Возвращение со звёзд»*



*Двојак. Рисунок С. Лема*



*Круглый стол. Переговоры между властями Польской Народной Республики и оппозиционным профсоюзом «Солидарность». 1989 г.*



*Римский папа Иоанн Павел II в Кракове. 1979 г.*





*Станислав Лем с женой и внучкой Аней на прогулке. 2005 г.*

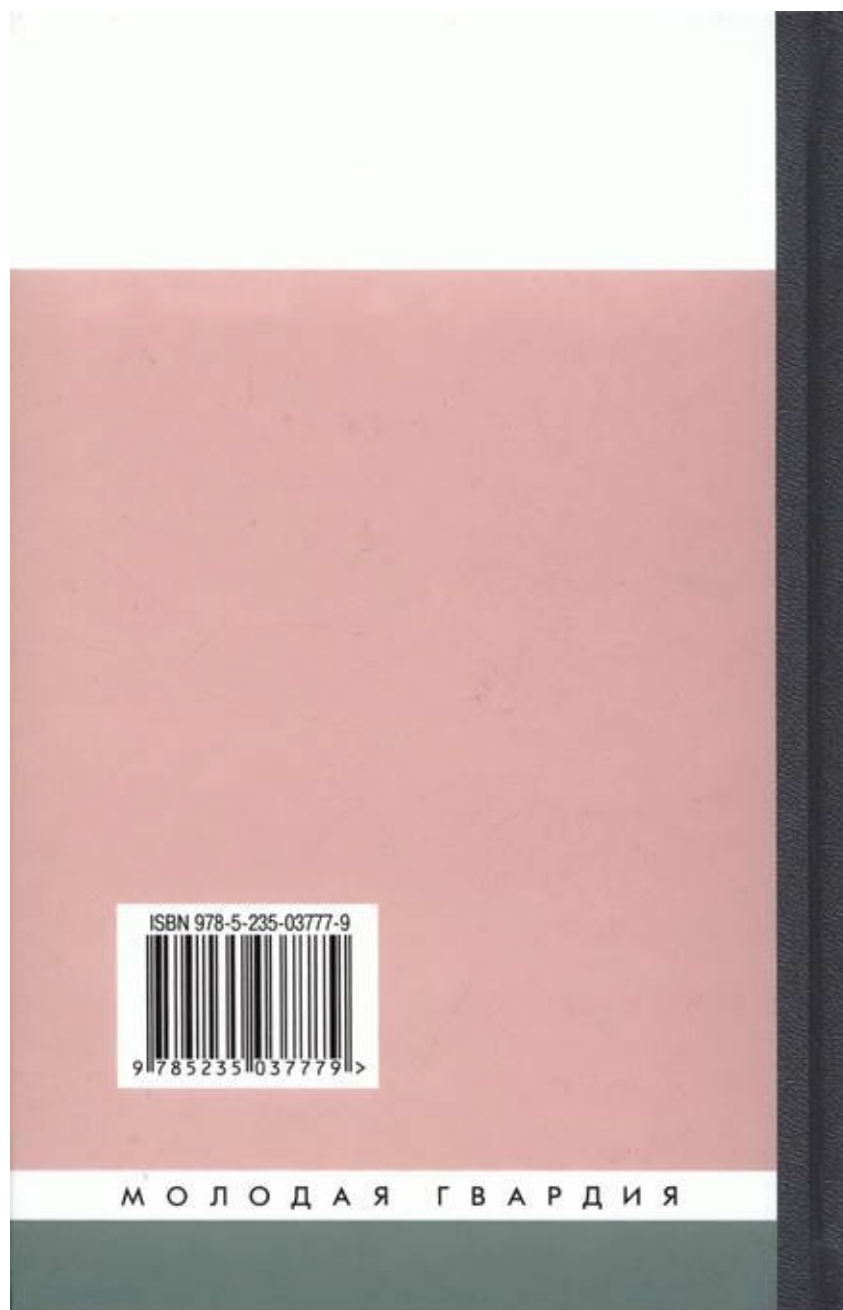


*Надгробие Станислава Лема на Сальваторском кладбище в Кракове*



*«Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнёт изменять нас»  
(Станислав Лем)*

\*



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

---

notes



## Примечания

**1**

Перевод Бориса Пастернака.

Буквально: «Действует по повелению верховных гаданий императора Франца Иосифа» (*лат.*). В Древнем Риме гадания имели государственный характер.

*Владислав Уминьский* (1865–1954) — польский писатель, публицист и популяризатор науки, один из первых польских авторов, обратившихся к научной фантастике.

Под таким названием в Польше выходил роман Томаса Майн Рида «Ползуны по скалам, или Хижина, затерянная в Гималаях».

Роман американского писателя Роберта Монтомери Бёрда (1806–1854).

Тот же Роберт Монтгомери Бёрд.

Польская политическая партия (1989–2010).



*Адам Михник* (р. 1946) — польский общественный деятель, диссидент, журналист, один из наиболее активных представителей оппозиции 1968–1989 годов.

Польский вариант имени Винни-Пуха. «Puchatek» можно перевести как «Пушистик».

Профессором по-польски уважительно называли простого школьного учителя.

*Станислав Жулкевский* (1547 или 1550–1620) — польский полководец, польный и великий гетман и канцлер великий коронный.

*Карл (Король) Шайноха* (1818–1868) — польский писатель и историк.

Большой петрушка (*фр.*).

Перевод Бориса Марковского.

Лем ошибочно называет немецкий средний танк PzKpfw V «Panther» самоходкой.



Станислав Лем. Полевое кладбище. 1947. Перевод А. Штыпеля.

Станислав Лем. Что внутри воображенья?.. 1949. Перевод А. Штыпеля. 2011.

Станислав Лем. Триолет. 1947. Перевод В. Борисова.

Опровержение (*фр.*).

*Джон Херси* (1914–1993) — американский писатель и журналист. Родился в Тяньцзыне (Китай), в семье американских миссионеров. Окончил Йельский и Кембриджский университеты. В 1937 году был литературным секретарём Синклера Льюиса; писал для журналов «Тайм» («Time») и «Лайф» («Life»).

Генерал-губернаторство — во время оккупации официальное название польских, не присоединённых к Германии территорий.

Этикет (*фр.*).

Станислав Лем. Трамваем номер пять через весь Краков. 1947.  
Перевод А. Штыпеля. 2011.



*Антоний (Антоны) Слонимский* (1895–1976) — польский поэт, драматург, литературный критик.

*Эдмунд Феттинг* (1927–2001) — польский актёр театра и кино, певец.

*Казимеж Опалиньский* (1890–1979) — польский актёр театра и кино, театральный режиссёр, художественный руководитель и директор театра.

Томмиган — пистолет-пулемёт Томпсона, американское оружие, активно применявшееся во время Второй мировой войны.

Тадеуш Боровский (1922–1951). Допрос. Перевод Л. Тоома.

Леопольд Стафф. Ряска. Перевод Иосифа Бродского.

Станислав Лем. Любовь. 1947. Перевод А Штыпеля.

*Alienatio* — отчуждение (*лат.*).



Кампучийская ситуация отражена в повести Геннадия Прашкевича «Парадокс Каина» («Разворованное чудо») (М.: Вече, 2002).

Станислав Лем. Из цикла «Насекомые». 1947–1948. Перевод А. Штапеля.

В архив (*лат.*).

Ответ гласил: «Во-первых, у нас нет пушек».

«Дальнейшее — молчанье». Слова Гамлета перед смертью. (У. Шекспир. Гамлет. Акт пятый. Сцена вторая.)

Имеется в виду атака первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на «абстракционистов» и «формалистов» во время посещения выставки «Новая действительность» 1 декабря 1962 года в московском Манеже.

Нравится европейскому зубру (*англ.*).

События 1956 года.



Хинаяна (малая колесница) и махаяна (великая колесница) — два основных существующих направления буддизма, отличающихся по философии и способам практики (*санскр.*).

Душа не является по натуре своей ни христианской, ни доброй (*лат.*).

*Антоний Марчиньский* (1899–1968) — автор популярных в 1930-х годах сенсационных повестей и романов.

Райнер Мария Рильке. Одинокий. Перевод В. Куприянова.

Он ещё жив, отметил столетие, обосновался в Париже.

В оригинале использована несколько иная игра слов. Там вождь остроготов Теодорих «скрещивается» с шириной в штанах, германское племя кимбров или кимвров, которых разбил римский полководец Марий, искажается так, чтобы стало похоже на слово «ушат, лохань». Константин Душенко перевёл эту фразу из «Сказки о трёх машинах-рассказчицах короля Гениалона» так: «Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, девтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела!» (*Прим. пер.*)

Наименьший орбитальный спутник Земли (*англ.*).

Названия первых компьютеров.



Многозарядный снаряд с боеголовками, нацеленными на отдельные объекты (*англ.*).

Межконтинентальный философский снаряд (*англ.*).

Возможность повторного удара (*англ.*).

Игра слов: *feedback* — обратная связь; *feed him back* — дословно: покорми его снова (англ.).

*Strange* — странный; *estrangement* — отдаление, разрыв отношений (также: *estrangement effect* — эффект чуждости, основная категория театра Брехта) (англ.).

Удушение (*англ.*).

Электробард в других переводах.

Интересная деталь — про имя женщины. Тут такая тонкость. В польском оригинале это слово в стихотворении расположено в начале строки, а потому толком и не понять, что оно должно обозначать живое существо и является именем:

Nieśmiafy cybernetyk poężne ekstrema  
Poznawał, kiedy grupy unimodularne  
Cyberiady całkował w popołudnie parne,  
Nie wiedząc, czy jest miłość, czy jeszcze jej nie ma?

Поэтому в переводе Р. Трофимова (наиболее известном) это слово пишется вовсе не с большой буквы:

В экстремум кибернетик попадал  
От робости, когда кибериады  
Немодулярных групп искал он интеграл.  
Прочь, единичных векторов засады!



Comunita Europea degli Scrittori (*um.*).

Союз писателей (чеш.).

Клай — село в Польше, недалеко от Кракова.

Позже эта идея была реализована в виде сборника рецензий на несуществующие книги «Абсолютная пустота» (1971).

Эта идея была частично реализована в сборнике предисловий к несуществующим книгам «Мнимая величина» (1973), а затем в отдельной книге «Голем XIV» (1981).

Равнодушие (*фр.*).

Союз польских писателей.

Обо всех вещах и ещё о некоторых других *(лат.)*.



*Александр Павлович Расницын* — один из ведущих российских специалистов в области палеоэнтомологии.

Клуб в Кракове, в котором Лем активно участвовал в 1950-е годы.

Самое существенное, основное, главное (*фр.*).

Имеется в виду Соня Мармеладова, героиня романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

По определению (*лат.*).

После ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию Славомир Мрожек 28 августа 1968 года опубликовал протест на страницах парижских изданий «Le Monde» и «Kultura», в результате чего власти ПНР отказались продолжить ему срок действия заграничного паспорта и предложили вернуться в страну. Тогда Мрожек попросил политического убежища во Франции.

*Болеслав Берут* (1892–1956) — польский партийный и государственный деятель, президент ПНР.

*Владислав Махеек* (1920–1991) — польский писатель, партийный и государственный деятель.



*Збигнев Херберт* (1924–1998) — польский поэт, драматург и эссеист.

*Кшиштоф Пендерецкий* (р. 1933) — польский композитор и дирижёр.

В переводе К. Душенко — генерал Брусилов.

Польские воздушные линии «Лёт».

Речь идёт о книге «L'Introduction a la litterature fantastique» (*Paris*: Ed. du Seuil, 1970), которой позже Лем посвятил критическую статью: Фантастическая теория литературы Цветана Тодорова // *Teksty*. 1973. № 3 (перепечатана в томе «Rozprawy i szkice»).

Аллюзия к названию главной философской работы Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» («Мир как воля и представление»).

*Богдан Суходольский* (1903–1992) — польский педагог, философ, историк науки и культуры.

Слуховой нерв (*лат.*).



Персонально (*лат.*).

«В странах неверных»: в значении — в чужой среде (*лат.*).

Западный стиль жизни (*англ.*).

Массачусетский технологический институт.

В скрытом виде, неявно (*лат.*).

Общество, в котором социальные нормы становятся всё более либеральными (*англ.*).

Неумелый выдумщик (*англ.*).

Рыночный успех (*фр.*).



Успех, обусловленный уважением к автору, а не достоинствами произведения (*фр.*).

Вот в чём вопрос (*англ.*).

Имеют глаза и не видят (*лат.*).

*Шимон Кобылинский* (1927–2002) — польский художник, карикатурист, сатирик, историк, сценограф, один из создателей первых польских комиксов.

*Вольфганг Тадевальд* (род. 1936) — немецкий писатель и литературовед, исследователь творчества Жюль Верна, литературный агент Станислава Лема в Европе.

В некоторых переводах существо, в которое превратился Замза, именуется сороконожкой, в некоторых — тараканом, хотя Набоков в своё время убедительно доказал, что на самом деле оно — явно жесткокрылое, то есть жук.

Перевод Давида Самойлова.

*Жан Угрон* (1923–2001) — французский писатель.



«Луна — суровая хозяйка» (*англ.*).

«Чужак в чужой стране» (англ.).

Логическая ошибка, заключающаяся в определении данного понятия через то же самое понятие (*лат.*).

*Станислав Бараньчак* (р. 1946) — польский поэт, литературовед, критик, переводчик. В 1976 году вместе с другими представителями левой интеллигенции основал Комитет защиты рабочих, участвовал в выпуске неподцензурных журналов, в результате был уволен с кафедры теории литературы Познаньского университета, а с 1981 года живёт в США.

Дословно: «качество формы», здесь: «совокупный подход» (*нем., англ.*).

Аргумент, обращенный к человеку с целью воздействия на чувства собеседника (*лат.*). Здесь в значении: личное дело, предмет субъективного суждения.

Характерная особенность (*лат.*).

Наука обширна, а жизнь коротка (*лат.*).



Опровержение (*фр.*).

Множество вещей (*лат.*).

Речь идёт о книге «Insel Almanach auf das Jahr 1976: Stanisław Lem. Der dialektische Weise aus Kraków. Werk und Wirkung». Польскую критику в ней представляли Нелли Поспешальская (Хелена Эйльштейн) и Ежи Яжембский.

Нет пророка в своём отечестве (*лат.*).

Делать из беды добродетель (нем.).

Двухсерийный фильм «Падение Берлина» (1949).

Станислав Лем. Valse triste. 1948. Перевод А. Штыпеля.

*Гжегож Пшемек* (1964–1983) — молодой польский поэт, сын поэтессы и активистки «Солидарности» Барбары Садовской, жестоко избитый милицией 12 мая 1983 года и скончавшийся через два дня. Похороны Пшемыка превратились в многотысячную манифестацию против власти.



Независимый научный институт (нем.).

Официально военное положение в Польше было отменено 22 июля 1983 года.

То есть непримиримым противостоянием сил добра и зла.

Willkommen im Affenhaus. Basel: Beltz & Gelberg Vferlag, 1984. S. 229–236; название сборника одноимённо содержащемуся в нём рассказу Курта Воннегута, среди авторов также Брайан Олдисс, Фредерик Пол, Славомир Мрожек, Дмитрий Биленкин и др. На русском языке рассказ опубликован в журнале «Млечный Путь» (2012. № 2. С. 180–186).

Оправдание Бога.

Согласно которой зло как таковое не существует, а представляет собой лишь отсутствие должного быть блага.

Связанным с конечными судьбами мира и человека.

В состоянии зарождения, возникновения (*лат.*).



*Александр Иванович Лебедь* (1950–2002) — российский политический и военный деятель, генерал-лейтенант, третий губернатор Красноярского края.

К счастью, предположение Станислава Лема не осуществилось: издательство завершило работу над собранием сочинений. Всего получилось 33 тома (некоторые произведения вышли под общей обложкой). Впервые в книжном виде были изданы киносценарии («Слоёный пирог») и ранние произведения («Сороковые годы»), по-новому скомпонованы сборники эссеистики («Sex Wars», «Мой взгляд на литературу», «Молох», «Короткие замыкания»). При этом в собрание сочинений не были включены публицистические сборники, вышедшие в это же время в этом же издательстве: «Мир на краю» (2000, интервью 1996–1999 годов), «Мгновение» (2000, о «Диалогах» и «Сумме технологии» — с порога XXI века), «Письма, или Соппротивление материи» (2002, избранные письма 1955–1988 годов), «Так говорил... Лем» (2002, интервью 1981–1982 и 2001–2002 годов), «ДиЛЕМмы» (2003, избранная публицистика 2000–2003 годов). По поводу завершения издания собрания сочинений 13–14 мая 2005 года издательство организовало «ЛЕМологический конгресс», в котором принимал участие и сам писатель. (Прим. В. Язневича.)

Речь идёт о встрече с читателями 5 июня 1999 года на презентации книги «Мегабитовая бомба» в одном из краковских книжных магазинов. Упоминаемый белорус — автор настоящего примечания. Информация о последовавшей переписке с издательством была опубликована на страницах «Белорусской деловой газеты» в рубрике «Скандал» под названием «Станислав Лем против белорусских пиратов». (Прим. В. Язневича.)

«Последнее путешествие Ийона Тихого». Перевод на русский язык см.  
в кн.: Лем С. Молох. М.: АСТ, 2005. С. 737–749.

Литагент Лема в Европе и Америке.

«Берегись Интернета!» (*лат.*).

Станислав Лем. Кафедральный собор. 1947. Перевод А. Штыпеля. 320

Станислав Лем. Полевое кладбище. Перевод В. Штокмана.



Технологический гений времени (*лат.*).

**129**

Я сделал всё, что смог; кто сможет, пусть сделает лучше (*лат.*).

---

**comments**

## Ссылки

*Lem S. Świat na krawędzi. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000. S. 11–12.*

Там же. S. 10.

*Лем С. Высокий замок. М.: Молодая гвардия, 1969. С. 111–112.*

Там же. С. 67.

Там же. С. 44–45.



Там же. С. 43–44.

*Лем С. Книги детства // Лем С. Мой взгляд на литературу. М.: АСТ; АСТ Москва, 2009. С. 765–766.*

Там же. С. 767–768.

Там же. С. 770–771.

*Лем С. Высокий замок. С. 91.*

Там же. С. 89–90.

*Лем С. Моя жизнь // Лем С. Маска. М.: Наука, 1990. С. 6–7.*

*Лем С. Высокий замок. С. 126–127.*



Так говорил... Лем. М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2006. С. 15.

Там же. С. 16.

Там же. С. 20–22.

Там же. С. 23.

Там же. С. 23–28.

*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. S. 12.

Так говорил... Лем. С. 31–33.

Там же. С. 40.



*Лем С. Голос неба // Лем С. Навигатор Пирке; Голос неба. М.: Мир, 1970. С. 457–461.*

Так говорил... Лем. С. 41–42.

Там же. С. 46–47.

Так говорил... Лем. С. 48.

Там же. С. 497–498.

Там же.

*Lem S. Lektury dzieciństwa // Dekada Literacka. 1992. № 11/12.*

*Лем С. Предисловие автора // Лем С. Хрустальный шар. М.: Астрель, 2012. С. 5–8.*



*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 23–26.

*Lem S.* Czas nieutracony. T. III. Powrót. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965. S. 82.

Так говорил... Лем. С. 64–65.

*Лем С. Астронавты. М.: Молодая гвардия, 1957. С. 14–15.*

Станислав Лем — Владиславу Капуцинскому. Краков, 19 июля 1971 года // *Лем С. Мой взгляд на литературу*. М.: АСТ; АСТ Москва, 2009. С. 525.

Так говорил... Лем. С. 65.

Там же. С. 71.

*Лем С. Магелланово облако. М.: Детгиз, 1960. С. 16.*



Там же. С. 161.

Так говорил... Лем. С. 49.

*Лем С. О тщетности прогнозов сбывающихся и не сбывающихся // Человек. 2000. № 1. С. 61–72.*

*Szczepański J. J.* Dziennik. T. 1:1945–1956. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 2009. S. 611.

*Lem T. Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 65.*

Там же. S. 65–66.

*Лем С. Диалоги. М.: АСТ; Транзиткнига, 2005. С. 11–12.*

*Лем С.* «В какое необыкновенное время мы живём теперь!» // Так говорил... Лем. М.: АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2006. С. 696–697.



*Лем С. Диалоги. С. 219.*

*Lem S.* Jak powstają, jego książki *Wywiad z S. Lemem / Dookoła Świata*. 1961. № 41.

*Лем С. Осмотр на месте// Из воспоминаний Ийона Тихого. М.: Книжная палата, 1990. С. 330.*

*Лем С. Звёздные дневники Ийона Тихого. М.: Молодая гвардия, 1961.  
С. 20.*

*Репин Л. Гость из Космоса// Смена. 1963. № 3. С. 23.*

*Лем С. Размышления о методе // Млечный Путь. 2012. № 1. С. 207—214.*

Там же.

Там же.



*Lem T. Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 53.*

Там же. С. 56.

Так говорил... Лем. С. 180.

*Lem S. Świat na krawędzi. S. 67.*

*Лем С. Как рождаются фантастические книги // Вопросы литературы.*  
1962. № 3. С. 172.

*Лем С. Размышления о методе. С. 212–213.*

*Лем. С. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Текст, 1994. Т. 5. С. 339.*

*Лем С. Размышления о методе. С. 208–209.*



Так говорил... Лем. С. 101.

*Лем С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 164–165.*

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 201 l.S. 26–27.

Так говорил... Лем. С. 94.

Там же. С. 93–94.

*Котляр Ю.* Фантастика и подросток // Молодой коммунист. 1964. №6.  
С. 112.

*Лазарев М. Ответственность фантаста // О литературе для детей. Вып. 10. Л.: Детская литература, 1965. С. 195.*

Станислав Лем: фантастика, звёзды, люди *Е. Семёнов* / Советское кино. 1969. № 42. С. 4.



*Леонов Л. Человеческое, только человеческое // Вопросы литературы.*  
1989. № 1. С. 19.

*Стругацкий А., Стругацкий Б.* Собрание сочинений: В 11 т. Донецк: Сталкер; СПб.: Terra Fantastica, 2001. Т. 11. С. 238.

*Toeplitz K. T. // Przegląd Kulturalny. 1961.*

*Lem T. Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 77, 79.*

*Лем С. Сильвические размышления XXXII: Мой роман с футурологией // Лем С. Мой взгляд на литературу. М.: АСТ, 2009. С. 463.*

*Lem S.* Jak będzie wyglądał świat w roku 2000? // Kalendarz Górnośląski na rok 1955. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954. S. 199.

*Lem S. O astronautyce — rzeczowo // Życie Literackie. 1955. № 36. S. 5.*

*Lem S. Tak było // Lem S. Sex Wkrs. Warszawa: NOWA. 1996. S. 225–228.*



*Лем С. Воспоминания // Книга друзей. М.: Правда, 1975. С. 251.*

*Lem S. Tak było. S. 227.*

Там же. S. 225–227.

*Брандис Е., Дмитриевский В.* Век нынешний и век грядущий // Новая сигнальная. М.: Знание, 1963. С. 259.

*Стругацкий Б.* Офлайн-интервью. 19 октября 2004 года.

*Lem S., Mrotek S. Listy 1956–1978. S. 168–169.*

Там же. S. 171.

Там же. S. 183.



Там же. S. 222.

Там же. S. 257–260.

Там же. S. 261.

Там же. S. 265–267.

*Лем. С. Непобедимый // В мире фантастики и приключений. Л.: Лениздат, 1964. С. 427–432.*

*Лем С. Как рождаются фантастические книги. С. 173.*

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 264–265.

*Лем С. Сумма технологии. М.: Мир, 1968. С. 14.*



*Jarzębski J.* Lem i Mrozek w dziwnym kwiecie lat sześćdziesiątych // *Lem S., Mrotek S.* Listy 1956–1978. S. 10–11.

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 314–316.

Так говорил... Лем. С. 104–105.

Там же. С. 107, 110.

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 358–360.

Там же. S. 361.

Там же. S. 370.

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 383.



Там же. S. 379–380.

*Lem S. Summa technologiae. Wprowadzenie do dyskusji // Lem S. Rozprawy i szkice. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. S. 248.*

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 386–387.

Там же. S. 388.

Так говорил... Лем. С. 105–106.

*Лем С. Письмо Майклу Канделю от 8 мая 1972 года // Лем С. Мой взгляд на литературу. М.: АСТ; АСТ Москва, 2009. С. 530–535.*

Там же. С. 542–543.

*Lem S., Mrotek S. Listy 1956–1978. S. 463–465.*



Там же. S. 478.

*Велтистов Е.* «Секреты» Станислава Лема // Комсомольская правда.  
1965. 17 ноября. С. 4.

*Самойлов Д.* Из дневника. 1965 // Литературное обозрение. 1992. № 5–6. С. 54.

*Лем С. Воспоминания. С. 251.*

*Lem S.* Tak było. S. 225–228.

*Лем С. Воспоминания. С. 253–254.*

Там же. С. 249–251.

Неизвестные Стругацкие. Письма. Рабочие дневники. 1963–1965 гг.  
Киев: НКП, 2009. С. 395.



*Лем С. Воспоминания. С. 251–252.*

*Мирер А. Наперекор судьбе // Советская библиография. 1990. № 6. С. 44.*

*Lem S.* Tak było. S. 225–228.

Так говорил... Лем. С. 300–302.

*Lem S., Mrozek S. Listy 1956–1978. S. 488.*

Там же. S. 508–509.

Там же. S. 547.

Там же. S. 419–420.



Так говорил... Лем. С. 279–280.

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 607–608.

Там же. S. 606–607.

Там же. S. 614.

Там же. S. 615–617.

*Lem S.* Sława i Fortuna: Listy do Michaela Kandla 1972–1987. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013. S. 157.

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 157.

Там же. S. 619–620.



*Лем С. Философия случая. М.: АСТ; АСТ МОСКВА; Транзиткнига, 2005. С. 5.*

Там же. С. 16.

Так говорил... Лем. С. 110–111.

*Лем С. Мой взгляд на литературу. М.: АСТ; АСТ Москва, 2009. С. 505–510.*

*Lem S., Mrozek S.* Listy 1956–1978. S. 605–606.

Там же. S. 617.

*Lem S.* Listy albo opór materii. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. S. 15–17.

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 544.*



*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 149–151.

Там же. С. 169–170.

Станислав Лем: фантастика, звёзды, люди. С. 4.

*Лазарев Л. На съёмках и после съёмок: Об Андрее Тарковском // Лазарев Л. То, что запомнилось... М.: Правда, 1990. С. 43–46. (Б-ка «Огонька». № 17.)*

*Лем С. «Жизнь так ускорилась, что будущее стало трудно предвидеть»*  
// Московские новости. 1995. 18 июня (№ 42). С. 11.

Станислав Лем: фантастика, звёзды, люди. С. 4.

Так говорил... Лем. С. 181–182.

*Lem S., Mrotek S. Listy 1956–1978. S. 669–670.*



Там же. S. 672–673.

Там же. S. 677.

Там же. S. 679–680.

Там же. S. 681–682.

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 510–512.*

*Лем С. Литература, проецирующая миры // Литературная газета. 1969.  
3 декабря (№ 49). С. 6.*

*Lem S. Listy albo opór materii. S. 55.*

*Кучевский М.* Молотом по научной фантастике // Польское обозрение.  
1971. №29. С. 17.



*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 512.*

Там же. С. 552.

Там же. С. 557.

Там же. С. 522–525.

Там же. С. 526–530.

Там же. С. 545–547.

Станислав Лем: «Дать из себя максимум...» *Беседовала А. Краевская* /  
Польское обозрение. 1974. № 3. С. 16–17, 20.

*Lem S.* Die Vfergangenheit der Zukunft // Vor der Jahrtausendwende.  
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990. S. 181.



*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 550–555.*

*Lem S. Listy albo opór materii. S. 142–144.*

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 562–563.*

«Лем является целым комитетом...» // Компьютерра. 2001. № 15. С. 47.

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 556.*

Там же. С. 822–823.

Там же. С. 559–560.

Там же. С 604–605.



Там же. С. 609–611.

*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 106–108.

*Lem S. Listy albo opór materii. S. 159–162.*

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 568–572.*

*Lem S. Listy albo opór materii. S. 194–195.*

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 517–518.*

*Стругацкий А., Стругацкий Б, Бессильные мира сего. Донецк: Сталкер, 2003. С. 330.*

*Лем С. Маска. М.: Наука, 1990. С. 31–32.*



*Лем С. Молох. М.: АСТ, 2004. С. 345–346.*

*Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 578–580.*

Там же. С. 602–604.

Там же. С. 605–609.

Там же. С. 613, 615.

Там же. С. 615–619.

*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 132, 239–240.

*Lem S. Sława i Fortuna: Listy do Michaela Kandla 1972–1987. S. 480.*



*Lem S. Listy albo opór materii. S. 256–257.*

Там же. S. 268–269.

*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 200–202.

Там же. S. 197.

Так говорил... Лем. С. 500.

Там же. С. 501.

См. в кн.: *Лем С.* Библиотека XXI века. М.: АСТ, 2002. С. 441–482.

*Околовский П. Станислава Лема теология дьявола // Млечный Путь. 2012. №2. С. 187–190.*



*Лем С. Мир на Земле; Фиаско. М.: Прогресс, 1991. С. 207.*

*Lem T.* Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 182–184.

Так говорил... Лем. С. 509.

Там же. С. 662.

*Lem T. Awantury na tle powszechnego ciężenia. S. 256.*

*Лем С. Молох. М.: АСТ, 2004. С. 709–710.*